

ISSN 0206-8680

2

КИНОСЦЕНАРИИ

1989

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *И. Адамацкий, Е. Шмидт*
АРАБЕСК
- 20 *С. Бодров, И. Васильева*
ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА
- 39 *М. Зверева*
УКРАДЕННОЕ СВИДАНИЕ
- 62 *Б. Добродеев*
ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛОВСКЕ
- 72 *В. Костин*
МАРИЯ
- 88 *В. Мережко*
СОБАЧИЙ ПИР
- 112 *Хуан Шуцинъ*
ЧЕЛОВЕК. ДЕМОН. СТРАСТЬ
- 135 *М. Шептунова*
ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ
- Из архива мастеров
- 151 *Ф. Сологуб*
БАРЫШНЯ ЛИЗА
- К 100-летию со дня рождения Карла Дрейера
- 171 *О. Рязанова*
ХУДОЖНИК-ЛЕГЕНДА
- 174 *К. Дрейер*
ФАНТАЗИЯ И ЦВЕТ
- Точка зрения
- 177 *Н. Юлина*
Женщина и патриархат
- 180 *А. Антонов*
Предел отчуждения
- 182 *С. Митюшов*
Заполненные мысли
- 186 *И. Шилова*
В поисках утраченной любви
- 191 **Наши авторы**

2

1989

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1989

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:

**О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ.
Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА**

**Технический редактор Л. МАРКОВА
Корректор С. ВАЛОВИЧ**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© В/О «Союзинформкино»

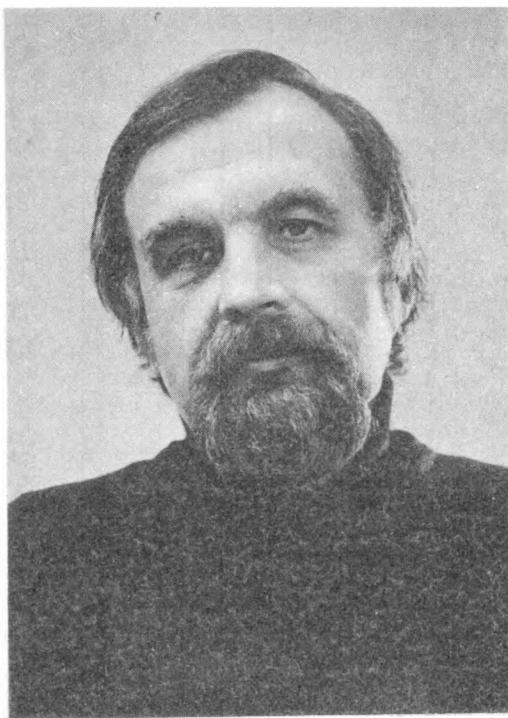
Сдано в набор 09.01.89. Подписано к печати 24.02.89. А07750
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 20,26
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 63 000 экз. Заказ № 59 Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное объединение «Союзинформкино»
109017, Москва, Б. Ордынка, 43. Тел. 231—11—33.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
142300, г. Чехов Московской области.



**Игорь
АДАМАЦКИЙ**



**Евгений
ШМИДТ**

АРАБЕСК

Каменные старые плиты, стертые веками. На плитах — паутина трещин, словно неизвестные письмена, между плит — короткая запыленная трава. Дорожка ведет от резных чугунных ворот к церкви.

Катя шла, опустив голову. Она видела лишь плоский камень под ногами и спины взрослых перед собой. Отец поддерживал мать под руку бережным прикосновением и, склонив голову к ее плечу, что-то неслышно говорил. Дядя Володя, прямой и стройный, шел отдельно, отстраненно, по самой кромке дорожки и, когда оступался, соскальзывал сапогом на влажную землю. Начищенные голенища блестели.

Березы выстроились вдоль дорожки высоким частоколом, и сквозь их неровный редкий строй, чуть дальше, виднелась светлая ограда и за ней резким пятном — черная «эмка».

Справа послышался лязг, красными вспышками за белесыми стволами проплыл трамвай. Разноцветные солнечные зайчики пробежали по спинам людей, идущих перед Катей, и блеснули в последний раз в окне собора.

На каменном крыльце у дубовых дверей отец потянулся к медному кольцу. Дядя Володя приостановился и достал из широкого галифе пачку «Беломора».

— Я подожду здесь,— сказал он ровным глуховатым голосом и посмотрел вверх: стая чаек широким кругом заходила над куполами Владимирского собора.

— Как хочешь.— И отец потянул к себе тяжелую дверь.

В церкви стоял полумрак, проступал алтарь с закрытыми вратами. Здесь было несколько старушек. Они словно застыли, и казалось, что они здесь навсегда.

Священник читал молитвы, крестился. Затем повернулся спиной к алтарю и начал кадить кадилом. Легкий дым и сладковатый запах распространялись по церкви. Отец, мать и Катя стояли с зажженными свечами. Закончив отпевание, священник лопаточкой набрал землю из медной чаши, стоящей на столе рядом с алтарем, и протянул ее отцу.

— Перед самым погребением,— терпеливо и мягко объяснил он,— на лоб положите венчик — ныне отпускаешь рабу Твоея,— а в руки вложите молитву. И прежде чем за-

кроете крышку гроба, правой рукой насыпьте эту землю крест-накрест, вот так — сверху вниз и слева направо.

— Спасибо,— сказал отец.

— Храни вас Господь,— ответил священник, и так как все трое оставались неподвижны и горячий воск стекал по рукам, священник вынул из их рук свечи одну за другой и поставил перед алтарем...

По кладбищу шел отец, навешивая полоски красной материи,— метил путь среди могильных оград. За отцом люди несли еловые ветки и бросали на землю.

Гроб, весь в цветах, сняли с катафалка. Лошадь, повернув морду, смотрела, что делают люди. Гроб поставили на два табурета. Ножки табуретов вдавили в мягкую землю, и гроб слегка покачнувшись, его поддержали. Потом восемь мужчин — Катя узнала их, они все были с кинофабрики — подняли гроб, пошли. Когда проход между оградами сужался, приподнимали гроб на вытянутых руках.

Священник в черной рясе шел впереди, негромко читал молитву, крестился, держа в левой руке кадило. Привычно приоткрывая крышечку кадила за цепочку, подкладывая припасенный ладан. И снова плыл знакомый сладковатый запах ладана.

Катя шла позади всех и вполголоса повторяла, вспоминая строки:

Когда остался чёт и нечет
Без середины золотой...

Шедший перед ней мужчина оглянулся на нее, но ничего не сказал.

Когда остался чёт и нечет
Без середины золотой,
Родился ужас чуждый
И выбор, гибельно-простой.
Тогда, в тоске и причитаньях,
Надежду, детище борьбы,
На жалком ложе прозябанья
Растили первые рабы...

Остановились у отверстой могилы, гроб поставили на столик соседней — так мало здесь места. Стали прощаться. Все столпились у гроба. Раздавались плач, рыдания. Катя смотрела на людей и ничего не слышала — в ушах была какая-то звенящая тишина. Поддерживая мать под руки, незнакомые женщины в черном уводили ее с кладбища. От слабости ноги не шли.

Кате казалось, что какая-то тайна связывает всех женщин здесь и они очень похожи на ее мать и бабушку, которая сейчас лежала в гробу.

Чья-то рука легла на Катину плечо — дядя Володя тревожно смотрел на нее.

— Где Лиза? — сказал он, переводя дыхание и прикладывая платок ко лбу короткими, быстрыми прикосновениями.

— Маму увели...

Дядя Володя стал пробираться сквозь столпившихся. Фуражку он держал в руке, а другой дергал ворот, пытаясь расстегнуть. Орден Красной Звезды блеснул на зеленой гимнастерке — дядя Володя рванул ворот и, судорожно вздохнув, выбрался из толпы.

— Брат зятя,— сказал кто-то рядом.

Из-за спин Катя видела, как отец ссыпал землю крест-накрест, как забивали крышку гвоздями...

Отец подошел к Кате, прижал ее голову к груди.

— Иди к маме.

Катя послушно повернулась, побрела между оградами к выходу. Пройдя немного, оглянулась: люди замерли над могилой. Катя увидела мелькавшие лопаты и услышала — очень громко,— как на гроб падала земля. Закрыла уши руками и побежала.

На безлюдной площади перед кладбищенской церковью стоял катафалк. Лошадь, опустив морду в холщевый мешок, жевала. Катя пробежала мимо, нырнула под сводчатую арку ворот. У входа увидела черную «эмку». На заднем сиденье машины полулежала мать — голова запрокинута, глаза закрыты, лицо белое. Аглая Борисовна тянулась к ней с пузырьком нашатыря и повторяла:

— Лизонька... Лизонька...

Дядя Володя сидел на переднем сиденье вполборота, выставив ноги в начищенных сапогах в открытую дверь, и с болью смотрел на мать.

Молоденький красноармеец, совсем мальчик, тоже в начищенных до блеска сапогах и перетянутый желтым скрипучим ремнем, переминался у радиатора машины.

— Принесите воды,— властно сказала Аглая Борисовна.

Катя бросилась в сторону. Внизу речка подступала к самому кладбищу. Берег был невысокий, но крутой. Пока Катя спускалась, ноги все время скользили по траве. Катя наклонилась: стайка рыбешек метнулась прочь. Катя набрала воду в ладони, стала карабкаться вверх. Вода убежала сквозь пальцы, и Катя заплакала. С полным ведром воды ее обогнал молодой красноармеец-шофер. Он подбежал к машине, протянул ведро в открытую дверцу. Аглая Борисовна быстро опустила в воду черную шаль Лизы, отжала ее. Дядя Володя, встав на сиденье, помогал ей. За их спинами не было видно лица Лизы.

Из ворот стали выходить люди. Они шли молча, косились на «эмку» и уходили по

бульжной мостовой к трамвайной линии. Раздался цокот копыт — мимо проехал катафалк. Возница был спокоен и значителен. Люди расступались, пропуская катафалк.

Наконец появился отец. Он поддерживал священника под руку. Не доходя до машины, отец спросил Катю:

— Матери лучше?

— Да, наверное,— неуверенно ответила она...

Священник подошел к Кате, погладил ее по голове. Потом сквозь слезы Катя увидела, как черная ряса отодвинулась, увидела отца, который что-то говорил дяде Володе. Молодой водитель резко поворачивал ручку, заводил мотор. Дядя Володя стоял у машины и, пытаясь в чем-то убедить отца, быстро и тихо ему отвечал. Отец отвернулся от него, подошел к священнику, подвел его, старика, к передней дверце и чуть не силой усадил. Мотор завелся. Шофер, взглянув на священника, неуверенно спросил:

— Товарищ командир?

Дядя Володя обернулся, побагровев, рванул заднюю дверцу. Прежде чем сесть, за чем-то оглянулся по сторонам, достал платок, промокнул лицо, еще раз оглянулся, сел. В открытое окно выглядывало бородастое лицо священника.

— Поезжай! — отец махнул рукой. Машина тронулась.

Ей лет двести... Она смотрит на Катю в упор агатовыми глазами. Черные букли, ниспадающие на оголенные плечи... Поднятая лифом высокая грудь, розовая кисея платья... Заключенная в позолоту багета, покрытого сеточкой трещин... Офицеры, чиновники, гардемарины глядели на Катю со стен комнаты.

Овал ореховой рамки. Юное лицо, платье барышни... Она смотрит на Катю, склонив голову, с застывшей навеки улыбкой.

— Бабушка... — Катя попятилась от стены к двери.

Рука легла на бронзовую морду льва и медленно потянула ее на себя. Дверь со скрипом поддалась, и открылся тихий полумрак прихожей. В резной раме от пола до потолка тянулось огромное зеркало, и там, высоко, его венчала бронзовая виньетка.

«Стараясь не смотреть на себя, Катя просунула между рамой и зеркальным стеклом записку: «Мама, я на кинофабрике».

В парадном — гулко и солнечно. Свет пробивался сквозь витражи, цветными пятнами ложился на кафель площадки. Где-то хлопнула дверь, и по широким ступенькам с

грохотом скатились двое мальчишек. Они чуть не сбили Катю.

В руках одного — коробок спичек. Другой обернулся к Кате и, прежде чем выскочить на улицу, показал высунутый язык:

— У-у, балерина кривоногая!

Опять ухнуло, и высокий женский голос наверху крикнул:

— Костик, вернись! Я кому сказала!

Женское лицо нависло над пустотой пролета. Пегие волосы, сердитый взгляд голубых глаз. В ответ раздался тяжелый удар входной двери, стало тихо.

Катя вышла на улицу. Вдоль тротуара, по мостовой, медленно перекатывалась поземка легкого тополиного пуха.

Мальчишки со спичечным коробком склонились над сугробом тополиного пуха. Чиркнула спичка, и вся улица вспыхнула... Титр:

АРАБЕСК

Катя открыла глаза и увидела перед собой мальчишку с велосипедом. Круглолицый, стриженный, он широко улыбался.

— Салют, камарад,— сказал он солидно.

— Барсучок? — удивилась Катя.— А ты почему не на даче?

— Так,— серьезно ответил Барсук,— дела. А ты на кинофабрику?

Катя кивнула. Они пошли рядом. Барсук важно вел велосипед за руль. Он изредка поглядывал на Катю.

— Я провожу тебя немного,— сказал он, не выдержав молчания.

— Зачем?

— Так надо... Ты красивая.

— Моя покойная бабушка,— назидательно начала Катя,— говорила, что красота — это зло.

— Ну-у, это ты загнула. Что же, если на улице появится уродина, страшная как чума, так все должны к ней бросаться с радостью и благодарить?.. А я по радио слышала лекцию, там говорили, что красота — это ум наружу. Так что, Катька, ты наружу умная, а внутри... — Барсук присвистнул.

— Дурачок ты, Барсучок,— улыбнулась Катя,— ты ничего не понял... Красота обижает других людей, а все обиженные становятся злыми.

Мимо прошли двое военных. Барсук проводил их жадным взглядом, вздохнул заветливо.

— Если будет война,— твердо произнес Барсук,— я пойду на фронт. Кавалеристом или танкистом.

— Война — это зло,— вздохнула Катя.

— Ну! Тебя послушать, так всё у тебя — зло. А где не зло?

— Добро? — Катя остановилась, посмотрела на Барсука такими глазами, что он открыл рот.— Добро — это заколдованный

клад. Его надо найти и победить стража — дракона.

— Говори, говори,— хитро протянул Барсук,— я тебя знаю. Наша литераторша сказала, что всё, что говорит Катя Бестужева, нужно делить на семь.

— А твою литераторшу и делить ни на что не надо,— рассмеялась Катя.— Она говорит, что бомба всегда падает в эпицентр взрыва.

— Ну,— туго соображая, усомнился Барсук,— а куда же ей еще падать?

— Вот-вот,— хитро соглашается Катя,— оба вы с ней троечники. И в учебе, и в жизни.

— А ты зубрила,— фыркнул Барсук.

Некоторое время они шагали молча.

— А правда,— не вытерпел Барсук,— ты сочинила сказку, а твой отец нарисовал фильм?

— Правда.

— Ну?!

— Ну что ты разнукался? Обыкновенная сказка. Жил-был лесной пень. Он изобрел пятиколесный велосипед и ездил по лесу, распугивая лесных жителей.

— Врешь!

— С места не сойти! — поклялась Катя.

— А зачем ему пятое колесо?

— А чтобы кто-нибудь, вроде тебя, спросил про колесо.

— Врешь!

— Во! Зуб даю! — показала Катя.— А звали этого лесного пня... Барсук.

Барсук от удивления остановился. А Катя перебежала на другую сторону улицы.

Когда Катя открыла дверь парадной, она увидела огромную старинную люстру над лестничным пролетом. Свет закопченных, грязных лампочек был слабым, и лицо отца едва проступало на верхней площадке.

— Ой, ты уже здесь! — воскликнула женщина в белой матроске и красном берете, догоняя Катю на лестнице.— Ой, что сегодня было! Без Екатерины Сергеевны, без тебя, значит, худсовет не начинать, это наш главный говорит, самый главный, Павел Николаевич. А Сергей Павлович, отец твой, говорит, нет, непременно без Екатерины Сергеевны, это, мол, непедагогично, ребенок, мол, не должен выслушивать, мало ли какие глупости могут сказать взрослые, когда разговаряются. А Павел Николаевич говорит, мол, пусть ребенок привыкает жить в мире взрослых, ему, это тебе, будет полезно на живом примере узнать диалектику общественного развития. А Миша Фурман говорит, что вы, Павел Николаевич, бдила и про вас написал Козьма Прутков, что лучше перебдеть, чем недобдеть...

— Зинаида Васильевна! — отец нетерпе-

ливо махал рукой.— Быстрее идите! Вас все ждут!

Катя и Зинаида Васильевна поспешили вверх.

Огромное черно-белое фото Микки-Мауса встречало каждого, кто входил в эту комнату. Катя с вызовом посмотрела на мышонка, и ей показалось, что он подмигнул ей.

Вся киногруппа, как за прилавком, торжественно выстроилась вдоль длинного стола, закрытого калькой и уставленного разными сладостями: тортами, булочками с кремом в вазочках, конфетами на подносе. Ждали появления Кати. Ей все это показалось забавным, и она рассмеялась.

Зинаида за руку потащила ее к дальнему концу стола и усадила перед смешным человечком, вылепленным из пластилина. Человечек стоял во весь рост на гладкой поверхности кальки и был похож на находившегося здесь композитора Мишу Фурмана. Такой же лысоватый, с огромным животом, в таких же брюках с широкими отворотами, гармошкой спадающих на желтые ботинки.

— Это тебе от нашей группы! — торжественно сказала Зинаида и хотела было погладить Катю по голове, но остановила руку.

— Зинаида! — простонал Фурман, с трудом разместившись на стуле.— Сними свой дурацкий берет...

— Я хочу нравиться мужчинам! — с вызовом ответила она.

— Но не таким же способом! Только быки бросаются на красное,— увещевал Фурман.

Пока рассаживались, Сергей разливал водку в низкие граненые стаканчики.

— Ты, Зинаида, приходи к моей тете, Эсфири Соломоновне,— продолжал разглагольствовать Фурман.— Она о мужчинах знает все. У нее было три мужа, всех троих она похоронила, и все они были довольны. Моя тетя никогда не носила красного берета, она завоевывала мужчин другим...

— Миша... — укоризненно протянул худощавый, вальжанный.— При детях...

— Это ты про Катю? — изумился Фурман.— Так мы с ней давние приятели. С детства. Я ее на коленях качал. Или она меня. Не помню.

Сергей встал, постучал вилкой по бутылке:

— Прошу внимания!

Все замолчали. Фурман успел что-то сунуть в рот, он жевал, с насмешливым вниманием уставившись на Сергея.

— Поздравляю всех вас с окончанием работы над первым советским цветным мультипликационным фильмом!

Сидящие заплотировали.

— А где Антон? — вдруг спросил Сергей. — Куда он потерялся?

Дверь открылась, и Антон с оператором внесли большой дымящийся самовар, поставили у двери. Не обращая внимания на остальных, они продолжали разговаривать. Вернее, говорил Антон, а оператор только кивал в знак согласия. Они сели за стол.

— А я говорю этому профессору: «Ваша теория работает, когда практически жизнь катится по ровному месту, а если ухабы?» А он как зарычит: «Эпикурейское, кричит, стадо интеллигенции! Когда вы поймете, что любой смысл настоящего раскрывается только в будущем! Мирозозрение, кричит, это мера воззрения! И если миром будут управлять узкие мысли и узкие люди, тогда я гроша ломаного не дам за ваше светлое будущее!»

Антон останавливается, замечает, что его слушают, и удивляется:

— А чего это вы все молчите?

— Козьма Прутков, — насмешливо говорит Фурман, — считал, что две вещи в мире невозможны: ладошкой закрыть солнце и заставить замолчать Антона.

Дверь снова открылась, вошел Павел Николаевич, высокий, кудрявый, в светлой тройке, с темными цепкими глазами, которые, казалось, жили сами по себе: быстро перебегая с одного предмета на другой, они стремились ухватить вся и все, но это было невозможно, поэтому в глазах была постоянная обида.

Он прошел вдоль стола к тому концу, где сидела Катя.

— Павел Николаевич, — Сергей протянул ему стаканчик. — Мировую, а? Уважьте!

— С удовольствием, — Павел Николаевич взял стаканчик.

Он встал за Катиной спиной, и она слегка жалась.

— А вы все иронизируете? — спросил Павел Николаевич, обращаясь неизвестно к кому, то ли к Сергею, то ли к Фурману. — Тоже правильно. Ирония — это прививка против глупости... Так что, товарищи, я вас поздравляю. Можете, Сергей, забирать все ваши негативы и позитивы, все куколки и тряпочки и отправляться в Москву. Я договорился с главком — будем печатать на новой машине.

— Ура! — крикнула и тут же смолкла Зинаида.

Павел Николаевич строго посмотрел на нее и продолжил:

— Меня прошу извинить, если я допустил некоторую резкость выражений на художественном совете. Прошу меня понять: я ваш руководитель, и на мне лежит ответственность за идейную чистоту наших кадров

и нашей работы... Ваш коллектив объединяет некая идея добра, это хорошо. Но, с другой стороны, если рассмотреть предмет диалектически, то можно сказать, что искусство — это политика замедленного действия. Искусство должно вооружать, мобилизовывать! Какие фильмы сейчас нужны массам? Могу назвать — фильм «Подруги». Такие фильмы нужны сейчас массам. А вы, когда сегодня мир стоит на грани катастрофы, своим беззубым добром увидите от борьбы.

Фурман, неустанно жующий, с ласковой иронией глядел на вдохновившегося Павла Николаевича.

— Посмотрите, что делается в мире! — продолжал Павел Николаевич. — Европа стонет под башмаком Гитлера. Чехословакия оккупирована. Польша — тоже. Австрия, Италия... да что там! Вы слышали, что сказал Риббентроп?

— О нашем фильме? — спросил Фурман.

— Нет, вообще, — ответил Павел Николаевич.

— Риббентроп вообще меня не интересуется, — меланхолически жевал Фурман. — Он скучный.

— Напрасно, — съязвил Павел Николаевич. — Если вы не интересуетесь Риббентропом, тогда он может вами заинтересоваться. Итак, поздравляю, — приподнял Павел Николаевич стаканчик.

Мужчины выпили. Павел Николаевич медленно пошел к двери.

— Нельзя отрывать от масс, верно, барышня? — спросил он у Кати.

Она промолчала.

— Вы зря это про Германию, — сказал Антон, выходя из-за стола, чтобы принести самовар.

— Почему это? — спросил Павел Николаевич.

— У нас пакт о ненападении.

— Пакт пактом, но без диалектики даже комар не укусит. Я говорил о плохой Германии в противоположность хорошей Германии. А единство противоположностей всегда предполагает их борьбу.

— Что, — спросил Фурман Антона, — съел?

— Как бы то ни было, — сказал Павел Николаевич у двери, держась за ручку, — вы все молодцы. И если у вас дело так пойдет и дальше, тогда мы сможем одолеть и этого, — указал он на фотографию Микки-Мауса.

— Его победить нельзя, — сказала Катя.

— Почему? — удивленно поднял брови Павел Николаевич. — Победить можно кого угодно.

— Мы победим его, — сказал Фурман, — только зимой.

— Почему зимой? — спросил Павел Николаевич.

— Зимой мы его шапками закидаем.

Все рассмеялись.

— Остроумно, товарищ Фурман, очень остроумно, — сказал Павел Николаевич. — Я подумаю над вашей шуткой.

Он вышел и закрыл дверь.

Некоторое время все молчали. Антон разливал чай в чашки, передавал через стол.

— Ты, Миша, головой играешь, — сказал Антон. — По нынешним временам — рискованно. Ты помнишь, что тестя Сергея, кадрового офицера... — Антон осекся. Он забыл, что здесь Катя.

— Не стесняйтесь, — ровно и спокойно сказала Катя. — Это всем известно: дедушка объявлен врагом трудового народа. А мы здесь не трудовой народ, и, значит, мой дедушка не враг нам.

Фурман крикнул, взял с подноса горсть конфет и насыпал перед Катей.

— Папа ездил в Москву, — продолжала Катя, — и узнал, куда можно посылать дедушке папиросы и еду... А про будущее дедушка говорил так: «Подлости прошлого отмоет будущее, но мы живем в настоящем, так что как будто мы ни к чему не причастны».

— Молодец, барышня, — передразнил Фурман Павла Николаевича. — Вы, наверное, и в школе хорошо успеваете. Наверное, пятерочница, наверное, зубрила? Развеселите нас, а то над нашим столом гущается такой мрак, что скоро он начнет падать хлопьями. Одну сказочку, барышня... для дяди Миши, а?

— Жил-был ум, — начала Катя, глядя на смешного пластилинового человечка. — Не маленький, не большой, не толстый, не тонкий, не хмурый, не веселый, а так себе — серенький, как осеннее утро, и весь в веснушках. У этого ума был дом — истина...

Фурман крикнул и покрутил головой.

— Дом — так себе, — продолжала Катя. — Не высокий, не низкий, а на окнах решетки. Но этот ум очень гордился своим домом: у других умов и этого не было.

— Решетки зачем? — хмуро спросил Антон.

— Чтобы не украли. Ведь в доме ума хранилось много замечательных вещей: пифагоровы штаны, правило левой руки, закон сохранения энергии, закон перехода количества в качество...

— Так это ж у всех умов есть! — сказала Зинаида.

— Да, но этот ум думал, что таким богатством обладает только он.

— Он что, был злой? — спросил оператор.

— Я же сказала, что он был серенький, — продолжала Катя, — а серенькие — не злые, не добрые, они унылые...

— Он был счастлив? — спросил Фурман.

— Тебе же сказали, — вступился Антон, — он был серый, а серые не бывают счастливыми. Они жадные и завистливые.

— Зависть — это нравственное уродство, — поднял голову оператор, — или умственное уродство, я забыл.

— Когда ум накопил тридцать три сундука законов, правил и формул, — продолжала Катя, — он подумал, что может исчезнуть и после него ничего не останется. Поэтому он решил жениться.

— На дуре? — спросила Зинаида.

— Нет, ум решил жениться на правде.

— Это серьезно! — присвистнул Фурман. — И у них стало множество конопатых детей. А потом ум и правда умерли, а их конопатые дети, нищие, разбрелись по свету.

— Не мешай, — сказал Антон. — Катя, ум нашел ее?

— Нет, оказалось, что правда еще не родилась и никто на свете не мог сказать, когда это произойдет.

— А с ним что случилось? — спросил Антон.

— Ум сошел с ума, — рассмеялась Катя.

Она встала из-за стола, посмотрела на отца.

— Я пойду, похожу по вашим коридорам.

Сергей кивнул.

— У меня такое ощущение, — сказал Смирнов, — будто куда-то проваливается целая эпоха и надвигается пустота.

— Пустота — это не страшно, — сказал Антон.

Катя вышла за дверь, прислонилась спиной к стене, закрыла лицо руками.

Вечером Сергей и Катя возвращались домой.

— Вот такие пироги, дочка, — говорил Сергей задумчиво. — Сейчас многие говорят и думают о войне. Сейчас даже мысли пахнут порохом... А ты не боишься войны?

— Нет, как можно бояться того, чего нет?

— Н-да, конечно... А у меня внутри... сам черт не разберет. Делали мы эту картину триста семьдесят девять дней, а теперь... то ли страх, то ли еще что. Как говорится: купивший — не радуясь, продавший — не плачь. Что будем делать?

— Что будем делать? Я все придумала. У нас впереди половина лета и целая жизнь. Двадцать пятого ты летишь в Москву. Двадцать девятого возвращаешься. Тридцатого мы берем палатку и отправляемся в лес... на целую неделю. Там грибы...

— Палатку... это хорошо... А маму возьмем?

— Конечно,— вздохнула Катя,— палатка-то двухместная. Вы с мамой будете в палатке, а я на пеньке. Так и просижу все ночи не смыкая глаз.

Сергей рассмеялся и обнял Катю за плечи.

— Как ты у меня выросла, я и не заметил. Большая, сильная, серьезная. Правда, слишком умная, ну да и это поправимо. Скоро можно и замуж выдавать.

— Замуж не пойду.

— Это еще почему? Что за глупости?!

— Во-первых, балерине замуж нельзя. Во-вторых, мой муж должен быть похож на тебя, а таких сейчас нет. В-третьих, там видно будет.

Квартира Бестужевых. В гостиной за празднично накрытым столом собралась вся семья — Сергей, Катя, Лиза и брат Сергея — Володя. Их лица серьезны и даже напряжены.

Сергей откупорил бутылку вина, наполнил три рюмки, бросил быстрый взгляд на Володю и Лизу, тихо вздохнул.

— За твое назначение? — спросил Сергей.

— За твое кино,— ответил Володя.

Они подняли рюмки: Володя — уверенно и даже браво, Сергей — рассеянно, в мыслях о своем, Лиза — несколько смущенно и даже, что ей несвойственно, жеманно. Катя, не притрагиваясь к ситро, наблюдала за ними слегка иронически.

— Смотрите,— сказала Катя улыбаясь,— у нас тут получился замечательный четырехугольник. Может, сыграем? — спросила она отца.

— В чертова лешего? — улыбнулся Володя.— Я помню. Так вы все еще играете в него?

— Играем,— вздохнул Сергей.

Катя выпорхнула из-за стола, выдвинула ящик комода у стены и достала скрюченную древесную коряжку, напоминающую лешего на корточках.

— Пока вы воевали с Финляндией,— сказала Катя Володе,— мы с папой играли в чертова лешего. Это он подсказал нам сказку для фильма. Давайте поиграем в него? — Она ставит лешего перед Володей.— Если вы помните, начинает тот, на кого леший смотрит. Говорить нужно только правду и только то, что вас в данный момент волнует. Начали.— Катя села на свое место, отхлебнула ситро и уставилась на Володю.

— А если захочется соврать? — улыбаясь спросил он.

— Если уж никак не сдержаться и захочется соврать, тогда нужно промолчать и переставить лешего следующему. Вот сейчас мы и проверим, кто может, а кто не может говорить правду.

— Вечно ты, Катерина, со своими глупостями,— покачала головой Лиза.

— Глупости, мамочка,— проговорила Катя с некоторым вызовом,— это изнанка ума. Когда ты покупаешь пальто, ты всегда смотришь на изнанку, а вдруг там все изношено и перелицовано?

Володя повертел в пальцах лешего и вдруг спросил:

— Трудно было ставить фильм? — И положил коряжку перед Сергеем.

— Ничего особенного,— уклончиво ответил Сергей, ему не хотелось откровенничать перед братом.— Сорок тысяч разных рисунков, и каждый последующий отличается от предыдущего на чуть-чуть. Главное, чтоб было правдоподобно и чтобы зритель нам верил.— Сергей передвинул фигурку к Кате.

— Папин начальник,— вздохнула Катя,— говорит, что правдоподобности нам не занимать. У нас ее так много, что мы можем экспортировать вместе с древесиной и шетиной. Правда, не все зрители нам поверят, но это уж их вина... В одном и том же звуке один человек услышит ноту Чайковского, а другой — скрип несмазанной телеги... Насчет «чуть-чуть» папа прав: каждый рисунок нашего фильма отличается от другого. Это как у людей в жизни. Если бы от вас, дядя Володя, папке дать «чуть-чуть», то он стал бы бравым офицером.

— А если мне «чуть-чуть» от отца Сергия? — спросил Володя.

— Что вы! — рассмеялась Катя.— Папка — единственный и неповторимый. Не всякое «чуть-чуть» передвигается. Есть «чуть-чуть» по обстоятельствам, есть «чуть-чуть» по наследству, а есть по воле небес. От меня «чуть-чуть» к вам — бесполезно и вредно. Офицер, танцующий в балетных туфельках среди грохочущих орудий,— что может быть ужаснее! Это даже и неправдоподобно. Скажите, будет война? — Катя ставит коряжку перед Володей.

— Я скажу, что в тревожные времена дети взрослеют чуть-чуть быстрее обычного.— Володя поставил коряжку перед Лизой.

— Я всему очень рада,— мечтательно повертела лешего в руках Лиза,— рада тому, что моя дочь такая взрослая, самостоятельная, умная,— вздохнула Лиза.— И я хотела бы от нее взять «чуть-чуть».

— Что ты, мамочка! — удивилась Катя.— Это невозможно. У тебя своих «чуть-чуть» в избытке. Если бы мое «чуть-чуть» добавить тебе, мы никогда не встретились бы в этом четырехугольнике...

— И этому я тоже рада,— невозмутимо продолжала Лиза,— и особенно тому, что отец Сергей,— она улыбнулась,— наконец-то закончил свой рисованный фильм. Это для него,— Лиза напряглась, вспоминая чужие

слова,— это для него рубеж, за которым он как художник выходит на оперативное пространство. Правда, Сережа?

— Правда,— просто сказал Сергей.

Он снова начал наливать вино в рюмки, и, когда Катя заговорила, рука Сергея дрогнула, вино пролилось на скатерть, и Володя тут же присыпал пятно солью.

— Продуктово-папиросная посылка,— начала Катя каким-то чужим, брезгливым тоном,— которую отец Сергей отправил своему арестованному тестю, вернулась с пометкой, что адрес получателя изменился. Что вы скажете на это?

Деревянная коряжка лежала уже забытой на столе, и на нее никто не обращал внимания.

— Ничего не скажу,— простодушно признался Володя,— поскольку не располагаю информацией. Скорее всего, заключенного перевели в другой лагерь.

— А вы не боитесь с нами... дружить? — спросила Катя.

— Военному человеку,— улыбнулся Володя,— бояться не положено по уставу. Солдат должен твердо смотреть в лицо смерти.

— Катерина, перемени пластинку,— спокойно сказал Сергей.

— Так на другой стороне то же самое,— невинно обратила Катя лицо к отцу.— На одной стороне песня про Ворошилова, а на другой — песня о соколе. Музыка народная, слова — тоже. Вы знаете, дядя Володя,— Катя внимательно смотрела на Володю, пытаясь что-то увидеть в его взгляде,— а я вот боюсь смотреть в глаза людям. Один педагог в балетной школе сказал, что ко мне, как к внучке врага народа, отношение будет особое. И то, что дедушка был офицером царской армии, еще хуже.

— Ну и дурак он, твой педагог,— серьезно сказал Володя.

— Я ему так и сказала,— улыбнулась Катя.

— Что?! — оторопел Сергей.

— Не волнуйся, папочка, мы говорили без свидетелей. Я думаю, у него хватит ума не вставаться, что девчонка его дураком обозвала.

— Катя! — простонала Лиза.

Весь этот разговор был ей неприятен. Она встала и вышла из комнаты за чаем.

— Ну, давай, брат,— сказал Володя, поднимая рюмку.— За то, чтобы никаких туч не было ни между нами, ни над нашей головой.

Они посмотрели в глаза друг другу долго, понимаяще и иронически.

— Дядя Володя...

— Так! — Володя поставил рюмку на стол.— Ты знаешь, племяшка, я уже начинаю бояться твоих вопросов. Не хотел бы я

оказаться на месте твоих учителей.

— Я тоже,— вздохнула Катя.— Один маленький вопросик... У вас в жизни был... роман? Или это тоже по уставу не полагается?

Сергей улыбаясь выпил вино.

— Романа у меня не было,— серьезно ответил Володя.— И воинские уставы определяют не воображаемые, а реальные отношения.— Володя стал показывать на столе: — Вот позиции противника. Вот наши позиции. Задача: подавить огневой подготовкой, затем атаковать и выбить противника с занимаемых позиций. Вот и вся хитрость. А романы — это уж из области литературы.

— Подавить легко,— задумчиво сказала Катя,— выбить трудно. А вы учитываете реальность в своих планах? — Катя внимательно оглядела ладную фигуру дяди, его гимнастерку, орден.

— Какую реальность? — удивился Володя.— Ах да, реальность,— улыбнулся он.— Учитывать следует только то, что от тебя зависит. Во всех остальных случаях отступай так, будто этой реальности не существует.

— Ничего...— сказала безмятежно и спокойно Лиза, входя с чаем.— Помоги, Сережа.

Сергей бросился ей помогать.

— Ничего,— повторила Лиза,— в конце концов, все образуется. И нашего заключенного освободят, и твои учителя поумнеют, и все, все будет хорошо и спокойно.

— Конец концов? — переспрашивает Катя.— Это когда ничего не будет? Ни людей, ни кино, ни сказок?

Комната Кати. Окно оклеено крест-накрест полосками бумаги. Накрывшись простыней, Катя лежит на кровати у окна и смотрит в потолок. Вдоль одной из стен — станок, напротив — высокое зеркало, рядом с дверью — пианино. Сергей вошел, молча взял стол и сел рядом с кроватью.

Свет от окна падает на простыню и тенью обозначается крест.

— Почему ты не снимаешь эти дурацкие бумажки? — спросил Сергей.— Финская больше года как кончилась... и все давно смыли, а ты нет... Почему?

— Это моя тайна,— медленно ответила Катя.

— Ужасно люблю всякие тайны, особенно девчоночьи. Скажи мне, я никому не выдам.

— Даже маме?

— Даже маме? А почему ты так про маму? Ты не имеешь права ни думать, ни говорить о матери плохо.

— Права...— эхом откликнулась Катя.— У вас, взрослых, права, а у нас, детей, обязанности?

— Ну ладно, не злись,— примирительно сказал Сергей.— Выкладывай тайну.

— Когда свет из окна падает на простыню, мне кажется, что я — письмо, которое вы с мамой написали в будущее...

— Ого! Можно представить, что там написано! И наверное, с ошибками?

— С ошибками, — вздохнула Катя, — и я даже не знаю, как мне исправить эти ваши ошибки... Теперь, когда я тебе сказала, можешь отклеить эти дурацкие полоски, раз война кончилась.

Сергей встает, неловко и неровно срывает бумагу с окна и снова садится.

— Ну вот, теперь я спокоен, — сказал он неизвестно о чем.

Катя промолчала.

— Я вижу, ты все-таки чем-то расстроена... Но тебе нужно учиться самой справляться со всеми переживаниями. Я вижу, что скоро не смогу тебе ничего посоветовать... Когда у человека уходит детство, это всегда болезненно... Когда приходит мудрость, это тоже больно... Может быть, весь человеческий опыт — это путь преодоления боли... — Сергей помолчал и продолжил: — Мама в глубине своих мыслей считает, что я своими рисунками... это несерьезное занятие... потерпел поражение... Кто знает? Или история жизни — это история поражения? А где тогда победа?

— Ничего, папка, — Катя отворачивается лицом к стене. — Всегда побеждать — скучно. Победители — самодовольные и раздутые от гордости. Это смешно...

— Да? Ты так думаешь?

Катя молча кивнула.

— Что ж, — вздыхает Сергей, — может, ты и права. Иногда у поражения, — улыбается он, — бывает драма победы... Да, чуть не забыл. Звонила Аглая. Позавтра она придет утром посмотреть, как ты преуспела в батманах и арабесках.

Сергей встает, направляется к двери, хочет что-то сказать, но молча закрывает дверь.

Катя и Лиза идут вдоль стены Петропавловки близко к воде. Катя держит в руке туфли, смотрит под ноги, иногда босой ногой толкает камешки в воду.

— Может быть, ты все-таки пере думаешь? — говорит Лиза, напряженно всматриваясь в лицо дочери. — Володя... дядя Володя тебя любит, и тебе с ним будет... с нами... удобно и спокойно... В Бресте мы найдем репетитора. Ты сможешь танцевать. Володя мужественный и сильный человек. А ты знаешь, как это для женщины важно — прислониться к силе...

Катя смотрит в лицо матери, Лиза отвернулась к реке: по Неве плывет закопченный пузатый буксир.

— Вы можете завести собственного ребенка, — неожиданно говорит Катя.

— Конечно, можем, — что-то вспоминая, отвечает Лиза, небрежно поправляя прядь волос и проводя пальцем по шее снизу вверх. — Да пока этого ребенка выносишь, да пока вырастишь, да пока он поумнеет... Да и время сейчас тревожное. Володя — офицер. Он чувствует... понимает, — поправилась Лиза, — что вот-вот накатит война. И он хочет встретить войну первым. Потому и просил назначения в Брест. Володя — очень хороший человек.

— Он смелый человек, — говорит Катя, — и я его очень ценю. У нас ведь героем становится любой.

Лиза вопросительно смотрит на Катю.

— Он не побоялся полюбить дочь врага народа, — продолжает Катя, — и не побоялся сказать об этом отцу Сергию. Значит, и все остальные качества дяди Володи тоже... прямые...

— Вот видишь, — оглянувшись, говорит Лиза, — и ты у нас прямая и открытая, и вы с Володей чудесно поладите... Нам с ним очень будет тебя не хватать.

Катя смеется:

— Вы, взрослые, очень смешные и... страшные существа.

Лиза смотрит в глаза дочери, та не отворачивается.

— Когда вы начинаете барахтаться, вы хватаетесь за ребенка как за соломинку... А когда начинаете воевать и убивать, то говорите, что тоже делаете это ради детей... Я не хочу быть взрослой! Иначе мне придется возненавидеть саму себя!

Лиза зябко ежится.

— Почему ты не уехала к дяде Володе год назад? — спрашивает Катя.

— Ну... во-первых, Володя не знал, в какую дивизию его назначат, он хотел именно в Брестскую крепость, там прошло его детство. Во-вторых, я не хотела волновать отца Сергия, чтобы он спокойно закончил свой игрушечный фильм. В-третьих, я хотела, чтобы ты еще немного подросла и смогла понять меня.

— Это не любовь, мама, — рассмеялась Катя, — это бухгалтерия. Сначала ты все взвесила, а потом решила, чем ты можешь заплатить.

Они поворачиваются и идут обратно вдоль берега.

— Ты меня прощаешь? — спрашивает Лиза.

— Я тебя не осуждаю, мама. Ты кругом права. Отца Сергия ты не любишь, и тебе с ним плохо. Дядю Володю ты любишь, и тебе с ним хорошо. Значит, ты должна ехать с ним в Брест... Ты сама говорила, что семья, из которой ушла любовь, умирает в страшных мучениях...

— Я не хочу жертвовать тобой, — говорит Лиза, — я люблю тебя... Отцу лучше

остаться одному... Он подвижник, он сильный. У него есть книги, его кино, друзья, всякое такое...

— Бедная ты моя! — прижимается Катя к матери, и они идут, прижавшись друг к другу.— Можно жертвовать, мамочка. Кто тебе сказал, что нельзя жертвовать? Можно жертвовать семьей, счастьем, жизнью, даже ребенком... Любовью нельзя жертвовать... Давай сделаем так: ты оторвешь кусочек своего сердца и оставишь мне, а остальное увезешь в Брест. Я оторву кусочек своего сердца и отдам тебе, а остальное останется с отцом... И мы будем квиты...

— Я боюсь тебя,— отодвигается Лиза.— Володя говорит, что ты... слишком святая. Нельзя. Такие гибнут первыми.

— Не бойся, мамочка,— улыбается Катя,— все будет хорошо. Как говорит отец Сергей: «Бог не выдаст — свинья не съест».

Они останавливаются. Неподалеку — черная «эмка», рядом Володя в форме.

— А вот и наш идальго,— улыбается Катя.

Володя издалека смотрит на них, отдает честь, улыбается.

— Ты посмотри, какой убедительный красавец,— говорит Катя растерявшейся и чуть не плачущей матери.— Поздравляю, мам, у тебя отменный вкус.— Катя целует Лизу в щеку.— Не терзайся, милая моя... я приеду к вам... в гости.

Володя делает движение подойти к ним, но останавливается.

— Ну, мама, решайся,— говорит Катя.— Проглоти слезы. Подними подбородок. Опустит лопатки. Зажми спину и — вперед... Настоящая женщина только так и должна идти навстречу любви и... смерти. Иди! — Катя слегка подталкивает мать в спину, и Лиза медленно и неуверенно идет к машине.

Катя негромко напевает про себя:

В стране жизнь мирно шла,
Кругом весна цвела,
Я повстречал, изменница, тебя.
Тебе понравилась шинель военная,
Петлицы синие, два кубаря.

Катя видит, как Володя открывает дверцу, подсаживает Лизу. Володя серьезно смотрит на Катю издалека, серьезно и четко отдает честь, хочет сесть в машину, но неожиданно бежит к Кате, придерживая на голове фуражку.

Подоходит, снимает фуражку, держит ее на согнутой левой руке, берет руку Кати, целует, надевает фуражку, бежит к машине.

Катя негромко поет:

Вот уезжает он и говорит:
«Прощай!»
И говорит: «Смотри
не забывай
И вспоминай меня хотя бы

изредка —

Шинель военную, два кубаря».

В кунсткамере Катя и Барсук стоят перед восковой фигурой Петра Первого. Царь гордо смотрит поверх посетителей, лицо темно-медового цвета величественно и устрашающе.

— Моя покойная бабушка,— говорит Катя в вихрастый затылок Барсука, который чуть не носом уткнулся в экспонат,— моя покойная бабушка была в Лондоне в музее восковых фигур... Там были фигуры Кромвеля, Наполеона, Бисмарка. Бабушка была шокирована. Она говорила: «Показывать такие вещи — значит...»

— Чего? — обернулся Барсук.

— Это,— показала Катя на восковую фигуру,— оскорбительно для человека.

— Глупости,— решительно заявил Барсук, отходя от Петра Первого, чтобы полюбоваться им,— ничего не оскорбительно. В магазине же выставляют манекены, да?

— Здесь другое. Манекен ни на кого не похож, даже на самого себя. А это похоже на Петра Первого... Мне жалко его. Бабушка говорила, что когда-то эта фигура была в Эрмитаже и была устроена так, что могла садиться и вставать. И вот однажды... это было давно... В Зимний дворец явился один чиновник... И как только чиновник приблизился к фигуре и узнал Петра, фигура Петра выпрямилась...

— Ну! — заторопил Барсук.

— Чиновник умер,— спокойно ответила Катя.

— Здорово! — изумился Барсук.

— Страшно,— сказала Катя.— Человек, убивающий своим изображением после своей смерти, не может быть истинным основателем города.

— Глупости,— снова заявил Барсук.— Основателем города может быть любой сильный и решительный человек... Александр Македонский... Петр Первый... Комсомольск-на-Амуре,— улыбнулся Барсук.

Они неторопливо осматривают темные странные экспонаты. Останавливаются — на высокой подставке в большой стеклянной банке стоит фиолетовый «циклоп». Его глаза во лбу закрыты. Катя смотрит с отвращением. Барсук — с восторгом.

— Пойдем,— тянет его Катя за рукав.

— Подожди, дай посмотреть,— Барсук приник к банке.— Я такого еще не видел. Здорово, да?

— Отвратительно,— сказала Катя.— Это нельзя выставлять на обозрение. И смотреть на это стыдно.

— Ну вот, все у тебя стыдно, отвратительно и страшно. Тебе бы всю жизнь смотреть на Аполлона и Венеру Милосову.

— Милосскую, — поправила Катя. — Барсучок, отчего ты такой дремучий?

— Дремучий, — передразнил Барсук. — Настоящий мужчина должен быть груб, волосат и... вонюч! — Барсук победно улыбнулся.

— *Australopithecus africanus*, — равнодушно определила Катя, медленно идя вдоль экспонатов, которые она видела не раз. — Люди должны оставлять после себя красоту. Это единственное, чем человек может оправдать свою жизнь.

— Так Петр Первый сколько после себя оставил дворцов и парков!

— Да, но все это воздвигнуто на костях людей. Весь город стоит на костях людей.

Они останавливаются возле стенда с оружием: мушкеты, сабли, пики, алебарды, аркебузы, луки, стрелы, какие-то диковинные ножи...

— Моя бабушка, — продолжала наставительно Катя, — говорила, что в России всякая деревня или город могут устоять против врагов и жить долго, если там есть хоть один праведник.

— Праведник! — усмехнулся Барсук. — Это кто всегда прав? Тогда это я! — постучал он себя по груди.

— Нет, праведник тот, в чьем сердце нет ни злобы, ни зависти, ни страха.

— Так это ж опять я! — расплылся в улыбке Барсук, принимая величественную позу.

— Иди, праведник, — Катя шутливо шлепнула Барсука по вихрастому затылку.

Беседка — гостеприимный приют уединения — стояла на крохотном островке гладкого пруда, и сюда к нему с нескольких сторон тянулись тонкие, без перил, почти игрушечные, ажурные мостки.

Катя шла по одному из таких мостков к беседке, Сергей притотстал.

— Я получил письмо от мамы, — сказал Сергей, балансируя руками.

Катя смолчала.

— Она пишет, — настойчиво продолжал Сергей, — что они хорошо устроились в Бресте... Живут в том доме, где размещалась немецкая делегация во время совместного парада... помнишь, дядя Володя рассказывал? Что ты молчишь? Ты считаешь, что я был не прав, когда... отпустил Лизу?

— Ты прав, папа, и мама права, и дядя Володя прав... и... все вокруг меня правы насквозь. И я рада за всех вас. А я кругом не права... Но свою неправоту я никому не отдам. Ни за какие коврижки. За свою неправоту я буду царапаться и кусаться.

— Нехорошо, дочка, ты озлобляешься... Почему?

— Это не злоба, папа. Это отчаяние...

Сергей помолчал размышляя.

— Ты помнишь, — сказала Катя, — у нас была соседка Леночка? Когда она умерла в больнице от скарлатины, вы с мамой долго скрывали это от меня. А я знала об этой смерти с самого начала, с первого часа. И я думала: как долго вы будете это скрывать. Я не испугалась этой смерти... я почти возненавидела всех живущих... Они ничего не понимают в своей жизни. Если мы все — и плохие, и хорошие — должны когда-нибудь исчезнуть, тогда нам всем ничего не остается, как любить друг друга... Быть нежными друг к другу, прощать...

— Прощать, — повторил Сергей. — Я буду делать это каждый день, когда узнаю, кого прощать, за что и как... Ты очень похожа на свою бабушку... Она всю жизнь мечтала о том, чтобы люди научились любить друг друга... И вот... одна память осталась.

— Память? — приостановилась и обернулась Катя. — Это очень много. Бабушка говорила, что у дикарей — короткая память, а у цивилизованных людей — долгая... Я думаю, что память живет не в голове и не в книгах, а в сердце.

Катя прыгает с мостика красиво и ловко, Сергей — неуклюже — за ней.

Оглушающий рев мотора обрушился на них. Большая тень пробежала по воде и низко, почти касаясь крыши беседки, пронесся истребитель «Чайка». Мелькнула красная звезда на зеленом фюзеляже.

Катя и Сергей проводили истребитель взглядом.

— Ты полетишь в Москву на самолете? Сергей кивнул.

— Завидую, — вздохнула Катя и улыбнулась: — Только не смотри вниз на землю, а то голова закружится.

С берега кричит и машет мальчишка с велосипедом:

— Ка-а-тя! Ка-а-тя!

— Это, никак, Барсук тебя ищет? — прищурился Сергей. — Смешной парень.

— Он хороший, — сказала Катя. — Когда арестовали дедушку, учительница хотела устроить комсомольский суд... Барсук не боялся встать против всех. Он сказал, что напишет Ворошилову. Она испугалась.

— Почему ты мне ничего об этом не говорила?

— Зачем? У тебя своих забот хватало. И потом, папка, ты сам говорил: много будешь знать — скоро состаришься. Я пойду? Встретимся как обычно?

Катя легко, почти не касаясь мостика, перебежала на другую сторону пруда.

— Салют, камарад! — заулыбался Барсук.

— Салют! Всё педали крутишь? Дурацкое занятие.

— Кому как. Я и дурацкое дело могу по-умному делать.

— Ну, Барсучок, ты умнееешь не по дням, а по часам.

— Вот,— достал Барсук из-за спины венки из желтых одуванчиков.— Это тебе.

— Дурачок,— сказала Катя,— я такие не ношу.— Взяла венки и надела ему на голову.— Поехали.— Катя вспорхнула на раму.

Они едут по парку, лавируя между редкими одиночками и парами гуляющих.

У одной из полян Барсук притормозил. Группа курсантов Осоавиахима, человек семь, отработывали ружейные приемы деревянными винтовками.

Среди курсантов — Фурман, он выглядит не к месту. Под наблюдением отставника взводного Фурман колет чучело.

Взводный одет в гимнастерку. Кисть левой руки — черный протез. Взводный двигает и жестикулирует только правой.

Фурман плотно закрывает глаза и то и дело промахивается. Курсанты смеются.

Взводный командует «отставить». Семеро курсантов неуклюже становятся «смирно», приставив деревянные винтовки к ноге. У белобрысого курсанта с висячим чубом слегка треснул приклад. Он переворачивает винтовку дулом вниз, отламывает от приклада мешающую щепку, выкидывает. Взводный замечает это.

— Рядовой Бандуров! Прекратить ломку макетного оружия! Фурман, что вы делаете? Зачем вы закрываете глаза? Колоть врага надо с открытыми глазами. Надо смотреть врагу в лицо! Это делается так! — Взводный берет деревянную винтовку у Фурмана, кладет на протез левой руки, правой прочно захватывает приклад.— В штыковом бою нужны точность, глазомер и холодная ярость к врагу. Если враг мчит на тебя всей своей массой, делай шаг в сторону, пропусти врага и коли в спину. Если ты мчишься на врага, коли врага в живот. Делай широкий шаг вперед, затем в сторону, стряхивай врага со штыка и бери на штык следующего врага. Ясно?

Произнося это, взводный исполняет приемы штыкового боя. Он возвращает деревянное оружие Фурману.

— Товарищ командир! А когда мы получим настоящее оружие?

— Отставить разговоры! Оружие добывается в бою! Рядовой Бандуров, исполнять прием!

Взводный замечает Барсука и Катю.

— Дети, не мешайте!

— Пламенный привет энтузиастам Осоавиахима! — крикнул Барсук.

Взводный сделал угрожающий шаг. Барсук с Катей укатили на велосипеде дальше.

— Если будет война,— говорит Барсук крутя педали,— я убегу на фронт.

— Дурачок,— говорит Катя,— тебя могут убить, и твоя мать заплачет себе глаза.

Барсук притормозил у фонтана, и Катя с велосипеда прыгнула на гранитный бордюр вокруг фонтана. Протянула ладони, набрала воды, побырзгала себе на лицо, отряхнула руки, пошла по краю бордюра, пританцовывая и припевая:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Комната Кати. В золотистом гимнастическом костюме она занимается у деревянного станка в ожидании Аглаи.

Звонок. Катя идет в прихожую, открывает дверь. Аглая Борисовна — сухопарая, жилистая, в простом светло-коричневом платье и туфлях без каблука, волосы пучком на затылке — идет вместе с Катей в комнату.

— Здравствуй, прелесть моя,— говорит Аглая без эмоций, почти равнодушно.— Ты знаешь, что началась война? Это ужасно... Ну, допустим, они у себя в Европе с ума посходили, но зачем же нападать на нас? Надо же быть идиотом, чтобы посылать свой народ воевать с Россией... Мне даже жаль их вождя.

— Фюрера? — Катя серьезно смотрит на Аглаю.

— Qui, bien sur¹,— кивнула Аглая, села спиной к пианино, достала из кармана платя коробку папирос, спички, закурила.— Ну, допустим, этот сумасшедший захватит Украину, Крым и что там еще?

Аглая Борисовна смотрит, как Катя садится у окна на маленькую скамейку и надевает желтые пуанты.

— Покажи подъем.

Катя вытянула ступню.

— Надо тянуть пальцы, мне твой подъем не очень нравится... Ну, займет он часть территории,— тем же тоном продолжала Аглая,— а потом? На что он рассчитывает? Даже Наполеон это понял, хотя был немного талантливее... Сегодня на Ситном рынке одна тетка говорила, что скоро на нас начнут кидать бомбы.

— Фугаски,— говорит Катя, подавая Аглае пепельницу-раковину, и снова садится, надевает вторую пуанту.

¹ Да, конечно (франц.)

— Да, фугаски,— коротко рассмеялась Аглая,— эти маленькие фуги. Ну и что? Я не думаю, что этот их... Hitler придет в Петербург... pardonner — moi¹ в Ленинград. А ты как думаешь?

— Фашистов остановят на границе. Или где-то поблизости. Папа так говорил.

— Вот видишь. И отец Сергей так же говорит. Я думаю, Иосиф Джугашвили пошлет своих сталинских соколов, а Клим Ворошилов возьмет своих стрелков и поведет конную армию. И вместе они разгромят и уничтожат врага.

Аглая весело поворачивается к пианино, откидывает крышку и легкомысленно играет и поет:

Когда нас в бой пошлет
товарищ Сталин
И первый маршал в бой
нас поведет!..

Она снова поворачивается к Кате. Катя сидит на скамейке, опустив руки между поднятых колен.

— Вчера я встретила на улице этого вашего композитора...

— Дядю Мишу?

— Да, Фурмана. И он говорит, что тоже собирается в Красную Армию. Я понимаю, у него сорок восемь теток, родственных теток, включая двоюродных, и они ему ужасно надоели. Но это же глупость. Он такой толстый, что немцы сразу в него попадут пулей или снарядом. Им даже целиться не придется... Воевать должны такие,— Аглая Борисовна расправляет плечи, выпячивает тощую грудь.— Гусары, уланы, гвардейцы... А твоего отца не призовут?

— Не знаю,— ответила Катя, вставая и прохаживаясь вдоль станка.— Разве что военным корреспондентом.

— Ну ничего. Может быть, и твоего деда выпустят из лагеря. Офицеры бывшей царской армии, участники гражданской войны, тоже чего-нибудь стоят...

Аглая вдавливая папиросу в пепельницу, ставит на пианино, затем встает, критически осматривает Катю.

— Опустит лопатки. Зажми спину. Следи, чтобы спина не расплывалась. Так. Еще раз пройди. Port de tête².

Катя прошла перед Аглаей от окна к двери.

— Так... Port de tête. Подбородок чуть выше. Так. Un-deux-trois-quatre!³ — Аглая пальцами отстукивает ритм о ладонь другой руки.— Стоп. Представь, ты кошка. Когда ты идешь, ты сама грациозность, изящество...

Подбородок вперед. Зад подтянуть. Пошла. Un-deux-trois-quatre...

Катя останавливается, прислоняется спиной к станку, раскидывает руки вдоль станка.

— Что с тобой, прелесть моя? — спрашивает Аглая.— Сегодня я не вижу тебя и не верю тебе. Где отточность фразы в твоём движении? — голос Аглаи становится сух и резковат.— Ты здорова?

Катя кивнула.

— Тогда давай работать. Еще раз. От угла. En rythme de valse¹.

Аглая садится, играет, повернув голову и глядя на Катю.

Катя исполняет фуэте и па-де-бурэ один раз, второй, третий.

— Так,— перестает играть Аглая,— теперь чуть лучше. Не забывая подтягивать зад, чтобы не за что было уцепиться. Нужно работать, моя прелесть. Нужна школа и еще раз школа, а не так: фик-фок на один бок. Поняла? Попробуем вариацию Одетты, ты помнишь? Начали!

Аглая играет из второй картины «Лебединого озера». Катя танцует.

— Так,— останавливает Аглая,— сейчас уже чище. Попробуй еще раз. Итак, лицом ко мне и обратно... Помни о руках. Подтяни живот и колени.

Аглая играет, Катя дважды исполняет тур.

— Стоп! — Аглая перестает играть, встает. Отбивает ритм ногой.— Начали! Un-deux-trois! Un-deux-trois! Un-deux-trois! Стоп!

Катя садится у стены, одну ногу — под себя, другая вытянута на полу. Аглая у пианино, кисти рук на коленях.

— Ты мне сегодня не нравишься. Что случилось? Ты боишься войны?

— У меня мама уехала,— ответила Катя.

— Ну и что? — Аглая достает папиросу из пачки в кармане платья, но не закуривает, а держит в пальцах, как карандаш.— Я знаю, она усвистала с этим бравым офицером. Ох уж эти бывшие дворяночки с ослабленным материнским инстинктом,— рассмеялась Аглая.— Прости, милая... Когда-то еще девочкой я занималась у старика Иогансона. Старик ужасно сердился, если кто-то оправдывал лень личными обстоятельствами... Человек, живущий искусством, может жить только в искусстве, но не в личной жизни. Балет — это драма, пластическая драма сама по себе. И если ты хочешь жить, как живут все они,— оставь балет... Поверь мне, старухе, я вижу дальше, чем ты. У тебя есть данные. Нужно работать каждый день. Помногу. И через три года ты из кордебалета перейдешь в корифейки. Ты — балерина от бога!

— Мама в Бресте,— сказала Катя.— А там немцы...

¹ Извините меня (франц.)

² Подними голову (франц.)

³ Раз-два-три-четыре! (франц.)

¹ В ритме вальса (франц.)

— Я понимаю тебя. Я надеюсь, эти гунны не воюют с женщинами. И у бравого офицера достанет ума отправить свою пассию домой.

Катя пожалала плечами.

— Будем надеяться на лучшее, — продолжала Аглая Борисовна. — Помню, в ноябре шестнадцатого года я получила известие, что мой муж погиб на германском фронте... В тот день я должна была танцевать у Фокина в «Ученике чародея» на музыку Поля Дюка...

— И вы танцевали?

— И я танцевала... Так что, прелесть моя, зажим свое сердечко в кулачок и — работать, работать.

Аглая поворачивается к пианино, кладет незажженную папиросу в пепельницу.

— Вариации Одетты... Держи лопатки и подтягивай зад...

— Аглая Борисовна, — спросила Катя, — а если гунны придут сюда, вы уедете?

— Куда? — удивилась Аглая. — Куда я могу уехать? Я — свая этого города. И здесь я останусь. Со времен Петра Первого тут твои и мои предки. Так что, милая, нам с тобой деваться некуда... Надо работать, радость моя, надо работать. Чем больше мы работаем, тем слабее наш враг. Начали!

Аглая играет и, повернув голову, смотрит, как Катя танцует.

Катя и Барсук сидят на низкой оgrade памятника «Стережущему» и едят эскиммо на палочке. Мимо спокойно проходят штатские люди, изредка военные. Провезли на лошадях пушку.

— Ты мне давала задание, — сказал Барсук, звучно слизывая языком мороженое, — выучить поэму «Демон» к столетию со дня смерти Михаила Лермонтова.

— Не смерти, а гибели, — поправила Катя.

— Не все равно? — спросил Барсук.

— Для обыкновенного человека все равно, для гения — нет. Гений может погибнуть как человек, но он бессмертен как личность.

— Понятно, — кивнул Барсук. — Я уже выучил двадцать строчек... Завтра еще двадцать выучу...

— Читай, — приказала Катя.

Барсук набрал воздуха и начал декламировать, размахивая мороженым:

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блестал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,

Познав жадный, он следил
Кочующие караваны

В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

— Все! — широко и победно улыбнулся Барсук и откусил мороженое. — «И много всего припомнить не имел он силы...» А что такое чистый херувим? Это ангел, что ли?

— На небесах, — объяснила Катя, — есть серафимы, херувимы и ангелы. Серафимы — это любовь, они носят красные одежды. Херувимы — это мудрость, они носят желтые или голубые одежды. Ангелы — это гвардия небес, они носят белые одежды. У серафимов — шесть крыльев, у ангелов — два.

— А у херувимов — четыре, как у стрекозы, — решил Барсук.

— Дурачок, это же не как в жизни... Ты учил «Пророка» Пушкина. Там к поэту в пустыне слетел шестикрылый серафим и вырвал ему язык, уши и сердце...

— Вот зверь, — посочувствовал Барсук.

— Нет, серафим дал поэту возможность увидеть, услышать и понять все, что происходит в мире. Потому что человек от рождения груб и нечуток.

— Откуда ты все это знаешь?

— Бабушка рассказывала...

— А теперь она с кем там, на небесах?

— Бабушка с серафимами, потому что бабушка очень любила всех... Когда человек любит, он обретает особую духовную силу...

— Любовь — это глупости, — заявил Барсук, — а вот мудрость — это здорово! Хотел бы я быть херувимом, как Демон. Все знаешь, и есть четыре крыла. Вкусное мороженое, — Барсук отбросил облизанную палочку эскиммо. — Что же твой отец не едет?

— Сейчас приедет. Ему дали попутный грузовик до аэродрома. А вообще-то ты молодец, Барсучок, — похвалила Катя. — Двадцать строчек выучил! Но память у тебя хиловата, — вздохнула она. — Слабоват ты на голышку.

— А что по этому поводу говорила твоя бабушка? — хитро прищурился Барсук.

— В таких случаях моя бабушка говорила, что дуракам везет.

— Понятно, — согласился Барсук. — Мудрая бабушка у тебя была... Но когда мне привалит счастье вот столько, — раздвинул он руки на полную ширину, — тогда я тебе отдам вот столько, — показал он.

— Мне так много не надо, — улыбнулась Катя. — Оставь себе — пригодится.

У памятника притормозил грузовик с ка-

кими-то ящиками в кузове. Катя вскочила с ограды. Из кабины вышел Сергей.

— Ну вот, дочка, лечу в Москву,— Сергей посмотрел по сторонам, избегая смотреть Кате в глаза.— Как только сдам фильм, сразу вернусь. Не скучай без меня.— Он помолчал.— Будь умницей.— Наклонился, поцеловал Катю в голову.— Если будет письмо... от мамы,— соврал он,— так ты напиши ей сразу же, хорошо?

Катя кивнула.

— О дедушке постарайся узнать,— сказала она.

— Постараюсь... Барсуков! — позвал Сергей.

— Я! — вытянулся Барсук у ограды.

— Я на тебя надеюсь.

— Сергей Павлович, но пасаран! — Барсук поднял у плеча сжатый кулак.

— Салют, камарад! — ответил Сергей тем же жестом.

Сергей не оглядываясь забрался в кабину. Грузовик тронулся с места и покатыл к мосту. Катя и Барсук смотрели вслед.

— Пойдем в зоопарк? — предложил Барсук.

— Пойдем,— равнодушно согласилась Катя.

Справа — старинный буфет чуть не во всю стену и от пола до потолка, с резными дверцами, башенками, зверями и птицами.

На стенах — множество фотографий в овальных и прямоугольных рамках — дамы, офицеры, сановники и сама хозяйка в балетных сценах. Несколько открыток с видами итальянских красот.

На стене у двери висит серый диск радио. Посередине комнаты — круглый стол, покрытый скатертью. Чашки, сахарница с ярко-белым, блестящим колотым сахаром, вазочка с печеньем.

Катя, заложив руки за спину, рассматривает фотографии и открытки. Аглая Борисовна входит с чайниками в руках, ногой закрывает за собой дверь, ставит чайники на буфет.

— Я никогда не была в Германии,— сказала Аглая, подходя к Кате и положив ей руки на плечи, чуть обнимая.— Сначала Германия была разорена, а потом пришли фашисты в Германию. Фашисты заводятся от нищеты, как черви в гнилом мясе...

Аглая Борисовна достает из буфета вазочку с вареньем, наливает чай.

— А в Италии? — спросила Катя, садясь за стол.

— В Италии я была сначала с отцом, потом с мужем.

— Там тоже фашисты,— задумчиво сказала Катя,— скоро во всем мире будут фашисты... Зачем?

— Вот,— рассмеялась Аглая,— а в Италии фашисты от песен и от скуки... Мой дед был историк-античник. Он говорил, что на всем протяжении человеческой истории в Европе всегда так: то демократия, то тирания, а то одновременно и то, и другое... Демократия заводится от сытости, тирания — от нищеты... А тогда в Италии было хорошо... до первой мировой войны... Хорошо и уютно.

Они пьют чай.

— И такое, помню, было ощущение,— продолжала Аглая,— будто живешь на границе между прошлым и будущим и не знаешь, откуда придет беда и страх... Эпоха гармонии и красоты, говорил мой дед, исчезает раньше, чем мы все это замечаем... А когда мы заметили — уже поздно: ничего не осталось ни от гармонии, ни от красоты. Потом придется нам собирать по кусочкам, как скелет мамонта, и — в музей... Чтобы люди представили, что и минувшая жизнь была не совсем плоха...

— Эпоха,— задумчиво сказала Катя,— такое интересное слово... Эпоха... Дедушка говорил, что времена меняют друг друга, как цвета спектра... Было время любви, теперь приходит время войны, потом придет время ненависти... и тогда у человека не останется никаких чувств, кроме чувства страха.

— Ты поменьше думай про эти разговоры,— шутливо рассердилась Аглая,— а то раньше времени станешь философом... Для женщины философия — это отравла...

Катя задумчиво мешала чай ложкой.

— А вообще-то они были правы,— улыбнулась Аглая.— И отец Сергей прав. Он пытается защитить последнее, что всем нам осталось — доброту и милосердие.

У рavelина Петропавловской крепости Катя сидит на берегу около воды, рассеянно выбирает лежащие рядом камешки, бросает в воду, смотрит на расходящиеся круги.

Тут же, на песке, у ног ее — деревянная коряжка, «чертов леший»: некогда участник мирных застолий.

Катя разговаривает с ним и после каждой фразы бросает камешек в воду.

— Мама в Бресте. Никаких известий. И немцы в Бресте. Там война. Отец Сергей улетел. Никаких известий. Дедушка в тюрьме. Никаких известий. Барсук пропал. Никаких известий. Я осталась одна. Никаких известий...

Катя перестает бросать камешки, обхватывает руками колени, кладет подбородок, смотрит на воду поверх деревянной коряжки...

— Пришел конец всем твоим сказкам, еловый сучок... Я расскажу тебе последнюю... Жила-была девочка... не маленькая, не боль-

шая, но умная и красивая. Ее все любили: и дедушка, и бабушка, и мама, и папа. И даже старуха, злая Аглая, будучи доброй, и та любила девочку Катю... И все они были счастливы и добры... И вот приползла беда. Выросли страхи страшные и стали эти страхи людей поглощать. Дедушку поглотила темница, бабушку поглотила могила, маму поглотила любовь, папу поглотило небо... И осталась девочка одна. Хотела она смеяться — смех застыл. Хотела плакать — слезы замерзли... Но был у девочки деревянный друг — еловый сучок по имени «чертов леший». И сказал ей чертов леший: «Отпусти меня, Катя, на все четыре стороны. И пойду я по белу свету искать слово волшебное. От этого слова беды-страхи распадаются и все любимые возвращаются... На семи цепях приковано, в тридцати подземельях спрятано, это слово волшебное до сих пор живет. До сих пор живет — освободителя ждет». И сказала ему девочка: «Ты иди, сучок, ты иди, еловый, ты найди это слово и мне принеси... И вымету беды, и выполю страхи, и любимых верну всем, кто терпит и ждет...»

Катя взяла коряжку, подержала в руке и бросила в воду. Коряжка нырнула, потом выпрыгнула на поверхность воды и медленно поплыла в сторону.

— Девочка!

Катя повернула голову. За ее спиной стоял военный.

— Что ты здесь делаешь? Иди домой.

Катя молча поднялась и пошла вдоль берега.

Прихожая квартиры Бестужевых. Катя в огромной черной шали, наброшенной на золотистый гимнастический костюм, разговаривает по телефону. Голос ее сух и хрипл.

— Да... я знаю... уже знаю... мне звонили... погибли все... И экипаж тоже... Нет, я никуда не собираюсь уезжать... нет... никуда... я вам потом позвоню.

Она положила трубку на аппарат, прислонилась к стене, закрыла глаза.

Дверь прихожей открывается, сначала просовывается велосипед, затем появляется Барсук, одетый по-дорожному, и за спиной простой вещевой мешок.

— Салют, камарад,— говорит Барсук.— Ты опять дверь не закрываешь? Тебе отец что говорил? Закрывай двери, когда остаешься одна.

Барсук прислоняет велосипед к стене. Катя медленно идет в свою комнату, Барсук за ней.

— Я убегаю на фронт,— неожиданно объявил Барсук.— Оставил матери записку и вот... зашел проститься...

Он проходит за Катей в комнату. По радио исполняют песню:

А ну-ка, девушки,
А ну, красавицы!
Пускай поет о вас страна.
И звонкой песнею
Пускай прославятся
Среди героев ваши имена.

Катя несколько мгновений слушает, прислонясь к стене, затем срывает радио с гвоздя, медленно опускает вниз.

— Говори, Барсучок...

— Ну вот, я убегаю на фронт... Матери я оставил записку...

— Записку,— медленно повторяет Катя.— А оружие у тебя есть?

— Ну... это... оружие добывается в бою! Катя смотрит на него, потом подходит ближе, целует в щеку.

— Ты чего? — Барсук вытирает щеку ладонью.

— Так полагается,— говорит Катя, смотрит на него, затем медленно идет к своей кровати, наклоняется, достает из-под кровати корзину с игрушками, садится на корточки, вытаскивает на пол плюшевого медведя, двух кукол, заводной мотоцикл, еще несколько игрушек и, наконец, извлекает пистолет.

Катя поднимается, несет пистолет, держа его за дуло, протягивает.

— Откуда у тебя это? — удивляется Барсук.

— В гражданскую войну,— говорит Катя подчеркнуто спокойно,— мой дед с этим защищал революцию... Теперь твой черед, Барсучок... Иди...

Барсук недолго размышляет, куда засунуть пистолет, прячет за пазуху.

— Ну... это... спасибо... я пошел. Да, моя мать, наверно, прибежит к тебе... так ты, значит, успокой ее...

— Успокою...

— Я написал в записке, что отдаю тебе велосипед. Мне он пока не нужен. Вот вернусь, потом... Только там у заднего колеса ниппель плохой, надо подкачивать или заменить ниппель, я не успел.

— Я замену ниппель,— эхом отзывается Катя.

— Ну вот... прощай.— Барсук неловко подходит к Кате, неловко обнимает ее. Поворачивается уйти, но останавливается, что-то вспомнив, улыбается.

— Я выучил,— говорит он,— поэму «Демон».

Барсук встает по стойке «смирно», решительно и громко декламирует:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой

И вновь грозящую разлукой.
Клянусь сонмищем духов,
Судьбою братьев мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянусь небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовь мою...

Голос Барсука постепенно падает — по лицу Кати он понимает, что случилось. И эта траурная шаль... Но Барсук доканчивает:

Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не тревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я верить добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!

Некоторое время они молчат. Затем Катя, печально покачав головой, говорит нараспев:

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог,
Промеж Тульской,
Рязанской, Владимирской,
И бугор земли серой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили...

Барсук некоторое время молчит. Затем хочет что-то сказать, но, не сказав ни слова, выходит. Катя не двигается с места. В при-

хожей слышны шаги, в открытую дверь входит Фурман в военной форме.

— Куда это твой велорикша намылился по-походному? — спрашивает Фурман преувеличенно бодрым и оживленным голосом.

Он смотрит на Катю, понимает, что она уже все знает, проходит в комнату, садится у пианино. Несколько секунд он тупо смотрит на ноты.

— Почему ты не плачешь? — спрашивает он не оборачиваясь.

Катя отходит от стены, прислоняется спиной к станку.

— Когда вы уходите на фронт? — спрашивает она.

— Вечером с Витебского вокзала, — глухо отвечает Фурман.

— Дядя Миша, — говорит Катя со страшным спокойствием, — если у вас есть время, поиграйте мне немного. Я хочу порепетировать вариации Одетты... пожалуйста...

Катя вешает на станок черную шаль, встает в позицию.

Фурман пытается играть, сбивается и начинает снова. Катя терпеливо ждет.

— Не могу, — говорит Фурман, — у меня сводит пальцы... Почему ты не плачешь?! — он с силой ударяет кулаком по клавишам.

Катя подходит к нему, смотрит в лицо:

— Потом, дядя Миша... я потом поплачу... вместе со всеми... когда пройдет война...

Фурман начинает играть, снова сбивается. Катя пытается танцевать, но не может. Она берет шаль и завешивает большое зеркало.

— Тебе надо уехать, — говорит Фурман, — тебе непременно надо уехать.

— Я не могу уехать. Здесь мой дом. Я никогда отсюда не уеду... Если я уеду, этот город погибнет...

Фурман играет, Катя исполняет нужные ей фигуры, застывает в арабеске. На лице ее — улыбка...



**Сергей
БОДРОВ**

**Ирина
ВАСИЛЬЕВА**

ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА

(Хрущев, Брежнев и др.)

Городок был степной, низкорослый, пыльный. Много гипса в свое время ушло на его украшение, на штампованные скульптуры, урны, колонны. Впрочем, в гипсовые времена участь многих начальников была бы решена за эту абстрактную стелу с опояском из букв «Ударный труд году пятилетки», с пустотами вместо цифр, которые либо осыпались от жары, либо еще не были приклеены с начала года. Теперь этого никто не замечал... Годы бегут, а ударный труд вечен.

Перед дождем воздух уплотнился. Мяч лениво катался по футбольному полю неказистого стадиона, за ним без азарта трусили игроки, били изредка, наугад. Приезжая команда щеголяла в гетрах, сельхозтехникум повязал на шею косынки — иных отличий не было. Игра тянулась унылая, трибуны мелели. По воздуху летала соломенная шляпка.

Вратарь в гетрах с независимым видом привалился к штанге. У противоположных

ворот вратарь, наоборот, согнулся пополам, расставил руки и жадно ждал мяча.

За игрой следили сверху двое взрослых. Старший, маленький, толстый, вытирал платком лысину.

— Все-таки ты на Никиту похож, — заметил ему сосед.

— Похож, похож... Ты-то на кого похож?

— А чего ты обижаешься? Мне он лично нравился.

— Помер — две строчки написали! — презрительно сказал Барабаш. — Напорол он в нашем деле. И вообще я его не любил.

— В нашем деле многие напоролы — вздохнул сосед.

— А я при всех работал, — взглянув сбоку на соседа, сказал лысый. — Потому что крестьянин должен быть умный и хитрый. Такой, как я. Иди ко мне заместителем. Помру — станешь хозяином. Тебе сейчас сорок? Ну, в шестьдесят...

— Поздно.

— Самое то! Бабы интересоваться не будут, водку пить врачи запретят, чего еще останется делать? Командовать! Соглашайся, Рожков,— лысый душевно приобнял черно-волосого с ранней проседью соседа.— А то затопчу. Вот такая у тебя перспектива...

Во время разговора на поле произошла замена. Новенький был в вылинявшей растянутой футболке под номером. Так он и забегал один пронумерованный. Пятьдесят первый. Он и забил первый мяч в ворота гостей — высокомерный их вратарь даже не успел оторваться от штанги. Игра сразу ожила.

На трибунах появилась женщина с башней волос на голове. Стала пробираться к мужчинам.

— А я-то думаю-гадаю, где наши гости дорогие,— запела она.— Игнат Афанасьевич, вы уж скажите слово на торжественной части...

— А банкет будет?

— Для вас — о чем вы говорите!

— Во Рожков, нехай он и свистит,— лысый подначивал.— Ему нужней. Мои куда от меня денутся? Кто их ужинает, тот их и танцует.

Пятьдесят первый гнал мяч, но вдруг упал. Что-то беспомощное мелькнуло в его падении, в том, как он тер колено.

— Кто это? — подошла директриса к судье и отобрала у него свисток.— Рябчука на поле, а этого сюда.

Хромая, отряхиваясь, Пятьдесят первый брел под конвоем.

— Девушка должна быть девушкой! — директриса ахнула, угадав под футболкой бинты, перетянувшие грудную клетку.— Будущая женщина, мать!..

— Бабушка, прабабушка, что еще? — оттолкнул ее Пятьдесят первый, на ходу размазывая бинты, направился к раздевалке.

— Диденко, куда? Вон женская, совсем уже!

— Раздевалась-то я тут!

— Ох, Валентина, что с тебя будет!

Тут их догнали Барабаш с Рожковым.

— Гляжу, что за хлопчик,— Барабаш со смехом прижал к себе Валентину.— Думаю, как бы мне такого заарканить. А это моя Валюша, совхоз «Большевик», Советский Союз. Какие, Валюша, проблемы?

— Отвернитесь. Не видите, переодеваюсь,— она угрюмо сматывала бинт из-под футболки.

— Говорю ей все время как мать,— включилась директриса.— Будь порядочной, по крайней мере, образованной, культурной.

— Хорош, а! — скривилась Валентина.— Надоело.

— Пусть меня хоть режут, ни одной больше на механизацию не приму — это же изуродование! — сказала директриса.

Футболисты возвращались с поля. Валентина, прихрамывая, побежала навстречу.

Здание техникума, возведенное в начале пятидесятых, являло тогдашний образ богатства и процветания и было украшено лепниной, мозаикой, колоннами. Над входом висел транспарант: «Выпускник! Всенародный каравай 1974 года ждет твоего вклада!»

В актовом зале было полно народу, цветов, плакатов, на сцене стоял портрет Брежнева, а по рядам гуляла соломенная шляпка — зал жил своей жизнью. Президиум старался по возможности не замечать шляпки, гула, возни и перемещений, и Барабаш, потрясая руками, толкал речь, в которой сплетались скорое распределение, забота государства, мир на земле, борьба за урожай и все, что положено в таких случаях.

Сашка-вратарь, придерживая карман, выбежал из техникума и припустился в парк. В плотной листве гукали горлинки, одушевленно шевелилась и ворочалась буйная южная природа. Еще по срокам весна, но уже зрелая, с большими нахальными цветами, с пряными запахами.

Добежав до белой со шпилем маленькой пристани ОСВОДа, Сашка оказался в заветном месте у ивы. Ребята давили бутылку перед танцами, Валентина записывала слова блатной песенки, которую кто-то напевал под гитару: «Ты обещал мне любовь и славу и все манил меня, манил куда-то вдаль...»

— Давай штукатурься,— Сашка с налету рассыпал перед ней помаду, тени, тушь.— А то игру не засчитают. Тебя их вратарь приметил, бегаешь — глаза по восемь копеек, ищет.— Сашка посадил ее перед собой, грубо замнул помадой по губам.

Парни посыпались с веток...

Они рисовали на ее лице, как на бумаге. «Ну куда, куда глаз повел?! Размахнулся на пол-лица. Ее с такими фарами вообще к техникуму не подпустят... А фиолетовое куда? Моя Надья здесь мажет, а тут зеленым... Мажь, кашу маслом не испортишь. Валь, за тебя теперь спокойно по шее можно отовариться. Может, тебя на танцы пригласить?..»

— Какие танцы? Там Барабаш на всю планету,— Сашка пукнул губами,— звуки, словно кастаньеты. С овощеводок штукатурка сыплется. Потом новый, из «Розы Люксембург» — все вообще отпали: я, говорит, в ножки поклонюсь, кто ко мне поедет. В «Розу» кто к нему поедет?.. А ты ничего,— сказал он на прощанье, оглянувшись на Валентину.— Туши фонарь, давай знакомиться. Но с нами не ходи.

И они перелезли через стену. А она осталась. Ловила свое отражение, качавшееся на воде вместе с окурками, пустой бутылкой...

Где-то на танцплощадке бас-гитарист, настраивая инструмент, палил аккордами.

Неестественно покрашенная Валентина бродила одна и боялась приблизиться к ошеломленному звучащему пятачку и вдруг столкнулась с Рожковым.

— Ты что не там?

— Где?

— Где все.

— Та-а,— она небрежно повела плечом.

— Поедешь со мной? — предложил просто так Рожков.

— С какого горя? — И вдруг взглянула на него прямо: — Я вам что, понравилась?

— Понравилась.

— С первого взгляда?

— Ну, допустим.

— Как женщина?

Рожков удивился.

— Это вы, что ли, говорили, что на колени встанете, кто к вам поедет? — она почувствовала точку и нажала еще: — Ну, на колени — и по рукам.

— Во-первых, я сказал, что в ножки поклонюсь. А во-вторых, то, что говорится со сцены, не обязательно...

— Знаю,— усмехнулась она и, скупая, отвернулась.— Все вы врите.

Их догнал парень, вратарь из чужой команды, обошел с мячом, развернулся и вдруг ударил. Валентина среагировала автоматически — отбила мяч.

— Попалась, нападающая! — он поймал мяч.

Она тут же выбила мяч, ловко повела его в глубь парка, а парень бросился за ней. Рожков смотрел, как до самого изгиба дорожки мяч, как провинившийся, бился и метался между двумя парами ног и развешивающихся клешах. Так они и скрылись за поворотом, махая руками, кружась, шаркая.

— ...Целоваться ты хоть умеешь? — спросила она, когда мяч скатился в воду.

Запыхавшийся вратарь, красивый малый, немедленно приблизился, заправляя выбившуюся рубашку.

В глубине парка, за сахарным строением ОСВОДа, где кончалась известняковая стена, на воде у затопленной ивы покачивался футбольный мяч. Валентина целовалась с заезжим вратарем...

Над весовой кружились чайки, залетевшие с близкой воды, и местные воробьи. Машины с зерном въезжали на весы, шофера заходили к весовщице, зачерпывали кружкой воды из ведра, а миловидная беременная хозяйка записывала цифры в тетрадь.

Зашел Рожков. Хозяйка прикрикнула:

— Закрывай занавеску, Миша, налетят.— Она лениво встала из-за стола, взяла полотенце и стала крутить им в воздухе.— Надоели,— капризно прибавила обо всех разом.— Все ходят и все не задегивают.

Рожков полез в стол и достал кусок пирога.

— Не хватай куски,— попрекнула тут же весовщица.— Я для кого борща готовила?

— Так... второе поле, третье, Тайвань,— Рожков полез в тетради, запивая пирог водой.— А где сегодня Тайвань?

— Что роешься? Все мне перепутаешь! Не ездили с Тайваня. Ни одной машины.

— Что же ты молчишь?

— А мне кричать? Один обпился, другой загулял! Караул! Ты-то что трепыхаешься? Зарплата идет.

— Что-то ты совсем у меня, Рита,— Рожков погладил жену по голове и пошел к выходу.— Ну ничего, поработай еще немножко. Я тебя скоро к теще отправлю. Отдохнешь там.

Перед Рожковым по шоссе шел грузовик, вез с поля безучастных, коричневых и блестящих женщин. Рожков хотел обогнать, но узнал в крайней Валентину и слегка сбавил скорость. Она повернулась, но он не понял, узнала ли она его, и, когда грузовик притормозил среди дороги и она единственная перелезла через борт,— он тоже остановился. Тут бабы ожили, закричали что-то, засмеялись и уехали.

— Что со мной не поехала год назад?

— Мало уговаривали,— Валя пожалла плечами.

Брат торчал из-под комбайна. Удивился, увидев рядом с Валентиной Рожкова, вылез.

— Новый? — спросил тот про комбайн.

— То-то и гадость. Весь трэба перебирать.

— Не ценит Барабаш кадры. Я бы вам лучшую машину, лучшие поля. Заработали бы.

Брат с любопытством глянул на Рожкова:

— Сигареточка есть?

Рожков угостил.

— Отлично бы смотрелись: семейное звено Диденко! Я бы вам помощников...

— О! Как в цирке! — захохотал брат.—

Десять мужиков под одной фамилией. Я, когда наивный был, думал, правда братья. Как говорят, все люди братья.

— Квартиры строю...

— Нам не трэба.

Разговор был пустой. Рожков на прощанье поделился глазами с Валентиной, она пошла было за ним, но брат зло бросил вслед:

— Я пока еще на голову не падал, чтоб от Барабаша к тебе бегать.

— А что ты с Барабаша имеешь? — так же зло спросила Валентина.

— Что с Барабаша не имею, то и с этого иметь не буду. Все брешут. Руки бы поотрывать! — он пнул комбайн и полез под него.

Валя забралась в высокую кабину. Наполовину убранное поле. Жара. «Рабочий полдень» по заявкам сельских тружеников, оперная ария из транзистора, полная рыданий и смертельной тоски. И фигура Рожкова, удаляющегося по стерне к дороге.

...И Валентина, бегущая следом.

За железными воротами с надписью «Колхоз им. Розы Люксембург», символически обозначавшими мехдвор, среди машин и комбайнов мелькал Рожков, окруженный людьми. В его газике сидела, разморившись, Валя.

— Где горючку добывать будем? В районе пусто, по крайней мере, для нас.

— Стало быть, в Арабских Эмиратах. Кризис-то от них, — сострил кто-то и все засмеялись.

— Объективная причина, объективная, — загадела.

— У нас праздник. Неубранного урожая. Народный.

— Не, в сухомятку не праздник. Завез бы чего в магазин. Вон раньше был председатель — бочку водки на жатву ставил. Это был председатель недерьмовый!

Валентине прискучило разглядывать сиротливый мехдвор, механизаторов. Она вышла из машины и едва не была сметена оравой дунущих врассыпную с выпученными глазами людей. Двор опустел мгновенно.

— Чего стоишь? Выбирай комбайн, — подошел Рожков, сел в машину и включил рацию. — Зинаида, звони в райпо, чтобы завтра была цистерна пива. Две, Зина, поняла? Две.

Рация ответила нечто нечленораздельное. Он устало оглядел Валю.

— Улыбнись-ка. Улыбнись, улыбнись.

— Дареному коню... — она повернулась и пошла вдоль комбайнов.

— Зинаида, три. Три, окончательно.

К машине с надписью «Пиво» на круглом боку шел народ с банками, крынками, канистрами. «За причастием», — говорили старухи. И действительно, прежде чем получить пиво, нужно было сдать директору свой «грех» — масло, солярку или бензин, для чего стояли три бочки. Вооружившись приборами, Рожков лично проводил экспертизу, чтоб чего не подмешали.

— Побойся бога, Алексеевич, — сипло роптала очередь. — Один к десяти — это грабеж.

— Жалуйся шейху. Овес нынче дорог.

— Я уж лодочный мотор даже опорожнил и мотоциклетку выжал.

— Изыскивай внутренние резервы.

— В дом таскал бесплатно, а из дома — дорого, — говорила секретарша Зина, отмеряя пиво. — Гоня, гони должок.

— У тебя родни сколько в «Большевики», и все с машинами.

— Так чужие набегут. Вон уж с отделений едут.

Народ, действительно, прибывал, все больше на лошадях, на телегах.

И уже стояли вдоль дорог с пустыми канистрами, ловили проезжих. Не остановили только милицейскую машину — и зря: учуяв неладное, она завернула на центральную усадьбу, и, тоже люди, парни в голубых рубашках сидели с народом на траве среди раскинутых скатерок и злоупотребляли служебным положением. Праздник был организован продуманно, по всем правилам народного гуляния, тут же под руководством пьяного тренера проходили спортивные состязания, клубный работник отрешенно играл на гармошке. И все еще несли солярку, бензин, и лилось пиво, и, чокаясь, мужики говорили:

— Ну, Петро, слава аллаху!

А беременная и трезвая жена Рожкова боялась:

— Ой, Миш, найдется гад, наступит.

— Я двадцать раз на дно инструкцию нарушаю, — махнул рукой Рожков.

У края поля несколько механизаторов окружили Рожкова.

— За что?! — кипел пожилой механизатор, показывая вытянутой рукой на комбайн, уходивший по полю. — Она — кто? А я — кто?! За что, Алексеевич?!

— Ненадолго, — Рожков дружелюбно хлопнул его по плечу. — Она ж скоро именной получит. В деньгах не потеряешь, гарантирую.

— Михаил Алексеевич! Что, ударник нужен? Так и скажи!

— Нужен! Нужен! — сказал Рожков. — Надо, чтоб нас заметили, мужики. Без козырей не играют, сами знаете.

— Так что тебе свои личиком-фигурой не удались? Давай лучшее поле, лучший комбайн — и пойдем все на одного вальть.

— Вы ж подвести можете... А она — нет.

— Это почему?

— Непьющая, — пошутил Рожков.

Валентина поставила комбайн и тяжелой походкой усталого человека, настороженно глядя на людей, направилась к председателю. Он обнял ее за плечо, и так они стояли глаза в глаза с народом — ключиче были глаза, налитые невысказанным.

— Разозлились?! Я злых уважаю, сам злой, — сказал Рожков.

— Перегорела злоба, — буркнул кто-то.

— Пойдешь напарником? Пойдешь? —

спрашивал он одного за другим.— А ты?

— И так всю дорогу на дядю вкальываешь. Еще на тетю...

В летней кухне закатывали в банки вишню — мать и жена брата. Сама Валентина сидела в ветвях и пела надрывно, как поют украинки: «Ты обещал мне любовь и славу и все манил меня, манил куда-то вдаль...» Собрала ведро, подтащила женщинам, сказала яростно:

— Все купорите, купорите... Вишни, томаты, абрикосы!..

— Иди ты отсюда,— отмахнулась невестка.— Бензином прет, как от шоферюги.

— Ох, кто ж тебя покохает,— вздохнула мать.— Бедная детыночка!

В калитку зашел Рожков.

— Почему не на работе?!

— Я к вам не нанималась.

— Я твою стипендию Барабашу выплатил. Живо слезай!

— Каждый день за мной на «Волге» будете заезжать!

— А в ножки не поклониться?

— А что — трудно?

И пошли ругаясь к машине.

— Они на меня вон как!..

— Им на тебя плевать! Мне ты нужна.

— Может, вы ко мне в напарники пойдете?..

Женщины с красными от вишневого сока руками вышли на улицу и застали только пыль столбом.

— Що це? — ничего не поняла мать.

— Председатель из «Люксембург»,— объяснила невестка.— Женатый.

— Шо будэ? — испугалась мать.

— Бюст,— рассмеялась невестка.

— Як бюст? — еще больше напугалась мать.

— Валентине бюст,— невестка пояснила круглым жестом.— Бронзовый чи гипсовый.

— Под ключ сдадите! И чтоб ни одного гвоздя у меня не просили! — говорил Рожков черному с ленивой повадкой человеку.

— Гвозди-шмозди! — человек презрительно отмахнулся.— Не хватайтесь за здесь, приходите вчера, получите мукой,— это была шутка.

Был и подарок, завернутый в газету, видимо, бутылка. Она встала на стол перед Рожковым, он отодвинул ее, но зазвонил телефон, и во время разговора бутылка сделала несколько ходов туда-обратно, пока черный человек не скорчил презрительную гримасу и не хлопнул дверью.

— Да, Иван Андреевич, все правильно. Валентина Диденко. Возраст комсомольский. Нет, наша. Дом достраивается — переедет. Да. Считаю, в следующем году пора на об-

ласть выходить. Спасибо, буду держать в курсе. Но уж и вы нас не забывайте. А то я тут обращался с заявками. Так чтоб не выкинули нас, как в прошлый раз...

В кабинет вошел аккуратный человек в нарукавниках и сразу сфокусировался на бутылке, глаз от нее отвести не мог — и потом, когда говорил с Рожковым, тоже все смотрел, сползая взглядом на это завернутое нечто.

— Да, дарагой, да, любимий! — вдруг заговорил с акцентом в ответ на его кроткий взгляд Рожков.— По две в месяц — это, в конце концов, недорого. Все сами достают...

— кто такие деньги вам разрешит платить? Барабаш и тот не платит. Сами знаете, это незаконно.

— Ты бухгалтер или кто? Я что — в карман себе? Мне с места надо сдвинуться! Начать! Любым способом! Потом уже сам поеду — не остановишь. На вот! — Рожков подвинул бутылку.

— Я его не употребляю. Дорого. А для взятки дешево.

— А что тебе — не дешево?

— Ну, если вы им по две в месяц собираетесь платить...— подумав, сказал бухгалтер.

— Ну, не тяни kota за хвост.

— Подписывать придется по две с половиной. Вам — на непредвиденные расходы.— Мне — на страховой фонд. Ревизия, ОБХСС... Риск большой.

— Мне — не надо. Иди и чтоб через месяц я мог людей заселять.

Бухгалтер посмотрел еще раз на бутылку.

— Возьму, пожалуй.

— Не трогай. Теперь из своего страхового фонда будешь пить.

В редакции районной газеты рассматривали фотографии Валентины, еще мокрые, только что напечатанные.

— Эдик, скажи честно, сколько человек на нее работает?

— Хочешь — верь, хочешь — нет, у нее и постоянного напарника нет. Ну, естественно, Рожков ей условия создал, двигатель форсированный...

— Я не понимаю, если есть двигатель форсированный, почему его не поставить всем? — спросила молоденькая и наивная сотрудница.

Вошел главный с рукописью и гневно спросил у Эдика:

— Что это еще за «Тайвань»? Вы соображаете?

— А что? — тот сник.— Местное название, народное. Полуостров. Лучшие поля, с трех сторон вода. Край непуганых влюбленных...

— Как это ты об этом не написал? — сыронизировал главный.— Тайвань! Я понимаю — Керченский полуостров.

— Кольский.
— Таймыр,— стали состязаться в эрудиции сотрудники.
— Но ведь она-то жнёт на «Тайване»,— Эдик стоял за факт.
— Кто тебе «Тайвань» пропустит? — не выдержав, закричал редактор.
— Но ведь это смешно — «Тайвань», — Эдик забеспокоился, уже чувствуя себя идиотом, но упорствуя по инерции.
— «Таймыр» — смешнее, — помолчав, сказал главный и посмотрел в упор.
— Нет,— затравленно сказал Эдик.
— Эдик, я хочу тебе сказать: «Тайвань», «Таймыр» — это все семечки, Эдик. Нельзя так привязываться к жалкому факту жизни. Эдик... А то так и останешься Эдиком... Слушай, сделайшь листок «Девушки, на комбайн» — распоряжение райкома. Да, хотел спросить, она замужем?
— Нет.
— Почему? — спросил главный таким тоном, будто это была его, Эдика, недоработка.

Хлебное поле было только начато, комбайн стоял. Рожков побегал, прежде чем увидел их в кустах.

Валентина, отворачивая лицо от председателя, подкладывала под голову напарнику ком соломы:

— А ты лежи, лежи, не дергайся. Не то опять пойдет.— Она мельком глянула на Рожкова: — Кровь.

— С чего?

— С перегрева,— она пожалала плечами.

Рожков взял ее за подбородок и повернул к себе:

— А у тебя?

Она провела пальцами по щеке, по губам и ничего не ответила, только уставилась в самые его глаза, а губы сами поползли в улыбку.

Рожков подозвал грузовик, приехавший за зерном, и сказал окровавленному пареньку:

— Оклемаешься, пойдешь к Корузлову. Поезжай.

— Я уже в порядке, Михаил Алексеевич,— сказал тот, но Рожков его не слушал, стаскивая рубашу, шел к комбайну.

— Вот я и думаю,— на ходу говорил он Валентине,— подозрительно, целую неделю Диденко не прогоняет напарника. Ах ты, маленькая дрянь, как же ты успеваешь?

Она не обиделась, потому что он сказал это не зло.

— Какое ваше дело? Вы на голову возьмите,— она протянула кепку.— А то и вас хватят. Голова черная.

— Седая. Седая уже моя голова,— сказал он, но кепку надел.

Один за другим подходили грузовики и уходили полными, пока поле не опустело. Чего ей, окаменевшей в душной тряской ка-

бине, и ему, стоявшему наверху, с налипшими на потное тело, забившимися в волосы золотыми плевелами, оно стоило, это последнее поле, только теперь и можно было видеть. Они выползли на землю, сели прямо на колкой стерне и уперлись лбом в лоб.

— Можешь рапортовать,— с трудом разлепив губы, сказала она.— Все.

— Здорово,— хрипло ответил он.

Они разделись в тростниках — она в одном месте, он чуть подальше, в соседней заводи. Тростник скрывал их с головой, но они могли слышать сухой шелест, всплески.

Потом они выплыли на вольное течение Днепра, встретились.

— Здорово?

— Здорово.

— Утоплю тебя.

— Сам утону.

Оба нырнули и боролись в воде, покуда хватило дыхания. Выскочив очумелые, задохнувшиеся.

— У нас одежду не покрадут? Наши тут шутят.

— Кто? Тут никто не ходит. Край непуганных влюбленных.

— Так... так влюбленные...— она задышалась от смеха,— и покрадут!

— Ага, потому что у них самих покрали,— от хохотал.— Другие влюбленные. Потому что у тех тоже...

Они опять ушли под воду, но уже не боролись. Она вынырнула и шарахнулась в сторону:

— Уйди, не подплывай!

Она медленно натягивала одежду, а он спрашивал ее через тростник.

— Что ты делала с этим дураком?

— Я хочу, чтобы меня любили.

— А сама умеешь любить?

— Да.

— А пробовала? Откуда знаешь?

— Не пробовала.

— Что ты делала с этим идиотом? — Он вышел к ней в брюках, расстегнутой рубаше.

— Только целовались.— Она встала, подошла к нему, подняла лицо.

Он коснулся ее губ, только коснулся.

Квартировала Валентина, чтобы не тратить время на дорогу, у бабки Акашки. Та сидела вечерами в углу, общалась с картами.

За окном цикады строчили беспорядочными очередями, луна висела ясная, без ущерба, над круглыми головами подсолнухов. Темные хаты тоже казались округлыми. В завершение этой полноты где-то рядом визжали девчата и смеялись парни.

Мелькнула чья-то фигура за окном, перемахнула подоконник. Валентина села на постели, сердце замерло. Человек стоял без движения, без слова, только дышал, и она

не могла угадать, кто он. Кинулась — раз-
глагола. Отвернулась, разочарованная.

— Тс-с,— Игорь взял ее за шею.— Девки
гонятся.

— А черти, букары не ползают еще? —
она вывернулась и ушла обратно.

— Я посижу? — Игорь сел на пол.— Не
бойся, я ничего не буду.

— Нужен ты мне — бояться тебя,— она
тихо засмеялась.— Сиди хоть до утра.

— Ты совсем что ли бесчувственная? —
поинтересовался Игорь.

Валентина не ответила.

— Тебя вообще что-нибудь, кроме маши-
ны интересует?

Валентина смотрела в потолок.

— А я девок люблю,— подсел он побли-
же.— И они меня, между прочим, тоже..
Тебя это мало волнует, я гляжу.

— Мало.

— Ну вот. Где ж твоя искра, Валь? Куда
девалась? Была искра-то!

— Какая еще искра?

— О, сразу проснулась. Любовь! Женщина
дает искру. От искры — зажигание. А уж ко-
леса — это мужик. Такая машина.

— Так во мне нет? — серьезно спросила
она и села.

— Во! Пошла искра,— Игорь тихо подсел.

— А ну давай! — оттолкнула она его.—
У тебя колеса квадратные.

— Эх! — Игорь с досады рубанул воз-
дух.— К чему целовала?

— Когда? — искренне не вспомнила Ва-
лентина.

— Вчера.

— Бреешь...

Рожков возвращался поздно, когда ночь
выстудила дневной жар, и видно было дыха-
ние, и чувствовалась скорая осень. Он поста-
вил машину, открыл калитку.

— Валя? — он не увидел, он почувствовал
ее где-то возле собачьей будки.

— Сперва брехал, потом привык...

Они обнялись так, будто и рождены были
стоять вместе, будто им это было проще и
надежнее, чем стоять поодиночке.

Она шагнула к дому. Он удержал.

— Пошли ко мне? — полувопросительно
шепнула она.

Он покачал головой.

— Что же, в будку? — она сверкнула гла-
зами, ее аж в озноб кинуло.

— Не шуми.

— Понимаю! Любовь — неприятности. —
И она пошла по дорожке, стараясь казаться
беспечной, задевая тяжелые георгины, а за
калиткой сказала: — Расходитесь, расходи-
тесь, товарищи. Все кончилось.

Рожков погрел ключами на пороге, вы-
бежал на улицу, поймал ее.

И уже в доме, в прихожей, среди ведер,
банок, обуви, шептал, обнимая:

— Старый я дурак, что делаю!.. Иди домой.

— Во мне кровь горит. Я умру!

— Валюха! Какая ты баба! Замуж вый-
дешь. За молодого...

— Замолчи. Ничего не слышу. С тобой
хочу быть! Не пойду ни за кого!

— Пойдешь. Выдам тебя, слышь.

— Подневольная тебе? Помещики и то
после ночи выдавали. После ночи — выда-
вай!

— Что ты мучаешь меня, уходи!

— Врешь, ты этого не хочешь.

Он вытолкнул ее за дверь, и теперь она
сидела на ступеньках, не плакала, а поску-
ливала, прижимая к себе его пса.

Дверь открылась за ее спиной. Темный
мужской силуэт в квадрате света застыл
неподвижно. Она встала, поднялась на сту-
пеньку и тоже стала большой.

Только друг друга видели они.

Он — ее, стоящую перед суетливым, вер-
тлявым корреспондентом Эдиком.

— Валюша, еще один вопрос. Вот, ты уже
маяк районного масштаба...

— Что такое маяк? Что в море или что? —
то ли не понимала, то ли придурилась Ва-
лентина, развлекаясь тем, что оказалась в
центре внимания целой группы больших лю-
дей. Все они ей ласково улыбались, разгла-
дывали ее.— Не мудри. Все просто. Вот небо,
вот земля, вот хлеб. А для красок сам слова
найдешь. Я со всем согласна.

И все залюбовались ее естественностью
и прямой. Действительно просто: небо,
земля, хлеб.

А она искала лишь его взгляда, его одобре-
ния, его любви. И высокие гости ей нисколько
не мешали.

— Вот она красота, вот она простота, истинная
простота труда! И высшая его сложность! —
подчеркнул тучный в добротном ко-
стюме человек с умным приятным лицом.—
Что тут объяснять? Есть такая вещь — та-
лант. На такого человека мы смотрим и диву
даемся, а он говорит: «Не мудрите, все прост-
о!»

Эдик строчил в блокноте.

— Просто, Иван Андреевич. Ну, трошки
посложнее, чем у вас там,— она махнула
куда-то вверх, у окружения вытянулись
лица: как она Первому! — Приезжайте к нам
в «Розу» почаще, посажу вас рядом, про-
трясетесь.

— А что, приглашение принимаю,— за-
смеялся, не обиделся Первый.— С такой де-
вахой!.. Эх, где мои семнадцать лет! Зави-
дую твоему помощнику. Как его, Игорь?
Ну-ка, Игорек! — он загреб рукой быстро
подвернувшегося под нее паренька, другой —

Валентину и пошутил над Барабашом: — Что ж ты, старая лиса, нюх потерял? Надо было держать деву-то!

Рядом с начальством всегда было его, Барабаша, место, и теперь выглядывать из-за чьей-то головы, чтобы видеть рядом с Первым Рожковом, — было для него оскорбительно.

— На ходу подметки рвут они, молодые. Переманил Рожков. Как удержишь?

— Жениха у тебя, что ли, не нашлось под стать? — расшутился Первый и вдруг, сменив благостно-игривый тон, закончил со всей серьезностью: — Добре. Молодежь выбирает, где труднее.

— Ивāн Андреевич! — кинулся к нему Барабаш. — Вы к нам обещали заглянуть.

— Некогда, Барабаш! Занят! — И пошел с Рожковым к черной «Волге», только ему доверяя то, что не предназначалось для многих ушей:

— ...А без любви, оно, может, и лучше, крепче. Как в старину, когда батька выдавал и не спрашивал. Будь ей таким батькой, она тебе еще спасибо скажет.

Каждое слово резало Рожкову душу, он терпел, кивал, как в бреду:

— Надо подумать, поискать...

— Опять подумать! Да подумать я уже!

— Нет, — неожиданное раздражение прозвучало в голосе Рожкова. — Нет, нет, не он.

Иван Андреевич посмотрел на Рожкова, оглянулся на Валентину, погрозил пальцем:

— Я ведь у тебя не совета спрашиваю. Сватай их, Рожков. У нее все должно быть чисто и светло. Ты меня понял? Чисто и светло.

Через несколько дней Рожков подъехал к Диденкам. Долго смотрел из-за забора, как в летней кухне смачно ел после работы брат, наконец решился:

— Я насчет Валентины.

Брат настроился от его интонации, отложил ложку.

— Есть один хлопец, — выдавливал из себя Рожков. — Хороший такой хлопчик...

— Ах, ты ж твою в жизнь! — брат сжал кулак и цыкнул на жену в мелких кудряшках. — Бабы! У вас и руки в тесте будут, а блюд сделаете...

Рожков смотрел на него поникший, жалкий, сам себе противный, еще на что-то надеясь и понимая, что надеяться уже не на что.

— Слушай, у тебя в смысле родни или здоровья дефектов нет? — брат подошел к Игорю, когда тот обедал в столовой.

— Пока нет, — удивился Игорь.

— Пока — это правильно. Чтоб завтра же пришел и все как полагается.

— А как полагается?

— Ты комсомолец?

— Да. Значит, давай не расставаться никогда?

— Не придешь завтра к Вальке свататься — убью.

Игорю почему-то сделалось радостно, он сдерживался, чтоб не рассмеяться.

— А я уж хотел на другой жениться! Думал, я вам не подхожу.

— Подходишь, — брат намазал горчицей ломоть хлеба и откусил, и тут же на глаза его навернулись слезы. — Дюже ты остроумный...

Мужчины на земле с черными пятнами крови палили только что заколотую свинью. Рядом, дожидаясь хвоста и ушей, крутилась детвора. Когда начали разделявать, они получили свое, впилась зубами в копченые лакомства и побежали в глубину двора, где женщины ощипывали кур, сидели среди мисок с кровью, осыпанные перьями, будто снегом. Переговаривались.

— Гарнитур чешский от совхоза.

— Дом готовый. А люди годами стояли.

— А телеграмм! Из района, из обкома. Як царям!

— Прям кино. «Богатая невеста».

— Вот же ж было кино! — женщины распрямились, глаза открыли.

— «Светлый путь», «Свинарка и пастух».

Народное кино.

— А сейчас, тьфу, побачить нечего. — И опять плечи опустились. — Мы с батьком всю жизнь хребет ломали, а тут полюбилась — и на!

К свадьбе был собран и обтянут коврами длинный, наподобие гаража, шатер. В нем как раз помещался составленный стол, лавки, были свалены корзины с овощами, виноградом. По всему настилу валялись кавуны. Игорь и Валентина подправляли, проверяли «шалаш» на прочность, что-то закалывали, прибывали — все время рядом. Валентина, пока что-то делала, не так тосковала. Но стоило присесть...

— Ты не думай ни о чем, — чувствуя ее настроение, говорил Игорь. — Я сознательно на все иду. Мало ли что у кого до свадьбы было.

— Чего? — хмуро посмотрела она.

— Мы с тобой хорошо будем жить. По крайней мере что от меня зависит. Красиво будем жить. Ты Есенина хоть любишь?

— Чего?

— Читать будем.

— Хорош, а!.. — попросила она.

— Зацепила ты меня все-таки. Полюбил я тебя.

Валентине сделалось совестно. Она легонько подтолкнула к Игорю арбуз, валявшийся

под ногами. Он — к ней. Она — к нему. Они улыбнулись друг другу.

Арбуз откатился в сторону, упал с настила, треснул, обнаружив малиновую сахаристую плоть.

Рожков сидел дома. На улице хохотали, откуда-то песня наплывала. Подъехала машина. Вышел участковый и еще несколько человек.

— А вы чего не на свадьбе? — спросили с порога. — Мы прямо туда, а вы тут... Это следователь из районной прокуратуры, не знаете его? Николай Николаевич Сердце.

— Как?

— Сердце Николай Николаевич, — человек с мелким блеклым лицом участливо протянул руку. — Может быть, все выяснится. То есть все выяснится в любом случае. Но пока... — Он вдруг подошел к серванту, достал хрустальную вазочку, покрутил, потом еще какую-то вещь.

Кто-то из гостей подошел к стене, пощупал ковер.

— Ему лет пятнадцать уже, — сказал, злясь, Рожков.

— Да вы не волнуйтесь, Михаил Алексеевич, — успокоил сердечно следователь. — Что уж так сразу на дыбы! Если ваша совесть чиста, вам и волноваться нечего.

Рита вышла с ребенком.

— А есть у вас... эта? — Рожков помахал рукой. — Описывать-то вроде рано.

— Ну, до этого еще далеко, — успокоили его. — Надо будет вам съездить в район, ознакомиться с делом.

Рожков стал одеваться, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.

— Можно в другой раз, когда вам удобнее.

— Мне как раз сейчас удобно. Поехали! — сказал он резко.

Рита, не слишком понимая, но пораженная тоном разговора, в предчувствии беды опустилась на стул и в голос, монотонно начала:

— Ой, о-ой, о-ой!..

Ребенок заплакал.

Игорь сидел в обнимку с братом Валентины. Веселье распустилось, спуталось, сбилось в какую-то полупоющую толчею, колыхалось в краях. Валентина бродила среди людей.

Вдруг ее схватили за локоть, выхватили из народа.

Они стояли тут же, несколько шагов в сторону, но, казалось, были невидимы.

— Валька, слышь, я люблю тебя, — говорил Рожков и все держал ее локоть. — Люблю, поняла?

Ее вдруг обожгло горечью, обидой, и она вырвала локоть, отвернулась.

А когда повернулась вновь, увидела только

спину его, как шел он к машине с чужими людьми, как распахивали они дверцу...

Акашиха в углу банки колдовала с петухом, подбрасывала его вверх, и он, со связанными ногами, квохтал, бил в воздухе крыльями, тяжело валился на пол.

— Порченый, навели, — скрипела Акашиха.

— Ну, говори, — требовала Валентина. — Что делать?

— Самого раздеть, исподнее пропустить — горловина к ногам, голова из подола. Чтоб наново родился, як из матки. То исподнее спалить. И будет чистый зараз.

— Где я его исподнее возьму? У жены? Или в зале суда?

Акашиха пожевала губами, распутала перепуганного петуха.

— Где суд будет — маком посыпь, — она погладила петуха открыла дверь банки и выпустила его на снег. — Беги, Петька, к своим жинкам.

Да, уже была зима.

И за окном был снег.

Тесный коридорчик районного суда гудел басовой струной.

«Виноват, не виноват. Все они невиноватые, только по ним тюрьма плачет. У Ритки колечко-то с камушком. С камушком. Так и у тебя с камушком. А мне хахаль подарил. Ритка с ним и разводится-то, чтоб не все конфисковали. А вы любого обвинуете. Интересно, потом сойдутся ли с Риткой? Не виноват...»

Отдельно от всех сидел на стульчике бухгалтер, с ним никто не говорил, его не замечали, настолько не замечали, что здоровый детина в дохе сел на него, как на стул — тот, прищемленный, закричал, а все засмеялись.

Валентина решительно прошла по коридору. Все примолкли, глядя вслед.

Прошла уборщица с ведром и шваброй, зашла к судьям.

— «Исходя из карьеристских соображений, с целью создать себе ложный авторитет в лице колхозников, вопреки государственным интересам, злоупотребив служебным положением, организовал незаконное строительство домов со всеми удобствами. Незаконно оформил пятнадцать актов, которые подписывал лично... В результате незаконной сделки...» Что, Нина? — спросила женщина-судья, отвлекаясь от диктовки.

Уборщица показала на ладони:

— Под вашим столом все сплошь посыпано. Мак, что ли?

— Мак, — подтвердил пожилой заседатель. — Цыгане сыпят для оправдательного приговора.

— Сегодня не было цыган.

Судья взяла с ладони уборщицы маковинки, попробовала.

— Дикари... Продолжаем. Пишите: «Колхоз получил без договора сантехническое оборудование на сумму пятьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей, необоснованно оплатив невыполненные работы...»

Пожилой заседатель, задумчиво катая по столу маковинки, сказал:

— Черт его знает, как это — взяли и посадили человека...

— Что это вы, Юрий Иванович? — удивилась судья.

— А то, — вдруг разозлился тот и, прямо глядя на судью, отчетливо произнес: — Взяли и посадили. А человек не виноват.

— Интересный вы какой! Невиноватых не бывает. Уж под сто семидесятую нет директора, чтоб не подошел. Любого председателя — даже без ревизии.

— Не любого же, этого судим! И так понимаю: раз себе ни копейки не взял, значит, невиноватый. А вы лучше возьмите и в заключительном обвинении напишите: «В соответствии со статьей и чтобы не высывался...» Так и напишите, чтоб народ знал, мы же народный суд!

— Юрий Иванович, рука отваливается, — пожаловалась женщина-заседатель.

— Давайте попишу, — согласился он и придвинул к себе бумагу.

Больших строгостей тут не водилось, к тому же хозяйственное дело, но лейтенант из КПЗ придрался со скуки:

— Ну, жинка прихотила, а ты кто? Мне ж надо зафиксировать.

— А я, — она смерила его взглядом, — Диденко. Валентина Ивановна. Все?

Ее проводили, отперли дверь. Она увидела стриженного Рожкова и бросилась к нему, не стесняясь человека за спиной, гладила, прижимала к груди эту бедную голову.

— Видишь, — говорил Рожков. — Во всяком положении есть свои преимущества.

— Какие?!

— Ну, вот... — он прижал ее к себе. — И на все плевать.

— Миша, Мишенька! Ну что, смертный приговор? Мы добьемся!..

— Давай лучше про любовь. Или что, отговорила любовь-то?

— Никогда, никогда не брошу любить. Я приеду к тебе, слышишь, приеду! — она кинулась к нему.

...Вечнозеленые кипарисы торчали из снега. Дети лепили бабу. Валентина шла нараспапку с воспаленными глазами. Тяжелый снежок, пущенный ловкой детской рукой, угодил ей в спину. Она повернулась, глаза ее на-

полнились слезами, и они потекли, потекли по щекам.

— Тетенька, простите, — попятился испуганный мальчик.

Снова была жатва. Игорь ехал на мотоцикле. На дороге его остановил незнакомый тракторист, мелкий, злой мужичонка в цветастой кепочке.

— Мать твою по колено, — злоба захлестывала его, и смех был похож на плач. — С ремонта еду.

Игорь залез в трактор, принюхался.

— Соляркой потягивает. Пробило?

— Если б только. Бордель-контора, месяц держали — в краску окунули! Хочешь — жни, а хочешь — куй.

Полезли разбираться, плечом к плечу заходили, подлезали, подсаживали, подавали. Цветастая кепочка только похохатывал, крутил головой и бил себя по ляжкам. Несколько машин, в их числе и черная «Волга», свернули с шоссе и грунтовой пробирались к полю.

— Чего это их сюда занесло?

— К Диденко. Комбайн именно вручать.

— А, этой...

— Чего ты, не веришь? — обиделся на интонацию Игорь. — Многие не верят. А я знаю. Она на комбайне ведьма. Ей ребята в травку проволоку подкидывали не за ради пакости, передохнуть — останавливается. Нет, ты скажи, что с такой высоты заметить можно? Чутье!

— Чутье, чутье, — сплюнул кепочка. — Надо учуять зараз, кому «здорово», а кому «здрате». Я бы знал, мне бы тоже машину ручками да по винтику собирали.

— Да от нее здоровые мужики в обморок падают — на одно поле с ней ставили. Ты сходи, сходи. Погляди, как она вкальвает.

— Нужна она мне, глядеть. Я в нее селедку заворачиваю. В каждой газете она. У нас урожаи офигенные — с неучтенных площадей. И удои — с незаписанных коров. И яйца бог знает с кого. Дурят людей. А чего, люди притемненные, формовки тридцать девятого.

— Не, я вижу, ты самый умный. Но я тоже с ней работал.

— Вот я и говорю, был у нас шофер, душевный такой мужик. Сделали его завгаром — другой человек. Зарплата сто девяносто. Но он только хлеб в магазине берет. Остальное есть. Шайка. Они своих девочек передовиками делают, а мне...

— Ты знаешь, кто я? — вскипел Игорь и грудью пошел на мужика.

— Ну? — тот сжал кулаки, они сошлись, потоптались, весь вопрос был, кто ударит первым.

— Муж.

Кепочка отступил, хлопнул себя по коленям и скрючился, сипло хохоча.

— А я думал, жена,— выдал сквозь смех, залез в трактор, завел и уехал.

— ...Но главный мой вам ответ,— Валентина обращалась и к высоким представителям, и к народу, и к пионерам, и конкретно к представителям завода.— Это будут не слова. Это будет мой следующий рекорд. Это будет дело. Хлеб. А он весит куда больше любых самых красивых и важных слов!

Закончила, ей дали ножницы, она подошла к сверкающему комбайну, перехватила красную ленточку «ничейности», и теперь эта роскошная машина принадлежала только ей. С нетерпением ребенка она вошла в кабину, села в удобное кресло — на лице появилось удивленное выражение,— потянула рычаги, удивилась еще больше.

Комбайн плавно, будто в танце, пошел по полю.

— Пока она не слышит, а то еще зазнается,— шутил Иван Андреевич,— говорю вам: ищите Диденко! Воспитывайте Диденко! В каждом хозяйстве должна быть своя Диденко!.. Эх, где мои семнадцать лет!

Он красиво рванул с себя пиджак, отдал Барабашу и пошел по полю к машине. Корреспондент Эдик торопливо запечатлевал, как он поднялся на комбайн, встал у стрелы.

Сосредоточенное и счастливое лицо Валентины соседствовало на снимках с радостными лицами Ивана Андреевича, Барабаша, брата, мужа. Поочередно и все вместе они причащались к ее труду.

— ...Двадцать семь копеек за свиноматку — это что, по-человечески? Ведро комбикорма возьмешь и трясешься, а вам кладовщик сам несет,— у синюшной, испитой женщины, обглоданной шальной ее жизнью чуть ли не до кости, мелькнули глаза на лице и опять уставились чуть вниз наискосок, на угол депутатского стола, за которым принимала Валентина.— Сотельной части правды нет.

— Сколько лет на очереди?

— Пятнадцать.

— Не путаешь? — изумилась Валя.

— Мне давали,— призналась женщина.— Отдала, сожитель выпросил. У него невеста была, приехавши тоже, куда им.

— Значит, нет очереди? Что ж ты голову морочишь?!

Женщина поднялась и пошла к двери.

— Постой. Ты на очередь встала снова-то?

— Нет.

— Так становись. Может, помогу.— Валентина проводила посетительницу до две-

ри.— И ты мне помоги, не запивайся. И доброй не будь.

Перед дверьми сидело еще несколько человек, и скорбная забота на лицах делала очередь похожей на ту, что бывает у зубного кабинета.

В самом углу сидела Акашиха. Ее и пригласила Валентина, когда взглянула на скорбящих.

— Двенадцать лет пропали,— жаловалась Акашиха.— Самых тяжелых, колхозных. Как колхоз осовхозился — они в пенсию и не вошли. И живи на тридцать пять рубликов.

Валентина вздохнула, прикрыла глаза.

— А как жила? Бражка стоит у тебя? Расходится?

— Бражки нету!..

— Бреши, а то я не знаю. Ну что пришла? Что? Я тебе пенсию надбавлю? Закон изменю? — Валентина устала сдерживаться.— Может, в детсад тебя устроить? Дом дать? Что вы ходите?!

— Та я соскучалась. Ничего не трэба, Валька.— Акашиха попятилась.— Николы не эдешь.

— На вот,— Валентина сунула ей денег.— Не сердись. Бери.

...Валентина оставалась, что называется, по-своему красива. Вчетвером они вышли из машины: посолдневшая, с вавилоном на голове Валентина, Иван Андреевич, бывший Эдик, ныне Эдуард Сергеевич, и Игорь. До самых дверей державного здания Игорь сопровождал Валентину так, как мужья сопровождают беременных жен. И у дверей спросил:

— Мне тут ждать?

— Выкристаллизовывается характер,— отчетливо внушал ей за сценой Эдуард Сергеевич, тыкал в текст и требовал: — Повтори. Вы-крис-тал-ли-зо-вы-ва-ет-ся.

— Вы-совывается характер! Да не лезь на меня! — Валентина, тоже на нерве, отпихивала его от себя.— Скажу «выковывается», и хватит с тебя.

— Ты не понимаешь — выкристаллизовывается!

— Полежай тогда сам на трибуну! Писатель! Заколебал. Сам выскрестали...

Пора. Она вытянулась, просветлела лицом и красиво пошла к трибуне.

— Текст! Идиотка! — почти крикнул ей вслед Эдуард Сергеевич.

Она спокойно вернулась, взяла бумажки:

— Ну что вспенился, как бражка. Выкристаллизовывай характер.

И уже там, между президиумом и тысячью лиц зала, горячо начала:

— Дорогие товарищи! С этой высокой трибуны хочется сказать о главном. О чем же?

Только что мы сдали в закрома Родины, не смотря на тяжелые погодные условия, славный урожай. В моей жизни это пятый урожай. Много это или мало?..

...Возвращались в гостиницу распаренные, возбужденные. Только Игорь был промерзший насковоз и голодный. Синими негнувшимися пальцами он вцепился в бутерброд, подрагивал, но смеялся вместе со всеми. Валентина держала для него еще бутерброд с красной икрой, он глотал и смеялся.

А около номеров их уже поджидал распорядитель с талончиками.

— А я стучу. Вот, Валентина Ивановна, вам магазин. Вот, Иван Андреевич, вам магазин. Вот Эдуард Сергеевич, вам магазин.

В таком магазине она была впервые. Когда она вошла, — рыжая до красноты, до наглости шикарная шуба поманила ее к себе. Она прошла по помещению, не глядя на другой, достойный внимания товар, что-то даже потрогала, по чему-то скользнула взглядом, так, без аппетита. То рыжее пушистое пятно — только его ловила она боковым зрением.

— Валюш, какой костюм! — потянул ее Игорь немного подобострастно. — И зонт японский мужской...

— Погоди, родной, — ее повело, словно пьяную. — Погоди, все купим, все тебе купим, — она приближалась к лисе. — А ну-ка! — и стала быстро расстегивать толстые пуговицы на своем пальто с воротником.

Ей что-то советовала продавщица. Игорь крутил ее, оглядывая восхищенно, товарищи сошлись. А она никого не слушала, все как-то далеко стало, как во сне.

И сон этот был хорош. И не сон вовсе, а явь. Чужой ночной город, залитый огнями, стремительный поток машин... Это была Япония. Поездка на международную сельскохозяйственную выставку.

В номере гостиницы сидели трое — руководитель делегации, бывалый мужик Боря, Валентина и молодой чабан, орденосеиц из Джамбульской области. На столе стояла бутылка водки, разговаривали шепотом, чокались тихо стаканами, зажатыми в кулак.

— Тебя как зовут? — спросил руководитель у чабана. — Я все забываю.

— Серик.

— Значит, Сергей, — решил Боря. — Ты фильмы про наших разведчиков видел?

Серик с достоинством кивнул.

— Ну вот. Привезешь магнитофон японский в свой кишлак — считай, задание родины выполнил. Завтра пойдем на распродажу. Только нашим пока — ни-ни!

— А хватит? — усомнилась Валентина.

— С умом — хватит.

Воодушевленные, они, как-то не стовариваясь, затянули вполголоса самую известную нашу песню.

Потом Боря уснул, а Валентина с Сериком опустили на лифте в вестибюль, вышли из гостиницы на улицу и остановились, не без опаски оглядываясь вокруг. Ночная жизнь только начиналась.

Торговец на углу изящно и весело продавал причудливое мороженое. Валентина подошла, зачарованная улыбкой торговца, потянулась к сумочке, но на ее руку легла рука Серика. Он молча покачал головой, и они осторожно пошли дальше.

— А на цветной телевизор может хватить? — спросила Валентина.

— Может, — бесстрастно отвечал Серик.

Тут к нему подошла хрупкая девочка и, целомудренно улыбаясь, тая за щечками глаз радость, негу и бог знает что еще, растопырила пальцы — пять.

— Пять иен? — спросил Серик у Валентины.

— Пятьсот, балда. А, может, пять тысяч. Да хоть пять, ты обалдел?

Они продолжали свой путь по ночному городу. Серик оглянулся неуверенно — девочка опять была здесь.

— Ю-эс-эс-а? — спросила она.

— Ес, — кивнул Серик. — Казахстан.

Девочка опять показала пятерню и один за другим загнула все пальцы.

— Ай лав ю.

— Мани, хэв ноу мани, — сказала ей Валентина.

— Ноу мани, — девочка смотрела на Серика. — Ай лав ю. Кам?

Серик улыбался во весь ряд великолепных зубов.

Девочка взяла руку Серика, тонким пальчиком стала водить по его грубой ладони и быстро заговорила по-японски.

— Что она говорит? — совершенно беспомощный, повернулся он к Валентине.

— Она говорит: «Купишь магнитофон. Внуки включают, скажут: «Дедушка из Японии привез». Пошли в гостиницу, — сказала Валентина, а девочке объяснила: — Он ничего не может. Понимаешь?.. Хотя с манями, хоть без маней. Поняла?

Стоявшие рядом ярко накрашенные девичьи, наблюдавшие ситуацию, рассмеялись, а Серик с Валентиной повернули к гостинице.

Через час к ней в номер постучались. Она открыла.

— Валя, дай мне, пожалуйста, иен. Я тебе отдам, — попросил Серик. — В рублях.

— Зачем?

— Я помочь хочу. Одному человеку, — сказал он тихо, оглядываясь по сторонам. — Мне не хватает.

Она поняла.

— Ты с ума сошел! Ты здесь страну представляешь!

— Да, страну представляю, — ответил Серик. — А ты ей сказала: «Он ничего не может».

— А ты не думал, что это может быть провокация? Может, она к тебе подослана?

— Нет! — с верой воскликнул он. — У нее знаешь, какая жизнь? Она одна из всей семьи работает!

— А магнитофон? — оставался последний аргумент.

— Дома куплю, в райпотребсоюзе!

— Тихо ты! — Валентина осторожно подошла к двери, прислушалась. — Так понравилась?

Серик улыбнулся.

Валентина посмотрела на него, открыла сумочку, достала конверт с деньгами:

— Ладно, бери. Мы не мелкие. Все ж великая держава!

Утром все делегаты как штык стояли в нужном месте. Не было только Серика. Руководитель делегации начинал нервничать, поглядывал на часы. Наконец маленький гордый чабан вышел из лифта.

— Извините, пожалуйста.

— Первый раз прощается, — строго сказал руководитель.

Выстроились павильоны выставки. Тихая музыка разливалась в воздухе. Причудливые цветы росли из камней. Под разноцветными зонтиками люди ели мороженое, пили воду, говорили друг другу приятное. Женщин здесь было мало, и она, интересуясь машинами, такими яркими, форсистыми, что невозможно было представить, как на них можно работать, — сама вызвала интерес.

Американский фермер снял с ноги ботинок, постучал подметкой по корпусу машины.

— Пе-ре-до-вик! — выговорил по-русски и дружески подмигнул Валентине.

Вечером на приеме Валентина подошла к Борису:

— А куда Серик подевался? В номере его нет...

— Куда! Домой летит. Совсем обнаглед народ. Я с писателями был. С литераторами. Даже они себе такого не позволяли. Дурак. Такие возможности упустил. Из-за кого? Из-за проститутки...

— А сам-то ты кто? — презрительно спросила Валентина. — А все мы кто?..

Боря удивленно уставился на Валентину.

— Госпожа Диденко, — к Валентине подошел пожилой японец с лицом, навсегда сведенным в улыбку, и она ослепительно улыбнулась ему.

Стучали колеса. Столбы, как арестанты, цепочкой двигались назад. Неторопливо покачивалась обшарпанная электричка, ползла по степи. Подъезжала к дому броско одетая, с чемоданом и яркой сумкой через плечо Валентина.

— Ну, туда или сюда? — подтолкнула она чемоданом здоровяка, замешкавшегося на проходе, когда поезд замедлил ход.

— Не пихайся, не на Бродвее, — оглядев ее, отвечал парень.

— Поговори! — ответила она и прыгнула на перрон.

Из последнего вагона сошел Рожков с маленьким невзрачным чемоданчиком. Мимо него пронеслась, топая и теряя цветы, толпа встречающих Валентину с Барабашом во главе.

— Ух, какая красавица! Ну ты их всех там — наповал?

— Соскучилась?

— Сапоги-чулки купила?

— Нету! Не носят давно!

— Да шо ты? Я их на базаре бачил.

Рожков стоял на автобусной остановке в толпе простого народа и смотрел, как ее усаживали в машину и как целый эскорт сопровождающих сорвался с привокзальной площади.

Он подходил к собственному дому. Ничего, казалось, не изменилось тут. Аллея тяжелых георгинов от калитки, будка и старый пес, который рванул к нему, обрывая цепь, срывая глотку, хрипя в ошейнике.

И Рита будто та же. И так же младенец на руках.

— Миша?! Три года...

— Не бойся. Амнистия. Я ж везучий... Муж на работе? Можно?

— Заходи. — Она не могла сообразить, как ей вести себя, но в прихожей попросила: — Он ничего не знает. Ты уж не травмируй его. Все равно не поймет, маленький.

В комнате за столом сидел мальчик лет четырех и болтал босыми ногами.

— Борща будешь?

— Налей. За компанию.

Она с готовностью пошла за тарелкой, но на всякий случай предупредила: — И фамилия у него, Миш, другая. Мы решили в целях воспитания.

— И как же твоя фамилия? Фамилию-то знаешь? — спросил Рожков у сына.

— Финогенов.

— Хороший у тебя папка-то? — не жадел он себя, задавал вопросы.

— Хороший.

Рожков на мгновение взял ладони мальчика, прикоснулся ими к глазам. Но тут вошла Рита, и он отнял руку.

— Есть же хорошие люди на свете. В беде не оставят.

— Миш, как мне было! Как я год пережила! — она поставила перед ним тарелку.

— Да ладно врать-то, — оборвал он. — Никому это неинтересно. — Он долгим впитывающим взглядом посмотрел на сына и встал.

— Поел бы.

— Сыт.

Ему недолго пришлось идти пешком — подхватил знакомый водитель грузовика, вихрастый, веселый. Он поглядел пару раз на заострившийся небритый профиль Рожкова, на плотно сжатые губы и с нарочитой бодростью спросил:

— Настроение-то как, Михаил Алексеевич?

— Отличное, — в тон ему ответил Рожков. — Мама, роди меня обратно.

— Не-е, обратно не надо. Живем одна, лучше будем стройным тунейдцем, чем горбатым стахановцем! Так? Я сам с колхоза свалил. А вы теперь как?

— Пока молча. А ты болтай, мне приятно.

— То ж не я, то язык, должность его такая. Бесплатная, правда. Некоторым за то платят. А мой так болтается. Отщепенец.

Подъехали к крутому берегу, и Рожков попросил:

— Останови тут, Петро.

Шофер удивленно посмотрел на него и притормозил.

Он постоял на крутизне, вдыхая ветер, и стал осторожно спускаться к воде. Вдруг кто-то налетел на него сзади, обхватил. Это был все тот же Петро. Высадив Рожкова, он проехал немного, бросил машину на дороге и бегом кинулся назад. Теперь он крепко держал Рожкова.

— Ты что, Петро, обознался? — освободился тот наконец. — За бабу меня принял?

— Давай, поехали, Михаил Алексеевич, — Петро был серьезен. — Я сам тут...

— Чего?

— Да спьяну.

— Чего?

— Топился.

— Тыфу, дурень! — усмехнулся Рожков и ударил парня в плечо.

Тот ответил.

— А может, правда?

— Чего? — насторожился парень.

— Напиться.

— Вот это разговор!

Валентина не успела проскочить перекресток и нетерпеливо ждала сигнала, ози-

раясь по сторонам. Но когда дали свет, она уже ничего не видела, кроме Рожкова. Он стоял у палатки с водой, получал свой стакан без сиропа. Кинул в тарелку копейку и отошел в сторону, где его ждали несколько таких же, как он, помятых мужиков. Она посигналила. Он вылил газировку в пыль, сунул стакан в карман и пошел в сторону парка. Но он ее видел, видел.

Она отыскала компанию на задних лавках летней эстрады.

— «Дай мне любое дело, чтобы сердце пело», — задушевно просили задрапированные в атлас до самых пят тугие хористки, тренировались перед каким-нибудь народным смотром.

У мужиков уже были теплые глаза, и, когда надо, они умиротворенно и дисциплинированно захлопали.

Валентина перелезла через лавку и села спиной к сцене, лицом к Рожкову. Они долго смотрели в глаза друг другу.

— Гипноз, что ль? — не поняли мужики.

— Налей, — Рожков протянул приятелю стакан. — Ваши трудовые успехи, Валентина Ивановна!

Он выпил и ко всеобщему удивлению захрустел, кроша зубами стекло.

— Смотри, талант! — засмеялись мужики.

— Фокусами решил зарабатывать? — спросила Валентина.

— Теперь все фокусами зарабатывают. Репертуар сменил.

— Обиделся! Скажи на милость, столкнулся с отменной несправедливостью и обиделся! Настоящие люди и не в такое дерьмо попадали и выстаивали.

— А я не выстоял! Ну! Не выстоял! Теперь что? Ненастоящий человек? Ненастоящий я! Понимаете, Валентина Ивановна? Всем нужны настоящие. А куда нам деваться, ненастоящим? Бесплезным, вредным? А мы так, потихоньку, ползком, на корточках, вприсядку.

— Что ты концерт устраиваешь? Что ты врешь? Ты нужен, Миша!

— Кому я нужен?

— Да народу!

— Какому народу? Тем, кто восемь анонимок на меня накатал? Я всем мешал, всем. И народу в первую очередь! Теперь — другое дело. Теперь я им ближе и родней — да, ребята?

— Да мы за тебя, Алексеевич... Не сомневайся!..

— И совесть твоя спокойна?

— Отстаньте от меня со своей совестью! Я три года ждал с вами про совесть поговорить!

Валентина встала, посмотрела на часы, сказала очень спокойно:

— Я не отстану. Я тебя подниму.

И Рожков ответил ей так же спокойно:

— Я крученный. Идите, Валентина Ивановна, и не мешайте смотреть концерт.

Доносились музыка из нескольких «Волг», засевших в траве. Крепкие, модно одетые шоферы носились с ветками, разжигали костер. И скоро уже дымок курился над котелком и что-то смачно булькало в нем. Принесли белую скатерть, тяжелые, груженные снедью сумки. В воде стоял раскладной стульчик, на нем сидел Иван Андреевич, покрытый старой соломенной шляпой. В руках его была удочка. Валя на берегу потрошила рыбу.

— Иван Андреевич, шо вы маетесь? — крикнул один из парней мимоходом. — Давайте мы бреднем пройдемся.

— Дайте отдохнуть старику, подхалимы! — смехом отозвался он.

— Слышали, Рожков вернулся? — спросила Валентина.

— Ты бы лучше про Японию рассказала. Что ты — Рожков, Рожков! Ой, Валентина, все старая любовь не отболит?

— Что Япония? Япония далеко. Ни за что человека сожрали.

— Мы ему говорили: подавай апелляцию. А он? Сам сломался. Кто ж теперь виноват? У нас хозяйственники все под несчастным случаем ходят. Это не повод, чтобы сознательно противопоставлять себя обществу. Надо дружить, быть похитрее. Чем выше задачи, тем тише и осторожней должен быть шаг. Это политика, Валя, запомни. Это и к тебе относится. И ко мне... Тише шаг! И больше терпения. Иначе свою рыбку не вытаскишь.

— А зачем вам ее вытаскивать? Вам Барабаш осетра насадит, — сказала она, не прерывая занятия. — Под водой.

— Упрощаешь, Валя, упрощаешь, — с сожалением сказал Иван Андреевич. — Да и нету тут осетров. Перевелись!

— А он все равно насадит.

— Во! — приблизился Барабаш, неся в вытянутой руке узкую, плавной формы бутылку. — Вино лично князя Трубецкого. Из его погребов! Директор винзавода угощает.

Иван Андреевич равнодушно покачал головой.

— Ну, Иван Андреевич, не обижайте! В последний раз у нас на рыбалке. В Москву переберетесь, так и горилки не дадут.

— Молочка, Иван Андреевич, молочка! — подскокил еще какой-то холуй. — Антилопье, из заповедника, сам привез.

— А что, Игнат Афанасьевич, Рожкова возьмешь к себе? — вдруг спросил Первый.

— Кем? — удивился Барабаш и погнался человека с молоком: — В машину, с собой ему, все неси в машину.

— Ну, как думаешь, кем?

— Ну, управляющим, замом рановато, думаю?

— Пойдет он к тебе управляющим! — возмутилась Валя.

— Может, Валюша, мне ему свое место уступить? Или в ногах повалиться?

— Давно надо было бы уступить, — сказала она жестко. — И в ногах, может, еще придется повалиться. Я позабочусь.

Барабаш усмехнулся и с сомнением покачал головой.

— Вот за что я Хрущева не любил, — он обращался только к Ивану Андреевичу, — так это за то, что Сталина из Мавзолея выкинул. Народу надо иметь перед кем лоб перекрестить. Власть должна иметь порядок. Нет порядка — нет власти.

Белый теплоход попадал в шлюз, железные ворота запирались, и пассажиры могли наблюдать, как всё, что было на уровне глаз — белоснежные островки пропускных ворот, яркая зелень, лазурное безоблачное небо с чайками, — уплывало вверх. Беспредельность панорамы охватывалась темной рамкой и постепенно удалялась. Обнажились скользкие камни пропускника, и судно становилось пленником колодца, и солнце уже не дотягивалось до воды, и чайки дразнились с высоты.

Рожков был тут сторожем. Имелось свое помещение с просиженным диваном и окном, в которое можно было наблюдать, как несколько раз на дню открывались ворота шлюза, выпускали и впускали из каменного мешка в другой уровень — выше или ниже — нарядные теплоходики. И шли они из рукотворного моря в природу Днепра или обратно.

Лихо подрулила серая «Волга» Валентины, она сама прошла к воротам, Рожков поднялся и вышел ей навстречу. Он указал ей глазами на табличку — пропуск в развернутом виде. Она спокойно вернулась к машине, достала какой-то красный документ и долго, развернув, держала под самым носом Рожкова, нацепившего по такому поводу дальнозоркие очки. Когда она проходила, он потянул носом:

— Напрасно, Валентина Ивановна, в таком виде за руль садитесь.

Она опять направилась к машине и вернулась с узкой бутылкой без этикетки. Прошла, села на диван, выплеснула воду из стакана, налила вино, подвинула Рожкову. Он не притронулся, тогда выпила она.

— Кого мне бояться?

— Смерти, Валентина Ивановна, смерти.

— А я вот ни смерти не боюсь, ни любви не боюсь, — она была явно под хмельком. — И никогда не боялась!

— Я боялся! — принял упрек Рожков.

— А теперь? — Она подошла к нему.

Он мог не отвечать, она все прочла в его глазах, еще резче проступивших морщинах. Она неуверенно погладила их.

— Не надо, — он взял ее руку.

— Я хотела приехать. Все время хотела. Ты прости, прости меня!

— Да что ты, Валя. Туда ехать далеко... Как ты живешь?

Она прижалась к нему — ни страсти, ни радости, одна боль.

— Не знаю.

Рожков жил в бараке. Жалобно тренькнул велосипед, когда наткнулись на него. Что-то упало. Откатился резиновый мяч. Вскочила и чертом бросилась из-под ног кошка. Они скрипели половицами, перешагивали через горы обуви, то и дело приваливались, обтирали побелку со стен, целовались. Рожков пытался в темноте попасть ключом в замочную скважину. Кто-то шевельнулся под соседней дверью. Нагнувшись, Валентина узнала женщину, которая когда-то была у нее на приеме.

— Опять села на кочергу? Договаривались — не пить.

— Тебе легко, — глухо отозвалась та с колен и принялась возить мокрой тряпкой по полу.

Рожков справился с дверью и зажег в комнате свет, который опрокинулся в темноту коридора. Без распросов он подошел и стукнул кулаком в соседнюю дверь.

— Эй, фраера, в чем опять дело?

Там заворочались, забормотали. Женщина испуганно приоткрыла дверь, зачастила:

— Не я, не я. Депутаты, слышь, депутаты пришли. Сами. Отворяйте.

Но отворилось сразу несколько квартир, показались любопытные.

—...Как же вы не обращались? — Валентина стояла в перегородженной занавесками комнате, и две семьи с двумя младенцами жалобно смотрели на нее.

— А мы к кому обращались — у тех крыша не течет. Вот и вся штука. Ты сама, к примеру, где живешь?

— У меня, если крыша худая, я сама лезу и ремонтирую. Удивляюсь на вас, здоровые мужики...

— Знаешь, как этот дом сремонттировать? Бомбу под него.

— Вам страна свою дочь послала, — возник ядовитый старичок. — Да какую расфуфыренную. Она вас в бумажку запишет. Все в бумажку! Все туда!

Жильцы посмеялись, но и пристыдили:

— Ай, Митя, человек пришел, показал уважение...

— Вы его не слушайте. Мы всем довольны и все одобряем. Мы народ и все понимаем.

— Чего уж жаловаться? Что мы, хуже всех? Все мы при телевизорах. Все мы при шифоньерах...

— Валентина Ивановна! — позвал Рожков. — А мне уважение не покажете?

Жильцы по инерции потянулись за ней, на ходу какая-то женщина принялась отряхивать спину: «Ой, обтерлись-то!» Впустив Валю, Рожков закрыл перед соседями дверь:

— Что вы, действительно, за народ? Ни на стол не собрали...

— Ой, бабы, и впрямь! — И женщины деловито разбежались.

А они, оставшись наконец одни, принялись торопливо и жадно целоваться. По коридору ходили, скрипели полами, перекликались: «Нина, масло есть? Тащи скорее!»

— А ведь теперь не дадут, — переводя дыхание, улыбнулся Рожков.

— Чего?

— Бедному жениться.

— Поехали на Тайвань!

Они смеялись, тихо перелезли через подоконник и оказались на улице.

Игорь сидел в пустой столовой за единственным столиком, над которым не топорщились железные ножки перевернутых стульев. Накрыто было по-домашнему. Напротив сидело домашнее существо, розовые локоточки его упирались в скатерть, и нежный взгляд был полон участия. Игорь был в свитере, в больших сапогах. Брезентовый плащ висел на стуле, к кадке с пальмой прислонилась удочка.

— Казалось бы, рыбалка — спокойное занятие, а меня лично она изматывает! — Игорь подмигнул девушке. — Но мне нравится. Люблю это дело...

Она вдруг залилась счастливым жизне-радостным смехом — хохотала до слез, раскраснелась и, утихая уже, сказала:

— Ну, остряк, надо же! — И неожиданно грусто добавила: — И уродилась же я такая несчастливая!

И она подложила ему добавки.

— Людмила, прекращай, — строго сказал Игорь. — Я, конечно, остроумный, но ты меня балуешь. Тащи свой улов.

Она встала, обнаружив довольно большой уже живот, и бережной походкой беременной женщины направилась в сторону кухни. Игорь надел плащ, взял сумку, удочки.

Большая щука забилась в руках Людмилы, и она испуганно прижала ее к животу.

— Трепыхается...

— Не балуй, получишь.— Игорь взял рыбину и стукнул ее об угол железного стола.— Даже рыба жаждет жизни.— На прощанье он нежно прикоснулся губами ко лбу Людмилы.

Валентина стояла перед шкафом, выбирая платье понаряднее, когда пришел муж.

— Ты куда это на ночь глядя? — он встал за ее спиной у зеркала.

— Врать обязательно? — помолчав, спросила она.

Он усмехнулся, не в силах побороть раздражение против нее.

— Обязательно. Потому что мы — образцовая семья. Я, например, на рыбалке был, — с вызовом сказал он, вынул изо рта сигарету и засунул ее в пасть щуке, торчащей из рыбацкой сумки, отчего она приобрела глумливое и хитрое выражение.

— А я пошла на рыбалку.

— Дома посидишь! — Игорь вдруг с силой отбросил жену от шкафа, так что треснула ткань на рукаве.— Я должен играть в игру, а ты не должна! Хорошо устроилась! Люди из-за нее лгут. Люди на нее работают. Люди из-за нее страдают. А над ней крыша.

— Что брешешь?

— А то — у меня скоро ребенок будет, я и то...

Валентина смерила его взглядом:

— Что, подташнивает?

— Тошнит, выворачивает! Давно! Ладно, до свадьбы с ним путалась. Я верил, что ты меня полюбишь, — чего только ни делал, чего ни терпел!

— Ты сам идешь на это, зачем идешь? — Валя подошла к шкафу и вынула другое платье.

Игорь вырвал вешалку из ее рук и швырнул на пол.

— Я иду? Сам иду? Меня в райком таскают, мозги пропиливают этой образцовой семьей. Ладно, что там у вас внутри, мы все люди деликатные, нам не надо. Что снаружи — вот нам надо!

— Ладно, хорошо! — тут и ей стало тошно, она сняла еще одно платье, и его отнял Игорь.

— Нет уж, ты помайся, проведи вечер с мужем за чайком у телека!

Валентина разозлилась, вынула из шкафа пиджак и хлопнула дверью.

И подлетели черные машины к резиденции в глубине сада, и была большая суматоха, и нервничало областное начальство, и тем спокойнее по контрасту выглядели лица рослых парней из охраны. Случилось

редкое — в область приехал Сам. Самый Главный. Главнее уж не бывает.

По ступенькам дома поднимались Валентина, молоденький паренек и Иван Андреевич... У Валентины и паренька на груди были правительственные награды, у Ивана Андреевича только депутатский значок.

— Значит, так, — шептал Иван Андреевич.— Сами не говорите, отвечайте громко, коротко, ясно.

Иван Андреевич очень нервничал, вытирал пот со лба.

— Тебя, Валентина, очень прошу. Не шути. Дело серьезное. Серьезней не бывает. После таких встреч люди знаешь куда взлетают?

— А мне говорили, он шутики любит, — нервничая, отвечала Валентина.— И женщины такие, как я, ему нравятся.

Иван Андреевич посмотрел на нее, и щека у него задергалась.

Молча шли по коридору. Молодой паренек вдруг остановился и отвалился вбок. Иван Андреевич, Валя подхватили его с обеих сторон.

— Ты что, Коля?

— Голова что-то закружилась, — виновато сказал паренек.— Сейчас пройдет. Извините.

— Ты больной, что ли? — испуганно заметил Иван Андреевич.

— Здоровый... С непривычки. Извините.

И опять они шли по коридору.

Перед резными деревянными дверьми их остановили. Четверо в штатском.

Потом пропустили в большую пустую комнату, где вдоль стен стояли стулья.

Они сели на стулья и стали ждать. Ждали долго.

Валентина спокойно смотрела в окно. Все молчали. Через полчаса, а может, через час отворились другие двери. Вышел помощник:

— Сегодня встречи, видимо, не будет. Нездоровится, — объяснил он.— Но лучше не расходиться. Мы предоставим вам возможность отдохнуть до утра.

Все послушно кивнули.

Валентина слонялась из угла в угол уютной гостевой комнаты, прилегла на диван, минуту разглядывала пухлых амуров на полке, потом вышла из комнаты.

Прошла по коридору, толкнулась в одну дверь — заперта. Открыла другую — тут сидели серьезные, озабоченные мужчины, вполголоса, но горячо обсуждали что-то, вопросительно и недовольно повернулись к ней, замолчали.

Она закрыла дверь.

Села у себя в комнате, включила телевизор. Показывали инсценированную «Малую землю». По другой программе шел концерт Пахмутовой. Валентина разобрала постель, легла.

Дверь без стука открылась. Вошел бледный Иван Андреевич. Сел на край кровати.

— Зябко как-то! — сказал он.

— Насчет чая что ли намекаете? — спросила изумленная Валентина.

— Да ни на что я не намекаю. Мне просто в постель надо лечь. Под чей-нибудь бок.— И Иван Андреевич начал раздеваться.

— Вы что, Иван Андреевич, одурели? — сказала Валя.— Вы меня с кем-то путаете!

— Валя! Да я честно тебе говорю — меня колотит всего, дрожь нервная! Если б я дома был, я бы к жене под бок лег, успокоился. А тут, видишь, один. Да что мне, семнадцать лет? Ничего мне не надо. Не до этого сейчас, ей-богу! Я в первый раз на таком уровне ночую. Ну и колотит,— жаловался Иван Андреевич.

— Ложитесь,— сказала Валя,— постель теплая. И в руки себя возьмите. Мужчина вы или кто?

Она встала, оделась и вышла из комнаты.

Беременная Людмила сидела дома и шила, поглядывая в окно на созревшие, виновато склоненные головы подсолнухов, вдруг она ахнула и вскочила. Подъехала серая «Волга».

Валентина втолкнула ее в дом.

— Игорь, встречай гостей! — И пошла включать все, что включалось.— Вот цветной телевизор, вот «Шарп» японский, вертушка, так... Электрической плитой умеешь пользоваться? — спросила она бедную Люду.— Пойдем покажу! — Дом наполнился светом, музыкой, голосами «Малой земли», все смешалось и вдруг разом погасло, замолчало.— Ладно, пробки сами чините.

На улице она оглянулась на вновь загоревшиеся окна своего дома и вдруг вернулась. Открыла шкаф, взяла шубу, положила на стол ключи и закрыла дверь.

— Миш, к тебе пещерная женщина! — позвали Рожкова.

Она стояла под дождем, мех на шубе заострился иглами, ошетинился.

— Пустишь бездомную?

— Заходи.

...Валентина проснулась в комнате Рожкова под трель будильника, но глаз не открывала.

— Тебе пора,— тихо сказал он.

— Куда? — удивилась.

— ...А помнишь, как Брежнев, Хрущев и Никсон пошли по бабам?

— Знаю, старый,— она счастливо засмеялась и только теперь открыла глаза, обвела его убогое жилье.— А у тебя уютно.

— Ну, Валюша, давай, давай,— ласково

подталкивал Рожков.— Тебя такие люди ждут! Иди.

— Никуда я не хочу! Встать-то не могу! Я полежу немножко, ладно? Ты не торопись?

— Я?! — он захохотал.— Я — нет!

— Господи. Да как же мне хорошо с тобой. Неужели теперь так и будет?

В полдесятого у резных дверей с медными ручками стояли Иван Андреевич, вчерашний паренек и новая девушка. Опять всех быстро проверили.

Все трое зашли в пустую комнату. Не успели присесть, как открылись белые двери и вошел, трудно передвигая ноги, старый человек. Он шел, протянув руки для объятий, и улыбался. Он направился в девушке и, когда достиг ее, глаза его увлажнились, он потянулся к ней — и фотограф запечатлел этот привычный момент, чтобы на другой же день тассовские снимки обошли все центральные газеты.

Валентина поставила свою «Волгу» у мастерских, бодро направилась к комбайнам, здороваясь с мужиками. Что-то в ответных приветствиях, выражении глаз насторожило ее, но что за этим — она не могла еще знать, только убыстрила шаг. Люди с любопытством провожали ее глазами, кое-кто пошел следом.

Комбайн стоял на месте, и она немного успокоилась, обошла машину, проверила и собралась уже залезть наверх, как вывернулись откуда-то Барабаш и незнакомый парень.

— Валентина Ивановна,— обратился к ней парень.— А где вентилятор? В комплекте он был?

— В кабине под сиденьем,— механически ответила она.

Парень мигом взлетел в кабину, крикнул Барабашу:

— Нашел! Теперь порядок.

— Чего расхозяйничался? — крикнула Валентина не понимая.

— Так-то вот, Валентина Ивановна,— сказал Барабаш.— Такую гарную машину — в другой район.

— Да вы что?!

— А то. Надо было умом думать. Машина в простое.

— Да что я, не отработаю? Ночами работать буду, знаете ж...

— Про ночи твои все знают. Тебя предупреждали, прекрати шатания, сойдишь с мужем. Сколько можно на тебя глаза закрывать? Утратила самокритику. А пока пойдешь на кукурузоуборочный.

— А дерьмо возить не хошь? — Вален-

тина встала перед комбайном.— Слышь, ты, выковыривайся. Моя машина,— она с угрозой оглянулась на Барабаша и мужиков за ним.— И моя личная жизнь!

Она встретила с глазами только любопытными, только равнодушными. Нет, злорадства не было, просто она, ее машина были бесконечно далеки от них, хоть и работали бок о бок, на одной земле.

Ее комбайн, машина ловкая, обогнул ее в полуметре и поехал со двора.

Люди разошлись по делам, а Валя так и осталась стоять со стиснутыми кулаками.

Она метнулась в райком. Члены бюро выходили из кабинета первого секретаря.

— Почему меня не вызвали? — спросила Валентина у секретарши.

— Не нашли.

— Не искали.— Приказала:— Закажите Москву. Вот телефон.

В кабинете еще был народ.

— Здравствуйте,— поздоровалась и сразу пошла в наступление:— Ну кто вы?.. Я за себя работой отвечаю. Я работой комбайн заслужила.

— Возьмите трубочку,— заглянула секретарша.— Москва.

— Иван Андреевич, родненький, это я... Все примолкли, с интересом наблюдая, пытаясь по выражению ее лица понять разговор.

— Но Иван Андреевич! — голос ее упал, она повернулась спиной, слушала, сутулилась.— Нет, Иван Андреевич, нет.— И, наконец, холодно и определенно:— А вот это уж нет. Это мое, только мое и его дело. Не будет этого. До свидания.

— Ну что ты, Валюша, поплачь...

А она смотрела на него сухими глазами.

— Надо в Москву, Миша! Надо обязательно ехать. Там меня все знают. Я запишусь на прием. К самому Леониду Ильичу пойду. Все ему объясню. Он поймет. И ты запишешься. Вместе. И за тебя попросим... Надо в Москву...

Они поехали. В сером здании напротив Манежа и библиотеки им. Ленина Валентина сидела среди желающих записаться на прием к Председателю Верховного Совета СССР.

Валентину внимательно выслушали, посоветовали написать письмо. Да, самому. Да, лично. Да, со всеми подробностями. Конечно, вас знают. Наверняка вникнут и разберутся...

Может быть, так советовали тут каждому. И каждый выходил с окрепшей надеждой. Так было и с Валентиной.

Была осень. Город готовился к ноябрьским праздникам. Плакаты, портреты, лозунги, транспаранты украшали столицу.

Валентина с Рожковым отстояли очередь в Мавзолей, потом шли вдоль решетки Александровского сада. Держались за руки, верили в счастливый поворот судьбы, любили друг друга, наверное, последней любовью.

А на одном из перекрестков случай развел их. Она не успела — милицейские свистки и долгая, долгая пауза. Дорога очистилась от машин, светофор впустую менял цвета, регулировщик нервно помахивал полосатым жезлом, и ничего нельзя было сделать. Они ждали по разные стороны проспекта. Валя смотрела на Рожкова, Рожков видел Валю. Постовой вглядывался в трассу. Все смотрели на трассу. Валентина смотрела на трассу, Рожков — на Валентину.

Наконец промелькнули мотоциклисты и следом черной молнией кавалькада машин. Валентина смотрела, и во взгляде ее было то, что, наверное, бывает в глазах больной или подбитой птицы, когда она следит за полетом своей стаи...

...Хроника. Большой зал. Огромное число людей. Сцена президиума. Напряженная тишина.

В десятом ряду сидит Валентина. В строгом платье с правительственными наградами на груди. Все выжидающе смотрят на сцену.

И наконец медленно выходит президиум. Впереди идет Он. Старый человек с доброй улыбкой. Идет медленно, осторожно. Улыбается залу.

Вспыхивает овация. Зал встает. Овация продолжается и продолжается. Улыбается старый человек, и все не смолкают аплодисменты.

Аплодисменты. Аплодисменты. Крики и здравицы. Овации...

...Кавалькада черных машин мчалась по городу в сторону аэропорта. ...Была весна. В одной из машин сидела Валентина. Со своей парадной прической, в костюме, со знаками отличия на груди. Сзади сидел Иван Андреевич, о чем-то разговаривал со спутником. Валентина смотрела из окна на автобусы и машины, ползущие в своем ряду, на березовые рощицы и перелески, на отдающих честь постовых ГАИ. И думала о своем.

...А Рожков сидел в своей комнатке с просиженным диваном. Очки на глазах. Читал газету. На столе — хлеб, огурец, яйцо. А за окном шлюз, белый пароход, попавший уже в пропускник и опускающийся вместе с водой, яркая зелень, лазурное безоблачное небо и дразнящиеся с высоты чайки.



**Мария
ЗВЕРЕВА**

УКРАДЕННОЕ СВИДАНИЕ

Большая бревенчатая баня тонула в клубах пара. Женщины не спеша терли друг другу спины, обливаясь водой. Раскрасневшиеся лица, плечи, звяканье тазов, плеск, мешанина слов, приглушенный смех...

...Потом, в предбаннике, они надевали на чистое прохлещепелованное белье одинаковую казенную одежду...

...А выйдя из бани, оказались на утоптанном снегу лагерной зоны. Блочные бараки, фонари над колючей проволокой. Женщины привычно построились в колонну. И только Валентина уже не встала в строй.

Следом за дежурным она пошла отдельно ото всех, обгоняя колонну.

— Гуд бай, Валька!.. Ох, Валька, ох, уродка! Кому ж такая чистая достанешься?! — пряча зависть, весело выкрикивали из строя.

Валентина в ответ только улыбалась, но не от радости — от волнения. Слишком долго ждала этого дня.

Колонна свернула в сторону и теперь удалялась вдоль забора с проволокой, мимо вышек. Чем дальше они уходили, тем горячее становились выкрики, обращенные к ней, почти свободной... И в какой-то момент веселье в криках и на лицах женщин стало яростным, совсем не похожим на веселье. Валя уже тоже не улыбалась и больше не оборачивалась в их сторону...

...А потом гроыхала по таежному лесу платформа, груженная пустой тарой. Лязгая

на рельсовых стыках, она увозила тех, у кого сегодня кончился срок. Увозила от прошлого. Их было трое, кроме Вали. Они сидели тихие, присмирившие, а мимо бесконечной стеной проплывали громадные вековые ели...

Валя ехала в плацкартном вагоне. Рядом, опершись на узлы, дремала пожилая тетка. Напротив сидел лейтенант с женой.

— Я в геологической партии работала, — с увлечением врала им Валя. — Давно мечтала Сибирь посмотреть. А тут как раз случай представился...

В проходе возле них остановился человек в поношенной телогрейке. Валя почувствовала взгляд, обернулась. Мужчина улыбался, открывая щербатый рот.

Валя смолкла на полуслове. Поднявшись, пошла за ним.

В тамбуре они обнялись.

— Надо же! — Валентина прижалась к его небритой щеке. — Я думала, ты уже к дому подъезжаешь.

— Я ж обещал — вместе поедем.

— Мало чего люди в зоне обещают, — отмахнулась Валя. — Три дня свободы кого хочешь закрутят.

— Для любви три дня — не срок!

— Тебе, Толик, меньше пяти лет вообще не срок! — грустно заметила Валя.

В тамбуре было накурено. Лязг дверей, толкотня проходящих из вагона в вагон людей. Но Толик и Валентина не замечали этого.

— Эй, молодые, красивые!.. Сигарет не жалеете? Напитки — «Пепси-кола», «Мандариновый». — В тамбуре появилась большая корзина, за ней — официант.

Толик неохотно выпустил из объятий Валентину, достал из кармана мелочь.

— «Беломор», — бросил он и кивнул в сторону лежащих в корзине иностранных сигарет: — Фарцуешь? Смотри, заметут...

— Да это кубинские, их теперь в любом сельмаге хоть ушами ешь! — фыркнул официант. — С луны, что ли, свалился?..

— С Марса, — ответил Толик, забирая «Беломор».

— Знаем мы ваш Марс, — подхватывая с пола тяжелую корзину, ехидно усмехнулся официант, — три ряда колючей проволоки...

— Знаешь, так и шагай! — Валя захлопнула за ним дверь тамбура.

Толик опять притянул ее к себе.

— Эх, жаль, дверь не запирается.

— А где они у нас запирались? — засмеялась Валя.

Толик глянул на нее и вдруг, что-то решив, отступил.

Сквозь дверное стекло Валя видела, как, стоя на пороге служебного купе, он настойчиво уговаривал проводника, торговался.

Окно в купе было зашторено. Валя и Толик лежали на вагонной полке, тесно прижавшись друг к другу.

— А помнишь, как мы с баржкой в половине тонули?

Валя кивнула, потерлась щекой о его плечо:

— А как тебя к нам первый раз привезли — помнишь, крышу чинить?..

— А мы за тарным цехом чай варили...

— Да-а... А ты на Зинку Окаемову плялился!

— Ой, Валь, опять ты...

— Да-да! Опять! Потому что видела! Глаза вылупил и дышит... Тьфу! — Валя в сердцах отвернулась.

— Да сто лет она мне не нужна, — миролюбиво сказал Толик.

— Ты хоть видел, какие у нее ножищи?! — снова обернулась к нему Валя. — Сорок второй размер. Сорок второй — слышишь?

Толик кивнул, сказал задумчиво, глядя в потолок:

— Все же хорошая у нас с тобой была любовь. Да, Валь?

Утром они стояли в тамбуре. Поезд приближался к большой станции, и Валя подняла с пола свою брезентовую сумку.

Они поцеловались.

Валя шагнула к двери.

— Слушай, Валь, а поедем со мной, а? — вдруг предложил Толик.

— Это как? — у Вали даже голос сел от волнения. — Насовсем, что ли?

Заскрипели тормоза. Поезд остановился. Пассажиры устремились к выходу.

— А че? — заторопился Толик. — Распишемся, как люди. — Ты — одна, я — один, это, считай, наши козыри.

— Так я ж не одна, Толик! Сын у меня, ты же знаешь!

Выходившие пассажиры вытеснили Валю на перрон, но она старалась удержаться рядом с вагонной дверью, в напряженном ожидании всматривалась Толику в лицо.

— Я его сперва разыскать должна...

— Да зачем, Валь? — Толик шагнул на перрон. — Сколько ему тогда было? Два? Три? А теперь восемь. Здоровый мужик! И знать не знает, что ты была на свете.

— Узнает, — упрямо возразила Валя.

— Врубись мозгами-то, Валентина! Я тебе предлагаю всю жизнь забыть и начать сначала. — Толик взял ее за локоть, развернул к себе: — Ну, решай скорее!

Валя покачала головой:

— Нет, Толик, не смогу я так...

Они в упор смотрели друг на друга.

— Ну и дура, — вздохнул он с сожалением.

— Ладно, не бери в голову, — отозвалась Валентина как могла легко и, помолчав, добавила: — Хорошо, что ты меня дождался...

Она слислась с толпой и пошла по перрону.

У массивных вокзальных дверей Валя все-таки оглянулась — пассажиры схлынули, поезд ушел. Она тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли, затолкала в сумку не по погоде теплую стеганку и направилась через площадь.

Валя шла решительно, и вид у нее был такой, словно она боялась куда-то опоздать. Но пестрая городская жизнь, от которой Валя так отвыкла за эти годы, все-таки отвлекала. Она растерянно сбавляла шаг, проходя мимо недавно отстроенных зданий, провожала глазами женщин, одетых по новой, непривычной моде. У галантерейного ларька остановилась на минуту — глаза разбегались от обилия разноцветных товаров. Купила флакончик духов и колготки в плоской коробочке. На коробке была иностранная надпись и фотография почти голой девахи. Фотография своей откровенностью поразила Валу, и она потом даже пару раз доставала из сумки коробку.

С центральной улицы она свернула на другую, потише, и у зеленой металлической ограды замедлила шаг. За оградой, во дворе, среди грибков и песочниц играли дети.

Сосредоточенно играли, тихо... И в этой их дисциплинированной тишине было что-то странное,сторажающее. Валя посмотрела на них сквозь ограду, потом поправила волосы и, собравшись с духом, решительно толкнула калитку с табличкой «Дом ребенка № 1»...

...В вестибюле на стене висели плакаты с розовошекими мальчиками. Сквозь открытую дверь видна была большая комната, затянутая ковром. На полу сидел мальчик лет четырех с непомерно большой головой и катал взад-вперед какое-то колесо. Другой, поменьше, лежал на спине, раскинув руки, бессмысленно смотрел в потолок.

Откуда-то сбоку выбежала девочка в халатике, поздоровалась с Валентиной. Остановилась, внимательно разглядывая ее. Потом появилась еще одна, вторая, третья... Каждая говорила «Здравствуйте» и останавливалась, глядя на Валу с напряженным ожиданием. Мальчик лет пяти растолкал их, подошел вплотную. У него было странное лицо — какое-то расплывшееся, неопределенное, с исковерканной, заячьей губой.

— Ты — моя мама? — спросил он, глядя ей прямо в глаза.

Валя вздрогнула.

— Нет! — ответила она поспешно, почти испуганно. Потом, устыдившись, провела рукой по его волосам. — Нет, я не твоя мама...

...В коридоре второго этажа было сумрачно и пусто. Только у окна стоял мальчик лет шести и напряженно смотрел на пустую дорожку, ведущую от ворот к дому. На мгновение он обернулся, скользнул отрешенным взглядом по Вале и снова устался в окно.

...Главврач «Дома ребенка» — женщина средних лет в белом халате — держалась строго и официально.

— Мы же писали вам... Не понимаю, на что вы надеялись...

— Я просто думала, может, не взял его никто... — Валя сидела, ссутулившись. — Или взяли, а потом вернули, так ведь бывает...

— Нет, не вернули, — холодно отрезала врач. — Еще раз повторяю: никаких сведений о ребенке я вам дать не могу.

Валя горько усмехнулась:

— Вон как вы со мной... Такая уж я страшная преступница? Не убийца же я, не алкоголичка, чтобы ребенка меня лишать.

— Послушайте, не будем все ставить с ног на голову, — сухо возразила врач. — Не мы вас лишили, а вы сами от него отказались.

— «Отказалась»? — всплеснула руками Валя. — Да я и в растрату, может, из-за него впуталась...

— Эти ваши подробности меня совершенно не интересуют. Вы отказались от

ребенка? — сдерживая раздражение, перебила врач.

— Но я тогда думала...

— Нет, вы мне скажите, вы бумагу подписали?

— Ну...

— Вас ведь тогда никто не заставлял?

— Не заставляли, — устало согласилась Валя.

— Ну так вот, с того самого момента вы не имеете на мальчика никаких прав. Я вам говорю это совершенно ответственно.

В кабинет вошла сильно накрашенная женщина в майке с каким-то нелепым рисунком. Следом за ней шла пожилая воспитательница.

— Вот, явилась наконец.

— Что ж вы, Ломейкина! — укоризненно покачала головой врач. — Мы вас прямо обыскались. Мальчик ведь волнуется, от окна не отходит.

— А че меня искать, — угрюмо отозвалась Ломейкина. — Нечего меня искать. Передумала я...

— То есть как?!

— Не возьму я его. Глухой он... Ну, че вы смотрите? Сами, что ли, не знаете?

Пожилая воспитательница тихо охнула.

— Мы?.. Мы знаем... — врач старалась говорить спокойно. — Да, у мальчика действительно поражен слух. Но это же ваш ребенок! Вы обнадежили его...

— Глухой он, — поморщилась Ломейкина.

— Да как у тебя язык-то не отсохнет! — пожилая воспитательница замахнулась на Ломейкину маленьким сморщенным кулачком.

— Подожди, тетя Катя. Вы продумали свое решение, Ломейкина?

— А че, продумала, — бубнила та. — Глухой он.

— Ну что же, ваше право, — сдержанно ответила главврач. — Идите пишите заявление на отказ. Тетя Катя, проводи ее к Инне Петровне. — И она уткнулась в какие-то бумаги, давая понять, что разговор окончен.

Когда дверь за Ломейкиной закрылась, она отбросила бумаги в сторону, резко встала, заходила по кабинету, стараясь успокоиться.

— А вы чего ждете? — вспомнила она о Вале.

— Где мне его искать, хоть скажите, — тихо заговорила та. — Не жить мне без сына! Вы ведь тоже женщина, должны понять!

— Гражданка, — устало сказала врач, — постарайтесь меня наконец услышать. Вашего ребенка, слава богу, усыновили хорошие люди. И никто не позволит снова ломать ему жизнь из-за вашей прихоти!

— Да что ж вы непробиваемая такая? — еле сдерживаясь, смерила ее взгля-

дом Валя.— Что ж в вас жалости-то к людям нет?!

— Жалости?! — переспросила врач, обрассывая официальный тон.— Это к вам, что ли? Или, может, к этой, к Ломейкиной? Тоже раньше сидела тут, рыдала. Раскаивалась!.. Да если хотите знать, я таких, как вы, ненавижу! И слезы мне ваши — вода! Это ж всё дети,— она, волнуясь, выхватила из кипы папок одну.— В роддомах от них отказываются, на ступеньки к нам подбрасывают, на рельсах оставляют! И у каждой — свои причины! А мне ваши причины неинтересны! Что — война? Или голод? Или, может, травят матерей-одиночек? Нет! Нет сейчас причин!

Валя угрюмо смотрела, как она снова заходила по кабинету.

— Жалости нет! — с глухой яростью повторила она.— Да тут сердце порвешь! Вы детей наших на первом этаже видели?! Нет? Так пойдите посмотрите! А то ведь вы как — выпили, подзакусили... Какой ребенок вышел — такой вышел! Пять лет назад нам пришлось открыть группу для неполноценных детей. А теперь у меня таких групп — три! Слышите? Три!!!

В дверях опять показалась пожилая воспитательница.

— Ну, подписала она? — с ходу спросила врач.

— Нет... Я, говорит, мать-одиночка, вы обязаны держать.

Доктор бессильно опустила на стул, руки невольно сжались в кулаки.

— Та-ак... Витя ее видел?

— Нет, я ее через канцелярию провела.

— Так и выводы.

О Валентине она снова будто забыла.

Та поднялась, спросила угрюмо:

— Ну, а мне-то что делать? Куда идти?

— Куда хотите,— пожала плечами врач.

— Что ж, вы мне так ничего и не скажете? — не поверила Валя.

— Не скажу...

— А это вы бросьте! Это у вас не выйдет! — не могла больше сдерживаться Валя.— Я вас спрашиваю: куда мне обращаться? Это вы обязаны, ясно?

— В районе,— сухо сказала врач.— К инспектору по охране детства. Только все равно он вам таких сведений не даст.

— А это мы еще посмотрим! — с вызовом ответила Валя и, хлопнув дверью, вылетела из комнаты.

Прижимая свернутый матрац к груди, Валя шла следом за комендантом по длинному коридору общежития. Мимо женщин в халатиках и бигуди, мимо кухни с шипящими сковородками.

Они вошли в комнату, тесно заставленную кроватями и тумбочками.

— Это твоя,— комендант показал на койку у самой двери и вышел.

Две девушки сидели за покрытым кленой столом и ели что-то прямо со сковородки. Вопросительно посмотрели на Валю. Громко играло радио. Валя обвела взглядом комнату, опустила на койку матрац и тоже вышла за дверь.

Она догнала коменданта у лестницы.

— Слушай,— начала Валя интимно,— будь человеком, сделай мне отдельную комнату, а?

— Чего? — комендант даже повеселел от такой наглости.— Ну ты даешь!

— А ты найди что-нибудь. Хоть подсобку какую! Устала я на людях. Одной побыть хочется.

— Знаем, зачем вам отдельные комнаты. Мужиков водить!

В Валиных глазах мелькнуло презрение, но она ответила, принимая его тон:

— Тебе-то что? Я ведь не задаром прошу. За мной не пропадет, не девочка.

Комендант оценивающе глянул на нее.

— Что не девочка, это нам ничего... — Он помолчал, прикидывая.— Ладно уж, за твои голубенькие глазки... Подожди до отбоя.

Уже везде погасили свет, когда Валя наконец переступила порог кладовки. Голая лампочка под потолком, лыжи в углу, на полу матрац. Валя заложила дверь лыжной палкой, вздохнула с облегчением и сбросила с ног туфли.

В дверь тихо постучали.

— Эй, ты чего закрылась? — раздался вкрадчивый голос коменданта.— Открывай!

— Зачем это?

— Зачем, зачем,— комендант хмыкнул.— Чай пить будем...

— Сплю я...

— Ты из меня дурака не делай,— рассердился комендант.— Обещала, так открывай!

— Бутылку я тебе обещала,— устало сказала Валя.— Завтра куплю.

— А ну, не дури! Открывай, говорю!

— Сейчас, разлетелась...

Он с силой тряхнул хлипкую дверь.

— Я орать начну,— предупредила Валя.— Весь этаж подниму, понял?

— У, зараза,— заскрипел зубами комендант.— Ну, я тебя завтра заселю! На кривую койку, под сквозняк...

— Завтра — валий! — отозвалась Валя.— А сейчас проваливай! Сегодня — мой день. Гуляю я сегодня...

Комендант, чертыхаясь, отступил. Валя дождалась, пока стихли шаги, тяжело перевела дух и, как была, опустилась на матрац у стены. Только сейчас стало заметно, как тяжело дался ей этот день.

Она начала раздеваться. Стянула до колен новые колготки, задумалась... Да так и осталась сидеть, устало глядя на пустую противоположную стену.

В длинном коридоре района входили и выходили из комнат люди. На откидных, как в кинотеатре, креслах ждали посетители. Прошла секретарша с ворохом бумаг, а навстречу ей из кабинета вышла другая, с электрическим чайником.

Валя сидела возле двери в комнату, отведенную инспекторам. Она ела булку, осторожно отламывая по кусочку, чтобы не так заметно было со стороны.

Из кабинета вышла старушка, пошла по коридору, на ходу засовывая документы в старомодную сумочку.

Валя вошла, скромно остановилась у двери, дожидаясь, чтобы на нее обратили внимание. Один стол был пуст, за другим полная блондинка разговаривала по телефону, возле третьего сидела зареванная посетительница и жалобно твердила пожилой инспекторше с добрым круглым лицом:

— Но он же все осознал! Он больше не будет, ей-богу.— Она зарыдала.— Вы только его не отсылайте.

— Ладно, Соколова,— вздохнула инспекторша,— отложим на месяц. Только б нам потом локти не кусать.

— Да что вы! — просияла женщина, растирая слезы по лицу.— Вот спасибо, Антонина Андреевна! Прямо уж такое спасибо!

Она подошла к двери. А Валя направилась было к столу, но тут в кабинет вернулась та, давешняя старушка.

— Вы все-таки письмо его прочтите,— прямо с порога начала она и принялась рыться в своей допотопной сумочке.

— Да читала я, читала,— устало сказала инспекторша.— Они как попадут в спецприемник, так покаянные письма писать начинают. И к тому же все одинаковые, как под копирку.

— Мой-то не так,— покачала головой старушка.— Мой исправился, жалеет уже.

— Чего он жалеет! — вмешалась в разговор блондинка.— Ларек ограбил, мальчика того чуть калекой не оставил. С вами что творил.. И через неделю исправился? Ну, вы уже старый человек, подумайте сами — бывает такое?

Валя терпеливо ждала, слушала.

— Горюет он там... — просто сказала старушка и снова начала дрожащими руками засовывать бумаги в сумочку.

— Не расстраивайтесь,— мягко сказала Антонина Андреевна.— Там он скорее на ноги станет. Вот увидите. И профессию получит.

— В колонии? — старуха махнула рукой и вышла.

Инспекторши переглянулись.

— Вот ведь люди! — сказала блондинка.— Он ее чуть на тот свет не отправил, а она ходит и за него просит!

— Внук... — вздохнула Антонина Андреевна.

Валя шагнула вперед.

— Нету Кудрова,— сказала блондинка, глянув на нее.— Сказали же вам, не будет его сегодня.

— А завтра?

— И завтра.

— Но написано ведь: приемный день вторник, среда.

— А он за свой счет взял,— блондинка уже начала раздражаться.

— Да что же это у вас за порядки такие? — сдержанно вздохнула Валя.— Два приемных дня, а он хочет — ходит, хочет — не ходит?!

— Мать у него больна,— пояснила Антонина Андреевна.— Умирает.

— А им что! Им ничего! — ядовито сказала блондинка.

— Когда же он будет-то теперь? — растерялась Валя.

— Когда сиделку для матери найдет, тогда и будет,— отрезала блондинка и пошла к двери.

Валя подошла к Антонине Андреевне.

— Тогда я к вам...

— Ко мне? — удивилась инспекторша, но отодвинула недописанную бумагу и приготовилась слушать.

— К вам,— кивнула Валя.— Я вижу, вы к людям жалость имеете. Вы... вы помогите мне, а?

— Как? — устало вздохнула инспекторша.— Вопрос-то ваш совсем не по моему «ведомству». Да и потом, вы говорили, вроде, сами отказались от ребенка, да?

— Я ведь почему,— попыталась объяснить Валя,— срок большой давали. Вот я и решила: уж лучше усыновят его хорошие люди. Дура была! Трижды дура!

— Да,— посочувствовала инспекторша.— Я вас понимаю...

— Помогите мне,— горячо заговорила Валя.— Мне и надо-то всего узнать, куда его увезли. А там уж я сама, а?

— Ну что вы говорите,— вздохнула инспекторша.— Это никак нельзя — ни по закону, ни вообще.

— Да чего нельзя-то? Матери на сына взглянуть нельзя?! Мать есть мать, как мать — никто любить не будет!

— Нет, не могу я,— покачала головой

инспекторша, но лицо у нее все-таки было сочувственное.

— Да вы только глазком одним в дело загляните, и всё! — торопливо говорила Валя. Она полезла в сумку и стала доставать большую коробку конфет. Коробка застряла и никак не вынималась. — Вон же у вас папки стоят... Так, мол, и так, увезли туда-то... А я больше никогда, ничего... — Валя вытащила наконец коробку с тремя богатырями на картинке.

— Уберите сейчас же, — тихо сказала инспекторша.

Валя подняла глаза на нее и сразу поняла, что все испортила. Антонина Андреевна смотрела строго.

— Уходите, женщина. Уходите, — устало сказала она, поднялась над столом всем своим грузным телом. — И к Кудрову не советую обращаться, с ним эти штучки тоже не пройдут.

...Валя вышла на оживленную площадь перед районо. Большую нелепую коробку она все еще держала в руках. Валя свернула в тихий скверик и с ненавистью зашвырнула коробку в кусты. Но, пройдя несколько шагов, остановилась, вздохнула и все же повернула обратно. Конфеты, рассыпавшись, лежали на траве. Валя опустилась на колени и принялась складывать их в коробку.

Валентина снова стояла у ограды детдома. Малыши копались в песочнице. На лавочке сидела молоденькая воспитательница и читала книгу.

— Девушка, — окликнула ее Валя. — Анна Лаврентьевна в какой смене?

— А она в прошлом году уволилась. — Девушка поднялась, подошла к ограде. — К сыну куда-то уехала.

— Уволилась? — растерянно повторила Валя.

— А все старенькие поувольнялись! — радостно сообщила девушка. — У нас теперь в младших группах коллектив исключительно молодой!

Валя машинально кивнула.

— А куда она уехала? — вскинувшись, с надеждой спросила она. — Адреса не оставила?

— Не знаю, может, кому и оставила... А что вы хотели?

— Да... — Валя замаялась на минутку, а потом сказала: — Росла я в этом доме... Тетя Нюра — моя воспитательница. Вот, познакомиться хотела...

— Ой, как интересно! — воскликнула девушка. — Жалко, что вы не встретились! Трөгательно было бы.

— Да, — кивнула Валя. — Наверное.

В прачечной, перед окошком выдачи белья, шла обычная перепалка.

— Но белье все влажное, — волновалась клиентка, — вы пощупайте!

— Чего мне его щупать? Нормальное белье! — отлаивалась приемщица — громогласная бабенка в белом халате. — Проходите, не задерживайте очереди! Без вас голова болит!

— Ну, ты здорова орать, — раздался за ее спиной голос.

— А вы куда лезете? Здесь служебное помещение! — обернувшись, с ходу закричала приемщица. И вдруг растерялась: — Валька, ты, что ли?

У служебного входа, действительно, стояла Валентина.

— Вы будете обслуживать? — зашумела очередь.

— Учет у меня! — гаркнула приемщица и решительно захлопнула окошко.

Женщины обнялись.

— Ох, Валька, — с улыбкой вздохнула приемщица. Потом тревога тенью пробежала по ее лицу. — Ты чего так рано?

— Не бойся, Нин, не сбежала, — усмехнулась Валя. — «За ударный труд и примерное поведение» — досрочно.

— Это ж надо! — восхитилась подруга. — Когда приехала-то?

Здесь, в стороне от своего рабочего места, она неузнаваемо изменилась. Теперь, пожалуй, можно было сказать, что женщина она молодая и даже симпатичная.

— В понедельник.

— А чего не ко мне? Обижаетесь?

Но Валя будто не услышала вопроса.

В окошко настойчиво колотили клиенты.

— Черт! Поговорить не дадут! Сейчас этот еще вылезет, — кивнула Нина на дверь с табличкой «Заведующий».

— Склонник?

— Нет, — махнула рукой Нина. — Бабник. Этот пристаёт, те права качают! Надоело — аж тошно!

— Ну и пошли отсюда!

— Так я ж до семи... А, действительно, — решила вдруг она и, заглянув за длинный стеллаж с бельем, попросила: — Тонь, будь человеком, подмени, я в субботу отработаю.

Валя и Нина шли по улице, разговаривали. За кинотеатром Нина повернула.

— Куда это ты? — удивилась Валентина.

— Домой... Ой, да ты же не знаешь! Мы квартиру получили! Двухкомнатную! — тараторила Нина. — Даже обставились почти. Стенку купили, чешскую. Не такую, конечно, красивую, как у тебя была... — перехватив

Валин взгляд, Нина осеклась.— Ладно, чего это я все... Ты-то как?

— Я? — переспросила Валя насмешливо.— Отлично!

Несколько шагов они прошли молча. Потом Валя остановилась.

— Нет, Нинка, не пойдем мы сейчас к тебе,— сказала она решительно.

— Почему? — напряглась подруга.— Лешка в рейсе... До пятницы...

— Ничего, успеем еще на твою стенку посмотреть... Пойдем в кафе какое-нибудь, что ли... Уж гулять так гулять!

Кафе было закрыто на перерыв, и потому перед дверьми уже толпился народ. Валя и Нина стояли в хвосте. Разговор не клеился. Валя все больше молчала. Нина рассказывала, стараясь избегать острых углов.

— Так он у меня непьющий. Зарплату домой приносит. На зимнее пальто мне откладываем. Представляешь, всю жизнь в куртках хожу!

— Нет, не представляю,— усмехнулась Валя.

— Ладно, Валь, у тебя, положим, пальто было.

— Этот мешок-то клетчатый?

— С цигейкой. Девчонки тебе даже завидовали!

— Да,— кивнула Валя.— Я всегда была везучая...

Взвизгнули тормоза, впереди остановились желтые «Жигули»-пикап.

Из машины вышел мужчина лет сорока. Таких называют солидными — элегантный, лысоватый, с уверенным твердым взглядом.

Валя и Нина одновременно замолчали. Нина испуганно смотрела на подругу. Мужчина не видел их, но еще несколько шагов — и встреча была бы неизбежна.

Валя, побледнев, напряженно смотрела на него.

Словно почувствовав что-то, он поднял голову. Взгляды их встретились. Это длилось одно мгновение. Валя дернула Нину за руку и быстро повела прочь.

— Валя, подожди,— еле успевала за ней Нина.— Он спрашивал о тебе! Слышишь? Когда вернешься, и вообще...

Валентина, не сбавляя скорости, тянула подругу вперед...

— Все равно ведь увидите! Он помочь тебе может! Валька! Ты не представляешь, кто теперь Сергеев! Он всё может! Слышишь?

— А я — не всё! — остановившись, отрезала Валентина.

Облупленное приземистое здание стояло в заросшем парке. Бывший детский дом соби-

рались, видимо, сносить, но, как это бывает, раздумали да так и бросили на полдороге. Парадный вход был забит досками, забор полуразрушен.

Валя и Нина сидели на бревне у небольшого костерка и подбрасывали в костер опавшие листья. Перед ними — бутылка вина, два бумажных стаканчика и та злополучная коробка конфет.

— А может, и правильно, что ты ушла,— сказала Нина.— Я как вспомню суд! Ты сидишь вся белая... Почему-то воротник все время поправляла.

— Пуговица у меня оторвалась...

— А этот гад все зудит: «Приписки, сокрытие...» А ты только воротник тербишь... Я, знаешь, все время на дверь смотрела, думала: вот сейчас Сергеев войдет, все объяснит... — Нина прижала руки к щекам.

Валентина скользнула по ней невидящим взглядом. Промолчала.

— А ты, Валька,— тихо сказала Нина,— ни разу на дверь не оглянулась.

Ветер прошлепал по деревьям, сбросил пригоршню красных и желтых листьев.

— Он к мальчику ходил? — после паузы спросила Валя.

Нина отрицательно покачала головой.

— А ты?

— Ходила... Только его забрали быстро. Месяца через два.

Валя кивнула.

— Я ж тебе писала,— сказала Нина.

— А я твоих писем не читала.

Нина виновато опустила голову.

— Валь, ты на меня обижаешься?

— Чего мне на тебя обижаться. У каждого своя жизнь.

Валя откинулась на спину, повернув голову, долго смотрела на старый, облупленный дом. Потом вдруг громко запела:

Пахнет палуба клевером,

Хорошо, как в лесу...

— Какой дом стал обшарпанный,— без всякого перехода сказала Валя.

— Да... — кивнула Нина.— Я и не была без тебя здесь ни разу. Я ведь никому не говорю, что детдомовская...

— Главное, мне не проболтайся...

Нина робко улыбнулась, принимая шутку за прощение.

На меня надвигается

По реке битый лед,—

снова запела Валентина.— А помнишь Володу, студента?

— А то...

— Ох, и дуры мы с тобой были!..

На реке навигация,

На реке пароход,—

теперь уже в два голоса, с каким-то остервенением пели они песню своей юности.

Пароход белый-беленький,
Черный дым над трубой.
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой...

Тут Валя заплакала. И Нина тоже. Так и сидели они, две подруги, у развалин своего бывшего детского дома, пели, плакали и заедали свои слезы конфетами.

— Вальк! — сквозь слезы воскликнула Нина. — Ой, Вальк, я знаю! Как же мы раньше не подумали! Тебе надо к Надежде Петровне!

— К историчке?

— Ага. Она поможет, Вальк, — радостно затараторила Нина. — Она же всех в этой системе знает. Влияние имеет...

— А что... — задумалась Валя. — Она баба крутая!

Валя сидела на диване в небольшой чистенькой комнате, смущенно поглядывала на хозяйку. Она все не могла поверить, что вот эта старушка в кофте, застегнутой не на те пуговицы, и есть Надежда Петровна. Учительница вытаскивала из коробки и раскладывала на столе старые фотографии.

— ...И этот выпуск был очень хороший, — говорила она, с нежностью глядя на большую фотографию в винетках. Пять таких фотографий Валя уже держала в руках.

— Последний мой, перед пенсией, — вздохнула учительница. — Ну-ну, ты что-то начала мне рассказывать...

— Надежда Петровна, — волнуясь, видно, не в первый раз начала Валя, — у меня ведь как получилось. Я после техникума пошла на обувную фабрику, потом меня перевели на базу...

— Хорошее начало, — перебила ее учительница. — Рита Фокина тоже начинала с обувной фабрики. И ведь так выросла! Теперь в райкоме работает. К каждому празднику мне открытки присылает... Вот, сейчас найду, где-то здесь...

— А со мной, Надежда Петровна, на базе неприятность получилась, — попыталась пробиться со своей историей Валя. — Вы же знаете, как нас из детдома выпускают, — трусы, лифчик и десятка в кармане, — как о наболевшем говорила Валя. — Как хочешь, так и живи. А как на десятку прожить — никто не рассказывал.

— Не в деньгах счастье! — сказала учительница. Она нашла открытку Риты Фокиной, протянула Вале.

— Это когда они есть, — горько усмехнулась Валя, откладывая открытку в сторону. — А тут зарплата семьдесят... И поесть надо, и одеться хочется...

— Не платье красит человека, Валюша! — немедленно отозвалась учительница, мигая выцветшими голубыми глазами. — Помнишь, я рассказывала вам про писателя Чернышевского?

— Про Чернышевского — это мы помним... Только, знаете, Надежда Петровна, когда всю жизнь в казенном... А потом, тебе семнадцать, — мучительно пыталась объяснить свое Валя. — А народ вокруг... Мы же не слепые! Эх, да не в платье дело! — вдруг махнула рукой Валя. — Просто вышла я тогда, посмотрела... Мама родная! Вот, оказывается, все как — два пишем, три в уме! Ну и обидно стало... Чего нам-то все так трудно!

— Трудностей бояться не надо! — с мягкой старушечьей улыбкой сказала Надежда Петровна. — Только в преодолении человек может обрести счастье! — готовые штампы сами собой сыпались из ее уст. — Мы всегда учили вас не бояться трудностей!

— Это смотря каких, — Валя опять постаралась свернуть на свое. — Со мной, например, такое вышло...

— Да-да, всякое бывает. У меня был ученик, Витя Бобров... — Она потянулась через стол за коробкой, но руки не слушались, и фотографии веером разлетелись по полу. — Хороший был мальчик, активный комсомолец, и такое несчастье — сломал позвоночник.

Валя ползала на коленях под столом, с досадой собирая разлетевшиеся фотографии, а сверху до нее доносился растроганный голос:

— ...Но он все-таки нашел в себе мужество подняться. Вернулся к любимой работе! Когда я узнаю про своих учеников такие вещи... — голос ее дрогнул. — Ну, я совсем заговорила! Пойду поставлю чайник. А ты, Валюша, пока расскажи о себе. За мужем? Дети есть? — уже из кухни спрашивала она.

— Сын... Я как раз с вами посоветоваться хотела...

В кухне что-то звякнуло и послышался короткий вскрик. Валя вскочила с пола, бегом бросилась туда.

Разбитая чашка с цветами лежала на полу в лужице бледного чая.

Надежда Петровна опустила на табурет.

— Вот, выронила... — беспомощно улыбнулась она. — Жалко. Гены Туревича подарок. Ну, бог с ней. Ты дай мне валидолу, Валюша, вон там, в шкафчике...

Валя разыскала валидолу, дала ей.

— Ты мне что-то про себя хотела рас-

сказать, да? — переводя дух, спросила учительница.

— Да все хорошо у меня, Надежда Петровна,— глянув на ее осунувшееся от волнения лицо, сказала Валя.— Работаю на базе... старшим товароведом,— подумав, добавила она.— Сначала, конечно, были трудности, но я их преодолела. Нашла, значит, в себе силы и встала на пути нечестных людей.

Учительница кивала с улыбкой, словно слушала хорошо заученный урок.

— Окончила техникум,— продолжила Валя.— Замужем. Муж — инженер. Сын — отличник...

Валентина лежала на Нининой тахте, а Нина рядом, на раскладушке. Обе не спали. Слышно было, как тикают часы на стене.

— Мама,— раздался из соседней комнаты сонный детский голос.— Мам...

Нина сунула ноги в тапочки, скользнула за дверь.

Мальчик лежал, свернувшись калачиком, сброшенное одеяло валялось на полу. Нина накрыла сына, поцеловала.

Валя смотрела на них сквозь приоткрытую дверь.

Поймав Валин взгляд, Нина пробормотала, словно извиняясь:

— Это он во сне... Замерз, наверное.

Валя отвернулась.

Тикали часы. Фонарь качался за окном. Нина и Валя лежали молча. Но молчание их теперь было тягостным.

— Не могла я его тогда взять!— вдруг тихо заговорила Нина.— Ей-богу, не могла! Лешка уперся как баран. А ты же знаешь, он и так крутил, расписываться не хотел...

Валя молчала.

— Ну что я могла сделать? Скажи! Тут своего-то родить — десять раз прикинешь,— с горечью бросила Нина.

— А я разве что говорю? Не смогла — значит, не смогла,— отозвалась Валя ровно, но на Нину так и не взглянула.— Ничего, найду как-нибудь...

В соседней комнате снова заворочался во сне Нинин сын.

— Валь, ты не сердись...— начала Нина осторожно.— Только... не ищи ты его...

Валя вскинулась:

— Что, думаешь, не признает он меня? Да я ему такую жизнь построю!

— Ты уже строила...— вздохнула Нина.

— Намекаешь? Да я теперь сдохну — закон не нарушу! Ученая!

— Да не о том я...

— А о чем?

— Ну, не знаю я, как тебе сказать... только хорошо не будет,— тихо, но с убеждением проговорила Нина.

Валентина села в кровати, и при свете фонаря видно было, как сузились у нее глаза.

— Вот теперь ты меня слушай, Нина, чтоб ты знала! У меня уже полжизни прошло. Тридцать лет. И все оказалось ерундой! Ничего не было стоящего. Понимаешь? Ни-че-го! Кроме Володи. Вот. Только он... И я его найду! — Валя говорила тихо, но такая скрытая сила и настоящая, пронзительная страсть были в ее голосе, что Нина смотрела на нее даже испуганно.— И мы будем с ним вместе! Слышишь? И все у нас будет не так, как раньше! — Она стукнула кулаком по подушке и легла, отвернувшись лицом к стене.

— Валь...— позвала Нина.— Ну ты чего... Валентина не откликлась.

Когда она проснулась утром, в квартире уже никого не было. На столе, под салфеткой, для нее был оставлен завтрак.

Валя накинула Нинин халат, прошлась по комнате, посмотрела фотографии на стене. Вот Нина, а вот ее муж, а вот все вместе... на пляже загорают... На подзеркальнике стояли духи. Валя понюхала, поставила на место. Рядом, в открытой шкатулке, лежали счета и документы. Она взяла в руки паспорт. С фотографии напряженно и испуганно смотрела на нее Нина. Помедлив, положила паспорт обратно. Решиться было не просто. Потом все-таки протянула руку и, взяв Нинин паспорт, опустила его в свою сумочку.

Инспектор Кудров жил в центре города, в одном из немногих старых домов. Валя остановилась перед дверью, поправила волосы, собралась с духом и позвонила. Открыли довольно скоро.

Перед Валей стоял мужчина лет сорока.

— Кудровы здесь живут?

— Да, — мужчина поосторонился. — Вы из поликлиники?

— Нет, мне сказали, вы домработницу ищите.

— Да. Очень.— Он пошире распахнул дверь, пропуская ее.— То есть почему работницу?— глянув на Валу, смутился Кудров.— Скорее, помощницу по хозяйству. Видите ли, моя мать очень больна, а у меня работа... А в больницу она не хочет. Комната предоставляется! — поспешно добавил он, испугавшись Валиного молчания, и вдруг, извинившись, кинулся на кухню, там что-то горело.

...Потом они сидели в большой комнате.

— А чтобы все, значит, официально, вот вам мои документы. Паспорт вот,— Валентина протянула Кудрову руку с паспортом, открытым специально на той страничке, где были имя и фамилия, но не было фотографии.— Вот смотрите, смотрите, чтоб не сомневаться.

— Да что вы... Нина Петровна,— смущен-

но заглянув в паспорт, прочел он ее имя.— Кто же сомневается?

— И прописку смотрите,— ловко миновав фотографию, Валя перевернула сразу несколько страничек.— Десять лет на одном месте живу. Да вы возьмите, почитайте.

Кудров, естественно, отказался.

— Все эти годы честно работала,— рассказывала Валя.— В прачечной... Да вот пришлось уйти...

— Ну, пошли, я вас с мамой познакомлю,— улыбнулся Кудров.

...В этой комнате жила болезнь. Она ощущалась во всем — в тяжелом запахе лекарств, полузадернутых шторах, бесчисленных пузырьках на столике.

Валя остановилась у порога. На высоких подушках лежала старуха и острыми живыми глазами смотрела на нее.

— Вот, мама,— в голосе Виктора Александровича послышалось что-то новое, похожее, он до сих пор побаивался матери.— Это Нина. Она будет за тобой ухаживать. А это — Елизавета Викторовна.

Мать молча рассматривала Валю.

— Вот...— еще раз повторил он.— А я тогда на работу пойду, ладно, мам? Дел там накопилось...

Так и не дождавшись ответа, Виктор Александрович вышел из комнаты.

— Ну и что вы стоите?— вдруг громко сказала старуха недовольным голосом. Валя даже вздрогнула от неожиданности.— Поменяйте мне грелку. И тапочки наденьте, весь пол заляпали.

Валя послушно кивнула и, переодевшись в старенький халатик, принялась за дело.

День был пасмурный. Тучи собирались. Валя с тяжелыми сумками торопливо шла по переулку. Желтые «Жигули»-пикап затормозили рядом.

Валя вздрогнула, остановилась. Из машины вышел Сергеев, такой же элегантный, как тогда, у кафе. Валя бессильно опустила сумки прямо на грязный тротуар.

— Ну, здравствуй, Валентина! С возвращением! — Сергеев уверенно взял ее за плечи, повернул, рассматривая.— Выглядишь хорошо. Молодец!

Валя не реагировала никак, стояла молча, словно в шоке...

Сергеев слегка обнял ее, прижал к себе.

— Ну, приехала и пропала! Я что — мальчик, по всему городу за тобой бегать?— Сергеев улыбался.

Валя всё смотрела на него. Давно не видела... Даже глаза забыла...

— Ну что, поедем куда-нибудь поужинаем? — предложил он.— Я сегодня свободен до утра.

— Семья на даче, — кивнула Валя, не спрашивая, а констатируя.

Начал накрапывать дождь. Сергеев распахнул дверцу машины, сказал повелительно:

— Садись!

— Спасибо, я уже насиделась, — ровно, без вызова, отозвалась Валя.

— Ну ладно, давай мокнуть, — снисходительно улыбнулся Сергеев. Валя не улыбнулась в ответ. И Сергеев вдруг не выдержал, забеспокоился, засуетился. — Чего сама не зашла? У инспектора, говорят, какого-то живешь... Зачем это? Я тебе место уже подыскал — будешь довольна. И с жильем вопрос решим...

— Да не бойся ты так, — сказала Валя тихо, — тогда не посадила и теперь не посажу...

Сергеев глянул на нее, прикидывая, куда она клонит.

— Не будь дурой, Валентина. Я долги плачу... Обещал: вернешься — три желания за мной, так и будет.

Валя окинула его взглядом и сказала вдруг грубо и спокойно:

— Да пошел ты! Тоже мне — золотая рыбка!..

— Ну, как хочешь! — разозлился Сергеев. — Потом не пожалей!

Он шагнул к машине, распахнул дверцу. И, уже усаживаясь, задержался на мгновение и обернулся к ней:

— А кстати, почему ты меня тогда не посадила?

— Любила я тебя, — ответила Валя и, подхватив сумки, пошла прочь.

Валя вошла в квартиру, выпустила сумки из рук. Прямо так, не снимая промокшего плаща, пристроилась на галошнице под вешалкой. Только сейчас стало видно, как тяжело ей дался разговор с Сергеевым.

Из комнаты донесся требовательный стук.

— А, чтоб тебя, — пробормотала Валя и принялась стягивать плащ.

Стук настойчиво повторился.

— Да иду, иду! — крикнула Валя, торопливо сбросила с ног грязные туфли и, не найдя тапочек, прямо босиком полетела в комнату.

— Интересно, даст мне сегодня кто-нибудь лекарство? — глядя куда-то в пространство, произнесла Елизавета Викторовна.

Валя молча вышла и через минуту вернулась со стаканом воды и ложкой.

— Что это? — подозрительно глянула на Валю старуха.

— Вот, — показала Валя две таблетки.

— Я вас спрашиваю — что это?

— Сустанк и это, ну как его, гиметон.

— Вы уверены?

Валя метнула на хозяйку короткий

взгляд, но взяла себя в руки, молча принесла коробочки.

— Очки! — лаконично скомандовала старуха.

Валя принесла очки. Старуха водрузила их на нос, прочла надпись на коробочках и только после этого выпила таблетки.

— А что вы, собственно, стоите? Дел, что ли, нет?

И тут Валя терпение лопнуло. Она выбежала из комнаты, схватила свою брезентовую сумку, принялась швырять туда вещи — тапочки, куртку, платок. Потом вздохнула и опустила сумку...

...Когда Виктор Александрович, никем не замеченный, вошел в квартиру, Валя стояла возле кровати хозяйки и, неловко изогнувшись, терла на весу морковку.

— Под углом надо держать, под углом! И только на мелкой терке.

Поздно вечером, управившись наконец с делами, Валя села пить чай. В кухню вошел Виктор Александрович.

— Можно мне с вами? — смущаясь, спросил он.

Валя улыбнулась ему, поставила вторую чашку.

Город за окном спал, тихо капала вода в раковину. Они пили чай, исподтишка поглядывая друг на друга.

— Трудно вам с мамой, Ниночка. Но вы не обижайтесь. Возраст, знаете...

— Да ну! — отмахнулась Валя. — Мы к трудностям привычные. Не из графов! — она засмеялась. И Кудров засмеялся тоже. — Это когда я в детдоме жила, у нас там была одна нянечка. Так она всегда говорила: «А ниче, а и потерпишь, нё из графов», — Валя изобразила говор нянечки, и Кудров снова рассмеялся. — Я ей говорю: «Да что ты, тетя Маруся, много ты знаешь, а вдруг как раз из графов?» А она мне: «Не, Вальк, рожей ты в графов не вышла».

— Почему? — вдруг спросил Кудров.

— Что — «почему»?

— Ну, почему — «Валька»?

Валентина растерялась на мгновение, она не заметила, как проговорила.

— Да это прозвали меня так... Не нравились им «Нина».

— А по-моему, очень красивое имя, — пожал плечами Кудров. — Вам подходит.

...Елизавета Викторовна не спала. С трудом приподняв голову над подушкой, прислушивалась к невнятным голосам, доносившимся из кухни. Слов было не разобрать, но голоса домашние, тихие... И вот смеются вроде. А вот замолчали...

— Девочка-то она хорошая. Подружка моя, так что я знаю, — рассказывала Валя. —

Но на базе, знаете, как? В общем, загремела она ни за что. И на восемь лет!

— Ну, Нина, восемь лет, положим, ни за что не дадут, — осторожно заметил Кудров.

— Не то, чтобы совсем ни за что, — помявшись, согласилась Валентина. — Крутилась она, конечно... Но жить-то надо! Она ж детдомовская... А тут мальчишка родила... Вот и старалась, чтоб не чувствовал, что безотцовщина. Квартиру сняла, стенку купила... Чтоб все по-человечески.

— По-человечески — это как раз по-другому, — мягко возражал Кудров. — Вот вы же смогли, хотя тоже из детдома.

— Я? Я-то — да, — кивнула Валя. — Только она тоже не так уж виновата. Девчонкой ведь пришла туда, в заведующего еще влюбилась. Ну, а он серьезными делами ворочал, так оно и закрутилось. Я вот с вами посоветоваться хотела как раз. Ее когда посадили, она отказ от ребенка написала.

— Это — редкость, — удивился Кудров. — Там обычно за детей хватаются — под амнистию можно попасть, год-другой выиграть.

— Да ей адвокат так и сказал, — усмехнулась Валя. — «Держись за ребенка! Козырь он твой!»

Она замолчала, смотрела в окно. Там, в темном стекле, отражались они оба. И абажур над столом.

— Вот... А она взяла и отказ написала.

— Почему?

— А как надо было?! — вскинулась Валя. — Мальчишкой своим прикрыться, да? Чтоб он все ее тюремные годочки в детдоме просидел?.. Ну ладно, она виновата... А ему-то за что?

— Значит, ребенка любила, — кивнул Кудров.

— Ошиблась она, — сказала Валя. — Не надо было ей писать.

Елизавета Викторовна не могла больше терпеть это невнятное бормотание за стеной. С трудом дотянувшись до палки, она что было сил заколотила в стену.

— Ой, маму вашу разбудили, — испуганно проговорила Валя.

— Первый час! Спать пора! — раздался из-за стенки сердитый голос старухи.

— Ну что ж, делать нечего... Только мы про подругу вашу потом обязательно договорим, ладно?

— А как же, время есть.

— Вы к маме ночью не вставайте. Отоспитесь. Я сам.

Валя кивнула, прошла в ванную, принялась снимать просохшее белье. Виктор Александрович остановился в дверях, смотрел, как она встала на цыпочки, потянулась к веревке. Почувствовав его взгляд, Валя обернулась.

— Спокойной ночи, — смущенно сказал он.

— Спокойной ночи, — ответила Валя.

Часы пробили десять. Валя выключила пылесос, принесла лекарство. Старуха отодвинула ложку. Валя, ни о чем не спрашивая, пошла к шкафчику.

— Сядь, — остановила хозяйка.

Валя опустила на краешек кровати. Старуха прямо смотрела ей в глаза, и под ее жестким пронизательным взглядом Валя почувствовала себя неудобно.

— Что тебе надо? — холодно спросила старуха.

— В каком смысле? — натянуто улыбнулась Валя.

— В прямом... Ты что, женить его хочешь?

— С чего это вы взяли? Ничего я не хочу! — возмущенно затараторила Валя. — Просто работаю — и все!

— Нет, не просто, — покачала головой старуха. — Я третью неделю за тобой наблюдаю.

— Ну и чего я такого делаю?

— Конечно, не этого я желала своему сыну, — не отвечая, будто самой себе сказала старуха. — Ну, а может, и пускай? Не везло ему с другими — всё стервы попадались.

— Да вы не волнуйтесь, не собираюсь я его женить, — сказала Валентина так, что старуха вдруг поверила.

— А что же тогда? — растерянно спросила она. — Что-то тебе надо! Стала бы ты меня терпеть, как же! Думаешь, я не понимаю!

— А может, я сектантка, — ответила Валя. — Баптистка седьмого дня.

— Ладно, «баптистка», — грустно усмехнулась старуха. — Не хочешь — не говори... А ты ему нравишься, я заметила. — Она вдруг улыбнулась, потом подумала и сказала: — И мне, пожалуй, тоже. Только врешь много, — строго добавила она.

Валя одиноко стояла у окошка, где принимались ценные письма и бандероли. Платок съехал, в каждой руке по авоське.

Девушка за прилавком взяла у нее конверт, начала писать.

— Ценность вложения? — не взглянув на Валю, спросила она.

— Не знаю, — растерялась Валентина. — Паспорт там, понимаете, подруга у меня забыла. Пришла ко мне в гости...

— Это меня не интересует, — отрезала девушка. — Другие вложения там есть?

— В смысле — письмо? — переспросила Валя. Из одной авоськи капало молоко, и она старалась держать ее подальше. — Нет. А что полагается? Она ведь просто забыла...

— Тридцать копеек, — раздраженно перебила ее девушка и впервые взглянула на Валю. — Ой, здравствуйте! Вы меня не узнаете? Я в доме ребенка работала, вы меня еще про тетю Нюру спрашивали.

— Правильно, — вспомнила Валя.

— А я теперь сюда перешла, — с радостной улыбкой сообщила девушка. — Ой, а я ведь для вас адрес узнала тогда, у санитарки нашей был.

— Спасибо, — сказала Валя.

Валя возилась на кухне. Как всегда — сто дел сразу: тряпка в руке, белье в баке, обед на плите. И еще песню напевала — настроение было хорошее.

Из-за стенки раздался привычный требовательный стук.

Валя пошла в комнату, по дороге пыль с полки стряхнула.

Елизавета Викторовна лежала, странно закинув голову. В глазах был такой испуг, что Валя, ни о чем не спрашивая, швырнула тряпку и бросилась к телефону.

— Сейчас, сейчас доктора вызовем... Скорая? Да, срочно!..

Все дальнейшее происходило как будто быстрее нормального течения жизни. Валя металась между кухней и комнатой, капала лекарство, давала кислородную подушку, открывала окна, впуская свежий воздух.

— Витю, — еле слышно прошептала старуха. — Вите позвони...

Валя лихорадочно стала накручивать диск.

Елизавете Викторовне становилось хуже — она тяжело дышала, лицо покраснело. Валя швырнула телефонную трубку, снова помчалась за лекарствами. Старуха покорно проглотила таблетки, глазами указала на телефон.

Валя, не сводя с нее взгляда, принялась набирать номер.

— Занято! Занято у них там!

— Беги за ним... — умоляюще, одними губами попросила старуха. — Тут недалеко...

— Сейчас дозвонимся, — успокаивала Валя. — Сейчас...

— Беги...

Валя продолжала упрямо накручивать диск. У Елизаветы Викторовны уже не было сил говорить, но глаза ее требовательно смотрели на Валю.

— Да не могу я туда! — с отчаянием, едва не плача, закричала та. — Нельзя мне. Узнают они меня!

Старуха отвернулась. Слезы катились по ее щекам.

В районо в обеденный перерыв чай пили прямо в отделе. Инспекторши выкладывали на тарелки бутерброды. Виктор Александрович развернул сверточек с печеньем, сказал не без гордости:

— Это Нина наша печет. Попробуйте, девочки.

— Она еще и печенье печет? Ну, все! —

махнула рукой блондинка.— Сгорел холо-
стяк!

Обе инспекторши расхохотались.

Вдруг распахнулась дверь. На пороге
стояла зареванная Валентина.

Инспекторши замолчали.

— Виктор Александрович! Домой идите!
Плохо там!

Кудров вскочил, бессмысленно заметал-
ся по комнате в поисках плаща. Инспек-
торши с удивлением смотрели на Валю.
Они сразу узнали ее...

Пыль стояла столбом в солнечном луче.
В опустевшей комнате Елизаветы Викто-
ровны шла уборка. В большую корзину
Валя складывала пузырьки, грелку, поиль-
ник... Сняла с окна плотную штору и броси-
ла туда же... Комната сразу изменилась,
стала безликой и голой.

Виктор Александрович, посеревший и осу-
нувшийся, вошел, молча опустил на стул.
Валя присела на краешек дивана. Она
вся съезжилась в ожидании разговора.

— Я хочу сказать, — глядя куда-то мимо
нее, начал Виктор Александрович, — что я
очень благодарен вам за все. Весь этот
месяц вы были с мамой, даже послед-
ние часы... И хотя теперь я понимаю,
зачем вы это делали...

— Разъяснили вам, значит? — невесело
усмехнулась Валя.

Кудров продолжал, поморщившись:

—...Все равно я вам очень благодарен...
Как вас, кстати, зовут на самом деле?
— Валя. Не думайте, — не поднимая глаз
от пола, проговорила Валя, — я не просто по
расчету. То есть, может, сначала... А потом
я действительно и к вам, и к ней...

— Бросьте, Нина... э-э, Валя, — устало
отмахнулся он. — Конечно, все это неприят-
но для меня. Но я вас не осуждаю. —
Он помолчал. — Правда, в вашем деле по-
мочь, к сожалению, не смогу.

— Не сможете, — как эхо отозвалась
Валя.

— Нет, — грустно покачал он головой. —
Очень хотел бы, но... Если б что-то
свое, я бы что угодно для вас сделал...
Хотя бы в память о маме... Но чужим
расплачиваться не могу.

— Почему же чужим?

— Там уже другая семья, Валя. Люди
построили свою жизнь.

— А вы... их видели? — не удержалась,
спросила Валя.

Кудров промолчал.

— Ну, вы мне хоть что-нибудь подсжи-
те! — чуть не простонала Валя.

— Нет. Не могу... И не нужно это. И нехо-
рошо! — Он встал. — Да, вот еще. Давно

уже купил. — Он протянул Вале сверток. —
Все ждал случая.

— Какого?

— Теперь это не имеет значения.

— А, ясно, — горько усмехнулась Валя. —
Раньше было одно, а теперь, значит, вы
все про меня поняли... Только вы подумай-
те, для чего я затеяла-то все? — у Вали
дрожали губы. — Разве мне самой так нра-
вится? Думаете, мне не хочется по-вашему
жить, чтобы все честно-благородно? Да
мне, может, еще как хочется... И с вами что-
бы... И вообще... Только откуда у меня сама
собой такая жизнь возьмется? Где я ее виде-
ла? В общаге? Или в тюрьме? Своим домом
всего полгода и пожила, да и то, когда воро-
вала! — в сердцах бросила Валя. — Я ведь
все это ради сына затеяла, я ж для хоро-
шего!..

— Эти вещи странно объяснять, Валя, —
устало сказал Кудров. — Важно ведь не
только для чего, но и как... Впрочем,
я вам не судья.

Валя хотела еще что-то сказать:

— Но послушайте...

— Нет, — покачал головой Кудров и, ссу-
тлившись, вышел из комнаты.

Валя шла по улице, задевая прохожих
сумкой. После всего пережитого она каза-
лась больной. Вдруг в конце переулка
она заметила Нину — та шла к автобус-
ной остановке. Валя кинулась к подруге.
Но Нина, заметив ее, попятилась, стараясь
скрыться за спинами прохожих.

— Нинка! — Валя сквозь толпу проби-
лась к подруге. — Ты чего? Я ж паспорт
твой по почте послала. Ты что, не полу-
чила?

Подшел автобус. Нина поспешно шагну-
ла в дверь.

— Подожди! Я все объясню! Мне ж очень
надо было... Да подожди ты, Нинка! —
кричала Валя. Но дверцы захлопнулись,
и автобус тронулся.

Валя вошла в вестибюль общежития
строителей.

— Явилась! Это ж надо наглость иметь! —
возмутился комендант. — Ну, что теперь
скажешь?

— Ничего не скажу, — от усталости Ва-
лентине не хотелось говорить. — Давай клю-
чи.

— Ах, вам же нужны отдельные апар-
таменты! — желчно усмехнулся комен-
дант. — А дворец персональный не желаете?
— Кончай. Я здесь прописана.

— Вот и шагай на пятый этаж, в пятнад-
цатую.

...Валентина с матрацем в руках вошла
в длинную нескладную комнату. Наверное,
самую тесную и неудобную в общежитии.

Кровати здесь стояли вплотную, одна к другой. Четыре женщины настороженно смотрели на вошедшую.

Но Валентине теперь было все равно. Она даже не огляделась. Молча легла на непокрытый матрац и отвернулась к стене.

Рельсы тянулись до горизонта, и там, нарушая законы геометрии, сходились в голубом тумане. Валя шла вдоль путей, поживаясь от утреннего холода.

Из-за деревьев показался небольшой домик стрелочника. В палисаднике алены гроздь рябины. Старуха в телогрейке кормила кур.

— Здравствуйте, Анна Лаврентьевна, — спуская с плеча брезентовую сумку, сказала Валя, — а я к вам...

Старуха глянула на нее и отвернулась.

— Вы меня не узнали? Я же Валя Зайцева, помните? — стараясь поймать ее взгляд, заговорила Валентина. — Тетя Нюра, да вы что, забыли меня? И сыночка моего не помните, Вову Зайцева? Он ведь тоже у вас в группе был...

Старуха, прямая, большерукая, смотрела на Валу сурово и все сыпала крупу.

Из дома вышел ее сын — здоровенный мужик в железнодорожной фуражке и с флажком у пояса, с интересом посмотрел на Валу и пошел к будке.

Мимо загремел товарный состав. Валентина, стараясь перекричать грохот, говорила что-то горячо, орала в самое старухино лицо и руки к груди прикладывала, словно молилась. А когда прошел последний вагон, старуха твердо сказала:

— Иди давай, Валентина! Денег мне твоих не надо, горе мне твое не жалко. Ты сама свою беду ковала.

— В угол вы меня загоняете, — бледнея, усмехнулась Валя, — без выхода уголок получается... — И пошла за калитку.

Старуха смотрела, как шла она вдоль штакетника, как вышла на шпалы и остановилась на самых путях в быстро нарастающем шуме приближающегося поезда. Куздахтали куры, поросята хрюкали в хлеву. Сын-стрелочник, увидев на путях человека, изумленно открыл рот. Шум перерос в лязг и грохот. Валя не шевельнулась, старуха тоже, только шея ее вытягивалась, будто росла.

Стрелочник, заорав, помчался на рельсы. Сбил Валентину, покатился вместе с ней. Мимо с оглушающим грохотом пронеслись вагоны. Старуха медленно опустила на загаженную курами землю. А стрелочник, не давая опомниться Валентине, бил ее наотмашь по лицу...

Старуха и Валентина ехали в город в тамбуре рабочего поезда.

— Неужто и правда под поезд пошла? — старуха с беспечностью заглядывала в глаза Валентине. — Аль стращала только?

Та промолчала.

— Ты и маленькая отчаянная была, — вздохнула тетя Нюра.

— А она точно адрес знает? — спросила Валя после паузы.

— Знать-то знает... — Старуха вздохнула и добавила сочувственно: — Губу утри, опять кровь сочится.

Валя послушно достала платок. Старуха отобрала его, сама промокнула ей губы. Лицо у Вали было исцарапано, левый глаз смотрел из-под темного, набрякшего века.

— ...Только не скажет она тебе ничего, — вздохнула старуха, — у нее у самой дочь приемная...

И сразу Валин взгляд стал цепким. Старуха испугалась, что проговорила.

— Только я тебя христом-богом прошу — забудь, поняла? Я перед иконой клялась ей!.. Она ведь уехала специально, чтоб девочке никто не проговорился. Эх, как же это я?!

Они сидели в комнате бывшей воспитательницы.

— Да ты вспомни, Вера, — говорила старуха, — доктор он был. Высокий такой, видный.

— Не помню, — холодно отвечала хозяйка, не старая еще женщина в халате.

— Ну как же! Лекарство он еще тебе доставал.

— Не знаю, — еще суше ответила хозяйка.

Валя напряженно смотрела на свои сцепленные руки, казалось, еще секунда — и она взорвется.

В комнату вбежала веселая девочка лет семи, поздоровалась. Хозяйка ревниво перехватила Валин взгляд.

— Надя, иди к себе, — строго сказала она. Девочка послушно скрылась в смежной комнате.

— Ты вспомни, Вер, — тихо говорила старуха. — Ведь погибает баба. Пожалей! Любит она детеночка... И вообще, не думай, не какая-нибудь. На руках у меня выросла... Ты ж меня знаешь, я бы зря просить не стала...

Хозяйка молчала, смотрела холодно. И Валентина молчала.

— Чего вы, собственно, добиваетесь? — вдруг обернулась хозяйка к Валентине. — Напакостила, нагадила, ребенку жизнь переломала, а теперь что? «Ах, я бедная, ах, я несчастная, ту жизнь выброшу, новую начну»?

Валя сверкнула глазами:

— Я уже за все расплатилась...

— Ох ты, ох ты! Теперь, значит, пусть

другие платят... И чтоб я тебе еще помогла? Так, что ли? — хозяйка смерила Валу презрительным взглядом. — Да никогда в жизни! Слышишь? Никогда!!!

— Ну вот что, — сказала Валя хриплым от злости и волнения голосом, — хватит! Адрес давай... А не то все узнают, откуда у тебя дочка взялась. Мне недолго!

Старуха закрыла лицо костистыми руками. Хозяйка на мгновение словно окаменела. Потом медленно, как после обморока, перевела взгляд с Валентины на старуху. И такая горечь была в ее глазах...

— Вот ты как, Нюра, — сказала она бесцветным голосом. — А ничего ведь плохого я тебе не делала. Даже подсобляла, пока ты парня своего растила...

— Ну! — поторопила Валя. — Давай! Или дочку позвать?.. Надя! — крикнула она и направилась к соседней комнате. — Ну? — уже от дверей снова обернулась она к хозяйке. — Звать?

— Не зови, не надо, — опустив глаза в пол, сказала хозяйка.

Старуха сидела на ступеньках в подъезде, привалившись плечом к стене, держалась за сердце.

— Ну чего ты? Слышишь?.. — теребила ее Валентина. — Чего разволновалась-то? Не убудет от нее... Успокойся... Ну прости меня, не могла я иначе, ты же сама видела!

— Уйди, — старуха, морщась от боли, вжала кулак во впалую грудь.

— Ну прости.

— Не будет тебе счастья, девка! Не будет... через чужую беду.

Валентина выпрямилась, спросила с кривой усмешкой:

— А бывает счастье без чужой беды? Ты такое видела?

Старуха не ответила.

Валентина вышла из подъезда, пошла было прочь, но раздумала, вернулась. На душе было тошно. Она потопталась в нерешительности перед подъездом, жалко улыбаясь, потом махнула рукой и все-таки ушла...

Ровно стучали колеса, било в окно вечернее солнце.

Попутчиков у Вали было трое: парень в шоферской кожаной куртке и пара — муж с женой, оба румяные, толстые, разговорчивые.

— ...Ведь здоровый был — в дверь не пролезал! — не умолкала женщина. — А сейчас? Да и так подумать: что у студента за еда? Сухомятка! Говорил ему отец: поступай в военное училище, да разве они слушают? — она махнула рукой, с любо-

пытством глянула на Валу: — А вашему сколько?

— Восемь уже, девятый. Ой, — невольно улыбнулась Валя. — Вырос, наверное, не узнаю!

— Ну уж! — засмеялась тетка. — Сто лет, что ли, не видела?

— Да, — вздохнула Валя. — Давно не видела. Работа у меня такая...

— И ребенка с собой нельзя взять?

— Что вы! Ребенка туда не возьмешь! — Валя помолчала и добавила внушительно: — Не везде еще спокойно на нашей планете...

Румяные муж и жена сочувственно закивали.

— Так что пришлось сынишку с чужими людьми оставлять, — закончила Валентина.

Темнело. Одно за другим загорались окна в домах. Улица пустела, жизнь перемещалась туда, за стены, за стекла окон, за занавески.

Горел свет и в том окне, на первом этаже.

Пробираясь вдоль кустарника, Валентина подошла поближе. Она очень волновалась.

За тюлевыми занавесками ничего особенного не происходило. В теплом свете оранжевого абажура ужинала семья. Затянув дыхание, Валя не отрываясь смотрела на мальчика. Он рассказывал что-то, увлеченно размахивая руками. Родители слушали. Вот и всё.

Но с темной холодной улицы картина эта показалась Вале необыкновенно прекрасной, такой прекрасной, что Валя отвернулась и секунду простояла согнувшись, как от удара поддых.

Потом она шагнула на газон, вплотную подошла к окну. Через открытую форточку отчетливо слышались голоса.

Тем временем в комнате что-то переменялось, теперь там ссорились.

— Ты загляни в себя! — возмущался отец. — Подумай, только честно! Почему ты это затеял?

— Да чего я такого сделал? — обиженно пробубнил мальчик.

— А то, что ты решил поймать старого человека на издержках памяти. Заело тебя, что он тройку поставил! Лена, я не знаю, как с ним разговаривать! Он не хочет ничего понимать!

— Да все он понимает, — примиряюще сказала женщина. — Правда, Володя?

— Я просто спросил, а он не знал...

— Нет, ты не просто спросил! — не дал ему вывернуться отец. — Ты вчера готовился, я видел, в энциклопедии рылся, даты выискивал. А зачем? Чтобы при всем

классе унижить старого учителя. Чтоб отомстить.

— Я же все правильно сказал, а он не правильно.

— В общем, ты собой еще и доволен?! — не скрывал возмущения отец. — Ну что же, пока ты собой доволен, мне с тобой говорить не о чем! — Он схватил со стола газету и демонстративно уткнулся в нее.

Для Вали смысл того, о чем они говорили, был загадочен, как иероглифы. Но они ссорились — она видела и слышала это! И еще она видела, как теперь сидел ее мальчик, такой маленький, лопоухий и виноватый, что сердце ее щемило от жалости. Одиноко и неуютно было ему там, с ними, в этой комнате. Валя удовлетворенно вздохнула и отошла от окна.

Утром в квартире Ерохиных раздался звонок в дверь.

Елена Сергеевна пошла открывать.

На пороге стояла Валя с огромной гроздью бананов в руках. Минуту женщины смотрели друг на друга, потом Валя тщательно вытерла ноги и, не дожидаясь приглашения, прошла в комнату.

— Вот, это Володе, — сказала она и положила бананы на стол.

Из кухни вышел Ерохин, остановился в дверях. Елена Сергеевна нервно улыбалась.

— А что, собственно...

— Да, — кивнула Валя, — вы правильно догадались, это я и есть.

— Здравствуйте, — сказал Ерохин.

Елена Сергеевна опустилась на стул.

Валя огляделась. Здесь все оказалось обычнее, чем через окно. Комната как комната. Конечно, много книг, но мебель самая обыкновенная.

— Ну, что будем делать? — спросила Валя.

— В каком смысле? — растерялась Елена Сергеевна.

— Подожди, Лена, — вмешался муж. — Наверное, нам прежде всего следует познакомиться.

— Валентина Васильевна, — представилась Валя. — Вот, приехала за сыном... Большое вам спасибо, что он у вас пожил...

— «Пожил!» — всплеснула руками Елена Сергеевна. — Да как вы можете!

— Лена! — Муж старался сохранять спокойствие. — Валентина Васильевна, я вас, конечно, понимаю. Вы как мать...

— Что ты говоришь?! — воскликнула Елена Сергеевна. — Это я его мать!

— Да ну? — Валя смотрела на нее жестко, как на соперницу.

— Валентина Васильевна, — собрался с

мыслями Ерохин. — Ваше желание повидаться с сыном вполне естественно. Но я прошу вас, поберегите его душу, что ли...

— Да о чем вы говорите оба?! — у Елены Сергеевны перехватило дыхание. — Как это — повидаться?! Алеша, да объясни же ты ей наконец! Это невозможно! Я запрещаю! Я... я милицию вызову!

— Вызывай! — насмешливо кивнула Валентина. — Только ведь я все равно скажу ему, успею, что родители вы ему — бумажные!

— Он знает, что мы ему не родные, — тихо сказал Ерохин.

Валя замерла. Такого оборота она никак не ожидала.

— Как так? — растерянно спросила она.

— Так. Мы ничего от Володи не скрывали. — Ерохин обнял жену, успокаивающе погладил по плечу.

— «Бумажные!» — у Елены Сергеевны дрожал голос. — Как вам не стыдно?!

Валя попробовала резко сменить тон. Улыбнулась простецки.

— Да вы ж просто не в курсе. А то сами были б рады отдать. Отец ведь у него кто был? Хронический алкоголик. Лечить не брались. А у меня ТБЦ — туберкулез. И беременная ходила — кровью харкала. Это ведь все потом скажется. Да-да... А что вы думаете?

— Перестаньте морочить голову, — устало отмахнулся Ерохин. — Вы совершенно здоровы. И он тоже... Давайте, наконец, попробуем поговорить по-человечески. Вы — молодая женщина. Вы можете родить еще ребенка. И воспитать его по-своему. А для нас Володя...

— Зачем ты говоришь ей об этом? — Елена Сергеевна заплакала. — Ей, ей-то за чем?!

Муж обнял ее, прижал к себе.

— Я хочу, чтоб вы поняли, — сказал он, глядя на Валю. — Ему хорошо с нами. Вы ведь любите его?

— А вы как думаете? — усмехнулась она.

— Ну так пожалейте его! Не ломайте ему жизнь.

— Все равно я вам его не отдам! — крикнула сквозь слезы Елена Сергеевна.

— Мой он, — тихо, но твердо сказала Валя. — Мать я ему. И ничего вам с этим не поделать.

Белым светом горели лампы в зале ожидания. Дремали на лавках пассажиры, две заспанные тетki дежурили у касс. Какие-то люди с мешками прошли через зал. В углу, подложив под голову брезентовую сумку и накрыв ноги курткой, спала на скамейке Валентина.

Подошел милиционер, тронул за плечо. Валя открыла глаза, вздрогнула.

— А чего? Чего я! — испуганно забормотала она.

— Вы поезд свой не проспите? — спросил милиционер.

Валентина заговорила сбивчиво:

— Да нет... билетов нет... А у меня транзитный... никак не уеду.— Спросонком получилось не слишком складно.

Но милиционер кивнул и пошел дальше.

Валя вздохнула с облегчением, снова прикрыла глаза, но сна уже не было.

Сын ее спал. Он лежал разметавшись, детское лицо его размякло в сне, из-под одеяла торчала худая коленка.

Над кроватью, склонившись, стояла Елена Сергеевна, в халате, накинутом поверх рубашки. Долго стояла, смотрела... Потом она вздохнула, привычным жестом поправила на нем одеяло, вернулась к себе.

— Алеша, давай уедем, а? — опустилась она на край кровати, будто точно знала, что муж не спит, будто не было на часах без четверти четыре.— А что, поедем к Марусе... Рыбу будете с ним ловить,— говорила Елена Сергеевна.

— А школа?

— Ну и пропустит! Попросим справку в поликлинике...

— Но ему-то мы что скажем? Что он заболел? — Ерохин покачал головой: — Нет, Лена, не будем мы врать и бегать, как преступники.

— Боюсь я, Алеша,— прошептала жена.— Боюсь я ее.

В вокзальном туалете Валентина приводила себя в порядок. Ополоснула лицо, достала из сумки зубную щетку, стала чистить зубы.

Рядом молодая женщина пыталась отмыть годовалого ребенка, перемазанного шоколадом. Ребенок отбивался и капризничал. Женщина одной рукой держала его, другой тянулась к крану. Валя подошла, открыла воду, молча протянула кусок мыла.

Женщина посмотрела на нее и улыбнулась. И Валя улыбнулась ей тоже.

Володя и Елена Сергеевна сидели в троллейбусе на переднем сиденье, Володя держал на коленях портфель, мрачно смотрел в окно.

— ...Ну, Володенька,— извиняющимся голосом говорила Елена Сергеевна,— я же совершенно не дышу воздухом. Могу я, в конце концов, прогуляться?

— Да? Прогуляться? В восемь часов утра в троллейбусе?

— Ну, хочешь, после школы в кино пойдем? Я тебя буду ждать прямо с билетами, а?

— Но почему? Почему? — На лице у Володи была настоящая мука.— Ты хочешь, чтобы все смеялись, да? Даже девчонок уже со второго класса не провожают!..

— Девушка, у вас не занято? — раздался где-то рядом голос.

Елена Сергеевна машинально обернулась. Прямо позади них сидела Валя и насмешливо смотрела на нее.

Троллейбус остановился. Открылась дверь. Елена Сергеевна схватила Володю за руку и потащила к выходу.

— Ты чего, мам? — растерялся он.— Ты куда? Это же не наша!

Валя бросилась следом.

Она ждала сына возле школы. Стояла чуть в стороне, спрятавшись за киоском «Союзпечати».

Уроки кончились, и ребята высыпали из дверей.

Елена Сергеевна уже была тут — ждала перед входом у бетонного заборчика.

Володя остановился в дверях. Привстав на цыпочки, посмотрел на улицу, увидел Елену Сергеевну на ее посту и, подхватив портфель и мешок с тапочками, рванул обратно.

Валя заметила его маневр. Стараясь остаться незамеченной, она вышла из своего укрытия, пошла по двору вокруг школы.

А Елена Сергеевна все стояла у заборчика.

— Здравствуйте,— вежливо сказали ей две девочки, одноклассницы Володи, и побежали дальше.

Поток ребят уже иссякал. Володи не было.

А он, выйдя черным ходом, проскочил через спортивную площадку. Еще мяч наподдал по пути — старшеклассники как раз играли в футбол. Перебросил через забор свои вещи и потом легко перемахнул сам.

— Володя! — робко окликнула его незнакомая женщина.

— А чего? — смущенно сказал он.— У нас уроки кончились...

— Господи, какой ты большой!.. — первый раз за все это время Валя увидела сына так близко. Она вдруг взяла его руку, прижала к своему лицу.

— Вы чего? — испуганно забормотал мальчик, пытаясь высвободиться.— Вы чего, тетя?

Валя выпустила его руку.

— Не тетя я, Володечка... Я ведь мама твоя... — сказала она тихо.

— Мама? — переспросил мальчик, вдруг весь вытянувшись.— Мама?

Валя кивнула. Он вдруг поверил сразу, безоговорочно.

— Ты нашлась? — прошептал он и невольно подался вперед, к ней...

— Нашлась, Володя, нашлась. — Слезы застилали Вале глаза. — Кончились теперь наши несчастья, сыночек... Вместе мы теперь... — говорила Валя горячим шепотом и прижимала к себе его худенькое тельце, и плакала от счастья, и сама верила тому, что говорила.

А мальчик, оцепенев от смущения, терпел все это и не вырывался.

Валентина и Володя шли через большой старый парк с высокими деревьями и зарослями кустарников. Валя специально выбрала эту дорогу, здесь они были почти одни.

— Ну, а в школе у тебя как?

— Нормально.

— А спортом ты занимаешься?

— Так... в баскетбол играл...

Они на минуту встретились глазами, но он тут же отвернулся, начал поддавать ногой свой мешок с тапочками.

— А я раньше в волейбол играла, хочешь, покажу? — Валя подхватила его мешок и ловко, как мяч, стала подбрасывать сначала одной рукой, потом другой, потом двумя сразу.

— Здорово у вас получается, — сказал Володя уважительно.

— Правда? — обрадовалась Валя и попросила: — Ты только говори мне «ты», ладно? — Она заглянула в его тревожные глаза: — Ну, что ты, сынок? Ты что, совсем меня не помнишь?

— Нет, — потупившись, признался он.

Валя проглотила комок в горле, присела перед ним на корточки:

— И как мы в деревню ездили — не помнишь? А тебя там петух соседский чуть не заклевал, неужели забыл?

Мальчик кивнул.

— Что ты! Такая история была! — торпливо заговорила Валя, пытаясь поймать его ускользающий взгляд. — У тебя даже шрам получился, вот тут, около ладошки.

— Я знаю! — вдруг вскинулся мальчик и тут же смутился, добавил тише: — Вот этот, да?

Он завернул манжету. На руке, действительно, белел маленький кривой шрамчик. Минуту мать и сын, затаив дыхание, смотрели на это вещественное доказательство их кровного родства, потом взглянули друг на друга.

— Знаешь, что мы с тобой сейчас делаем? — сказала Валя. — Мы в ресторан пойдем. В «Золотой колос». Есть у вас

такой?

— Не знаю, — смущенно сказал Володя.

На дверях ресторана висела табличка: «Перерыв».

Валя постучала.

— Перерыв! — невозмутимо бросил из-за двери швейцар.

— Акимов Эдуард у вас работает? — спросила Валя.

Швейцар исчез, и вскоре появился высокий усатый парень в форменном пиджаке официанта.

— Валентина! Цветок душистых прерий! — восклицал он обрадованно. — Вот это да! Ну всё ей нипочем! Как с курорта!

Валя рассмеялась было в ответ, но, глянув на мальчика, осеклась. Володя молчал, смотрел настороженно.

— А это кто же — неужели сын?

— Сын, — с гордостью кивнула Валя.

— Я твою маму помню еще такой, как ты, — подмигнул официант Володе. — Проходите, ребята! — отодвинув швейцара, он распахнул перед ними дверь.

...В зале было пусто. В углу, тихо переговариваясь, обедали официанты.

Валя с Володей сидели за столиком возле маленькой сцены. Перед ними было много всякой еды, но Валин друг не унимался. С тарелкой в руках, он прохаживался вдоль длинного стола, накрытого для банкета, и с каждого блюда брал по кусочку чего-нибудь вкусного.

— Закуска «Банкетная»! — провозгласил он, водружая блюдо с добычей на стол. — Гуляй, Вася, жуй опилки, я директор лесопилки! Пошел за горячим.

Володя посмотрел на банкетный стол:

— А ничего, что он так?

— Нормально! — Валя пододвинула ему тарелку с рыбой, намазала хлеб маслом. Сама она не ела, со счастливой улыбкой смотрела на сына.

— А знаешь, — вдруг сказала она, — я ведь тому петуху за тебя отомстила.

— Как?

— А я купила его! Да, купила у соседки и сварила! — она засмеялась, довольная.

— И я ел? — с испугом спросил мальчик.

— А то! — сказала Валя, но, заметив его огорчение, переменяла тему: — Ой, ты вообще маленький смешной был! Знаешь, ты даже с блином разговаривал.

— Как это?

— Тебе положишь блин на тарелку, а ты его ложкой трогаешь и бормочешь: «Блень, а блень...»

— Я чего, думал, что он живой? — рассмеялся мальчик. Как все дети, он любил истории про то, как был маленьким.

— Ну! Круглый, желтый... — с удовольствием подхватила его смех Валентина.

— А похоже, можно? — спросил Володя. Она кивнула.

Мальчик прошелся между столиками.

Официанты в углу доели, шумно поднялись. Проходя мимо Володи, один из них подмигнул ему.

Теперь они с Валею остались в зале одни.

Володя осторожно тронул клавиши пианино, потом, приподняв крышку, заглянул в черный футляр — там поблескивал перламутром баян.

— Да бери, не бойся, — махнул ему рукой Валин друг, он как раз принес горячее.—

Хозяева до вечера не появятся.

Он ушел на кухню, а Володя вытащил баян из футляра, смущенно улыбнувшись матери, растянул меха. Играть он, конечно, не умел.

Валю, подперев голову рукой, смотрела на сына. И счастливая улыбка не сходила с ее лица.

— А хочешь — я? — предложила она.

— Вы умеете? — удивился мальчик.

Поднявшись на сцену, она набросила на плечо ремень баяна, присела на краешек стула.

— Я, правда, одну только песню могу. Я с ней в детдоме выступала. Такая, как ты, была, — Валю улыбнулась, — за баяном не видно.

Вспоминая, она расположила пальцы по ладам и запела:

Эх, дороги,
Пыль да ту-уман,
Холода, тревоги
Да степной бу-урьян...

Сын внимательно и серьезно слушал.

А дорога дальше мчится,
Пылится, клубится,
А кругом земля дымится,
Чужая земля-а...

Валю пела, и была в ней какая-то щемящая незащищенность. И мальчик почувствовал это. Он другими глазами смотрел на мать, когда она кончила петь и, довольная, вернулась за столик.

— А я тоже в детдоме раньше жил, — сказал он и в первый раз доверчиво посмотрел ей в глаза. — Только я не помню ничего...

— Вот какие мы с тобой... одинаковые... — У Вали комок подступил к горлу.

— Да, правда, — и он улыбнулся ей.

Валю отвернулась, чтоб не разреветься.

— А почему... Почему вы не приезжали так долго?

Под его взглядом у Вали снова задрожали губы.

— Не могла я, сыночек, — сбивчиво начала она. — Ты мне поверь... Все время о тебе думала! День и ночь...

— А приехать нельзя было?

— Нет, — Валю беспомощно развела руками.

Сын смотрел во все глаза, ждал.

— Я... я задание выполняла. Далеко очень. В Никарагуа, — почему-то вдруг вырвалось у нее название экзотической страны.

— А какое задание? — шепотом, взволнованно спросил мальчик.

— Задание какое? — Валю задумалась на мгновение. — Мы там боролись с разными страшными болезнями... С чумой вот...

— Но чума давно побеждена, — удивленно сказал Володя, — мне папа говорил.

— Да он не знает!

— Ну что вы! — снисходительно сказал мальчик. — Мой папа все знает. Он же доктор!

— Везде побеждена, а у них там, в Африке, нет, — попыталась выкрутиться Валю.

— Но вы же были в Никарагуа?! — еще больше удивился мальчик.

— Да. Ну и что? — Валю не чувствовала провала.

— Эта страна — в Центральной Америке.

— Да? А я что говорю?

— А вы говорите — в Африке, — сказал мальчик и, покраснев, опустил глаза.

— Все «вы» да «вы», нормально с матерью говорить не можешь! — сказала Валю, раздосадованная своим промахом. — Ну, чего к словам придираться, оговорилась я...

Володя молча кивнул.

Валю лихорадочно соображала — надо было восстанавливать наладившийся было контакт.

Ерохин работал хирургом в детской районной поликлинике. День выдался шумный, шла диспансеризация школьников. Путаясь в одежде, переговариваясь, задирая друг друга, ребята заполнили кабинет. В этой суете Алексей Александрович не сразу заметил вошедшую жену.

— Лена, у меня прием! — начал он было строго, но, увидев ее взволнованное, все в красных пятнах лицо, осекся. — Извини, — хлопнул он по худой детской спинке стоящего перед ним мальчика и поднялся навстречу жене.

Они вышли из кабинета. На первом этаже Ерохин зашел в ординаторскую. Елена Сергеевна, нервно шагая, ждала. Он появился, торопливо натягивая пальто прямо на халат. Вместе с ним вышел врач.

— Да ладно, Алешка, конечно, приму, о чем речь.

Ерохин с женой, взволнованно переговариваясь, поспешили к выходу.

Валентина и Володя шли вдоль сквера. Вдруг Валя, не размышляя, схватила сына за руку, метнулась на глухую боковую дорожку.

— Вы платок уронили,— мальчик смотрел на нее с недоумением.

Валя, не отпуская его руки, осторожно выглянула из-за дерева.

Ерохины остановились у газетного киоска, спросили о чем-то и, еще раз оглянувшись, скрылись за углом. Валя перевела дыхание.

— Вон он лежит,— еще раз повторил мальчик.

Валя кивнула, не понимая, что он ей говорит, лихорадочно думая о своем.

— А ты на море был? — вдруг спросила она.

— Я?.. Нет...

— Я тоже. Давай поедem, а? Вот прямо сейчас. Сядем на поезд и поедem!

— У меня контрольная в четверг.

— Да каникулы через неделю! А там тепло-тепло. Купаться будем. На лодке кататься. А? — торопливо, стараясь заглянуть ему в лицо, говорила Валя.

— Ну что вы! Кто же меня отпустит?

— А нам и спрашивать не надо.— От волнения у Вали дрожали руки.— Это ж наше дело. Захотели и поехали.

— Да как же мы так поедem? — терпеливо пытался объяснить сын.— Наверное, мне уже домой пора. А то мама там...

— Мама твоя здесь...

Володя почувствовал ее обиду, сказал смущенно:

— Она же не знает, где я... — Он помолчал и добавил доверительно: — Я ведь через забор удрал... Понимаете, у нас никого не провожают, даже девчонки! — Обида с новой силой всколыхнулась в нем.— А мама... прямо не знаю, чего она... Я папе скажу!

— Да он тоже хорош! — ревниво сказала Валя.— Как он тогда на тебя — из-за этого, из-за учителя. А чего ты такого сделал?

— А вы откуда знаете? — растерянно спросил Володя.

Они теперь шли по тихой улице.

— Да я под окном вашим стояла — все слышала!

— Вы что — подслушивали?.. — изумился мальчик.

— Почему это? — Валентина растерялась.— Просто слушала. Мне можно, я же мать... мама твоя...

Володя молчал.

— Прямо не знаю, как у меня еще нервы

выдержали... Кричит, ругается!..

— Он правильно кричал...

Валя подавленно замолчала. Она не знала, как разговаривать с собственным сыном. Он стоял сейчас перед ней — тихий, худенький мальчик, но во всем, что он говорил, как смотрел, была какая-то своя, неизвестная Вале правда. И он так уверен был в ней, что мать вдруг почувствовала перед ним какое-то смущение и даже робость.

— Ну, я пойду, ладно? — глядя себе под ноги, сказал, он.— А то они заволнуются.

— Ты что, сыночек! — Валя с ужасом почувствовала, что опять рвутся тонкие нити понимания, возникшие было между ними.— Ты сердисься, что я слушала? Ну, может, я чего не понимаю... Но я ведь из-за тебя... Я как лучше хотела!

Мальчик потоптался на месте и сказал:

— Мне правда домой пора. Я хотя бы позвонить должен. Волнуется она.

— Да не нужно тебе звонить, что ты! — испугалась Валя.— Они знают, я предупредила! А мы сейчас куда с тобой пойдem! В «Детский мир»!

«Детский мир» шумел, бурлил, переливался разными красками. Три мальчика, один за другим, шли с ярко-красными лакированными хоккейными клюшками. Валя заметила взгляд сына.

— Тебе нравится? — тут же загорелась она.— Хочешь такую?

— Вообще-то хорошо бы...

— Товарищ продавец,— попросила она лысого дядьку в халате,— нам тоже клюшечку такую.

— Кончились они, нету...

— Как это нету? — не поверила Валя.

Они с Володей подошли к огромной коробке с такой же латинской надписью. Коробка была пуста. Клюшек не было.

— Ничего! — Валя поглядела на сына.— Прорвемся!

— Да чего... раз кончились.

— Ты меня не знаешь,— засмеялась Валя.— Чтоб мама для тебя не достала? Да не будет такого, сыночек! Запомни!

Она вся как-то подобралась, огляделась, подошла к продавцу. Они тихо поговорили. Потом продавец подошел к худенькому мальчику и, ни слова не говоря, забрал у него клюшку.

— Позвольте,— растерялась его мама.— Но мы берем!..

— Извините, спецзаказ, для спортивной секции «Динамо»,— ответил продавец.— Пробивайте.— сказал он Вале.

— Ну вот, так-то! — Валя гордо протянула сыну попку.

Сжимая клюшку в руках, Володя двинулся следом за матерью.

У выхода из секции стоял тот самый

мальчик, у которого продавец отобрал клюшку. Володя опустил глаза.

— Это ты, значит, из спортивной секции? — с иронией спросила очкастая мама.

— Ну что же ты молчишь, — усмехнулась она, — стыдно?

— А нам стыдиться нечего! — вступила в бой Валентина. — Из секции мы, скажи им, сынок!

Володя молчал, сжавшись, как от удара.

— И нечего тут допросы устраивать! Ишь какая! — Валентина взяла сына за руку и, отодвинув очкастую, пошла к выходу.

На улице Володя вырвался из ее рук. Его трясло. На глазах блестели слезы.

— Ну что ты так, сыночек?.. — растерялась Валя. — Зато мы с клюшкой...

— Да заберите вы ее! — со слезами на глазах говорил Володя и совал Вале клюшку. — Не нужна она мне, слышите?!

— Ты из-за мальчика, да? Ну что же делать, сыночек? Кому-то всегда не достается! Так ведь тоже нельзя, всегда под нозем будешь.

— А я так не хочу!

— Думаешь, я хочу? — вздохнула Валя. — Жизнь такая! Или ты, или тебя — так уж устроено!

Она снова протянула ему клюшку. Он попятился.

— Да что ж ты так! — с отчаянием смотрела на него Валя. — Я для тебя старалась.. Мальчик! — окликнула она проходившего мимо конопатого парнишку с портфелем. — На клюшку, возьми! Да бери, не бойся! Не нужна она нам!

— Спасибо, — растерянно сказал мальчик и отошел.

— Ну, теперь всё? — с надеждой посмотрела на сына Валя.

— Я домой хочу, — глядя себе под ноги, твердо сказал он.

— Да за что же ты меня так?.. — беспомощно улыбнулась Валя. — Я ведь для тебя... Ты мне веришь?

Мальчик кивнул, не глядя на нее.

— А домой тебе зачем? — хватаясь за возникший, вроде, снова контакт, торопливо заговорила Валя. — Я у твоих была. Обо всем предупредила. Они знают, что я тебя забирю...

— Как?.. — растерялся мальчик. — А вы меня что... насовсем? — в глазах у него появился настоящий испуг.

— Ну да. Поедем на море с тобой. Знаешь, как хорошо! В походы будем ходить, по вечерам телевизор смотреть...

Мальчик не слушал ее.

— И они что — согласились? И мама согласилась?! — такое отчаяние было у него на лице, что ей стало не по себе.

— Ну, конечно, они огорчились, — попро-

бовала «отмотать» она. — Но они ж понимают: родная мать вернулась! Тут уж ничего не поделаешь! Теперь все.

— Все... — как эхо повторил Володя.

И тут на противоположной стороне тротуара Валя увидела знакомый синий плащ Ерохина. Она инстинктивно прикрыла собой сына. На ее счастье у остановки, как раз перед ними, остановился автобус. Валя схватила сына за руку, втащила в автобус. Только когда двери захлопнулись и автобус тронулся, Валя перевела дух, посмотрела в окно.

Человек в синем плаще стоял на остановке — это был не Ерохин.

Зажглись фонари. Валя торопилась, тянула за руку сына.

— Ну что ты заладил: позвонить да позвонить. Вот приедем на место, открытку им пошлем. — Она с опаской оглядывалась по сторонам.

— Не поеду, — тихо, но твердо сказал сын.

— Ну, а если позвоним?.. Если они разрешат, тогда поедешь?

Володя молчал.

— Ладно! Звоним, — решила Валя. — Только говорить буду я! А ты стой вот тут, — она показала на место возле телефонной будки. — Договорились?

— Но почему мне нельзя самому?

— Это дело такое серьезное, что детям вмешиваться не полагается! Ты меня понял? — добавила она строго.

Валя вошла в телефонную будку, под бдительным и тревожным взглядом сына набрала номер.

— Алло! — говорила она громко, чтоб ему было слышно. — Здравствуйте, это я... Да, у нас все хорошо. Вот, скоро уезжаем...

Мальчик напряженно слушал.

— Спасибо вам, значит, за все... Будем вам писать...

Володя шагнул вперед. Валя предостерегающе подняла руку.

— Вот, Володя велел вам кланяться. И ему передам. Ну, счастливо... — Она положила трубку и вышла из кабины.

Володя оторопело смотрел на нее:

— Что они сказали?

— Ну что? Привет тебе передали. Счастливого пути, — с трудом выдерживая его взгляд, ответила она.

— И все?! — потрясенно прошептал мальчик. Он пошел за ней, глядя перед собой невидящими глазами.

Потом вдруг сорвался и кинулся через улицу, чуть не под колеса. Валя закричала отчаянно, бросилась за ним, но машины шли сплошным потоком.

А он уже успел влететь в будку, опустил монетку, дрожащими руками набрал номер. Гудки, гудки, гудки...

Валя наконец перебралась через улицу и подбежала к нему.

— Но там же никто не подходит! — мальчик смотрел на нее требовательным, вопрошающим взглядом.

— Ушли, значит, — Валя нервно улыбалась. — Они же теперь люди свободные. Взяли и в театр пошли.

— Они не могли так быстро уйти. Вы... вы мне врётё! — вдруг закричал он с отчаянием. — Я не хочу! Пустите!

Он вырвался и побежал от нее. Она догнала, задержала его. Он плакал, вырывался, и на лице его была такая мука, что Валя совсем потеряла голову. Она опустилась перед сыном на корточки, прямо здесь, посреди шумной улицы, заговорила сбивчиво:

— Прости меня, сыночек! Прости! Я ведь люблю тебя. Ты про меня-то подумай... Сколько лет ты с ними жил, а я все одна скиталась! Истосковалась ведь я без тебя... Давай вместе поживем, прошу тебя, сыночек! Хоть недолго!

Мальчик поднял на нее глаза. В них было сразу все — и тоска, и жалость.

— Сели б сейчас в вагон, — робко сказала Валя. — Колеса стучат, проводник чай разносит... Поедем, а?

Мальчик молча покачал головой.

— А ты сейчас и не решай, сыночек, — погладила его по рукаву Валя. — Только поедем со мной на вокзал, ладно? А там видно будет. Может, и попрощаться к вам успеем. Хорошо?

Мальчик по-прежнему молчал, но, когда Валя поднялась, пошел за ней.

— Все у нас будет хорошо, — улыбнулась она и сама поверила этому. — Вот увидишь!

На привокзальной площади было оживленно. Выходили люди из автобусов, останавливались такси. Идти вместе на вокзал было опасно, там могли оказаться Ерохины. Валя огляделась, соображая, что делать. Заметила в палисаднике, возле дома, укромную скамейку.

— Посиди здесь минутку, — попросила она Володю, — только дай мне слово, что не уйдешь! Ладно?

— Ладно, — покорно прошептал мальчик.

— А ты меня не обманешь? — Валя неуверенно смотрела на него.

— Я никогда не вру, — все так же тихо ответил он.

...Валя нервничала. Она обежала площадь, заглянула в здание вокзала и кинулась обратно, к сыну.

Запыхавшись, подлетела к палисаднику. Мальчик так и сидел на скамейке, неловко подогнув ноги. Валя замерла, прижавшись к стволу высокого дерева. Долго смотрела на сына. В свете фонаря ей хорошо было

видно его лицо. Он смотрел куда-то в сторону. По его лицу катились слезы, и он сердито вытирал их краешком мешка для сменной обуви.

Надо было спешить! А Валя все стояла, не двигаясь с места. Какая-то работа происходила в ее душе, заставляла медлить, снова и снова с сомнением всматриваться в детское осунувшееся личико. Но Валя не дала этой работе завершиться. Она сердито тряхнула головой, отгоняя все сомнения, и решительно шагнула к мальчику.

В зале ожидания кипела жизнь. Перед кассой волновалась очередь.

— Купированные кончились!

— А мне хоть плацкартный!

— Пропустите, я имею право. Вот мое удостоверение.

Валя огляделась.

— Ничего, сыночек, все равно уедем. Пошли!

— Я не поеду, — упрямо сказал он.

— Хорошо, хорошо, — Вале было не до спора. — Мы только билетики сейчас купим. А там видно будет...

Она взяла Володю за руку и, расталкивая толпу, двинулась к кассе.

— А эта куда лезет?

— Я с ребенком!

— Да что это за ребенок? Ему в армию скоро идти!

И очередь отгеснила их.

Володя со страхом смотрел на Валино лицо, полубезумное от отчаяния, жесткое, неузнаваемое.

— Ничего... Сейчас что-нибудь придумаем.

Валя лихорадочно оглядывалась по сторонам. Времени на размышление не было. И тут рядом с собой она увидела детскую прогулочную коляску, а в ней спящего годовалого ребенка.

Не теряя больше ни секунды, она подхватила ребенка из коляски и протиснулась в самую гущу очереди.

— Пропустите, я многодетная мать! Осторожно, ребенок! — говорила она негромко, проталкиваясь вперед. Сзади, крепко схваченный ее рукой, тянулся за ней перепуганный Володя.

На этот раз очередь расступилась. Валя пробилась к кассе, благополучно взяла билеты. И вдруг в зале раздался крик:

— Украли! Мальчика моего украли!

У Вали на руках расплакался ребенок.

— Вон она! Держите ее! — заметив Валию, закричала женщина.

И сразу же в Валию вцепилось множество рук. Кто-то отобрал малыша, передал матери. А та все не могла успокоиться.

— Да что же это, товарищи! Я за водичкой отошла, а она его...

— Аферистка! Милицию надо вызвать! Володя, побледневший, полными ужаса

глазами смотрел на мать. Она попробовала было улыбнуться ему, но улыбка вышла какая-то жалкая.

— Извините, товарищи, я просто на время взяла,— бормотала она.

— Да я ее знаю,— кричала буфетчица,— она уже какую ночь здесь ошивается!

— Господи, что ж такое творится! В тюрьме надо таких держать!

— А этот ребенок у нее откуда? — шумела буфетчица.— Тоже небось украла. Не было у нее ночью ребенка!

— А это мы сейчас проверим,— сказал мужчина в шляпе.— Ну-ка, мальчик, кто это? — спросил он Володю.

Володя глубоко вздохнул. На него смотрели десятки глаз. Шум мешался с плачем разбуженного ребенка.

— Это... — давясь слезами, но собрав последние силы и стараясь смотреть прямо перед собой, он проговорил: — Это моя мама...

— Ребенка бы постыдилась,— сказала Вале пожилая женщина в платке.— Ты ж мать! Что из него вырастет-то?

— Вы у нее документы проверьте! — шумела толпа.

Это была слишком страшная угроза. Валя испугалась.

— Я ж на минутку его взяла, товарищи. Мы на похороны едем. Дедушка вот его умер,— она ткнула в Володю пальцем.

— Да не верьте ей, врет она все!

— Как же вру,— прижимая к груди руки, говорила Валя.— Вот мальчик подтвердит. Скажи им, сынок!

— Что, правда, дедушка у тебя умер? — спросил мужчина в шляпе.

— Да! — крикнул Володя.— Да! Да! — Он вырвался и побежал.

Толпа расступилась перед ним. Валею тоже никто теперь не держал...

Она нашла его на пустыре, возле товарных складов. Он сидел на ящике, прижимая к себе портфель и мешок с тапочками.

Валя подошла, опустилась рядом. В руках она все еще сжимала билеты.

Дождь усиливался. Мимо них прогрохотал товарный поезд, и опять все стихло.

Валя взяла его за руку. Он вздрогнул.

— Что, уже идти? — в глазах его не было больше прежнего упрямства, страха или ненависти, в них вообще не было никакого выражения — он был опустошен.

Валя смотрела на его сторбленную фигурку и видела, что сделала с ним за один только день...

Заболело сердце. Валя приложила руку к груди, поморщилась. Сын, все так же прижимая к себе портфельчик, покорно стоял перед ней. Валя робко провела рукой по его волосам, по щеке. Мальчик

отвернулся и заплакал.

— Ты не плачь, Володя,— собравшись с силами, наконец сказала она.— Я ведь знаешь, что... я ведь обманула тебя. Да... Я... Я не твоя мама!.. — закончила она с трудом.

Мальчик вздрогнул, поднял на нее глаза.

— Да,— закивала Валя.— Наврала я тебе просто. Взяла и наврала!

— Но зачем?

— Просто мне было одиноко. И очень хотелось, чтоб у меня был такой сын, как ты...

— А шрам? — он смотрел на нее требовательно.

— Шрам?.. А это я случайно узнала... в поликлинике...

— А что теперь будет? — растерянно спросил мальчик.— Мне теперь домой можно идти?

— Да... — сказала Валя и закусила губу.— Конечно... Домой...

Она проводила его до дома. Возле подъезда он остановился.

— Пока,— Валя положила руку ему на голову.— Иди... — она сама подтолкнула его.

Уже от двери он обернулся:

— Хотите... А хотите, я вам писать буду? — Он стоял перед ней, смотрел взрослыми, понимающими глазами.

— Нет,— отозвалась Валя.— У меня нет адреса.

Дождь хлестал в вагонное окно, размывая очертания сиротливых лесочков, полей. Валя сидела, прижавшись лбом к стеклу, смотрела перед собой невидящим взглядом.

Попутчики — пожилая женщина с ребенком, бородатый здоровяк и молоденький солдатик — ужинали, вели негромкий разговор. Проводник принес чай.

— Что-то девушка у нас такая молчаливая,— сказал бородатый.— По-моему, она с нефтепромысла. Вроде, я ее там видел. Девушка, вы откуда? — спросил он.

Валя оторвалась от окна, внимательно посмотрела на них.

— Я? — переспросила она.— Я из заключения.

Повисла пауза. Пожилая женщина с ребенком пододвинула Вале стакан с чаем.

— Домой едешь, к своим?

— Нет. Одна я.

— Ну ничего,— вздохнула женщина,— ты еще молодая. Захочешь — все образуется.

— Вы так думаете? — Валя посмотрела на нее с надеждой, словно она могла знать.

Сценарий документального фильма

**Борис
ДОБРОДЕЕВ**



ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛОВСКЕ (Анна Ивановна)

Вы входите в этот дивный парк, и чувство необъяснимого волнения охватывает вас... Редко где встретишь такую гармонию во всем, такую слитность природы и зодчества, такую задумчивую, покоряющую красоту.

Этой красотой упивался юный Пушкин, по этим аллеям бродили в тиши и уединении Жуковский и Карамзин, Крылов и Фонвизин, здесь часто бывал Достоевский... Неумирающая память об этом живет под кронами старинного парка.

Знаменитая липовая аллея... Прямая как стрела. В конце ее открывается чудная картина в естественной зеленой рамке — там, в глубине, за деревьями — Павловский дворец, бессмертное творение Камерона.

Впрочем, каждая аллея Павловска способна чем-то удивить, настроить на свой лад. Классическая простота памятников... Открытые галереи... Зеленые аркады... Ротонды в излучине тихой Славянки... Дремотная тишина прудов... «Что шаг, то новая в моих глазах картина» — это Жуковский восхищается разнообразием Павловска и признается: «Все к размышленью здесь влечет невольно...»

Всей этой радости, единения природы и творчества могло сегодня уже не быть, если б не любовь к Павловску, не преданность ему очень многих, от кого зависело чудо его воскрешения. У Павловска сотни, тысячи спасителей.

И все же был один человек, который сыграл особую роль, которому мы обязаны тем, что видим дорогой нашему сердцу Павловск...

Из сегодняшнего многокрасочного Павловска, каким он предстанет в цветном прологе, мы уходим в строгую черно-белую гамму воспоминаний, в прошлое...

Тридцатые годы. Довоенный Ленинград. Как всегда, величавый и прекрасный. Прохожие, одетые по тогдашней моде, — на Невском... Возле Эрмитажа... На берегах Невы...

Девушки довоенной поры. Они были не робкого десятка и ни в чем не уступали парням — они снайперы Осоавиахима, летчицы и парашютистки аэроклубов, строители дальневосточницы... Но Анна Ивановна Зеленова, которую тогда звали просто Аня, казалось, пошла не главной дорогой своего поколения. Она выбрала скромный путь музейного работника, стала искусствоведом. Видимо, человек, родившийся в Ленинграде, по-особому воспринимает музыку прекрасного, музыку архитектуры. Аня выбрала профессию, которая прельщает немногих. С ней нужно слиться, отдать себя без остатка или — поскорее расстаться...

Это поколение открывало для себя не только мир будущего, но и мир прошлого... И полемический задор диспутов, неприятие всего «буржуазного» в искусстве не мешали ощутить себя наследниками культуры своего народа, всей мировой культуры.

Еще студенткой Аня Зеленова стала водить экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Царское Село... Ей это нравилось, да и было необходимо... Отец, моряк краснознаменного Балтфлота, рано стал инвалидом. Надо было помогать родителям. Она работала (еще в

годы учебы в институте им. Герцена) и техником по обмеру строений, и конструктором, и библиотекарем. Все это потом ей пригодилось...

Фотографии довоенного Павловска...

И юной Зеленовой. Она ничем не выделяется среди сверстниц. Вот, пожалуй, только глаза...

Люди, которым прежде недоступен был мир высокого искусства, приходя в Павловск, жадно слушали девушку-экскурсовода. Как много она знала, как увлекала их своими рассказами. Несмотря на молодость, к ней обращались уважительно: Анна Ивановна.

Это, конечно, не какая-то историческая дата, но запомним: Анна Ивановна Зеленова пришла в Павловск после окончания института 1 июля 1936 года. Стала научным работником дворца-музея и повела первые экскурсии...

Бесконечная смена пейзажей. Живая смена картин Павловска.

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг. Неживая вода.
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.
Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь —
Не живешь, а ликуешь и бредишь,
Иль совсем по-иному живешь...

Мы не знаем, попала ли Анна Ивановна в Павловск случайно или хотела того... Но расстаться с ним она уже никогда не могла...

Каждый день она заново открывала поэтический мир Павловска. И для себя. И для других. Это была книга, читая которую и перечитывая, она не уставала удивляться и радоваться...

Зайдем, словно с Анной Ивановной, во дворец. И пусть все будет в черно-белой — довоенной — гамме, приглушены краски, но и так невозможно оторвать глаз — от картин Рембрандта и французских гобеленов, от изящных силуэтов гарнитуров, от мраморных бюстов... Павловск, говоря словами одного заморского гостя, посетившего эти места в пору молодости дворца, «отвечал всем настроениям души».

Анна Ивановна знала теперь каждый его уголок... Знала, как он выглядит на заре и в час заката, зимой и летом, осенью и весной. И не знала, что занимает большее место в ее душе — дворец или парк, творение Пьетро Гонзаго, крупнейшего мастера садово-паркового искусства...

Когда пришла война, Анна Ивановна уже заведовала научной частью дворца-музея.

Осознав, что фашистское нашествие не минует, не пощадит Павловск, Анна Иванов-

на испытала отчаяние матери, стремящейся инстинктивно заслонить собой своего ребенка, пожертвовать собой, если надо, но только не дать ему погибнуть...

Но как могла она спасти Павловск? Как могла защитить его от бомб и снарядов уже в первые недели войны?

Мы увидим в кадрах кинолетописи это неумолимое приближение смертельной опасности не только в железном марше фашистских полчищ, но и в первых жертвах бомбежек, в изуверных зданиях Ленинграда и его пригородов, в ночных и дневных воздушных боях.

Ленинград в первые месяцы войны был для врага одной из самых важных целей наступления. Вот почему уже в сентябре жесточайшие сражения развернулись в его пригородах. И Павловск оказался в преддверии фронта.

Не умолкала канонада. Тянулись к Ленинграду колонны беженцев, не ведая, что главное испытание впереди — блокадная зима.

Председатель Павловского горисполкома Александра Васильевна Ушакова уговорила Зеленову на время приютить в подвалах дворца более двух тысяч беженцев — стариков, женщин и детей, среди которых было немало больных и инвалидов.

У Зеленовой, которая к тому времени стала руководителем эвакуации дворца-музея и фактически его директором, смешались дни и ночи. Она не смыкала глаз. Она и сотрудники музея (а их было так мало!) своими руками отбирали, бережно упаковывали и грузили все самое ценное, все, что можно было увезти...

Пройдем в подвалы дворца. С ними связан один из драматических эпизодов эвакуации.

В залах дворца хранилась уникальная коллекция античных скульптур. Таких хрупких, что их невозможно было даже зарыть. И Анну Ивановну вдруг осенило... Был выбран один из крайних отсеков обширного сводчатого подвала. Туда снесли статуи и замуровали. Новую стену, скрывающую коллекцию, так искусно «загримировали», что она ничем не отличалась от других, старых. Этот тайник гитлеровцам так и не удалось обнаружить.

Сохранилось интересное свидетельство человека, который был одним из руководителей обороны Павловска, — С. Н. Борщова, тогда еще молодого офицера.

Кадры «будничной» военной хроники помогут нам представить атмосферу прифронтового городка. Проноятся штабные машины. Тянут провод саперы. Проходят войска.

Рассказывает Борщов:

«Наш командный пункт разместился в

Павловском дворце. Невесело было на душе. У главного подъезда грузили музейные экспонаты. Женщина лет тридцати представилась мне:

— Зеленова. Начальник объекта ПВО.
— Какого объекта?..



Анна Ивановна Зеленова.
Конец 40-х годов.

— Павловского дворца. Скажите, далеко ли немцы? Мне надо успеть вывезти все главные ценности.

— Успеете!..»

На фотографиях тех лет Борщов, Анна Ивановна. Война свела их в Павловске

ненадолго. Но эту встречу они запомнили навсегда.

«...Скоро Зеленова пришла ко мне в штаб. Она была крайне разгневана:

— Вы знаете, где поставили мотоциклы ваши связные?

— Это военная тайна.

— Мне не до шуток. Они поставили их перед фасадом дворца. На газонах, где растут декоративные кустарники.

— Ну и что?

— Да как вы не понимаете? Они вывезены из Голландии еще в восемнадцатом веке! И посажены по плану самого Камерона, создателя дворца!»

Начальник штаба Борщов, пораженный необычностью претензии, а еще больше тоном Зеленовой, выполнил ее требования беспрекословно.

Вернемся в парк. В его нескончаемые аллеи. В тоскливый, щемящий миг осени.

Бедная Анна Ивановна... Разве могла она представить даже в страшном сне, что половина всего парка — более 70 тысяч деревьев — скоро будет вырублено гитлеровцами.

Осенние дымки, когда жгут листья, поднимаются над рощами под пронзительный крик ворон. И вдруг далекий гул орудий, как память о сорок первом годе, ворвется в кадр.

Исхлестанные дождем одинокие статуи на пьедесталах в аллеях парка.

История их спасения — тоже почти детектив.

Увезти их было невозможно. Анна Ивановна приняла решение — зарыть статуи в специальных футлярах в земле. Место «захоронения» засеять травой. Это и в самом деле походило на похороны...

Перед нами несколько осиротевших пьедесталов в парке, без статуй. Унылый морозящий дождь.

Все это делалось в тайне. Особо помечалось на карте, чтобы не потерять потом навеки. Какой-то рабочий, перед тем как засыпать землей статую «Мир», нацарапал на мраморе карандашом: «Мы вернемся. Мы найдем тебя, Мир...»

Уголки Павловского парка сегодня. Здесь ничто не напоминает о скрежете танков, о взрывах снарядов. А тогда...

12 сентября 41-го ожесточенные бои шли уже в самом парке. Гитлеровцы рвались к березовой роще, к Розовому павильону, куда юный Пушкин приезжал с друзьями-лицеистами из Царского Села, приезжал на встречу с полками гвардии, вернувшимися из Парижа после победы над Наполеоном...

Каждый выигранный в этих боях день помогал Ленинграду собраться с силами, а работникам музея — эвакуировать еще одну

партию ценного груза... Железнодорожный путь был разбит. Последние экспонаты отправлены самолетами, машинами и даже на лошадях...

Старые фотографии семьи Ушаковых. Вот первый свадебный снимок, вот супружеская чета несколькими годами позже...

Анна Ивановна знала, что танковым батальоном здесь, на подступах к Павловску, командует майор Ушаков, муж ее старой знакомой Александры Васильевны Ушаковой... Так уж случилось, что из всей огромной фронтовой полосы — от Баренцева до Черного моря, — майору Ушакову выпало защищать именно этот павловский пятачок...

Хроника сражения под Ленинградом в районе Павловска. Ожесточенные танковые бои.

Анна Ивановна знала от Ушаковой, что муж ее всегда в головном танке... Что он не выходит из боя уже несколько суток. Хотя контужен, ранен, потерял слух.

Передний край обороны Павловска был так близок, что до дворца оставалось 10—15 минут хода...

Редкие снимки последних дней обороны Павловска. И Анна Ивановна — в 41-м. Знала ли она, догадывалась, что павловская эпопея только начинается?

Немцы обошли Павловск. И нашим войскам пришлось отступить. В сердечной муке бродила Анна Ивановна по аллеям парка, не в силах покинуть его...

И вдруг прибегает лесник Третьяков:

— Анна Ивановна! Уходите, Христа ради... Немцы в парке... На мотоциклах...

Она бросилась во дворец. В зал, где оставался знаменитый воронихинский гарнитур... Вывезти целиком его не смогли. Но она помнила: надо срезать тончайшую гобеленовую обивку. Взять образчик. Иначе ткань не восстановишь. Стала лихорадочно проверять — не остались ли какие важные документы. И тут обнаружила забытые в спешке папки с подлинными чертежами Кваренги, Росси, Камерона, Воронихина, Гонзаго и других создателей ансамбля... Даже представить себе невозможно, что стало бы потом с Павловском, если бы реставраторы не имели этих чертежей...

Анна Ивановна вложила их в свой выдавший виды портфель и покинула дворец.

Кадры немецкой хроники воссоздадут нам облик захваченных фашистами поселков и городов в первые дни оккупации.

Вот провели группу пленных. Обыскивают, допрашивают, арестовывают прямо на улице. Патрули. Жесткий контроль.

Анна Ивановна, по счастью, догадалась пойти не через парк, а через город... Там было больше патрулей, но зато мало кто знал Зеленову. Впрочем, и здесь мог найтись

предатель. А Зеленова была очень нужна фашистам — ведь она знала все о сокровищах Павловска.

Благополучно миновать фашистские патрули помог немецкий язык. Когда-то соседкой Зеленовых была немка-гувернантка. Она и выучила дочь матроса Зеленова своему языку. И так успешно, что Анна Ивановна даже писала стихи по-немецки. Но теперь она ненавидела этот язык...

Ленинград поздней осенью 1941 года. Воспользуемся не столько кино-, сколько фотоархивами. Сегодня они «звучат» на экране, пожалуй, выразительнее. Фотографии бомбоубежищ, городских памятников, обложенных мешками с песком... А вот Исаакиевский собор, почти неузнаваемый, замаскированный. И рядом фигура часового в каске, с примкнутым штыком.

Исаакиевский собор, его промерзшие, мрачные подвалы стали укрытием для всего, что удавалось вывезти из пригородных дворцов Ленинграда. Надписи на ящиках: «Петергоф», «Пушкин», «Гатчина», «Павловск»... Начинаясь девятисотдневная блокадная эпопея.

Миновав линию фронта, Анна Ивановна тоже пришла в Исаакий. Все музейные работники были переведены на казарменное положение — ведь без их каждодневной заботы все спасенные ценности могли бы погибнуть теперь — от сырости, холода, пожаров.

В боковых притворах обосновались канцелярия и общежитие. Анна Ивановна была назначена заведующей музейным отделом — одна отвечала теперь за экспозицию всех пригородных музеев. Как жили они тогда, эти скромные музейные работники, рыцарски заботившиеся о наследии веков?

Тут нам поможет дневник Анны Ивановны. Она вела его урывками. Но в нем — точное ощущение времени. Сохранились у нее и некоторые фотографии блокадных дней.

В первые недели осады у них еще были физические силы. Днем они разбирали имущество, свезенное в Исаакий, проверяли его сохранность. Потом Анна Ивановна отправлялась в Публичную библиотеку — ей уже тогда казалось необходимым собрать все сведения о довоенном Павловске. По вечерам непременно шли в кино... В театр... Да-да, в театр...

Однажды давали «Даму с камелиями». Дневник Анны Ивановны свидетельствует: «Публика зябко потапывала ногами. Грим не мог скрыть изнурения на лицах актеров. Особое оживление в зале вызвали две реплики по ходу спектакля: «Сегодня очень холодно» и «Ах, какая радость — сейчас будет ужин»...

Вечером, придя домой, Анна Ивановна, не успевшая получить хлеб по карточке, одолжила его у подруги. Это был кусочек размером со спичечный коробок — дневная норма.

Ленинград тех дней входит в нашу картину блокадными фотографиями ненавязчиво, почти прозаически, почти мимолетно — не об этом фильм: очередь у булочной; провезли саночки с провиантом; столпились женщины у проруби. Встали троллейбусы и трамваи. На всю зиму.

Анне Ивановне удалось уговорить мать эвакуироваться. И самой сразу стало легче. О себе она никогда не думала. И тяжкий блокадный быт, хотя она наравне со всеми испытывала его невзгоды, словно обходил ее стороной. Может быть, потому, что с детства она была крайне неприхотлива, жестко во всем себя ограничивала. В Ленинграде она жила думами о Павловске... Как о человеке, с которым разлучена, но все равно встретится, к которому придет на помощь сразу, как только позволят обстоятельства. Ее окружали фотографии Павловска. Вещи Павловска...

Представим себе эти сгрудившиеся в темном подвале, в полумраке картины, гарнитур, сервизы, декоративные ткани...

Вот удивительная фотография: в одном из подвалов Исаакия торжественный вечер — XXIV годовщина Октября. На переднем плане Анна Ивановна. Руки в муфте. На коленях маленький чемоданчик из дерматина, который до войны считался криком моды. Анна Ивановна сидит, погруженная в какие-то свои сокровенные мысли. Она еще молодая. Ей 28 лет...

Архив Зеленовой свидетельствует: все, кто встречал ее тогда в Ленинграде — знакомые и незнакомые, — а часто и фронтовики в письмах непременно с тревогой спрашивали: «Ну как там? Что слышно о нашем любимом Павловске?»

Особенно трогательна сохраненная Анной Ивановной записка: «Архитектор Андрей Андреевич Борташевич интересуется всем, что в Павловске... Сам он на фронте, в самом пекле. Сообщите, что знаете. Полевая почта 86756».

Анна Ивановна, пожалуй, только теперь с такой пронизывающей силой и болью поняла, что значит Павловск не только для нее — для всех... Но что могла она ответить? Через линию фронта о Павловске приходили самые страшные вести.

Много лет спустя друзья Павловска, коллеги Зеленовой из Германской Демократической республики, разыщут и пришлют ей уникальный снимок, помещенный на обложке немецкого журнала конца 1941 года. Фотография цветная. Вот она: разбитый фасад Павловского дворца, окна, заколоченные досками, стены, изувеченные осколками снарядов. И вдоль фасада — печальная очередь:

сотни беженцев, угоняемых в Германию. На переднем плане мощная спина фашистского писаря за столмиком. И вдруг — даже глазам не верится — над куполом все еще полощется алый стяг... То ли наши не успели снять отступаая... То ли немцы специально хотели, чтоб он попал в объектив. Как символ большевистской России: смотрите, мол, читатели журнала, теперь она покорна нам, завоевателям Европы...

Блокадный Ленинград. Фанерные щиты с объявлениями и афишами. Останавливаются прохожие, читают...

Узнав, что в кинотеатре идет «Большой вальс», Анна Ивановна, уже с трудом передвигая ноги, пошла посмотреть любимый фильм.

И снова, как до войны, кружатся в вихре вальса герои картины — Штраус и его возлюбленная Карла Доннер, и звучит музыка. Штраус упоенно дирижирует...

Растревожил фильм сердце Анны Ивановны. Вспомнила курзал в Павловске, представила, как в нем когда-то выступал «король вальса», как, дирижируя, исполнял здесь и русскую музыку, как включил в программу симфонию молодого Чайковского...

Серия фотографий Павловска прошлого века. Старый павловский вокзал — первый в России. А в нем — курзал — по сути, первая в России филармония. И публика, замершая в креслах...

Замирает музыка на высокой, шемящей ноте.

Перелистаем страницы дневника Анны Ивановны: «Четвертый день сижу в общежитии из-за диких болей в желудке от горчицы и перца... Ничего другого не осталось... Смертность достигла 30 тысяч в день. Завтра хочу ползти на работу, хотя мне не лучше».

Фотографии Исаакия и «Астории», соседствующих на одной площади. Зима 41-42 года. Люди — тени...

И новая запись в дневнике:

«Гостиница «Астория» превращена в «стационар для истощенных», куда «без отрыва от производства» поместили директора Эрмитажа академика Орбели, народного артиста Радлова... Видимо, и мой облик внушил такое опасение, что начальство включило меня в список «ценных кадров» для немедленного препровождения в стационар. Я вычеркнула себя из списка, дабы поместить туда Веру Владимировну Лемус, распухшую еще больше, чем я...»

Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина. Блокадные дни. Читальные залы. Немногочисленные посетители. Абажуры. Головы, склоненные над книгами.

Сегодня это может показаться неправдой... Но в те голодные и холодные дни находились люди, которые каждый день, еле передвигая

ноги, приходили сюда работать... И среди них была Анна Ивановна Зеленова. В ней уже жило чувство — не побоймся этого слова — исторического долга перед Павловском. Она лучше других понимала, что если Павловск и уцелеет, то будет нуждаться в капитальной реставрации. А для этого надо по крупницам собирать и привести в систему огромный иконографический материал, собрать все, что только может помочь возродить Павловск. А главное — разработать научную методику его восстановления. Теперь это стало смыслом всей ее жизни.

Еще одна реликвия блокадных дней — музейные работники Ленинграда, собравшиеся под крышей Исаакья, сознавая, что не всем им доведется дожить до Победы, решили сфотографироваться.

В первом ряду Анна Ивановна. Во втором — Алексей Алексеевич Черновский. Искусствовед. Историк. Один из знатоков родословной Ленинграда. Автор первой книги «Ленинские места в Петрограде».

Они не снялись рядом. Только в отдалении. Эта дистанция так и сохранилась до конца жизни, хотя Черновский любил Анну Ивановну... А она? Мы не знаем этого... Знаем только о последнем письме Алексея Алексеевича, в котором он прощался с ней... Прощался и говорил о самом важном для него в ту пору...

Вот это письмо из архива А. И. Зеленовой. Приведем лишь отдельные строки:

«Мы сейчас не представляем себе, какое значение будут иметь собираемые нами сейчас записи, фотоснимки и предметы, характеризующие жизнь фронтового Ленинграда. Никогда после невозможно будет это восстановить... Все это исчезнет из быта города после нашей победы над врагом».

Сегодняшняя экспозиция, рассказывающая о девятистах днях блокады.

Незадолго до смерти Черновский задумал новый музей — музей блокады, разработал его методику и оставил для него первый экспонат — 100 граммов блокадного хлеба... Что стоило умирающему от голода отказаться даже от одного грамма?!

Две фотографии рядом. В одном кадре. Две совсем разные женщины. На обеих — Анна Ивановна Зеленова. Только на одном снимке — в самом начале блокады, еще молодая, а на другом — страшно сказать это слово — старушка. В чепчике. Это в конце тяжелых блокадных дней.

Перелистаем дневник Зеленовой дальше: «Читать стало почти невозможно. Мерзнут стекла. В глазах все темнеет. От кипятка — рвота. Жуткий обстрел. Газет не вижу. Радио молчит. Продолжаю работать над материалами Павловска. Сегодня видела во сне силуэт

парка...»

Через заиндевшие, промерзшие окна вдруг врывается зелень Павловска... Его аллеи, скульптуры, ажурные беседки и цветники. Это видение и это явь. Это то, что еще поддерживает жизнь Анны Ивановны...

«Сегодня отдала печатать тезисы о восстановлении Павловска. Сильно ослабла. Все удивляются, как я хожу без валенок, в галошах. Три раза падала на улице... Но какая радость: «Сталинград наш!»

На фотографии — стенд Совинформбюро. Лица генералов-завоевателей, взятых в плен в окруженном Сталинграде.

Лица непокоренных ленинградцев.

Новый подъем сил. Анна Ивановна организует выставку «Героическое прошлое и настоящее Ленинграда», выступает перед защитниками города с лекциями о памятниках культуры Ленинграда.

Фотографии блокадного города. Стремительно-лаконичные. Редкие прохожие. Патрули. Жертвы бомбежки. Спасательные работы в развалинах.

«В Исаакии началась работа по поднятию ящиков. Проветриваем, просушиваем все, что необходимо. Всего надо вскрыть 740 ящиков. Состоялось первое научно-экспертное совещание. Были обсуждены вопросы будущей реставрации пострадавших ансамблей города и пригородов».

Кладбище Ленинграда блокадной поры. Трупы, завернутые в простыни. Словно мумии на саночках.

«Сегодня хоронили нашу сотрудницу Ирину Янченко, убитую при артобстреле на углу Невского и Садовой. Сын ее, малыш, тяжело ранен. Я была у него в больнице, а потом на кладбище, под бомбежкой. Падали, укрываясь между могил, а вокруг взлетали останки захороненных ленинградцев... Разрохан опять БДТ. Вечером в Публичке передо мной качались стол и лампа... а я все видела перед собой Павловск...»

«18 января 43 года. Радость-то какая! Прорвана блокада Ленинграда. Дождались!»

Кадры кинохроники, рассказывающие о прибытии из Москвы первого после блокады курьерского поезда «Красная стрела». Торжественная встреча на Московском вокзале.

И вот уже Ленинград постепенно принимает другой облик. Уходят в прошлое тягостные приметы блокады. И на фотографиях все другое: пошли троллейбусы. Многолюдный Невский. Убираются завалы.

«Вместе с комиссией проверяли сохранность экспонатов в кладовых Эрмитажа, Русского музея, Академии художеств. Подвалы Исаакья. Незабываемое зрелище. Все удалось сберечь! И среди экспонатов Павловска ни один не поврежден. Даже упаковочный ма-

териал не отсырел, не спрессовался... И все так же пахнет... Ведь это сено из павловского парка...»

Еще строка из дневника Зеленовой:

«27 января 1944 года, 12 часов ночи. Только что передали по радио: освобождены Пушкин и Павловск. Мой Павловск...»

28 января 1944 года. Кадры Ленинохроники. Ленинград салютует в честь освобождения всех своих пригородов. Морские прожектора высвечивают шпиль Петропавловской крепости. Сияющие лица ленинградцев.

Пригороды Ленинграда после освобождения. Мрачная картина разрухи и запустения. На заснеженных полях брошенная фашистская техника, убитые гитлеровцы.

Через два дня после освобождения, уже в качестве исполняющего обязанности директора дворца-музея и парка, «тов. Зеленова А. И. командирована в г. Павловск для принятия срочных мер по сохранению оставшихся музейных ценностей и имущества дворцов-музеев и парковых павильонов».

Как встретил ее Павловск?

Пусть расскажут об этом руины дворца — их немало на фотографиях — и сама Анна Ивановна:

«Не дождавшись попутной машины, я пошла пешком. Попутчиков не было. Крик ворон, кружащихся над трупами немцев, сопровождал мне весь день. Потом меня нагнала машина с художниками и музейными работниками, спешившими из Ленинграда».

Прифронтовая дорога. Пепелища сел. Движущиеся колонны войск.

В этой машине ехала ленинградская поэтесса Вера Инбер, тоже перенесшая блокаду. Она вспоминает в своем дневнике:

«Мост через реку Славянка был взорван. Нужно было спуститься с крутого обрыва и пройти по обледеневшим бревнам. Женщина из павловского музея с такой быстротой сбегала вниз и взобралась по ледяной круче, что мужчины едва поспевали за ней. Она была так бледна, что это было заметно даже на морозе...»

Фотография. На плакате надпись — по-русски и по-немецки: «Внимание! Запретная зона. Кто войдет в парк, будет расстрелян!»

В тот день Анна Ивановна записала в своем дневнике:

«Прекрасен, но страшен Павловск. Сердце его — музей — сгорел. Он горел 10 дней. Нет купола, башен с часами. Нет крыши, полов, потолков. Нет библиотеки Росси. Лишь несколько накренившихся колонн. Всюду небо. Помпеи не выглядели горестней».

На фотографии Зеленова у «распятой» статуи — обугленной, истерзанной.

«Всюду следы садистских истязаний — у статуй раздроблены кисти рук, колена, бедра. Ноги и руки покрыты волдырями от

языков пламени... Да, статуи пытали, как живых...»

Фото 44-45 годов. Знакомая уже нам председатель горисполкома Павловска Ушакова. И Зеленова. «— Ну, здравствуй, директор без дворца! — невесело приветствовала меня старая подруга Ушакова, как бы сказала сейчас, мэр Павловска.

— Здравствуй, председатель горсовета без города... — в тон ей отвечала я, — что делать будем?... — ей тяжелей. Муж ее, бесстрашный майор Ушаков, погиб еще тогда, осенью сорок первого... Всего в нескольких километрах от родного дома...»

Город Павловск — в первые месяцы после освобождения. Вместо улиц — руины. Лишь изредка — чудом сохранившиеся дома.

«Ушакова на первых порах приютила меня. Каждый день я ходила к дворцу, как на могилу к горячо любимому. Это было небезопасно. Однажды я повстречала пару волков. В другой раз чуть не напоролась на мину... Я обошла весь парк на лыжах, полагая, что если мина и взорвется, то не подо мной, а у носка лыжи...»

Анна Ивановна на фотографии перед стеном с надписью: «Павловский парк для посетителей закрыт. Производятся работы по разминированию. Ходить по нему опасно для жизни».

«Как вырублен парк! Как ограблен музей! И пока снег и мины, не знаешь, уцелели ли зарытые в землю статуи... Страшно писать об этом, но видеть еще страшнее...»

Первые работы по разминированию. Первые работы по очистке территории. Как мало еще людей, как мало помощников у Анны Ивановны!

Рискуя каждый миг, она карабкалась по обгоревшим балкам, осматривала фундаменты, ощупывала стены... И уже 1 февраля 1944 года, через 3 дня после освобождения Павловска (1), она пишет докладную № 1 начальнику управления по делам искусств Ленгорисполкома тов. Загурскому Б. И., уже точно зная, что нужно сделать прежде всего, чтобы сохранить жизнь, еще теплившуюся под руинами дворца и парка.

На освобожденной от фашистов территории начиналась своя жизнь. Занятия в школах идут еще под открытым небом, в землянках еще ютятся погорельцы... Вот случайно уцелевшая корова, которую окружили дети... Картошка в котелке над костром.

Анна Ивановна думала не только о Павловске, но и о людях, которые так преданно служили ему до войны и теперь постепенно возвращались на пепелище. Она думала об их детях. Разрешила пасти коров в парке, чтобы у них было молоко. Самым нужным, необходимым работникам отдавала свои карточки, а голод заглушала курением. Все-таки кое-что

уже удавалось. Даже елку новогоднюю организовать для ребят Павловска. А вот и фото — Анна Ивановна среди детворы в обличье... Деда Мороза.

В дневнике за 1944 год радостные и тревожные строки:

«Доцент Крестовский И. В. составлял смету на закрепление и формовку лепных деталей... «Фабзайчата» будут выбирать кирпичи из «Фонарика» Воронихина во дворце... «Парк почти разминирован. Все статуи, погребенные под землей, целы...» «Московские архитекторы, работающие над обмерами, голодают. Уже несколько просьб от рабочих — разрешить уехать поискать еды».

Поземка. Безлюдное поле сразу за Павловском. Непроглядная тьма. Завывание ветра.

Она стала ездить в Ленинград за провизией для рабочих. Требовала, объясняла, умоляла... Иногда удавалось что-то раздобыть. Счастливая, добиралась на попутных машинах, а если таких не было — волочила санки от ближайшей станции по неразминированным полям. Однажды попала в метель. Стала замерзать. Случайно на нее наткнулась и спасла женщина из Павловска...

Чтобы вернуть к жизни Павловский парк, изуродованный траншеями, надо было разобрать несколько сот блиндажей. Восстановить павильоны и зловещие порубки. Возродить многокилометровые аллеи. Ведь это был самый большой пейзажный парк мира — 600 гектаров. Экскурсанту, пожелавшему бы обойти все дорожки, пришлось бы проделать путь длиной как от Ленинграда до Москвы!

Государственная комиссия, обследовавшая разрушения под Ленинградом, установила, что ни один из пригородных архитектурных ансамблей не пострадал так жестоко, как Павловск. По сути, у него не было никаких «отправных точек» для возрождения.

Но чем чаще слышала Анна Ивановна в разных кабинетах горестную и категоричную фразу: «Мертвых не воскрешают», тем сильнее становилась ее решимость бороться за Павловск.

У нее уже немало союзников, немало энтузиастов. Но одного энтузиазма было недостаточно... Надо было срочно спасать то, что осталось, — сохранить образцы лепки, одеть новую кровлю, собрать остатки разоренного имущества... Она снова поехала в Ленинград.

Совсем другим увидим мы теперь в хронике город, vystоявший девятьсот дней. На улицах многолюдно. Ремонтируются фасады зданий. У кинотеатров толпится народ.

«В трамвае меня окликнул знакомый — скульптор Таурит Роберт Карлович. И началось: «Ну, как там в Павловске, что там в Павловске?»

Он посоветовал Зеленовой обратиться за помощью в одну военную организацию, где он

работал. А вдруг!..

Суэта служебных коридоров. Таблички на дверях. Стук машинок. Ожидающие в приемных. Многие еще в военной форме.

Через час она уже входила в кабинет к начальнику:

«— Капитан Сапгир! — отчеканил хозяин кабинета, слегка привстав при рукопожатии.

— Директор Павловского дворца-музея Зеленова.

— Думаю, что вы еще не скоро пригласите нас на экскурсию в Павловск...

— Это будет зависеть от вас...

Теперь, для того чтобы восстановить этот любопытный диалог, обратимся к фотографиям Сапгира и Зеленовой, ставших потом добрыми друзьями. Но тогда до дружбы было еще далеко...

«— Мне нужно водрузить статуи на пьедесталы... В парке. У вас есть башенный кран...

— Их всего два сейчас в Ленинграде...

— У вас есть строители и скульпторы. Нам нужно поставить леса во дворе. Закрепить подающую лепнину. Начать реставрацию...

— Какое я имею ко всему этому отношение? Вы, видно, ошиблись и не туда попали...

— Значит, отказываетесь помочь?

— Вы знаете, чем мы занимаемся?

— Строите аэродромы.

— Вы даже это знаете? — капитан сердито нажал кнопку звонка.

— Кому мне на вас жаловаться? — в отчаянии спросила вдруг Зеленова.

Анна Ивановна на снимках сорок четвертого — сорок пятого годов. Что-то неуловимо новое появилось в ней, чего не было раньше. Собранность, уверенность, решительность. Такой ее сделала борьба за Павловск.

Перезвон трамваев, гудки автомобилей, толкотня на перекрестках... Анна Ивановна шла по городу. В ушах все еще звучал иронический голос Сапгира:

«Кому жаловаться? В Москву, голубушка, в Москву. Мы люди военные. А Верховный Главнокомандующий знает кто?.. Попробуйте объяснить, что вам мы нужнее... Хотя бы моему начальнику Тихвинскому... Тихвинскому...»

Медленно, дребезжа по мостовой, едет старенький башенный кран через Ленинград. Выезжает на пригородное шоссе.

И как печальные приметы — руины того времени. Руины не только на месте Павловска, но и других дворцов.

Анна Ивановна не отступила. Она попала к Тихвинскому. Убедила его. Потом добилась санкции Москвы. И капитан Сапгир, покоренный ее напористостью и убежденностью, послал в Павловск башенный кран и строителей. Среди них был и Роберт Карлович Таурит, один из тех, кто потом примет участие в создании Пискаревского мемориала.

Забегая вперед, скажем, что и военный инженер Сапир стал одним из самых ревностных друзей и союзников Анны Ивановны в деле возрождения Павловска и вел все работы там до 1953 года.

Зеленовой удалось отозвать с фронта незаменимого специалиста — талантливого архитектора Федора Федоровича Олейника. В довоенные годы он делал зарисовки и обмеры дворца, а теперь даже по ночам влюбленно работал над первым проектом восстановления. Потом, когда он внезапно скончался, эту работу подхватила Софья Васильевна Попова-Гунич.

Вот когда пригодились материалы, над которыми Анна Ивановна без усталы работала в блокаду!

Вот когда пригодилась разработанная ею методика научной подготовки к реставрации дворца. Во всеоружии знаний уже первые мастера вошли в «голые» пока залы Павловска. Поднялись на леса...

И вот на фотографиях — первые воссозданные интерьеры дворца. И «дирижер» этой работы Анатолий Михайлович Кучумов — один из лучших специалистов в области декоративно-прикладного искусства.

Проекты нового Павловска предполагали воссоздание всей гаммы цветowych эталонов утраченных росписей. Нужно было понять и освоить творческий почерк каждого художника, украшавшего когда-то Павловск. Это была, так сказать, морально-этическая, творческая проблема.

Но была еще и другая, почти непреодолимая трудность. Реставрация гигантских ансамблей в таких масштабах еще никогда не производилась. Где взять столько строителей, где воспитать столько мастеров-реставраторов, где найти столько средств? Ведь полстраны все еще лежало в развалинах...

Москва 1947 года. Комсомольская площадь. По ней еще ходят трамваи. Первые легковые послевоенные машины марки «Победа». Валом валит народ с вокзалов.

Зеленова поняла: без Москвы эти вопросы не решить. В кармане у нее лежало письмо человека, много ей помогавшего и также мечтавшего о возрождении Павловска. Вот оно: «Милый Владимир Николаевич! Очень прошу Вас помочь героической женщине — директору Павловского дворца-музея Зеленовой А. И., которая единственная сумела добиться восстановления дворца, помочь в ее хлопотах в Москве. Начальник государственной инспекции по охране памятников Ленинграда Н. Белехов».

Ей сочувствовали, кивали. Письмо было дружеским, неофициальным. Анне Ивановне пришлось приезжать не раз... Наконец зимой она решила пойти напролом...

Зимняя послевоенная Москва. Мороз. Клубы пара у выходов метро. Заиндевелые стекла

троллейбусов и трамваев.

Зеленова приехала на этот раз в Москву на свой страх и риск, без командировки, почти без гроша в кармане. Туалет ее за годы войны изрядно пообносился. Спасибо, знакомый художник подстрелил в Павловском парке зайца и с грехом пополам ободрал его. Из этого зайца сшили Анне Ивановне муфту.

И теперь мы видим на фотографии этот «заячий» туалет Зеленовой. Она стала старше, немного полнее. Немного строже.

Москва в снежном убранстве. Скоро Новый год. Выставлены елки в витринах, на Манежной площади. Предпраздничная суета.

Анна Ивановна прожила в Москве почти месяц, добываясь важной аудиенции. Могла позволить себе купить в буфете только стакан чаю. Делала огромные переходы по Москве, от знакомых, где остановилась на окраине города, до центра. Денег на транспорт почти не было, а от знакомых она это скрывала... Зато она добилась главного. Ее принял Ворошилов, занимавшийся в ту пору вопросами культуры. Выслушал внимательно. Узнав, что она дочь кронштадтского моряка, Климент Ефремович сказал: «Тогда мне многое понятно. Балтийцы народ отважный. И у вас эта косточка есть...»

Вскоре он принял ее вторично и сообщил, что вопрос о Павловске должен им Сталину, и средства, необходимые на восстановление всего ансамбля, будут отпущены государством. Вот тогда-то она и забыла на радостях свою заячью муфту в кабинете Ворошилова...

Красная площадь. Брусчатка, припорошенная снегом. Поземка... Развод караула у ленинского Мавзолея. Гости Москвы, столпившиеся неподалеку.

Она прошла уже почти всю Красную площадь, когда ее окликнули: «Товарищ Зеленова!» Анна Ивановна оглянулась. Ей вежливо протягивали заячью муфту.

Мчится «Красная стрела» в Ленинград — идет хроника конца сороковых. Самые разные люди в вагоне. Проводник в белых перчатках разносит чай. Уютно, тепло в купе. Анна Ивановна возвращалась домой ликующая.

Нет, идиллии она не ждала. Ей еще много придется сражаться за Павловск. Но ее оппоненты всегда будут отступать, потому что то, что делала Анна Ивановна, было подвигом бескорыстия. А на это способны далеко не все. И, чувствуя это бескорыстие во всем, к ней всегда тянулись люди — и достигшие в жизни всего, и неприкаянные, неустроенные, просто нуждающиеся в добром слове.

На многих фотографиях 60-х и 70-х годов рядом с Анной Ивановной молодая женщина — Аделина Сергеевна Елкина. Она пришла к Зеленовой случайно, без работы, без денег, больная. И навсегда осталась в ее доме. Анна Ивановна заменила ей мать, стала самым близким человеком на всю жизнь.

Аделина Сергеевна мечтала стать музыко-

ведом, написать книгу о Рахманинове. А Зеленова только посмеивалась: «Музыка без тебя не погибнет. Рахманинов и так останется Рахманиновым. Сколько бы о нем ни писали... А вот развалины Гатчинского дворца ждут помощи. Их надо поднять. И это может быть делом всей твоей жизни. Возьмись. Это куда серьезней». И Аделина Сергеевна, в конце концов, пошла путем Зеленовой. Правда, она сперва обижалась, думая, что Анна Ивановна не понимает, не любит музыку. И вдруг случайно узнала, что девочкой Зеленова брала уроки игры на фортепиано... у самого Глазунова.

Павловский парк сегодня. Рабочий парка подстригает кусты, выравнивает их контуры.

Вот так же пришел однажды в парк молодой рабочий. Вскоре после войны. Весь израненный. Фронтовик. Анна Ивановна приняла в нем живое участие. И как человек он ее заинтересовал. Удивительный оказался рассказчик. Узнав, что тот пробует писать, убедила его всерьез посвятить себя литературе. Читала рукописи его первых, еще несовершенных произведений. Этот человек — писатель Виктор Курочкин.

Виктор Курочкин вошел в большую литературу своей замечательной повестью «На войне как на войне», по которой потом был снят фильм, полюбившийся многим...

Когда Курочкин тяжело заболел и понял, что дни его сочтены, он испытал потребность приехать в Павловск, к Анне Ивановне... О чем говорили они в ту последнюю их встречу? Об этом мы никогда не узнаем. О сокровенном Анна Ивановна никогда не говорила...

В 60—70-е годы, по мере того, как Павловск деятельно возрождался и все больше рос интерес к Зеленовой — ее много снимали. И в кино. И на телевидении. Вспомним рассказы о ней, о том, какой она была в быту... А быт этот был всегда крайне неприветлив, почти аскетичен. Деньги, как правило, уходили на помощь разным людям. Иные злоупотребляли ее добротой, обманывали, но это не могло ожесточить ее сердце.

За неделю до зарплаты она говорила своей приемной дочери: «Ведем «прекратительный» образ жизни. Чай, сухари... У нас по гривенику в день осталось на двоих...» И она не страдала от такого жестокого самоограничения. Помочь людям — это было для нее главное. Вот и шли к ней такие телеграммы, как эта, даже в блокадный Ленинград: «Лена тяжело больна. Вышлите телеграфом денег сколько возможно. Ирина». А она и не слишком хорошо знала эту Ирину...

Многие удивлялись — ведь методика, предложенная ею, помогла восстановить Павловск, стала классикой реставрации. Так почему же она отказывается защищать докторскую диссертацию? Анна Ивановна сердилась: «Да разве можно на такой всенародной

трагедии, как война, зарабатывать ученые степени?..»

Она и не заметила, как в трудах, в думах, в работах о Павловске прошла молодость, прошли зрелые годы, подступила старость... Ведь Павловский ансамбль восстанавливался мучительно долго, мучительно трудно — 25 лет! Уже к 50-й годовщине Октября распахнулись 50 залов дворца. Это был прекрасный подарок людям!

Когда Павловск вновь явил всему миру свою чарующую красоту, даже самые просвещенные скептики не могли не выразить своего восхищения. Да, произошло чудо...

А как обрадовалась Анна Ивановна, когда однажды во дворец приехал командующий Ленинградским военным округом генерал Борщев, в котором она сразу узнала того самого Семена Николаевича Борщева, что защищал Павловск... Повела его к тем самым знаменитым кустам сирени...

Много было у нее пронзительных встреч и воспоминаний в последние годы. Простая женщина, что спасла ее, замерзающую в поле с продуктами для рабочих, умирая в больнице, просила передать ей свое материнское благословение...

Пришел однажды лесник Третьяков. Неловко поставил чекушку на стол: «Выпьем на посошок, Анна Ивановна. Видно, пора собираться мне туда...»

И вспомнил, как в сентябре сорок первого, после ухода Зеленовой из парка, услышал, что фашисты хвастаются, что поймали и расстреляли ее... Рискую жизнью, ночью он искал Анну Ивановну среди расстрелянных, хотел похоронить в парке...

Анна Ивановна не уставая, до последнего дня ходила по аллеям Павловского парка, который, по справедливости, принадлежал теперь ей...

Все мне видится Павловск холмистый, Круглый луг. Неживая вода.

Самый томный и самый тенистый, Ведь его не забыть никогда...

И вот все великолепие Павловского парка предстанет перед нами в багрянце ранней осени сегодня, во всей своей сказочной красе, во всех оттенках красок. На экране восторгствует цвет.

Зазвучит русская, французская, испанская, английская, немецкая речь. И мы увидим на лицах гостей Павловска все оттенки настроений, все оттенки чувств.

А потом девушка-экскурсовод будет что-то объяснять, рассказывать, показывать убранство залов, картины, уникальные коллекции. Мы не слышим, что она говорит. Но мы знаем, мы видим по ее глазам, что, как и Анна Ивановна, она объясняется в любви к Павловску...



**Виталий
КОСТИН**

МАРИЯ

Я уезжаю.

Мама говорит:

— Ты ничего не забыла?

— Нет.

По стене нашего дома вьется лоза. У нас лица темны, как виноградные листья. Заглянули. Волнуются. Шелестят.

Мама смотрит на мой чемодан.

— Присядем на дорожку...

■

Вышла за дверь и засмеялась. Благо в коридоре никого не было. Нет, вру! ШАляувалень из 8-го важно так шествовал. Шахматы вечно под мышкой.

— Ты что, детка, с ума сошла?

Вот и поговорили.

Звонок.

Наташка нос высовывает.

— Иди сюда...

— Я и так иду.

— Урок-то, последний был.

— Как, совсем?

Двери распахнулись, ученики на переменку выбежали. Чуть с ног не сбили.

Идем по коридору под руку, как восьмиклассницы, по сторонам поглядываем, но делаем вид, что ничто вокруг нас не касается. И болтаем.

— На доску смотрю — Димитрич все дифференцирует, дифференцирует... И вдруг вспоминаю: последний раз за партиой сижу.

Шепчу: последний, последний... и чувствую, сейчас захохочу...

— Лилька-мышка какие серьги вдела. Больше ушей.

— Вот выдумала!.. Ах!

Хорцев и Носков навстречу.

Юркины глаза на пути. От затылка до пяток — электрический ток. Даже остановилась.

Маленький Шпик на меня налетел. Конечно, нарочно. Бесплатное приложение знаменитой пары. Я толкнула его в грудь. Еле успел за перила ухватиться.

А Наташка уже пол-лестницы пробежала.

Какие у Юрки глаза. В голове темно. Или солнце так ярко светит в школьном дворе...

Наташка спрашивает:

— Ты что?

— Носков с Хорцевым, видела?

— Ну...

— Тебе же Хорцев нравится...

— Стану я им вид подавать. Оттого, что столбняк находит, лучше не будет.

Вот, значит, и Наташка заметила. Краснею до ушей.

Она меня за руку тянет.

— Пойдем черешни купим.

Черешня у ворот продается. Неряха-баба с черной сумкой на молнии меж огромных ступней то и дело нагибается, отмеряет спелую ягоду в газетные лоскутки. Быстро рублики комкает, оглядывается по сторонам,

пятнашки и гривенники в карман сыплет.

Кому стакан в кулечек?

Кому — два?

Следующий!

Школяры во дворе гуляют. Черешневыми косточками поплеывают.

Лилька рядом.

— Какие эти торгаши противные... В тряпье вырядилась... Тьфу! Тьфу!

— Совести нет. Такие деньги берет.

Мы вполуха слушаем. «Противные» — у Лильки присказка.

Мяч появился. Девчонки расступились. Волейбол начался.

Раз!

Два!

Огненный Серов ворвался в круг. Мальчишки улюлюкают. Погнал мяч по пыли к кирпичной стене. Теперь они его будут ногами пинать.

Ах, нет!

Активистка Титова сейчас справедливость восстановит. Руками машет. «Отдайте мячик».

В «собачки» играют.

Раз!

Два!

Отдали. Лучше не связываться.

Возвращается. Победительница!

Что-то Носков Хорцеву шепчет. Не могу на него долго смотреть. Маленький Шпик на коленки встал. Теперь на мостик, животом кверху. Хорцев на него уселся. Носков на коленях у Хорцева стойку делает. Качаются. Вот балбесы. Всю школу вокруг себя собрали.

И мы туда идем... Это Наташка виновата.

Отряхиваются, клоуны.

Хорцев тут как тут. Рот открыл. Сейчас заговорит!

— А-а, девочки!..

Любезный какой.

— Что это вы? В школу шли — мороженое лизали, на перемене — вишню кушаете?

Запускает лапу в Лилькин кулек и у Наташки другой рукой две черешенки берет.

— Можно?

Наташка, глупая, смеется. Лилька язык проглотила, хулигана боится.

Хорцев черешину в рот закинул...

И пошел себе.

— Какие эти мальчишки противные... — У Лильки завод не кончился.

Хорцев угощает. Юрка ест. Маленький Шпик облизывается. Компания ждет. Каждому по ягоде. Каждому...

— Зря ты его по руке не стукнула.

— Он шутит.

— Шуточки хороши.

— Знаешь, Мария, — Лилька вставляет

вдруг, — мне Носков говорил, что ты ему нравишься.

Вот новость! Верить? Нет?

Сдержусь. Не спрошу.

Лилька изображает девическую рассеянность, будто ничего особенного не произнесла.

— Вы завтра на стадионе будете?

Целый день вокруг нас вертится.

Наташка спрашивает:

— А ты?

— Я? Конечно!

— Что там намечается?

— Бега какие-то. Легкая атлетика. Носков с Хорцевым обязательно придут.

Ищу глазами Юрку... Их нет. Другие на урок идут.

— Мы заглянем, — решает Наташка.

Лилька взмахивает ручкой.

— Тогда пока. Мне еще учиться год...

Грустно. Черешню доели. Мы одни в школьном дворе.

Снова звонок звенит. Не хочется уходить.

Солнце взошло.

Мое окно открывается в тень двора.

Холодно босиком на крашеном полу.

В ночной рубашке тянусь до потолка.

— Доброе утро!

Света мимо идет.

— Привет! На работу?

— Субботник.

— Не повезло.

Смеется.

— А я вчера школу закончила.

— Поздравляю!

Мама тарелками гремит.

— Завтрак на столе!

— Иду...

Прятаться не буду. Я в комнате одна. Рубашку скину. Платье натяну.

Наш дом старый. На кухне под кран едва засунешь нос.

Мама торопится.

Вода холодная. Брр! Где полотенце?

На синем кофейнике солнышко блестит. В цветастые чашки кофе разлит. На банке читаю: «Концентрированное молоко».

Жестянка портит весь вид.

— Ты бы хоть причалась...

Заматываю косу кое-как.

Вот я!

Переставлю. Нет. Уберу совсем.

— Сгущенку не будешь?

— Нет. Тебе налить? Пожалуйста!

— Не в духе с утра?

— Ну что ты, мама...

Жуем.

— Платье к балу сошьют?

— Сдай экзамены сперва.

Что тут скажешь?

- А есть надо медленно...
- Вот ты и ешь. Я опаздываю.
- Придешь когда?
- Если ученики не сбегут — в три.
- С заочниками — горе...
- С тобой — тоже. Купи молока... Я ушла.

В зеркале вижу себя за столом.

Ленкина музыка началась. Дрожит потолок. Надо посуду убрать.

В руке у меня бидон.

На втором этаже динамики из окон торчат. Грохот на весь двор. Ленка по комнатам гуляет. Нарядилась — не узнаешь. Даже снизу заметно, как она хромает. Жалко её.

Лида-мама под шелковицей бумажные цветы выкраивает.

— Здравствуйте, тетя Лида!

— Здравствуй, соседка...

Ленка сверху кричит:

— Мама, я за продуктами иду. Деньги давай!

Вниз бегу по бульжной мостовой. С красным языком белая собака на другой стороне. Солнце плечи жжет. Жаркий день! В щели улицы — море и небо впереди.

Торгуют цветами издалека. В кувшинах. Ведрах. В руках.

Тюльпаны. Пионы. Ландыши. Сирень.

В воротах — пыль-толчея.

— Девушка!

— Эй!

— Погоди!

Мимо иду. Не моргну.

Орехи. Семечки. Леденцы.

— Красавица!

— Оглянись!

— Бесплатно отдам...

Суббота — шумный день.

— Рубль — пучок!

— На три — пара!

— На пару — три!

— Не пойдет.

— Как знаешь...

— Все равно ко мне придешь!

Царский пир!

Меда бочка. Корзина яиц. Сметаны жбан. Двести золотых кур.

— Мне редиска с луком совсем не нужны.

— Пожалуйста, два литра молока.

Рынок можно пройти насквозь.

У моря — ветер. Пойду босиком. Волна в камень бьет. За молом у нас с Наташкой пляж.

Загорает лежебока.

— Эй!

Не слышит.

— Эй!

Море шумит. Увидала.

— Хочешь молока?

— Привет!

Пьем!

Любуюсь Наташкой.

— Ты купалась?

— Нет. Вода холодная...

— Подвинься.

Море дышит. Солнце слепит глаза.

— Небо синее...

— Синее.

— Песок желтый...

— Желтый.

— Море голубое?

Хохочем. Наташка поднимает бидон.

Слизнула капельку на губе.

— Хорошие люди — коровы.

— Такими их воспитали древние греки.

— Неужели они когда-то здесь жили?

— Да! Лопали финики, запивали молоком

и посадили лозу у нашего дома... Эй! Оставь!

Наташка отдаёт бидон.

— А Хорцев меня любит?

— Пойдем окунемся...

Лилька нитку перекусила.

— Готово!

Вместе с иголкой кому-то отдала.

У меня и Наташки на спинах номера.

— Ты, Наташ, с Хорцевым бежишь. Ты — с Носковым. Я все устроила.

Лилька — сатана.

Сердце стучит.

Мы на трибуне сидим.

Внизу мальчишки в футбол играют. Потные. Красные. Лохматые. Симпатичные.

Шум и гам.

На Хорцеве красная майка. На Юрке — желтая.

Ой! Как хочу его сейчас близко увидеть.

Судья руки поднял.

— Наши выиграла! — Наташка вскочила, кулаки кверху.

И другие.

— Ура!

— А-а-а!!!

— Три-один... Три-один... — тараторит Лилька.

Сумасшествие. Со всеми вместе крикнуть хочу.

Команда Хорцева на руки поднимает. Эдак они ему ноги оторвут. Юрка впереди.

Лилька толкает.

— Пошли.

Продираемся вниз по проходу. Я, как во сне.

Фанфаристы на дорожке трубят. Ростислав задрал к небу мегафон.

— Участникам эстафеты занять свои места на этапах!

«Ах! Ах!»

Отвечает футбольное поле.
— По предварительным забегам будут определены финалисты соревнования!
«Не я! Не я!»
Повторяют трибуны.
Не к добру...

Стадион над нами. Дорожки вдаль летят. Наташка к старту идет. Ее видно всем. Даже страшно. Вслед смотрю.

— Ни пуха! — Лилька кричит.
Огненный Серов подскочил.
— Вы в разных забегах, почему?
— Отойди, малолетка, — у Лильки язык не отнялся.

Ростислав поднимает маленький пистолет.
— На старт!
— Внимание!

Бах!!!
«Ах! Ах!»
Ну и шум. Лилька запрыгала. Вцепилась мне в плечо.

— Давай! Да-вай!
Я тоже замахала руками как бешеная. Спуртов отдал эстафету Ахмеджаковой. А сумасшедшие из 27-й школы орут:

— Ам-бар-цу-мян! Ам-бар-цу-мян!
Куда там. Хорцев несется, как конь. Наташка ленточку с плеча сорвала. Всё!

— Ну-ка, ну-ка... — Ростислав руки расставил. В одной — мегафон. В другой — пистолет. — В сторонку. В сторонку...

Лилька успела-таки ему под мышку заглянуть.
— Хорцев Наташку и Ахмеджакову обнял!

Я на Юрку смотрю. Он рядом.
— Приготовиться, второй забег!

Мы по дорожке идем. Я подниму глаза. А он уже мне в них смотрит. Черные. Солнце осветило — они с зеленью почему-то.

Я остаюсь.
Юрка уходит.
Отличник Корпенкин позади на старте в три погибели согнулся.

«Ах! Ах!»
Ударило со всех сторон.
Над стадионом — шум.
Корпенкин ко мне бежит.

— Скорее, скорее!!! — по коленке себя кулаком стучу. И тут... бросилась навстречу ему. Эстафету перехватила. Теперь — вперед! Юрка там...

А сил так быстро нет.
«Юрка, Юрка, возьми у меня эстафету. Навстречу беги, как я к Корпенкину мчалась».

Он стоит и ждет.
Добежала. Надорвалась. Слышу:
— Правил не знаешь. Давай сюда! — И дальше почему-то пешком пошел.
Судья флажком машет. Нас с забега сняли.

Стадион померк. Гулко шумит. Хорцева голос:

— Носков, сюда!
Иду за Юркиной спиной. Вот он стал на трибуну подниматься. Хорцев вниз горящие спички бросает. Одна упала мне на плечо. Вдруг флаги увидела и людей. Наташка говорит:

— Пойдем! Утешительный будет. За третье место.

Обнимает меня. А я плачу.

■ Я — девчонка. Именно девчонка, а не мальчишка. Перед зеркалом в новом платье верчусь. В тринадцать лет презирала бы такую. А сейчас одевчионилась.

Мама грустная. Мое платье ее не радует.
— Уходить будешь, закрой окно.

— А ты?
— Олег Альбертович скоро придет.
— Ему же двадцать пять лет...
— Олег Альбертович!!!

Ого!
— В кино пойдете?
— Не хочу с тобой говорить.

Было бы о ком. Где моя книжка? Сяду на тахту. Буду Наташку ждать. Сама-то перед зеркалом — ух! ух! Серьги. Духи. Помада. Все вижу. Вот и Альбертино. В окне показался. С букетом. Прилежный ученик. Здравсьте! Здравсьте! Очень вам рады. Моя мама прямо в окно сейчас выпрыгнет. Нет. Все-таки в дверь ушла. Даже не обернулась. Куда это они, действительно, собрались? Выгляну.

А! Вот и Наташка идет.
— Эй!

Мы стоим вдоль стен. Изю всех сил аплодируем. По середине коридора первоклашек идет и трясет маленьким колокольчиком. Не понимает, малыш, что натворил. Всю душу перевернул.

Активистка Титова плачет.
Хрипит репродуктор под потолком. Гирляндами живых цветов увит.

— Начинаем прощальный школьный бал!
Это огненный Серов на радиоузле старается.

А мы толкаемся у входа в актовый зал. Школьный ансамбль грянул. Окна растворены. Кто-то кого-то с улицы зовет. В круг пары вошли. Проектор взмахнул лучом. Слепил.

Летает серпантин.
— Не вижу Носкова, — сообщает Наташка.

Знаю давно. Его здесь нет.
— Спокойнее так.
— Ты еще не забыла его?
Молчу.

Отличник Корпенкин расшаркался. Не стоять же у стены. Наташку Хорцев пригласил.

Танцуем вальс. Старомодный вальс. Кто догадался его играть! Охотники побегать нашлись. Это потому, что последний бал. Летаем с Наташкой. Встречаемся. Расстаемся. Кружится голова. Корпенкин осмелел.

— Ты в какой институт будешь поступать? Пожимаю плечами. Наташке Хорцев что-то на ухо говорит. Смеется.

А она... бьет его по щеке.

— Корпенкин, извини...

Бегу из зала за Наташкой вслед.

И ветер. И тучи. И первые звезды. Здорово!

Парк шумит. Ветки гнутся. Небо на закате горит. Я недавно к небу приглядываться стала.

Наташка остановилась. Смотрит вниз.

— С Хорцевым — покончено!

Я жду. Она — ни с места.

— За что ты его?

— Сказал: если я в него влюблена, он согласен со мной переспать.

Закрыла лицо. Слезы сквозь пальцы текут.

— Наташка! — кричу. — Наташка! Не надо так!

Достала платок она. Высморкалась. Улыбнулась. Ну, слава богу!

Говорю:

— Давай бегом...

Несемся по аллее. Впереди низкое солнце блестит. Закружились. Плюхнулись на скамью.

— А школу забудем? — спрашивает Наташка.

— Конечно... Пошли. Холодно.

В темноте подставил нож к груди.

— Хочешь, убью?

Я знаю. Это Алик из Ленкиной компании. Во дворе гитара тренькает.

— Алик, иди сюда!

Ножик щелкнул.

— В другой раз...

Солнце над морем, над землей, над головой. Зеленых тысяча волн. Слабеет мой голос. К берегу долго плывем. Неподвижны вершины гор.

Валерка из люка выглянул. Плечи. Ноги. Он сам.

Спрашиваю:

— Нырять?

— Обязательно!

Проверяем скафандр.

За стеклом у штурвала Илья, наш капитан.

Валентина Андреевна кричит:

— Мария, зачерпни, пожалуйста, воды!.. За борт ведро на веревке летит. Хлебают волну.

В тазу водоросли на камнях.

— Оставим по кусочку для контроля.

У Валентины Андреевны в руках пинцет.

— В пробирки воду налей.

Валерке осталось маску надеть.

— Завидуешь, будущий океанолог?

Он дразнится. Я знаю.

— Завидую, будущий кандидат наук...

— Академик!

— Что хорошего, Валерий? Борода выпадает... Коленки дрожат...

— А труды? А наука? А человечество? Как можно, Валентина Андреевна?!

Хохочем.

— Скажи, Мария, наука нужна?

— Конечно.

— Придется взять ее и в следующий раз...

— Когда?

— Дня через три. Придешь?

Он спрашивает!

Встречаюсь глазами с Ильей. Спокоен за штурвалом он.

А горные вершины все так же близко, все так же далеко.

Дремлет небо.

Город и двор. Шелковица спит.

Я на ветке сижу. Надоела книга.

Сохнет белое платье. Из песка Гринька кулички «печет». Вот — лопатка. Вот — ведро.

Хлоп. Тук-тук.

Хлоп. Тук-тук.

Готово!

Лида вешает ковер. Размахнулась палкой.

Хлоп!

...Ах!

Хлоп!

...Ах!

Вот и пыли полон двор.

Из окна Фрося кричит:

— Гришенька-сынок, отойди!

Хлоп!

...Ах!

— Видишь, тетя...

Хлоп!

...Ах!

— Лида, ребенок же играет...

Хлоп!

...Ах!

Два окна закрылись.

Соседка Клава бежит белье снимать.

Фрося лицом к лицу перед обидчицей стоит.

— Хамка!

Хлоп!

...Ах!

Три окна открылись. Фрося Григория под мышкой держит. Неудобно, вниз головой. Захныкал бедняга.

Хлоп!
...Ах!
Фросю злость ест. Хоть бы слово ответила. Соседка называется.

Хлоп!
...Ах!
— Не зря у тебя дочь калека...
Хлоп!
...Ах!
— Потаскуху бог наказал... Пья...

Хлоп!!!
Тетя Лида «промахнулась». Гришка упал. Ефросинья за ухо схватилась. Ленка кричит:
— Мама, остановись! Милицию приведут!
Тете Клаве тетю Фросю с тетей Лидой не унять. Дядя Митя и дядя Витя на помощь спешат. Дядя Миша из ведра всех водой окатил.

Ну и ну!
Вот и милиционер. А за ним Наташка. Синяки и ссадины. Смотреть страшно. Прыгаю. Хоп!
— Привет! Пойдем...
— Что это у вас?
— Содом.
— Из-за чего?
— Генеральная уборка. Завтра у Ленки день рождения.

— Сколько ей?
— Шестнадцать.
Ко мне идем.
— Входи же...
— А кто ее отец?
— Кто-то.
— А к Лиде ходят... клиенты?
— Мама говорит: это не наше дело.
— Лилка рассказывала, что она от пьянства лечилась.

— Сейчас работает.
— А кем?
— Венки делает.
— Ой! Твоя мама открытку прислала? Дурная привычка у Наташки на моем столе шарить.

— Где она?
— В доме отдыха... Заниматься давай!
Гляжу в окно. Во дворе все под шелковицей стоят. Милиционер пишет. Лида за глаз держится. А шелковица, высокая-высокая, в небо упирается.

На проспекте народу — гуща.
Подъехал трамвай.
— Пока!
Наташка с подножки машет рукой. В другой — книги в авоське. Завтра доучимся. Трамвай покотил. Низкое солнце ударило в глаза.

Иду.
Кто-то за мной следит.
Алик-убийца у стены.
Теперь шаги за спиной. Не пойду быстрее. Догнал.

— Что скучная?
Грязные брюки. Ботинки в пыли. Теплая рубашка еще грязней...

Косу на руку намотал. Никому до нас дела нет. Кричать стыдно.

— Почему не поздоровалась?
Молчу.
— За это ребра пересчитаю.
Я — два шага к дому. Он — рядом.
— Если пикнешь...

Глаза дурные. Светлые. Ближко мигают. Сейчас ударит...

Испугалась! Нет, не боли, а того, что при всех.

— Ты красивая.
К стене меня прижал. Косу отпустил. Вот-вот дотронется.

Головой верчу.
— Пусти!
— Приходи вечером во двор. Бить не буду...

Падаль мерзкая. Вырваться не могу. Ноги ослабли.

— Придешь?
Хоть бы кто-нибудь подошел. Главная улица.

— Приду.
— Умная. Руку дай!
Протянула.
Сама.

Отступил.
Я в переулок бросилась. Он длинный. За мной — все ближе топот.

Гонится!
Я во двор...
Я — за дверь.

Одна. В комнате. Дух переведу... Что было? Со мной ли?

Да!
О, подлая моя рука!
Смотрю на ладонь и с размаху ею о шкаф. А там ржавый гвоздь торчал.

— Ну и друг у тебя...
Дядя Вова в дверях.
— Не зря мать просила за тобой присмотреть.

— Он не друг мне. Дядя Вова.
— А следом бежал. Не крути. Я все знаю.
— Все?
— С бородатым по морю катаешься? Вот еще напасть!
— С Валеркой? Это же ученые!!!
— Теперь все ученые. Ты смотри, мать не огорчи.

Я так и села на стул. Глазами хлопаю. Дядя родной по комнате прошелся.

— В институт готовишься... Это — хо-рошо!

Книгу приподнял. Опустил.
— Друг твой больше не придет. Особенно не грусти...

Дядю Вову и пуля не возьмет.
— У него отец и брат сидят?
— Кажется.
— Я знаю, как с такой публикой разговаривать. Матери пока ничего не скажу. Так я тебе и поверила.
— Что с рукой?
— Кровь.
— Завяжи. Кота, наверное, не кормила? Кассий Муций, ксс-ксс-ксс...
Кассий, заспанный, вылез из-под тахты.
— Принеси молока, Мария. Животных нужно любить.

Я и Наташка. Два огромных чемодана на тачке везем. Хохочем. Надрываемся. Вот и светофор. Пот вытерли.

— Ух!
Стружаем товар. На нас оглядываются. Улица полна.
Наташка в подворотню — шнырь!
Через секунду оттуда — старушонка.
— Ну, как я? — скрипучим голосом спрашивает.
— Испугаться можно...

Бабушка на чемоданы садится.
Алик-убийца из переулка на проспект идет.

Я белым платочком взмахнула.
Что тут началось!
Старушонка подскочила. Забегала. То за поклажу схватится. То на мостовую шаг. Как улицу перейти?
На помощь!
Нельзя бабушке отказать. Прохожие смотрят.

Старушка на Алике так и повисла.
Эх!..
Взялся.
Ну!..
Поднял.
Тяжело!
Пошел!..
Упрямя. Теперь не бросит, не отпустит. Ташит. Ноги заплетаются.

Велосипедист.
Ух!..
Увернулся.
Легковушка.
Ох!..
Проскочил.
Чемоданы Алика сами несут...
Голову вниз. Шея побагровела. Жилы надулись.

Вперед!
Вперед!
Не легка жизнь.
Наташка срыгает парик. Смеется.
А мне Алика-убийцу жалко. Не знает он, что у него в чемоданах — кирпичи.
Наташка прищурилась. Вдоль улицы смотрит.

— Именинница Ленка свой притон ведет.
— Не притон, а гарем...
— Как это?
— Да ну их. Я запугалась...
Прохожие компанию сторонкой обходят. Толя, Коля, Боря — поклонники. Маленький Шпик. И Лилька тут. Вот только Алика нет. Чемоданами занят.

Ленка подняла вверх кулачок.
— А денежки — вот!
— Ура!
Понятная игра. Отняли. Закачались в магазин. Маленький Шпик вприпрыжку, вслед Ленка и Лилька навстречу идут. Никак их не миновать. Солнце им в лица светит. Лилька вперед выскочила.

— Девочки, хотите новость? Носков и Хорцев в военное училище будут поступать. Завтра едут.

Почему мне это сердце колет?
Наташка дергает.
— Ну!
В разные стороны идем.
— Какие бледные они...
— Еще бы! — Наташка говорит.

Наш балаган под шелковицей.
Распахнули двери.
Зрителей сколько!!
Аплодисменты!
Слава, Миша, Таня, Оля, Вера, Петя, Дима, Коля. Дядя Витя с дядей Митей. Все из нашего двора. Семь ребят — соседи справа. Семь — из трех дворов напротив. Трое — с улицы другой. И еще. Малютка Гриша на коленях тети Фроси громче всех в ладони бьет.

Артисты...
Я и Наташка!
Рас-кланиваемся!
Занавес.
Наташке шепчу:
— Ого, сегодня полный сбор...
Наташка выступает вперед:
— Народная сказка. «Арлекин и Серый Волк».

А вот и Ленкина компания. Алик с ними и Маленький Шпик.
Очень кстати.
Мимо пройдут?
Нет, решили наш спектакль посмотреть. Пожалуйста!
Наташка в клетчатом трико подкидывает вверх колпачок с бубенцом.
— Мы начинаем!!!

Я.
У зрителей на глазах лезу в тулуп — волчью шкуру. Где тут моя клыкастая пасть затерялась из папье-маше?
— У-у-у!!!
— Р-р-ррр!!!

Ой, как Григорий испугался. Остальным — весело!

— Ну, погодите вы у меня!

Арлекин... Друг любезный... Появился...

Песенку поет:

У Пегги славный был Козел.

Он бородой дорожки мел.

Спляшем, Пегги, спляшем!

Хоть я и стр-р-рашный Волк. Танцюю.
Удержаться не могу. Уж больно хорошо Арлекин на дудочке играет.

Xa! Xa!

Толя Колю узнал. Уж поверьте мне, Серому. Коля — вылитый Козлик.

— Гы-гы! — Толя говорит.

Малыши улыбаются. Смешно я пляшу.

У Ленки от злости уши покраснели.

Aga!

Арлекин на зеленом лужку устроился.
Из старого одеяла. Дудочку к небу задрал.
Сыграл припев. Дальше поет:

У Пегги был веселый Гусь.

Он знал все песни наизусть.

Спляшем, Пегги, спляшем!

Гоп-компания теперь Борю разглядывает...

Вот смеху-то!

Вот дела. У меня, зубастого, лапы сами двигаются. Вокруг Арлекина верчусь.

— Ишь ты... злодей, за-ста-вил... меня под свою дудку плясать...

Малыши хохочут.

Волк я или не Волк?

— Р-р-ррр! А-ам!

Арлекин дудочку уронил.

— Ну, Арлекин, сейчас я тебя съем...
Готовься к смерти!

Ой-ё-ой!

Нашим зрителям не до смеха уже.

Вот как я его!

— Что я тебе сделал, Волчина? — Арлекин дрожащим голосом спрашивает.

— Ты? Да ты мне сегодня не дал выпастись в можжевельнике. У меня с утра голова болит от звуков твоей проклятой трубы...

Арлекин свирельку рассматривает.

— Милый мой Волчок, подумай, какие трубные звуки? Это же только дудочка...

— Да? А кто заставил меня плясать под нее?.. К тому же, я голодный. У меня брюхо пустое... Вот!

Бум-м-м!!!

Хохочут!

— Так и быть. — Арлекин рядом с дудочкой колпачок положил. — Ешь меня... Кто сильнее — тот прав.

Так-то лучше. Aga! Потираем лапы.

— Вот... Это другое дело...

Облизываюсь.

— Только...

Что там еще?

— Только, Волчок, дай я сперва умоюсь. Я пыльный, грязный, неаппетитный. Тебе меня жевать неприятно будет.

Подумать надо!..

Глаза закрыл. Пастью шевелю.

Позволить — не позволить?

— Погоди, сейчас погадаю... Эники, бенники...

Лапами верчу. Так. Столкнулись.

— Ладно, ступай...

Молодцы! Все внимательно смотрят.

Тетя Фрося даже рот открыла!

Потя-а-агиваюсь!

Жду, зеваю, по сторонам гляжу.

Арлекин меж тем, тащит из-за кулисы огромный сук.

Лилька шепчет:

— Алик, это они тебя сейчас бить будут...

— Я — Волчина — кричу:

— Эй, ты, в клеточку, готов?!

Замерли все.

Арлекин выхватывает рогатину из-за спины.

— Готов!!!

— И-эй!!!

У зрителей-то радости сколько!

— Ой-ой-ой!

Бьют меня по спине. Дергают за хвост.

Позор!

Оторвали...

Арлекин приговаривает:

— У тебя — сила, у меня — ум! У тебя — зубы, у меня — смекалка!

— О-ой!

Шкуру снять хочет!

Упала.

Что на скамейках творится!

Аплодисменты!

Даже Маленький Шпик хлопают.

Рас-кланиваемся!

Шелковице солнце крону жжет.

Неподалеку столы расставляют.

Пировать так пировать!

Взмахнули скатертью.

Вот!

Ленка командует:

— Вино? Сюда ставь!

— Мама, колбасу тоньше режь...

Лида-мама забегалась.

— Хорошо, хорошо, дочка!

Поклонники с Аликом в сторонке уединились. Стаканами звенят.

Ленка пальчиком грозит.

— Мальчики, мальчики...

Серый Волк в лес убежал. Арлекин в олимпийку облачился и джинсы.

Мы сарай запираем.

Наши зрители расходятся.

Представление новое начинается.

...Как мимо пройти? Как не взглянуть?
Чем гостей потчевать будут?

Ой, вкусно пахнет! Даже нос шевелится.
— Хочешь сырку, мальчик?
Ручонка тянется.
— Чик!!! — Алик языком щелкнул.
Малыш вздрогнул, бедняга.
Хохоцут.
Ленка кричит:
— Толя, Коля, Боря — доставить «Бор-
жом»!

И Лилька фартук нацепила. Летает, как бабочка.

— Ничего не забыл? Ах!

Не поверите!
Хорцев с Носковым идут. У Юрки под мышкой какая-то розовая девица.
Торты в подарок принесли.
Поцелуи...
Не счесть!
Тащим домой реквизит.
На меня Носков косится.
— Наташа, здравствуй! — Хорцев гово-
рит.

Наташка — ни гугу.

— Вы не с нами?

Мороз по коже!

Мимо идем.

Оглядываюсь.

Все на нас смотрят. Улыбаются.

Вот мы и дома, наконец.

Спрашиваю Наташку:

— Чаю хочешь?

— Нет.

Устала тоже.

Не скроешься от них. Всех видно из окна.

А не закрыть.

Душно!

Лида-мама руки раскрыла.

— Дорогие гости, прошу к столу!

— Забудь ты его! — Наташка с дивана советует.

Лида-мама с бокалом встает. И остальные.

— Давайте выпьем за дочку мою. У нее сегодня совершеннолетие!

Ура!

Пьют.

Солнце село почти. В спины им бьет.

Ленка счастлива!

Лида-мама плачет.

— Извините маму, с одной рюмки пьянеет...

— Дорогие вы мои дети...

— Конечно, конечно! — подтверждает Хорцев с полным ртом.

Лиду-мату усаживают.

Отвернуть от окна.

Вечер пришел. Ветер поднялся. Шелковица шумит. Лампа качается. Чуть.

За столом Лида-мама спит.
Громче включили магнитофон.
Танцы вокруг!
Стол для пинг-понга раскладывают.

Наташка на диване дремлет.

Я усаживаюсь с книгой у нее в ногах.
У нас на двоих один плед.

Стук!

Я вздрогнула.

Наташка проснулась. Журнал на пол упал.

Открываю.

Маленький Шпик!

— Тебе чего!

Постоял и ушел.

Во дворе хромоногая Ленка у теннисного стола прыгает. Господи, как же трудно ей играть. Поклонники шарики подают. Красавица их поцелуями благодарит.

Все на своих местах.

Переглянулись с Наташкой. Плечами пожали.

— Спать будешь? Я тебе подушку принесу...

Магнитофон замолк.

Положу книгу на окно.

Ночь!

Рядом с шелковицей месяц повис.

На диване Наташка спит давно.

Подбородком на подоконнике лежу. Стекла распахнуты. Надо мной высокое в звездах небо.

В темноте проступил балаган.

Я засыпаю и не вижу, как ночью наш театр горит.

■ Пирс пуст. Прибой бьет.

По берегу иду. В пальто.

Во дворе Наташка с мольбертом устроилась. Облетающую шелковицу срисовывает.

— Зайдешь?

— Потом...

Света прошла.

— Похоже!

— С работы?

— Вторая смена...

Ветерок! Пыль летит...

— Замерзнешь, приходи...

— Угу.

Мама в комнате тесто раскатывает. Дядя Вова с тахты наблюдает, как я пальто вешаю.

— Надо же, из-за ржавого гвоздя в институт не поступить.

— Хорошо, что заражения крови не было, — мама говорит.

— Да-а... — тянет дядя, — от любой царапины умереть можно...

— Что Наташа зайти не хочет?

— Она шелковицу рисует.

— Тоже артисткой не стала...— дядя Вова крушается.— Не туда вы все стремитесь... Вот я...

— Не поступила, и хорошо,— мама перебила.— На будущий год, может, одумается. А то все — море да море. Сто рублей с таким дипломом не заработаешь.

— Да, забыл...— дядя Вова по колену себя хлопнул.— Василь Васильич колбасу велел передать. Копченую.

Упорхнул в прихожую и вернулся со свертком.

— Вот!

Положил на край стола.

— Как он?—мама спрашивает.

— Хорошо живет.

— Сколько с нас?

— Четыре пятьдесят.

Мама лепешку режет.

— Передавай привет...

— Зайти обещал...

— Я сама к нему наведаюсь. В гастроном...

Мне подмигивает.

А я у шкафа стою.

Скучно все это!

Ой-ой-ой!

Дверь открывается. На пороге Тамара Яновна — дяди Вовы жена.

— Ну вот! Так я и знала... Он здесь! Тишина мертвая.

— Скотина! У сестры прохлаждается. Ребенка из школы привести некому...

Дядя Вова голову в плечи втянул. Мама ножиком еле шевелит.

— То он пиво с мужиками на стрелке пьет. То здесь торчит. Любовницу поджидает...

— Тома, опомнись!!!

Дядя Вова аж на тахте подпрыгнул.

— Знаю я, паразит, она тебе здесь встречи устраивает.

Мама нож на стол бросила.

— Тамара Яновна!

— Известно все!!!

Тут Тамара Яновна и овладела скалкой. На мужа бросилась...

Дядя Вова едва успел за маму спрятаться.

— Я тебе покажу, как законной жене изменять!

И вокруг стола.

Бах!!!

Муку зацепили. Мимо.

— Я знаю, куда мне жаловаться идти!

Бах!!!

Белая пыль летит.

— ...Я!

Дядя Вова увертывается.

— Римма...

— Да скажи ты ей!..

— Успоко-ой!

— Ах!

— Убьет ведь...

Бедный дядя Вова. Надо его спасать. Мы с мамой Тамару Яновну ловим. Куда там.

Зубра легче остановить...

Шаровая молния по комнате летает. Кассий едва успел под тахту шмыгнуть.

— Мя-ау!!!

Мама кричит:

— Боже! Да что же это творится...

Лапша по полу рассыпалась.

Дядя Вова запыхался.

— Тома! Ну прости... Был грех... Так ведь один же раз... Так когда...

Зря он это сказал.

Скалка свистит.

Бах!!!

Ура! Мимо.

— Ответишь за все!

Ой-ой! Люстра вздрогнула.

Тамара Яновна поймала мужа в углу. Бьет кулаками в грудь.

Ох! Дядя Вова упал.

Нет. Вывернулся.

Вон бежит.

Законная жена по пятам гонится.

Мы с мамой переглянуться успели. — Она его убьет!

Дяди Вовы голос из прихожки:

— Тома, остановись! Это же кислота...

Хрясь!

Трах!!!

Тишина.

Дядя Вова, пошатываясь, в комнату входит. У него пиджак и брюки в зеленых пятнах. На глазах расплзаются они.

Бедный, бедный дядя Вова!

Устало он садится на стул.

— Так и выжгу в следующий раз твои бесстыжие глаза...

Тамара Яновна следом.

Ветер от рукава.

Дядя Вова в сторону. Она только прическу поправляет.

— Тома,— дядя смиренно говорит.— Как тебе не стыдно. Мне же сорок семь лет.

— Мне тоже не двадцать... Давно бы плюнула на тебя.— Тамара Яновна платье одернула. Уселась на тахту.

Слегка раскраснелась она.

Слава богу, успокоилась.

Мама вздыхает облегченно.

Я за венником иду.

Мы с дядей Вовой на тахте сидим. Он в рубашке нижней. Кальсоны маминым халатом прикрыты. У нас на коленях — семейный альбом. На обложке — розы.

Тамара Яновна с мамой у стола пиджак и брюки зашивают.

— Это кто?

— Эх, ты! Не узнала. Это дед твой. В двадцать лет.

— А это?
— Сам не пойму... Римма...
— Папин двоюродный брат.
— Это — бабушка.
— Она...
А вот — отец. Тельняшка. Бушлат. Таким он из армии пришел.
— Мама, а где отец сейчас?
— На Дальнем Востоке, я слышала...
— Интересно, какой он теперь...
— Ты его совсем не помнишь?
— Смутно очень...
Тамара Яновна быстро шьет. Только игла мелькает.
— Мама, а ты его любила?
— Замуж вышла, как видишь.
— Да-а, семья — дело сложное...— Дядя Вова пересел поудобнее и вздохнул.

Ну и погода. Дождь и дождь. Третий день моросит.

А мы с Наташкой под цветным зонтиком гуляем.

Руку высуну.

Нос.

Язык.

Сама выбегу.

Покажусь.

По луже топну.

Весело!

Наташка улыбается. Снисходительно.

А я ей говорю:

— Это осень на меня действует.

Ветку трякну.

Ой!

За шиворот льется.

— Ку-ку! — Наташка по затылку себя стучит и рожицу мне скривила.

— Сама — «ку-ку»!

По луже.

Хлоп!

— А может, я осень вижу впервые. Живу давно, а увидела в первый раз...

— Ну, ты! Чулки же новые...

Топ!

— Еще новее будут.

— Давно это с тобой?

— Нет! Но я часто в парке гуляю. Смотри!

Красиво!

Листья желтые на желтых деревьях. Ветер подует, все всколыхнет. Побежит, покатится осень.

— Давай пробежимся чуть-чуть...

— Сумасшедшая...

Но я-то знаю, Наташка в глубине души мной очень довольна. Вот. Складывает зонтик, так деловито, будто собирается его в гардероб сдать.

— Я готова!

— Ну...

Раз!

Мы несемся вперед по аллее. Метров сто.

— Ух!
— А помнишь, как тогда?
— Когда Хорцева отлупила?
— Досталось бедному.
— Давно было. А Юрку ты помнишь?
— Носочка? Бог знает... Он где-то внутри застрял. Такой прозрачный, тоненький. Вот-вот растает... И хорошо, и грустно тоже. Театр сожгли...

— Мы играли. А детство, наверное, кончилось...

— Ну, нет!!!

Толкаю Наташку изо всей силы плечом.

— Всю жизнь буду в куклы играть и плакать по пустякам. Эй! Открывай, сильнеей пошел.

У Данилыча зонтик черный с кривой ручкой. Он в студии его на мольберт вешает. Потирает руки. Замерз.

— Как дела на пути искусства?

Это ко всем вопрос.

Мишка карандашом линию ведет. Что-то бубнит себе под нос.

— Ты чего?

— Мефистофель подработать явился...

Данилыч меж этюдников идет. Руки пожимают.

— Здравствуйте!

— Добрый вечер!

— Нет,— говорю.— Он не хромает.

— Лучше гляди.

Данилыч робу надел. Она в красках выпачкана.

Художник!

— Врешь ты все, Мишка!

Мы акварелью и рисунками заняты. Дюжина мазилок. Кто во что горазд. Народная студия. Вот — на стене афиша.

Данилыч за спиной оказался.

— Погляди-ка сюда, Наташа.

Она в мой лист нос сунула. Тоже мне, знаток.

— Лозу, Мария, выдумала?

— Дома под окном растет.

— У тебя хорошая память...

Кажется, это его не очень обрадовало... Над Наташкой склонился. Ее завитки ему нос щекочут. Тень подправил.

— Так лучше?

— А кто на пленэр выйти отважился? Мишка говорит.

— Я.

— Покажи!

Это интересно.

Вот.

На полу листы раскладывает. Мы вокруг толкаемся.

Мефистофель подбородок щиплет.

— Так... так... Что еще?

Берег.
Волна.
Скала.
Солнце.
И вдруг!
— Это не настоящее солнце.
Вот это — да!
Но я же вижу.
Оно светит!
Мишка побледнел.
— Лучше не могу.
И стал листы складывать.
Расходимся по местам.
Да что же это?!

Темно. Ночь почти.
Данилыч догнал.
— Нам не по пути?
У меня язык чешется.
— Евгений Данилович, у Мишки же солнце — живое!
— Ха-ха-ха-ха-ха!
Весело ему.
— Объясните, что вы смеетесь?
— «Люди гибнут за металл...» Так, кажется, в опере поют?
— Наверное, это ваша любимая ария...
— Ха-ха-ха! Угадала. Какая искренность!
— Вы не договорили.
— Искусство — это...
— Надежда! — догадалась Наташка.
Ну, выскочка! Локотком ее толкну.
— Нужно учиться отличать правду от лжи, Мария!
— И вы умеете?
— Пожалуй, у меня есть некоторый опыт...

Вот шут гороховый!
— Все равно Мишка художник!
— Будущее покажет...
И ухмыльнулся.
Шагает вперед, как полководец.
Наташка за ним почти бежит.
Догоню.
— А ты что молчишь?
— Я оперу вспомнила. Когда вступает хор — замирает сердце.
Данилыч тут же подхватил:
— Это — катарсис! Каждый должен стремиться ощутить этот счастливый миг!
— Конечно! — Наташка еле выдохнула.
Неплохо они спелись, черти.
Маэстро на меня покосился.
— Мария мне, кажется, не верит?
— Нет!!!
— А вы, Наташа?
— Да!!!
Мы как раз к перекрестку подошли.
Дождик начался.
Я рукой махнула.
— Мне — туда!
Данилыч заулыбался.
— Очень жаль. Но мы еще продолжим

наш разговор, надеюсь...
На нос капнуло.
— Пока!
Данилыч свой черный зонтик раскрыл.
— Наташа, позвольте вас проводить как мою примерную ученицу...
Она только улыбнулась в ответ.

Камешек стукнул в стекло.
— Что это?
Я пожалала плечами.
Потом еще камешек.
И еще.
Мама подошла к окну. Сложила ладони. Глянула в темноту.
— Ой!
Побежала открывать в прихожку.
Заскрипела входная дверь.
Затопали тяжелые шаги.
Кто бы это мог быть?
И мама вскрикнула:
— Алексей!
Я голоса ее не узнала.
Потом все затихло.
И они вошли, смущенные.
— Вот! — мама очень рада. — Два года ведь не был!
— Ну, поменьше, — забасил дядя Леша. — А ты забыла, как я тебе камушки в окно кидал когда-то... Где тут у вас крючок?
Мама бросилась помогать.
— Я гляжу, вы уже на стол успели накрыть...
— Поужинаешь с нами?
Мама смугилась еще больше.
— Проходи!
Дядя Леша на меня уставился.
— Да это ты, Римма, в восемнадцать лет!
— Твои-то как?
— Растут. Один в институте. Другой — папан еще.
Дядя Леша вздохнул. Стул под ним заскрипел.
— В семье что-нибудь не так?
— Да нет!.. Жаль, Римма, что мы с тобой в свое время не поженились. Эх!
Поставил бутылку на стол.
— Мария, картошку неси. Наверное, уже выкипела вся.
Мама села напротив дяди Лешы. Он взял ее за руки.
С кухни слышу:
— Как твоя автоколонна?
— Ездит...
Вот вам картошка.
Мама нарезала колбасу и хлеб.
Я рюмки принесла.
Это — маме.
Это — дяде Леше.
— А себе?
— Я не буду.

И в свою комнату ушла.
Мама не спросила ничего.
Я читала книгу. Они долго рюмками и вилками звенели, разговаривали. Я легла и погасила свет. За окном луна взошла. У меня бессонница. Потом за стеной скрипела кровать. Потом дядя Леша храпел, а мама плакала.

Мы с Наташкой у киоска газеты покупали. Смотрю — Данилыч. Рядом с ним его де- белая любовница.

Нос к носу столкнулись.

— Здравствуйте, девушки...

— Здравствуйте, Евгений Данилович.

— Здрас...

Улыбнулся дружески.

— До встречи...

Они удалились, взявшись под руку.

Наташка глаза раскрыла. На меня смотрит.

— Кто это?

— Она ему каждый раз в студию звонит. Разве ты не знаешь?

Лицо у нее стало серым.

— Что с тобой?

— Так...

— Значит, ты?..

— Да! Не догадалась?

— Догадалась, почти...

Наташка шагнула и остановилась.

— Мария, сегодня оставь меня одну, пожалуйста...

— Хорошо...— сказала я.

Я в студии второй час, а Наташки все нет. Вот ее акварель.

То и дело поглядываю.

Данилыч мимо раз десять прошел.

Нет! Не выдержу.

— Где Наташа?

— Откуда мне знать?

Я бросила карандаш.

...И к двери.

С лестницы кувыркком.

Красный ковер.

На ходу сорвала с вешалки пальто.

Колокольчик у входа.

«Динь-динь».

Дождь какой!

По улице бегу. Толкаю прохожих. По небу туча за мной летит. Кашляет ветер в переулках. Ух! Ух! В уши бьет.

Вот Наташкин дом.

Бабушка открывает.

— Ох! Ох! Родителей нет. Что делать, ума не приложу...

Через темные комнаты в Наташкину иду.

Она на диване лежит носом к стене.

Любимая черная юбка и коричневая кофта на ней.

Старушка сзади шепчет:

— Вот! Вторые сутки так. Не ест, не пьет, не спит...

Я опустила перед Наташкой на колени. Позвала:

— Наташка. Эй! Наташка!

Но она не ответила.

■ Света в окно стучит.

— Я готова!

Выходим из двора. Снежок летит. Улица белая.

Льдинку отломлю. Зубы ломит. Холодная.

Света говорит:

— Пошли.

Я отвечаю:

— Зима!

Мы идем. Небо кружится. День только начался. Город фиолетовый.

Вместе с нами все на работу спешат.

Там.

И там.

Вот он — проспект.

Рычат грузовики. Легковушки, словно воздушные шарики плывут. На мостовой снежок раскатали. На остановке народу — тьма.

Нам автобус не нужен. Фабрика близко. Вон высокий дом. Окна светятся. Только улицу перейти.

Рабочие к проходной подходят.

Прокачусь на ногах. Вот льда пятачок.

— Светка, держи меня!

Хоп!

Чуть вместе не шлепнулись.

Степенные люди сторонятся.

— Разыгрались!

— Молодежь...

Не выспались они. Хмурые с утра. К обеду веселей будут.

Достану пропуск...

Светка впереди.

Я — следом.

Огромный фабричный двор. Даже грузовики ездят.

«Би! Би!»

Открывай ворота!

Им — с фабрики.

А нам — в цех.

Не забыть в табельную зайти.

— Здравствуйте, Иван Петрович!

Табельщик у нас строгий.

— Здравствуй, Мария! Расписалась, другим дай...

Сзади напирают. Торопятся.

— Проверка сегодня, что ли?

Светка пожимает плечами. Молчунья она.

Пальто сняли.

Халаты надели. И тапочки.

В цехе светло. Мы книжки делаем.

Вон на горизонте — нашей продукции гора.
К своему станку подхожу. Светке дальше шагать.

Махнула рукой, увидимся.

— Здравствуйте, Анна Прохоровна!

Смотрю на часы. Две минуты еще «курить можно», а она станок включила. Передовая переплетчица!

Я — не отстану!

Хлоп! Хлоп!

Книжка готова.

Хлоп! Хлоп!

Следующая.

Вот она — брошюра. Сброшюрована.

Анна Прохоровна уже десяток сшила.

Нет, далеко мне до нее...

— Что, Мария, на первую полочку купила?

Не уследишь. Ее руки над станком летают.

Попробую и я. Не глядя, ответить.

— Торт.

— И все?

— Остальное маме отдала. Денег-то немного.

Ох! Чуть палец не пришила.

— Ничего. На разряд сдашь, больше будет.

— Постараемся.

Хлоп! Хлоп!

Еще одна. Читайте на здоровье!

После смены в наборный идем. Собрание.

Над пролетом лозунг растягивают.

Народу!

Вся фабрика собралась.

Людей считают. Написала на бумажке фамилию — профоргу отдай.

Нужен для голосования квorum!

— Тихон Петрович, — ангельским голоском прошу. — Вот мой мандат. Только отпустите меня, пожалуйста. С подругой встретиться надо. Очень.

Седые брови поднял.

— Тоже, причину нашла...

Носом шмыгнул.

— Ладно, ступай!

У проходной меня Наташка ждет. Замерзла. На одной ножке прыгает.

Ой! Подстриглась!

— Привет!

— Привет!

— Куда идем?

— В кино. Хочешь?

— Мне все равно. Ты чего смотришь?

— Идет. Очень.

— Да?

— Ты взрослая стала.

— Давно мы с тобой не виделись.

— Рада тебе.

— Я — тоже.

По улицам шагаем. Степенно. Рядом.

Как раньше, под руку взяться?

На Наташку глаз кошу.

Нет.

Неудобно.

Снежок подтаял.

— Хорцев с Носковым в отпуск пришли...

Слышала?

— Нет, — говорю.

Совсем безразлична мне эта новость. Даже удивительно.

— В шинелях и шапках со звездами...

Все-таки интересно было бы взглянуть.

Вот и кинотеатр. В нашем городе всё рядом.

Стоит только за угол повернуть.

Народу много под козырьком толпится.

Наташка говорит:

— Сто лет в кино не была.

— Чем же ты занята?

Смеется.

— На диване лежу.

— В студию ходишь?

Наташка вздрогнула.

Ой, что я наделала! С языка сорвалось...

Она опустила глаза. Еле слышу:

— Да...

Знаю, не хочется ей говорить, да удержаться не могу.

— А как же?..

Голову подняла. Смотрит в глаза.

— А вот так...

— Ой!

Кольнуло что-то!

От бессилия своего не знаю куда деться.

Чем помогу?

Не вижу ничего...

Тихо спрашиваю:

— Но зачем?..

Она.

...Так же тихо:

— Сама не знаю...

Молчит.

И вместе уже мы теперь ее больную тайну храним.

Словно одни остались.

Вокруг суетится всё.

Афиша.

Витрина.

Люди.

Дрожит.

Отлетело.

Закружилось далеко.

Холодно внутри.

Никого нет.

Только помню еще. У кинотеатра мы.

И тут.

Смотрю, два парня стоят. Один высокий, белокурый. Лицо открытое. Доброта в нем чувствуется.

Наташку толкаю.

— Смотри!

Она прищурилась.

— Дай вспомню. Погоди...
Я жду.
— Мы его, кажется, на демонстрации видели. Он все еще на нас косился.
— Ты думаешь?
— Ну да. Еще гадали: на кого именно... Наташка задумалась.
— Или... Нет, нет! Может, на приемных экзаменах? Вот странное дело...
Взгляд ничего не значащий. А вокруг нас что-то легкое осталось. Словно ветер.
— Подожди, подожди...— Наташка шепчет.— Я его сейчас вспомню.
А я будто узнала уже и все-таки не поняла кто.

И чувствую еще... сейчас, вдруг, вот-вот — отгадаю знакомого.
Мы с Наташкой так искренно ему обрадовались, что он нас, наверное, заметил. Стояли недалеко.

Он оглянулся и в лицо взглянул.
Я Наташке шепчу:
— Он, наверное, нас тоже узнал... Но кому же он в лицо смотрит? Наташке или мне?

Переглядываемся.
А потом он со своим другом в толпе пропал.

Исчезли.
А мы...
Ну, как в шестом классе. Все ходили, ходили вокруг.
Ждали кого-то.
Кружили.
Кружили.
Два раза кинотеатр обошли.
Вернулись на то же место.
...Они стоят.
Полная тишь.

Я решила посмотреть и выглядываю из-за Наташки.

И бах!
Друг тоже глядит из-за спины его.
Мы, как ворюги, глазами столкнулись.
И опять как ни в чем не бывало.

Наташка говорит:
— Дай теперь я!
Мы повернулись.
А их снова — нет.

Я разволновалась. Аж руки дрожат. А свет все тот же. Не сумерки и не день.
— Что с тобой? — Наташка спрашивает.
— Человек этот... притягивает... А тебя — нет?
— Есть что-то... — у Наташки румянец разыгрался.

Головой тряхнула.
— Пустяки все это...
Я вокруг смотрю. Дышится легко-легко. И сама не знаю, почему это сказала:
— Он еще раз сюда придет. В следующую среду...

Я дверь открыла. У мамы с Альбертычем на столе портвейн.

Альбертино говорит:
— Я представить себе не мог, чтобы великий поэт стихи, извините, матершиной писал. Там, знаете, в таких местах стоят всё точки. Точки...

Мама, подперев голову ладонями, слушает.
— Ну, да что об этом, — смутился Альбертино.— Вот у нас на работе товарищ один рассказывал, что его друг во сне летает.
Мама улыбнулась.
— Нет, нет! Не сон ему снится, а по-настоящему.

Я к себе в комнату прошла. Пластинку на проигрыватель поставила.

Последняя часть.
Грянул оркестр. Певцы запели. У меня слезы навернулись. Я к окну подошла. На улице снег идет. Я рамы открыла. И музыка стала громче.

Да!
А во вторник вечером дома у меня сидели. Мама вязала на тахте, в темном уголке. Наташка стала карты раскидывать.

— Посмотрим, посмотрим...— говорит. Кассий на стол запрыгнул.
— Брысь!

Но кот примостился у Наташкиного локтя.
— Да пусть сидит. Он мне не мешает.— Сама бубнит: — Семерка, дама, валет, туз... Кассий тут же и придремал. У него во сне усы шевелятся.

Долго Наташка колдовала под настольной лампой.

Я на нее смотрела и улыбалась.
Потом она перестала ворожить и что-то соображала, глядя на карты. Думала минут пять. Потом голову подняла и говорит мне удивленно:

— Ты знаешь, вышло...

Сегодня ровно неделя с той среды. Опять к кинотеатру иду.

Переулок.

Улица...

Данилыч!

Трусцой.

От инфаркта.

Бежит.

Вместе со своей толстухой.

Тяжело очень дышат.

Он меня «не узнаёт».

Наташка уже на скамейке ждет.

— Неужели все опять повторится?

А мне спокойно и печально чуть.

— Нет,— не унимается она,— ничего сегодня не увидим. Тринадцатое число. Давай я тебе лучше про Хорцева расскажу.

Я уже как-то о них почти и забыла.
Вдруг.

Что-то дернуло.

«Подними».

И я голову подняла.

Смотрю. Прямо на меня он смотрит.
До чего же хорошее у него лицо. И волосы
светлые, густые, а глаза коричневые.

Я оглянулась на Наташку.

А вижу его.

Он мимо прошел и остановился у «Бу-
ревестника».

Наташка рот открыла, потом говорит:

— Я знаю. Он студент политеха. Двою-
родный брат нашего Шали.

Мне весело стало.

— Поди — спроси...

Наташка поднялась. Три шага в ту сторону
сделала, где он стоял...

И вернулась.

Села на скамейку опять.

— Нет. Боюсь!

Мы долго на него смотрели, а он афишу
изучал.

Потом мы пошли, а он стоял и даже не
обернулся.

Наташка почему-то спотыкаться стала.

— Мне кажется,— говорю,— ему грустно
очень.

— Почему?

— Может, потому, что мы уходим...

И вот.

Я чувствую, что иду и улыбаюсь. А чему?
Честное слово, не знаю.

Ленкин магнитофон через потолок слышен,
как всегда.

Сажу у стола. Мама и дядя Вова на тахте,
напротив.

Они меня пилят.

— Далась тебе эта фабрика! — мама гово-
рит.

— Да, да! — дядю Вову будто подтолкну-
ли.— Я с Василь Васильевичем советовал-
ся. В гастрономе художник требуется. Ты
же училась...

Я слышу их, но думаю о своем.

■

По улице идем.

Опять жарко с утра.

Мама меня провожает.

Навстречу Шаля. Вечные шахматы под
мышкой.

— Уезжаешь?

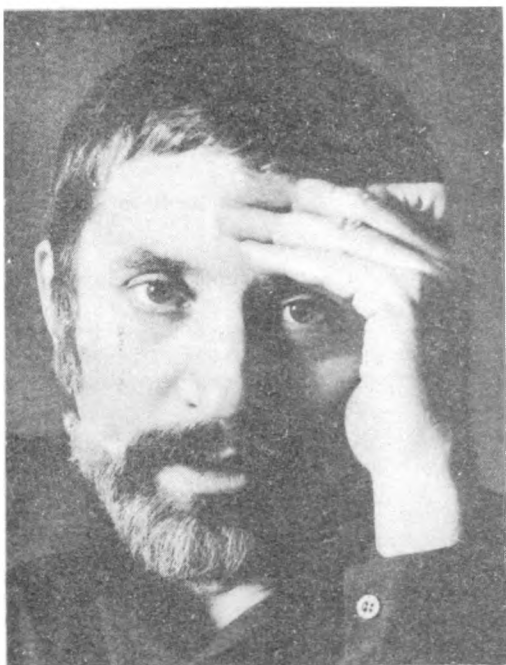
— Уезжаю, Шаля!

Он машет рукой.

— Счастливого пути...

1981 г.

■



**Виктор
МЕРЕЖКО**

СОБАЧИЙ ПИР

(Мелодрама)

К общей оттепели прибавился мелкий моросящий дождь, и стало ясно, что новогодняя ночь будет слякотной и мокрой.

Жанна еще раз взглянула на залеplенные дождем перонные часы; через два часа люди должны сесть за праздничные столы, а Нинка все еще не появлялась. И, судя по всему, уже не появится.

Промокшая, озябшая, злая, она вошла в зал ожидания погреться. Здесь было гулко и пусто, и лишь в дальнем конце понуро сидел длинный тощий мужчина с фибровым чемоданом у ног, который Жанной был замечен давно. Замечен потому, что к ночи все разошлись, разъехались, а он все сидел.

— Ну что, Жанна, — поинтересовалась, торопливо пересекая зал, дежурная по вокзалу нарядная Галина Федоровна, — не приехала дочка?

Жанна вдруг яростно отстучала чечетку, ударила кулаком по сгибу правой руки.

— Ничего, Галина Федоровна, перебьемся!

— А ты кавалера прихвати! — кивнула Галина Федоровна на человека в зале, засмеялась. — Ему все равно до утра сидеть! — Скользнула в служебную комнату, и Жанна успела заметить, что там тоже готовились к Новому году.

Жанна молча понаблюдала за мужчиной, подошла, присела рядом.

— С наступающим... Тебя как зовут?

Он мельком взглянул на нее, отвернулся.

— Правда, что ли, до утра сидеть?

— Пошла ты...

Жанна оглядела его чемодан, подвязанную

ушанку, тощую шею, торчащую из воротника потертого ватника, засмеялась:

— Кретин. К нему женщина обращается, а он грубит. — Взяла чемодан, направилась к выходу: — Пошли.

Мужчина поднялся, пошел следом.

— У меня платить нечем.

— А может, я тебе заплачу!

Пересекли привокзальную площадь, Жанна в темноте угодила в большую лужу, зачертыхалась, бросила чемодан на землю.

— Неси! Идет как барин.

Мужчина отряхнул чемодан, заставил Жанну взять себя под руку:

— Держись! — и повел вперед, словно знал дорогу заранее.

Двор дома, где жила Жанна, был большой и темный. В дальней беседке негромко голосила под гитару молодежь.

Лифта в доме не было.

Поднимались долго и тяжело, время от времени останавливались, передыхали. Из-за дверей доносился предпраздничный шум, перебежали из квартиры в квартиру возбужденные соседи.

— С наступающим, Жанна!

— С тем же.

— Гостя встретила?

— Дед Мороз прислал.

— Ничего подарочек. Долго просила?

— Не просила. Сам догадался!

Опять остановились, мужчина спросил:

— Долго еще?

- Не нравится?
- Лишь бы тебе нравилось.
- Вот и помалкивай.

Квартира находилась на последнем этаже — дальше шел чердак. Жанна достала ключ, вошла сама, зажгла свет.

— Ноги вытирай — сегодня полы мыла.

Мужчина потоптался на тряпке у порога, поставил чемодан в пустой прихожей, снял ватник, шапку.

Жанна тоже разделась.

— Проходи... — Она повела гостя в комнату, поставила перед ним единственный стул: — Садись.

Мужчина сел. Огляделся. Комната была пустая, у стены стояла на кирпичиках застеленная одеялом кровать, сетка, а в углу — на вымытом полу — сверкал линзой телевизор КВН. На подоконнике зеленела елочная ветка в бутылке.

Жанна включила телевизор, вернулась к гостю. Дышала рядом, с вызовом смотрела на мужчину, ожидая реакции. Он коротко хохотнул:

— Вот и приехал.

Она напряглась:

— Не понял.

— Все нормально. Жанна, значит?

— А может, все же... Куда приехал?

Мужчина не ответил, вышел в прихожую, достал из чемодана три банки рыбных консервов, отдал их хозяйке.

— Аркадий.

Жанна вернула банки:

— Консервы не ем. Вредно. Бывает рак.

— Я ем.

Гость вышел на кухню, стола здесь не было, он поставил консервы на подоконник.

— Есть чем открыть?

Жанна стояла в дверях, усмехалась:

— Хозяином почувствовал, Аркаша?

Он подошел к ней, положил руку на плечо. Она сбросила:

— Не вешалка!

— Я тоже умею... Но давай не будем — Новый год все же.

Она некоторое время не сводила с него глаз, потом согласилась:

— Ладно, попробуем... — Достала из-за плиты две бутылки «Буратино», тоже выставила на подоконник. — А открывать нечем.

— А соседи?

— Не общаюсь.

— Давай я.

— Рискни.

Аркадий вышел на площадку, позвонил в дверь напротив.

Дверь распахнулась, на пороге стояла красневшая девочка лет семи.

— Ой!.. — она испугалась, отступила.

Крикнула: — Мама, к тебе дядя!

Из квартиры, заполненной музыкой, вышла праздничная женщина лет тридцати пяти,

увидела незнакомого человека, удивилась:

— Здравствуйте...

— Я отстуда, — показал Аркадий назад, — требуется открывалка. Извините, конечно... Можно?

— Конечно.

Женщина ушла в квартиру, девочка продолжала стоять, с напряженным интересом смотрела на Аркадия.

Он почему-то подмигнул ей, затем сделал пальцами что-то вроде «козы», прогудел: — У-у-у...

Девочка сделала шаг назад, сжалась, и тут вернулась мать.

— Пожалуйста, — протянула открывалку.

— Благодарю. Скоро верну.

— Не беспокойтесь.

— С наступающим.

— Вас также.

Жанна по-прежнему стояла на кухне у окна, иронически поинтересовалась:

— Ну и как?

— Порядок. — Аркадий принялся открывать бутылки: — Не зубами же... — Посмотрел на нее, засмеялся: — Не те уже зубы.

— Хозяйка, спрашиваю, как? — Жанна смотрела на него.

Он пожал плечами:

— Приятная женщина.

— Неужели?

— А что?

— Ничего. — Жанна прислушалась к телевизору, разлила воду в стаканы. — Пошли, сейчас двенадцать ударят.

— А открывалку?

Она хмыкнула:

— До утра не помрет. Перебьется.

Аркадий поставил свой чемодан «на попа», Жанна примостилась на стуле, и оба замерли перед телевизором.

Заиграли куранты, Спасская башня казалась под линзой пузатой и важной, всё вокруг замерло в ожидании торжественной и цепящей секунды.

Тишина — слева, справа, снизу, сверху — взорвалась криком, визгом, казалось, даже качнулся потолок, и Жанна легонько чокнулась с гостем:

— Будь... Извини, что ситром. Но другого не употребляем.

— Мы тоже.

— Что так?

— Всё своё уже употребили.

Она удивленно подняла брови:

— И много... употребили?

— Вот так... — Аркадий провел рукой над головой, сходил на кухню, вернулся с консервами, стал открывать их. — Между прочим, со вчерашнего дня не ел. Хлебушка не найдется?

Жанна молчала, задумчиво смотрела на него.

— Хлебушка... — повторил он.

— А откуда следуешь?
Он отложил банку, лицо его стало злым.
— Не скажу.
— Так и хлебушек получишь. Сидел?
Аркадий взорвался:
— Пожрать дай, потом будешь приставать с расспросами!
— За что сидел?!

— Да пошла ты!..
Он широкими шагами направился к выходу, вернулся, схватил открывалку, и Жанна настигла его уже в прихожей. Спиной придавила дверь, смотрела со злостью, тяжело дышала:

— Опять к ней? Теперь за хлебушком?
— Отойди!
— Так, может, вообще перекантуешься к ней, чтоб я тебя, кретина, не видела больше?
Аркадий отбросил ее в сторону, рванул дверь, выскочил на площадку.

Дверь напротив опять открыла девочка, смотрела на человека с интересом и удивлением.

— Маму... — попросил он.
Девочка убежала, и скоро в длинном, увешанном бумажными украшениями коридоре появилась ее мать.

— Я опять извиняюсь... Кусок хлеба. Можно?

Она вынесла тарелку с нарезанной колбасой, соленым огурцом, хлебом. Аркадий принял все это, кивнул:

— Благодарю... — и, забыв вернуть открывалку, вошел в квартиру Жанны.

Заглянул в комнату и замер: Жанна танцевала... Громко звучал телевизор, поскрипывал под ногами рассохшийся паркет, плавали по стенам тени, а Жанна в упоении довольно ловко выдвигала кренделя, мягко взмахивала руками.

Остановилась перед Аркадием, приглашая к танцу. Он обошел ее, поставил тарелку с продуктами на чемодан, стал есть жадно и отрешенно.

— Дурачок... — Жанна подошла поближе, попыталась погладить его по голове.

Аркадий отшатнулся:

— Что нужно?

— Дурачок, говорю... Аркадий, правильно? Глупый ты, Аркаша. Не по делу обижаешься. — И снова протянула руку.

— Уйди.

— Как хочешь... Свобода действий! — Жанна повернулась к телевизору, дождалась, когда там опять заиграют, и в упоении закружилась по комнате.

Аркадий, не переставая жевать, наблюдал за ней.

— Выпила, что ли?

Она не ответила, продолжала танцевать, закрыв глаза и запрокинув голову. Аркадий оставил тарелку, подошел к ней, взял за руку.

— Выпила, говорю?

— Ты что, Аркаша? — она с искренним удивлением смотрела на него. — Я не пью... Я, как и ты, свое уже выпила.

Он отпустил ее, вернулся на место и снова принялся за еду. Жанна постояла в задумчивости посреди комнаты, подняла палец, будто вспомнив что-то, сказала:

— Иногда женщина должна удаляться... — и вышла.

Аркадий, вымазывая коркой хлеба банку из-под консервов, прислушивался к происходящему. Щелкнул выключатель, сразу же зашумел унитаз, потом стало тихо. Надолго стало тихо.

Он поднялся, на цыпочках вышел в коридор, подошел к туалету и резко рванул дверь. Жанна, запрокинув голову, пила что-то из бутылки.

— Куда?! — Она сильно оттолкнула Аркадия, захлопнула дверь, крутанула задвижку.

Аркадий вернулся в комнату, сел на чемодан, стал смотреть праздничный «Огонек». Вошла Жанна — теперь было видно, что она выпивши. Предупредила зло, жестко:

— В следующий раз получишь бутылкой по голове.

— Следующего раза не будет, — ответил Аркадий, не сводя глаз с телевизора.

— Бла... благодари судьбу.

Постояла на пороге, бессмысленно глядя на экран, взяла стул, села рядом с Аркадием. Небрежно, как бы невзначай, положила руку ему на плечо.

Он отбросил руку, отсел подальше. Жанна удивленно смотрела на него:

— Ты что, Аркаша?.. Ты оттолкнул женщину!

Жанна снова подседа к нему и снова попыталась обнять гостя. На этот раз он оттолкнул ее сильно — она не удержалась на стуле, тяжело рухнула на пол.

Сидела нелепо и беспомощно, удивленно смотрела в одну точку, затем обняла голову ладонями и вдруг заплакала.

— Ты... — повернула она красное, заплаканное лицо. — Ты понимаешь, что ты сделал? Ты унизил... Очень сильно меня унизил... А за что? За то, что я пригласила тебя? И унизил как раз в новогоднюю ночь. Понимаешь, что это значит? Весь год меня будут унижать, кретин!

Жанна с трудом поднялась, высморкалась в подол платья, вытерла локтем мокрые глаза и удалилась в направлении к туалету.

Аркадий бросил в чемодан несъеденные консервы, вышел в прихожую, стал одеваться. Из туалета вышла Жанна, ее сильно покачивало.

— Уже, да? Все? А если я попрошу?

— Не выйдет, — ответил Аркадий.

Она подошла к нему:

— А я правда прошу... Мне это важно. Десять минут... — Она взяла его за рукав,

смотрела жалобно, просяще: — Задержись, Аркаша.

— Если не будешь больше пить.

— Больше не буду... Нечего.

Он сбросил ватник, Жанна нетвердым шагом последовала за ним в комнату, не сразу попала на стул.

Сидели молча, смотрели «Огонек».

— Красивая, да? — показала Жанна на певицу. — Нравится?

— Крашенная, — бросил Аркадий.

— А я вот не крашусь. Принципиально, В молодости, правда, занималась, а теперь решила — хватит. А вот дочка... — Она повернула голову к гостю, улыбнулась: — У меня, Аркаша, есть дочка. Нинка!.. Вот она, дурочка, красится.

Аркадий молчал.

— Дочка, говорю, у меня есть. Замужем! — повторила Жанна, чтоб до него дошло. — Новый год я должна была встречать у нее. Но не явилась... — На ее глаза навернулись слезы. — Стыдится, наверно... — Вытерла глаза, спросила: — А у тебя есть дети?

— Не знаю.

— Не хочешь — не говори. Я ведь не требую. Мне даже плевать, за что ты сидел. — За пьянку.

— Иди ты!.. А разве ты пьешь?

— Сейчас — нет. Раньше пил.

Жанна уронила голову на руки, зашлась довольным смехом.

— Надо же... Как это я на тебя вышла? Гляжу — сидит. Один... Дай, думаю, приглашу. И пригласила. Надо же! Из профилактики следуешь? Лечился?

— Хватит об этом, — попросил Аркадий. — Не хочу.

— А может, я хочу! — смеялась Жанна. — Может, мне тоже захочется лечиться.

— Там не лечат. Калечат!

Он встал, она подняла на него глаза:

— Куда?

— Отнесу тарелку... Открывалку вот.

Жанна тоже встала, взяла из рук Аркадия тарелку и вдруг со всего размаху шмякнула ее о стену.

— Отнесли... Доволен?

Он некоторое время смотрел на осколки под ногами, взял чемодан и двинулся в прихожую.

— Ну и катись к чертям собачьим! Плевала я на тебя и на эту гадину с тарелкой! Иди к ней, она ждет. С удовольствием примет! Не одного уже принимала. Чего ждешь?

Распахнула дверь, вывалилась на площадку, стала ногами бить в соседскую дверь.

— Эй, девственница! Принимай очередного! Он тебе открывалочку принес!

Аркадий бросился к ней, принялся оттащить ее, за дверью громко и испуганно заплакала девочка, а Жанна вырывалась, кусалась, царапалась.

— Отпусти, кретин! Кто я тебе, что ты... Отпусти!

Внизу, этажом ниже, захлопали двери, кто-то крикнул:

— Милицию надо! Опять алкоголичка веселится!

— Заткнись, алиментщик! — Жанна цеплялась за перила. — Сам от милиции бегаешь, а других пугаешь! Гляди, как бы я не вызвала!

Аркадий затащил ее в квартиру, затолкал на кухню, зажал в углу. Она несколько раз пыталась плюнуть ему в лицо, поднимала ногу, чтобы ударить в пах, затем вдруг ослабла, попросила:

— Отпусти... Не буду.

Аркадий отпустил ее, она по стене съехала на пол, уронила голову на грудь, тяжело задышала.

Он вернулся в прихожую, запер входную дверь, снова заглянул на кухню — Жанна сидела на прежнем месте, спала.

Аркадий взял ее под мышки, перетащил к кровати сетке на кирпичиках, уложил. Выключил свет, телевизор.

На звонок в соседскую квартиру никто не ответил. Аркадий позвонил еще раз. Показалось, будто за дверью скрипнула половица, он сказал:

— Я извиняюсь... Возьмите открывалку.

Женщина открыла, через порог взяла открывалку.

— Спасибо... — Она увидела чемодан в руке Аркадия, испуганно спросила: — А вы уходите?

— Она спит, — ответил Аркадий.

— Она скоро проснется и опять будет стучать. А у меня дочка никак не успокоится.

— А почему будет стучать?

— Потому что рядом. Она всегда стучит. Выпить просит... — Вспомнила что-то, кивнула: — Я сейчас... — И исчезла в глубине квартиры.

Дом всюю праздновал встречу Нового года: кругом гремела музыка, распевали песни, доносились крики, взрывы смеха.

Женщина вернулась, протянула Аркадию бутылку вина:

— Когда проснется, дайте. Она успокоится.

Аркадий остался на площадке один, потоптался, подумал, сунул бутылку в чемодан и вернулся в квартиру Жанны.

Она по-прежнему спала, дышала громко, с хрипом.

Аркадий оставил чемодан в прихожей, сел на стул, стал смотреть в окно. В доме напротив была видна нарядная елка.

Проснулся он оттого, что заскрипела кроватная сетка.

Жанна пришла в себя и попыталась под-

няться. Давалось ей это с большим трудом, наконец она села, обхватила голову руками, застонала громко, страдальчески:

— Сдохну... Ей-богу, сдохну... — Подняла голову, увидела гостя, не сразу вспомнила, кто это. — Достань, иначе сдохну. Чего-нибудь достань.

Аркадий молчал, смотрел на нее.

— Попроси у кого-нибудь... Можно у этой... напротив. У нее всегда есть.

Он не отвечал.

Жанна поднялась, ее сильно повело, она удержалась о стенку, двинулась в прихожую.

Аркадий встал перед дверью.

— Отойди, — приказала она. — Со мной сейчас лучше не надо.

— Вернись... У меня есть.

Жанна с недоверием посмотрела на него, кивнула, вернулась в комнату. Села на стул, ждала.

Аркадий достал из чемодана бутылку. Она взяла, закрылась в туалете и скоро вернулась, заметно повеселев. Опустилась на кровать, некоторое время молчала, подняла голову:

— А ты — человек. Клянусь.

— Спи.

— А ты не уходи. Это ненадолго... Потом я нормальная баба.

Жанна снова уснула. Аркадий заглянул в туалет, взял наполовину выпитую бутылку, поставил ее возле кровати, прихватил в прихожей чемодан и покинул квартиру.

Морозец подтянул слякоть, на улице было еще темно, но на вокзале народ уже толкался.

Аркадий достоялся в кассу, протянул билет:

— На девяносто шестой...

— По приходу поезда. Он опаздывает.

— На сколько?

— На три часа.

Он отошел от окошка, послонялся по перрону, вернулся снова в вокзал.

И тут он увидел Жанну.

Она вошла в вокзал, оглядела присутствующих, громко крикнула:

— Пришел дедушка Мороз нетвердою походкой, у него расквашен нос и воняет водкой!.. С Новым годом, громадяне! — Низко поклонилась, ее резко повело в сторону, и она свалилась под стенкой.— Пардон, палуба качнулась... Штормит!

В зале засмеялись.

— Держись, Жанна... Еще не вечер!

Она с трудом поднялась, поправила одежду.

— Пора соображать, что утро... тяжелее вечера.— Сделала несколько шагов и увидела Аркадия: — О, какая встреча! А вы,

оказывается, не джентльмен, Аркаша. Почему сбежали?

— Зачем пришла? — он подошел к ней.

— На вопрос вопросом не отвечают... Ну?

— Иди домой.

— Аркаша... — Жанна погрозила пальцем. — Я не люблю, когда мной командуют. Особенно посторонние.

— Иди домой, — раздельно повторил Аркадий.

Она отскочила, высунула язык:

— Бе-э-э!.. А кто ты такой, шарамыжник? Почему ты распоряжаешься?! Ты вот где у меня! — Жанна запрокинула одежду, показала зад. — Ты кто — сват, брат, начальник?!

И тут она заметила Галину Федоровну, быстро идущую к ней.

— Вот кто мой начальник... Вот мой ангел и спаситель! — Приложила пальцы к губам, послала воздушный поцелуй. — С Новым годом, Галиночка Федоровна! Объясните человеку, что я подчиняюсь только вам.

Та подошла, негромко спросила:

— Опять?

— Так ведь праздник... Новый год, Галина Федоровна.

— Пошла.

— А работа?

— Пошла.

— А я ничего... — Жанна сделала вдруг жалкой, просящей. — Работа ведь такая, что... Я в порядке, Галина Федоровна.

— Отведите ее, — кивнула Галина Федоровна Аркадию, а Жанне сказала: — Завтра придешь за расчетом.

— Так получилось, Галина Федоровна... — Жанна пыталась удержать дежурную по вокзалу. — Случайно... Последний раз, ладно?

— Это мы уже слышали. — Она освободилась от ее рук, предупредила: — И чтоб через секунду духу твоего здесь не было.

Жанна проследила за уходящей дежурной, пожалала плечами и побрела через притихший зал.

Аркадий догнал ее на привокзальной площади. Она остановилась.

— Это все. Больше никуда не возьмут.

— А если я вместо тебя?

Жанна недоверчиво посмотрела на него, пожалала плечами:

— Попробуй.

— А кем ты там?

— Спроси, она скажет. — И добавила: — Самым главным...

Убирал туалеты он молча, яростно, не обращая внимания ни на входящих, ни на выходящих. Делал работу так, будто от этого зависела вся его будущая жизнь. Мужчины никак не реагировали на уборщика, зато женщины пугались, хихикали, смущались, а

он тер, мыл, драил, не поднимая головы, ничего не видя и не слыша.

Закончил, снял сапоги, фартук, перчатки, запер шкафчик, поднялся к вокзальному начальству.

Вместо Галины Федоровны сидела молодая смуглая женщина, с интересом посмотрела на вошедшего.

— Все, — сказал Аркадий. — Порядок.

— Спасибо, — улыбнулась женщина. — Мне уже доложили, что у вас порядок. А не можете у нас остаться?

— Я временно. Пока эта... Жанна оклемается.

— Жаль. Мы бы вам увеличили зарплату.

— У меня семья, меня ждут. В другом городе. Извините... — Аркадий дошел до двери, остановился: — А ее все же пожалейте. Надо пожалеть.

При входе в подъезд он встретил соседку и не узнал ее. Она остановилась, удивленно посмотрела на ночного гостя, на его чемодан.

— Решили вернуться? — Белая шубка ей очень шла.

— А-а... — вспомнил ее Аркадий. — Здравствуйте.

— По-моему, Жанна спит, — сказала соседка.

— А я вас не узнал.

— Ничего удивительного. В такой ситуации запомнить нелегко.

— Спасибо за откровенность.

Она засмеялась:

— А вам за помощь. Когда она выпьет, это не приведи господи... — Соседка отошла на несколько шагов, крикнула: — Если у Жанны заперто, позвоните ко мне! Дочка вас помнит!

Дверь в квартиру Жанны была открыта. Аркадий поставил чемодан, повесил на гвоздь ватник, заглянул на кухню, затем в комнату.

Жанна сидела на кровати, смотрела на него:

— Ты?.. Интересно. А больше никого там нет?

— Нет.

Она тяжело прошла в коридор, в прихожую. Вернулась, рухнула на сетку, застонала, закачалась, крепко сжимая голову.

— У меня больше ничего нет, — сказал Аркадий.

— Ну и черт с тобой. Можно подумать, я прошу.

— Сам вижу.

Она со страданием проговорила:

— Ты можешь заткнуться? Помолчать можешь?

Скрипнула дверь, Жанна сорвалась с кровати, ринулась в прихожую.

Девчушка, худенькая, тоненькая, промерзшая, снимала здесь легкое пальтишко, а хозяйка ощупывала ее, искала что-то, бормотала:

— Сдохну, а тебе плевать. Шляешься где-то. Празднуешь... Принесла, да? Принесла?

Девчушка протянула ей газетный сверток. Она бросилась на кухню, а Аркадий, стоя в прихожей, видел через разбитую стеклянную дверь, как они выцеживали из бутылочки одеколон. Долили. стакан водой, и первой выпила Жанна.

Стояла, в омерзении и боли сжавшись, опустила на корточки, и подружка придержала ее, чтобы та не рухнула.

Аркадий вошел на кухню, девчушка приветливо и ласково протянула ему бутылочку с остатками одеколона:

— Тоже будете?

— Не-е... — Жанна поднялась, отобрала пузырек. — Он в завязке. Сама выпьешь?

Та повела худеньким плечиком:

— Я пообещала дома.

— Капельку можно... — Жанна стала трясти одеколон в стакан.

— Зачем? — спросил Аркадий.

— Затем, что тебя забыли спросить. —

Долила воды, протянула мутную жидкость подружке: — С Новым годом!

— Послушай... — Аркадий попытался отобрать стакан.

— Сгинь, кретин! Рожу расцарапаю! —

Вид у Жанны был агрессивный. — Мы «Педагогическую поэму» еще в школе проходили!

— С Новым годом! — сказала девчушка, собралась с духом, выпила.

Закашлялась, захлебнулась, уткнулась Жанне в плечо.

Жанна засмеялась, стала несильно хлопать ее по спине.

— Ничего, привыкнешь... Сами не мед пьем. Правильно, Аркаша?

Он повернулся, вышел из кухни и слышал, как хохотали хмелеющие женщины. Они прямо-таки захлебывались в смехе, корчились от наплывающего веселья, и никакая сила не могла их теперь огорчить.

Аркадий включил телевизор, сел на стул, стал смотреть передачу о занятиях в балетной школе. Девочки, тоненькие, изящные, старательно тянули ножки, вращались волчком, а преподавательница, худая и строгая, наблюдала за ними, отхлопывала в ладоши.

— Кстати, познакомься, — в комнату вошла Жанна, ведя за собой гостью. — Подруга жизни... Натали, протяни лапу.

«Натали», пьяно смущаясь и хихикая, протянула руку, изобразила нечто похожее на книксен:

— Наташа...

Аркадий взял холодную прозрачную руку:

— Аркадий Петрович.

— Слыхали — «Петрович»! — передразнила Жанна. — С чего это ты таким важным стал? Может, с того, что уборные помыл? «Петрович» он... Аркашка!

— Для тебя.

— И для меня, и для всех. Рылом не вышел в «Петровичи»!

— Балет... — удивленно и обрадованно показала Наташа на телевизор. — Смотрите, балет! Давайте поглядим.

— Во-во... — Жанна выключила телевизор. — Делать нам больше нечего.

Наташа посмотрела на Аркадия.

— Я тоже хотела быть барел... бал-ле-риной, — с трудом выговорила она. — Не верите?

— Хотела и стала, — хмыкнул Аркадий.

— Что, не верите?

— Как это ты можешь не верить? — вмешалась Жанна. — Человек три года старался, а ты усмехаешься. Знаешь, кем бы она была, если б не все это!

— Что — это!

— А ты не понимаешь, дурачка из себя строишь! Если б не рожка твоя поганая! Любишься, издеваешься, умнее других себя изображаешь? А кто ты такой, чтоб изображать?!

Ответить Аркадий не успел, побелел, и в это время в дверь длинно и резко позвонили.

— Наверно, за мной, — испуганно сказала Наташа. — Мама, наверно. Или отец.

— Погоди! — Жанна схватила ее за руку, потащила в туалет. Шепнула Аркадию: — Меня нет... И никого нет!

Аркадий подошел к двери, открыл ее. На площадке стояла немолодая хорошо одетая женщина, глаза ее были красными.

— Извините, а хозяйка дома?

— Н-нет... — не сразу ответил Аркадий. — Ее дома нет.

— Ушла?... Давно?

— На работу.

— А вы... девочка, вернее, уже девушка... Наташа!. Не приходила к ней?

— Я здесь недавно, — сказал Аркадий.

— Да, я вас раньше не видела, — кивнула женщина. — Извините... — И стала спускаться по ступенькам. Остановилась: — Если случится, скажете, что я приходила... Мама, скажете, приходила.

Он кивнул и стоял на площадке, пока не затихли шаги.

Вернувшись в квартиру, увидел, как из туалета, хохоча, выбирались две хмельные женщины. Взял Наташу за руку:

— Мать приходила.

— Ручками только не касаться, — попыталась вмешаться Жанна. — Мы существа нежные, нам больно.

Он сильно оттолкнул ее, сказал Наташе:

— Пошли, я провожу.

— Ты, кретин! — Жанна поднималась с

пола. — Ты что, обнаглел?

— Убью! — Аркадий повернулся к ней, и вид его был страшен. — Как паскуду убью!

Он крепко взял несопротивляющуюся Наташу под руку, даже не повел — понес к выходу. Жанна стояла у стены, смотрела им вслед испуганно.

Шли молча. Наташа всхлипывала, слабые ножки ее путались, Аркадий по-прежнему вел твердо и ожесточенно.

Новогодние улицы были празднично пусты. Изредка встречались люди, выгуливающие собак, да торопливо пробегали заспанные папаши с детским питанием в руках.

— Дальше я сама, — попросила Наташа. — Не провожайте.

Отошла на несколько шагов, вернулась:

— А Жанну не ругайте... Я больше не буду.

Аркадий проследил, пока она не скрылась в подъезде большого, видимо, важного дома, и побрел обратно.

В «свой» дом заходить не стал. Сел на скамейку у подъезда, бессмысленно смотрел на двор.

— А я вас знаю, — напротив него стояла семилетняя девочка в шубке. — Вы тоже пьяница? — взгляда настороженный, цепкий.

Он узнал дочку соседки.

— Почему? — спросил внезапно охрипшим голосом.

— А у Жанны все пьяницы. Кто б ни приходил.

Аркадий подумал, усмехнулся:

— Может, я тоже... Не знаю. — Поднялся и пошел в подъезд.

...Жанна спала.

Аркадий снял ватник, расстелил его на кухне, подложил под голову шапку и заснул крепко, сразу — будто провалился.

Проснулся он оттого, что над ним стояли. От неожиданности вздрогнул, даже привстал, потом сообразил — в дверном проеме тяжелой мрачной фигурой стояла Жанна и, обхватив голову ладонями, смотрела на него.

— Сейчас развалится. Нет сел.

Аркадий сел, пожал плечами:

— Ничем помочь не могу.

— А я и не прошу. Говорю, и все.

Прошла на кухню, напилась из крана. Прислонилась к подоконнику, не отнимая рук от головы. Спросила неожиданно:

— Наверно, есть хочешь?

Он удивленно посмотрел на нее:

— Как-то не думал.

— Полегчает, и я приготовлю. Потерпи, ладно?

Аркадий поднялся, вышел в прихожую, достал из чемодана пачку чая, поставил чайник на газ.

— Спасибо,— сказала Жанна.— Наташку отвел?

Он не ответил, нашел в шкафчике остатки сахара, выгреб из ящика стола ложечку.

— Девка хорошая, но слабая,— заметила Жанна.— Погибнет...

— Не без твоей помощи.

— Наверно... Когда не пью, гоню ее. А выпью — лучшая подруга. Жалко девку.

Закипел чайник, Аркадий сделал чай покрепче, поставил банку из-под варенья перед Жанной:

— Давай.

Она стала пить, спеша и обжигаясь, поглядывала на мужчину, пробовала улыбнуться, и на глаза наворачивались слезы.

— Сейчас пройдет... всегда так.— Жанна вытерла слезы рукавом, высморкалась.— Противно, да?

— Нормально,— ответил Аркадий.— Сам таким был.

— Противно, знаю... А они там — лечат?

— Калечат.

— Серьезно. Может, и мне попроситься?

— Тебе уже ничего не поможет.

— А тебе?.. Ты ведь уже не пьешь?

— Кто тебе сказал?

— А разве... бывает?

— Не бывает. Не хочу, и не бывает. А все остальное тут не при чем.— Он взял банку, в которой был чай, стал ополаскивать ее нервно и зло.— Учти, вечером уеду.

— Уже вечером? — Жанна снова вытерла глаза.— Тебя, наверно, ждут?

— А ты как считаешь? Думаешь, ни жены, ни детей, ни семьи? Такой, как ты, думаешь?!

— Думаю, такой,— кивнула она.— Другим ты не можешь быть.

— А вот это видала? — Аркадий выкрутил фигу, сунул под самый ее нос.— Этого ты не хочешь? И семья, и дети... двое детей!.. И жена — всё в ажуре! И не надо меня в свою компанию записывать! Перебьешься!

Жанна спокойно отвела его руку, усмехнулась:

— Никто тебя не записывает — успокойся.

— А я не волнуюсь.

— Вот и молодец. Умница...— Она встала, сама налила себе чаю.— На работе все спокойно?

— Завтра узнаешь.

— Я сегодня уже знаю — выгонят.— Жанна снова принялась пить чай. А тебе за отзывчивость спасибо.

— Ешьте... вернее, пейте на здоровье!

Помолчали. Жанна выпила всю банку, провела ладонью по взмокшему лбу:

— Хорошо.

В дверь коротко, нервно позвонили. Хозяйка напряглась, испуганно посмотрела на Аркадия:

— Кто-нибудь из... — и быстрым шепотом

попросила: — Меня нет и неизвестно, когда буду.

Аркадий вышел в прихожую, открыл дверь и от неожиданности отступил: перед ним стояла мертвецки пьяная Наташа, непонятно, каким образом добравшаяся до квартиры. Волосы были растрепаны, на правой скуле большая ссадина, а в руке две бутылки с одеколоном, одна из которых импортная. Она улыбалась, пыталась что-то произнести, протягивала Аркадию бутылочки.

Он еле успел подхватить ее, она рухнула на протянутые руки, и, уже затаскивая девушку в квартиру, Аркадий увидел расширенные глаза соседки напротив.

Из кухни выскочила Жанна, вдвоем они заволокли Наташу в комнату, уложили на сетку, а она все пыталась подняться, пыталась передать подруге принесенное пойло.

— Ох, наказание, ох, беда, ох, несчастье,— приговаривала Жанна, поглаживая подругу по слабой головушке.— Разве ж я тебя просила? Разве мы так договаривались? Страшное, деточка, что-то будет.

Быстро встала, закрыла на ключ дверь, задернула шторы.

— Зачем? — спросил Аркадий.

— Сейчас придут... Ее родители придут. Пусть вроде никого нет дома.

Погасила везде свет, подала гостью стул, сама примостилась в углу.

— Соседка видела,— сказал Аркадий.

— Не скажет. Побойтся... А мы и в темноте можем посидеть.

Добивали новогодний праздник соседи внизу, бубнил за стеной телевизор, а тишина в комнате давила на уши, и от напряжения и полумрака пол, казалось, медленно уплывал из-под ног.

В дверь позвонили резко и неожиданно. Аркадий почему-то поднялся, посмотрел на хозяйку. Она приложила палец к губам, кивнула, чтобы сел на место.

Звонок повторился еще и еще раз, затем на него нажали, не отпуская пальца, и дребезжание заполнило комнату.

Наташа зашевелилась, попыталась подняться. Жанна на цыпочках заспешила к ней, присела на корточки, и девчужка затихла.

Звонок повторился, в дверь несколько раз саданули ногой, и в комнате опять повисла тишина.

Сидели, ждали — в дверь не звонили и не стучали.

Жанна подошла к окну, заглянула в щель между шторами, махнула Аркадию. Вдвоем они стали наблюдать за двором.

Бегала детвора, со скучающим видом торчали взрослые, кучковались поодаль подростки, «балдея» под магнитофон.

— Мать с отцом,— прошептала Жанна и кивнула на вышедших из подъезда хорошо одетых мужчину и женщину.

Мужчина и женщина подошли к группе мамаш и бабушек, гуляющих с детьми, о чем-то спросили. Затем все стали смотреть наверх, на окна Жанны.

Жанна отошла от шторы, сказала:

— Из хорошей семьи девка, а спивается. Почему так?

— Недосмотрели.

— Пересмотрели. Ни одного шага не давали ступить самостоятельно. «У-у, ты наша маленькая, у-у, ты наша сладенькая...» Сначала терпела, потом заскучала. Стала искать развлечений. Вот и доискалась.

— Значит, ты у нее вроде крестной матери?

— Если бы Сама нашла крестного отца, а я уж ее от этого подонка выгнала. Влюбилась, дура, любое его желание — закон. И пить он приучил. Сорок лет кретину! — Она нашла кусок сухого хлеба, с трудом стала жевать. — Ты вот что, Аркадий... Два дня побудь, а потом можешь уезжать. Но два дня — обязательно.

— Это кто ж меня обязал?

— Господь бог! Во-первых, с Наташкой надо решить.

— Проспится, пойдет домой.

— Сомневаюсь, что домой. Побойтся. Поэтому надо доставить, а мне в том районе показываться нельзя... И второе — меня ведь правда вытурят с работы.

— Я с ней говорил.

— Надо, чтобы ты пошел со мной.

— Да что я вам, мать вашу!.. — вспылил Аркадий. — Нянька?!

Жанна печально посмотрела на него, бросила на стол недожеванный сухарь.

— Гадость ты, а не человек... Прошу только потому, что деваться больше некуда.

Было морозно и ветрено. Наташа шагала неуверенно, шатко, куталась в тоненькое пальтецо, прикрывала лицо шарфом. Аркадий изредка поправлял ей воротник, мял пальцами белешую мочку уха, девчушка благодарно поворачивалась к нему, улыбалась.

Дошли до важного знакомого дома, Аркадий отпустил руку Наташи, кивнул:

— Ступай.

Она не уходила, со странной усмешкой смотрела на него.

— А вы уезжаете?

— Завтра.

— И я вас больше не увижу?

— Не будем загадывать. Мир, как милиция: и не хочешь, а попадешь. — И легонько подтолкнул ее: — Иди, отец с матерью небось с ума там сходят.

Наташа двинулась к дому, на ступеньках пару раз оглянулась, махнула рукой и скрылась за тяжелой высокой дверью.

Аркадий завернул в небольшой малолюд-

ный сквер, примостился на скамейке и стал наблюдать за подъездом дома, в который вошла Наташа.

Появилась она скоро. Торопливо слетела со ступенек, словно за ней гнались, повертела головой, соображая, куда бежать, и понеслась в ближний узкий переулок.

Аркадий бросился наперерез. Наташа оглянулась, заметила погоню, и ее тоненькие ноги спицами замелькали на морозном солнце.

Он догнал ее, попытался поймать за развевающийся шарф. Наташа сделала резкое движение, и они оба свалились в снег.

— Домой... Сейчас же домой... — говорил, тяжело дыша, Аркадий. — Мы эти штучки знаем... Домой.

Она вырывалась, царапалась, кусалась. — Что вы делаете? Не хочу! Не хочу, понимаете? Отпустите сейчас же! Аркадий Петрович, прошу... Я их боюсь, не надо.

Аркадий все-таки подхватил ее за талию и понес, как носят непослушных маленьких детей.

Наташа повернула к нему лицо с размазанной косметикой, попросила:

— Отпустите... Сама пойду.

Он поставил ее на ноги, кивнул:

— Поглядим, давай...

Наташа поправила пальто, затолкала волосы под шапочку, сказала с упреком:

— Напрасно. Вы же сами знаете — все напрасно... — И пошла вперед, гордо неся свою хрупкую мутную головку.

Возле ступенек остановилась.

— Дальше пойдете?

Аркадий кивнул:

— Обязательно.

Вместе вошли в лифт.

— Этаж?

— Пятый.

Поднялись, Наташа кивнула на высокую дверь, обитую коричневым заменителем, примостилась на подоконнике, стала греть у батареи озябшие руки.

Аркадий постоял возле солидной двери, нажал кнопку.

Родители появились быстро, почти мгновенно. Мать сразу стала плакать, а отец прижал к себе дочку и смотрел сквозь очки в высокое тусклое окно.

С верхнего этажа спускалась женщина, торопливо и неловко поздоровалась.

— Спасибо вам, — сказал отец Аркадию. — Не знаю, кто вы, но... спасибо.

— А я тебе скажу, кто он. — Мать вытерла платком глаза. — Он тоже из этих... из пропойц. Я его видела там... у этой. Сказал, что Наташи нет... Поэтому благодарить не стоит. Проще вызвать милицию...

— Не надо, Катюша, — попросил отец.

— Почему не надо? Разве по его роже не видно, кто он? Милицию... судить таких надо!

Чтоб не могли... чтоб не смели... чтоб не калечили чужие жизни!

Наташа рванулась, оттолкнула отца, он снова обхватил ее, еще крепче прижал к себе.

— Катя, прошу тебя!

Дочка хрипела, скулила, отталкивала, вырывалась, и было непонятно, откуда у нее столько сил.

— Пошли вон! Прочь пошли отсюда! — кричала мать Аркадию. — И забудьте этого ребенка. Навсегда забудьте! Ей еще жить, а она из-за вас... из-за таких... Уходите сейчас же!

Аркадий хотел было вызвать лифт, но натянул шапку и быстро стал спускаться пешком. На площадке четвертого этажа глянул вверх — отец тащил упирающуюся дочку в квартиру, а мать подбирала рассыпавшиеся заколки, пыталась поймать летающие руки Наташи, поцеловать их.

На звонок никто не открыл.

Аркадий пристроился на пожарной лестнице, ведущей на чердак, и от щелчка соседской двери вздрогнул.

Соседка выбросила отходы в мусоропровод, сказала:

— Она ушла, — и уже на пороге квартиры предложила: — Если желаете, зайдите. Он мгновение поколебался, кивнул:

— Благодарю...

В прихожей разделся, сбросил ботинки.

— Можно было и не разуваться, — сказала соседка.

— Следы останутся.

Она насмешливо взглянула на него, согласилась:

— Да, следы лучше не оставлять.

Из своей комнаты выглянула дочка и тут же скрылась.

Прошли на кухню, соседка включила газ.

— Чай, кофе?

— Поесть, если можно.

Она с удивлением и сочувствием посмотрела на гостя.

— Можно.

На столе быстро появились масло, колбаса, сыр, салат. Хлеб был нарезан тоненькими прозрачными кусочками, из-за чего еще больше хотелось есть.

— Прошу.

Аркадий ел жадно, торопливо, не поднимая головы, глаз.

Вошла девочка, настороженно остановилась на пороге. Наблюдала за гостем. Он почувствовал ее взгляд, оглянулся, скривил гримасу, рассчитывая на шутку. Девочка попятилась, бегом бросилась в свою комнату.

— Боится, глупенькая, — объяснила соседка. — Дня без концертов не проходит.

Аркадий перестал есть.

— Думаете, позвонит?

— Сегодня вряд ли. Вроде, успокоилась... — Женщина села напротив. — Простите, а вы кто ей?

— Никто. — Аркадий отложил вилку.

— Как это?.. Случайно?

— На вокзале встретились.

— Интересно, — женщина усмехнулась, кривнула головой.

Аркадий ошетинился:

— Что вам «интересно»?

— Нет, ничего, — соседка заметила реакцию гостя. — Просто я никогда не знакомилась случайно.

— Святая... А вот я, например, зашел к вам случайно.

— Верно, — она засмеялась, — лиха беда начало. — Поставила перед Аркадием чашку для чая. — Аркадий, кажется?

— Кажется.

— Очень приятно. Саша.

Он хмуро посмотрел на нее:

— А врите зачем?

— В чем? — не поняла она.

— Будто вам приятно.

— А если мне действительно приятно? — Саша выдержала его взгляд. — Такое может быть?

Аркадий ухмыльнулся:

— Вряд ли, — и стал не спеша ковырять вилок в тарелке. — Приятного тут мало.

В дверь коротко позвонили. Гость вопросительно посмотрел на хозяйку.

— Не думаю... — ответила она и пошла открывать.

Вернулась скоро, жестом показала на выход:

— Ваша принцесса. Прошу!

Аркадий согнал желваки, резко поднялся. В прихожей обулся, взял одежду, вернулся.

— Моя принцесса знаете где? В сказке! А сказкам верят только в детстве!

Жанна стояла на площадке покорная, виноватая, несчастная. Двинулась следом за Аркадием в свою квартиру.

На кухне некоторое время молча смотрели друг на друга. Он — с раздражением, она — с мольбой.

— Уволили, — сказала Жанна.

— Правильно сделали.

— Ничего не правильно. Один раз человека можно и пожалеть.

— Это ты — человек?

В ее глазах расплылись слезы. Кивнула в сторону:

— Она человек? Да?

— Кто она, не знаю. Но тебе до человека еще далеко.

— Можно подумать, тебе близко... — Вытерла слезы, высморкалась. — Зачем к ней ходил?

— Свататься!

— Только я из дому, сразу к ней?

Аркадий шагнул к Жанне, пальцем брезгливо подел ее под подбородок:

— Ты кто? Жена, мать, дальняя родственница? Кто ты такая, чтоб следить, вычитывать морали, упрекать? Кто ты?!

Она с силой оттолкнула его руку, вышла в прихожую, грохнула чемодан к двери:

— Проваливай!

Аркадий хмыкнул, натянул пальто, шапку, взял чемодан.

— Благодарю за любезность.

Жанна крепко хватанула за рукав, развернула его к себе:

— И запомни: ты — кретин, а я — человек. Человек, понял? — И с силой захлопнула за ним дверь.

Очередь в кассу подошла скоро, Аркадий нагнулся к окошку, крикнул:

— На девяносто шестой до Сергиевска! Один!

Достал деньги, расплатился. Довольный, отошел в сторонку, придирчиво рассмотрел полученный билет. Глянул на большие часы над кассой, направился на перрон.

Не заметил, как в вокзал прошла Жанна. В руке небольшая сумка, в одежде какая-то основательность, готовность к дороге. Метнулась по залу в поисках кого-то, увидела дежурную с повязкой, заспешила к ней:

— Верочка Ивановна... Будет просьба. Помогите.

Та с печальным упреком смотрела на нее: — Ох, Жанна, Жанна... Не советовала б тебе тут маячить.

— А я больше не буду. Уеду скоро... А напоследок просьбочка... — Взяла за рукав, повела ее к окну: — Вон там сидит мужчина на чемодане... Узнайте, бога ради, куда у него билет.

— Новый жених? — засмеялась Верочка Ивановна.

— Последний... Уважьте, Верочка Ивановна.

Дежурная подумала, пошла на перрон. Аркадий увидел направлявшуюся к нему дежурную, напрягся по привычке, непонятно зачем огляделся по сторонам, привстал с чемодана.

Верочка Ивановна подошла, приложила ладонь к красной фуражке:

— Товарищ Иванов?

— Почему Иванов?.. Трегубов.

— А следуете куда?

— До Сергиевска.

— Извините, товарищ Трегубов, ошиблась. Опять откозыряла, вернулась в зал.

— Ну?.. — Жанна жадно смотрела на дежурную.

— Следует до Сергиевска, поезд прибывает через десять минут. А фамилия — на всякий случай — Трегубов.

Жанна благодарно поцеловала руку Верочки Ивановны, заспешила к кассе, кивнула через головы стоявших:

— Томочка, один до Сергиевска... На проходящий. — И полезла в карман за деньгами: — Конечно, общий!

В вагон поднялась последней.

Проводница проверила билет, бросила:

— На свободное.

— А где... свободное?

— Зенки есть, увидишь.

Несмело прошла через тамбур, заглянула внутрь. Народу было под завязку, и со свободным местом, похоже, дело обстояло неважно.

Двинулась дальше, увидела незанятый край полки.

— Можно?

— Занято.

Протолкалась почти до середины вагона, огляделась в поисках места и тут увидела Аркадия. Он сидел на боковой полке, тоже заметил знакомую фигуру, смотрел удивленно и настороженно.

Жанна чуть было не кивнула ему, не улыбнулась как человеку близкому и небезразличному, но вовремя себя одернула, махнула прибирающейся проводнице:

— Так ведь нет свободных!

— Смотреть надо лучше. — Взяла за рукав, потащила обратно.

Довела до того самого незанятого края полки, про который уже спрашивала Жанна, усадила.

— Вопросы будут?

— Простите, — сказал молодой человек в очках, — по-моему, здесь занято.

— А по-моему, свободно!.. — огрызнулась проводница. — Привыкли как бояре ездить.

— А вы знаете, как ездили бояре? — засмеялся парень.

— Я-то знаю, а вот ты узнаешь, когда высажу да покостыляешь порядком по шпалам.

Проводница ушла, Жанна сунула сумку под полку, не знала, как пристроить некрасивые, синюшные руки. На коленях — слишком заметно, по бокам — вроде, не на месте.

— Знаете, — коснулся ее плеча парень, — здесь все-таки занято. Поверьте.

Она молчала.

— Человек ушел и сейчас вернется. Поищите другое место.

Ее начинало разбирать зло.

— Гражданка...

— Я ведь девушка простая, — Жанна резко повернулась к нему, — так по очкам брызну, что осколков не соберешь!

— Извините, понял. — Очкарик слегка отодвинулся. — Понял, с кем имею дело. Извините.

Вагон раскачивало, и женщина возле окна тщетно пыталась напоить свою трехлетнюю девочку чаем.

Парень поднялся и пошел в конец вагона. Жанна оглянулась, как бы желая проследить, куда он, и тут же наткнулась на жесткие, направленные на нее глаза Аркадия.

— Тут, правда, сидел человек,— заметил мужчина в шляпе, которую он почему-то не снимал с головы.— Но что-то давно не возвращается.

— Да оставьте вы ее в покое! — возмущалась женщина с ребенком.— Как звери, честное слово.

По проходу возвращался парень в очках, ведя за собой крепкого и решительного мужчину в дубленке и ондатровой шапке.

Остановились, очкарик показал на Жанну:

— Вот... Ее предупреждали.

— Мадам,— мужчина потерял ее, ткнул пару раз твердым пальцем в плечо,— это мое место.

Она молча приподнялась, передвинулась на место парня в очках.

— А теперь вы сели на мое место,— сказал парень в очках и попросил: — Встаньте, пожалуйста.

Она молчала.

— Встаньте.

Жанна впилась руками в колени, но пока держалась.

— Мадам, вас просят,— опять ткнул пальцем человек в дубленке.— Или вы не понимаете по-человечески?

— По-моему, не понимает,— парень возмущенно задышал.— С такими нужно только по-скотски.

— Это мы можем,— мужчина взял крепкой рукой Жанну за воротник, потянул на себя.— К тому же физиономия у нас начитанная-переначитанная.

Жанна с трудом отцепила его руку, процедила:

— Не смей, кретин!

— Кто кретин?.. Я — кретин?!

Мужчина хватанул ее с такой злостью и так рванул, что Жанна рухнула на пол.

— Что вы делаете?! — закричала женщина с ребенком, а ребенок испуганно заплакал.— Оставьте женщину в покое!

— Это — женщина?.. На рожу глянь — пьянь подзаборная! Быдло!

Мужчина и парень потащили Жанну по проходу в конец вагона, она вырывалась, пиналась, кусалась. Пассажиры не вмешивались, наблюдали со спокойным любопытством и ленью, и лишь на руках у матери продолжала испуганно кричать девочка.

— Вы что, осатанели, гады? — из своего купе выскочила проводница, налетела на обидчиков.— Сейчас же отпустите!

— Во-во! — заорал мужчина.— За порядком надо следить, а не зад отсиживать в купе.

— На себя глянь — в проходе не помещаешься!

— Не имеете права оскорблять! — рванулся парень.

— А ты совести, подонок, не имеешь! — проводница с силой оттолкнула его, поволокла Жанну в свое купе.— С женщиной связался! Сгиньте, кровососы!

Мужчины не давали закрывать дверь, проводница отталкивала их от купе, дергала ручку, а Жанна била ногами, не глядя, бормотала что-то злое, неразборчивое.

Наконец, закрылись. Дышали тяжело, часто.

— Сейчас вызову бригадира,— пригрозила проводница.— Он с ними разберется.

Жанна затолкала волосы под платок и тут же опять рванулась к двери.

— Не-не,— проводница перехватила ее.— Только без хулиганства... Будем дамами воспитанными. Спокойно...

Усадила, налила стакан воды, с жадностью выпила.

— Будешь?

Жанна отрицательно крутнула головой, размотала платок, сняла пальто.

— Жарко...

— Это от драки...— Проводница глянула на нее, рассмеялась:— А ты ничего... Бой-баба!

Жанна усмехнулась:

— Была.

— Есть еще... Забыла — далеко едешь?

— В Сергиевск.

— Домой?

— К мужу.

— Очкарик, по-моему, тоже в Сергиевск. Познакомь с мужем — пусть побеседуют.

Жанна самостоятельно налила в стакан воды, выпила.

— Муж здесь... В вагоне.

Проводница ошарашенно смотрела на нее: — Иди ты.

— Ну...

— И не вступился?

— Как видишь.

Проводница рванулась к двери.

— Ну-ка, покажи мне его!.. Краем глаза глянуть бы на подонка!

— Не надо,— попыталась остановить ее Жанна.

— Надо! — Она ухватила ее за рукав, потащила из купе.— Негодяев надо знать в лицо.— Вывела в проход, скомандовала:— Показывай!

Жанна осмотрела притихший вагон, увидела напрягшиеся лица очкарика и мужчины в дубленке, на мгновение остановилась на неподвижном лице Аркадия, тихо произнесла:

— Не покажу.

— Покажешь! А не покажешь, сами узнаем! — Провела Жанну еще на шаг вперед,

выкрикнула:— Товарищи пассажиры, кто здесь муж этой гражданки?

Пассажиры молчали, смотрели с удивлением и насмешкой.

— Эту гражданку только что унижали! Все видели и молчали. Но самое главное — молчал ее собственный муж. Как трус, как ничтожество, как предатель! Если в тебе осталась еще капля мужской чести, встань и покажись! Бить не будем, но лицо твое запомни! Встань!

Как-то вдруг стало совсем тихо, только еще жестче стучали колеса. Жанна подняла глаза, повела чутьчку в сторону и натолкнулась на побледневшее лицо Аркадия.

— Узнаем, не спрячешься. Считаю до трех. Р-ра-аз... два-а...

Сказать «три» проводница не успела. Состав в этот момент тряхнуло так, что кое-кто даже не удержался на ногах, а с верхней полки рухнул вниз мужчина. Тут же вскочил, никак не мог ничего понять, смотрел на пассажиров со страхом и недоумением.

Вагон дружно грохнул.

— Вот он, явился!

— Совесть проснулась!

— Принимай защитника!

— Испугался?!

Мужчина, маленький, тщедушный, оглядывался на хохочущих людей, ничего не понимал, хихикал, ударял себя по тощим ляжкам, спрашивал:

— Кто испугался?.. Я?.. А чего? Кого защищать? Нападение?!

Люди, словно очнувшись, буквально рыдали.

— Окружают!

— Сам спасайся, герой!

— Свалился на голову...

Жанна, смущенно глядя на хохочущих, потянула проводницу за рукав, попросила:

— Больше не надо, ладно?

Та не ответила, насмешливо смотрела на приближающегося к ней рухнувшего мужичка.

— Чего они? — удивился он. — Что-нибудь не так? Или потому, что упал?

— Невесту тебе нашли, — кивнула проводница на Жанну. — Не хочешь?

Он округленными глазами посмотрел на «невесту», согнулся вдруг пополам, всхлипнул и на полусогнутых пошел прочь.

— Караул, сватают! Да еще на ком! — Поднял руки к потолку, завопил: — Пощадите, я женат! У меня дети-и!

Жанна оттолкнула проводницу, бросилась к тамбуру.

Проводница напрасно пыталась остановить ее, глянула на веселящийся вагон, на кривляющегося мужичка, сама не выдержала, рассмеялась.

— Будьте вы неладны... — махнула рукой и пошла в свое купе.

Жанна стояла в тамбуре, прислонившись лбом к стеклу, тихонько в рукав плакала. За окном уже была ночь, и гиблая беспросветная темнота стремительно убегала в никуда, изредка оживая тусклыми одинокими огоньками.

Вышла проводница, принялась с грохотом перемешивать уголь в печке, подбрасывать свежий. Повернулась к Жанне, сказала:

— Ладно ломаться. Не девочка! Ступай в вагон, околеешь!

Жанна не ответила. Смотрела в черноту, лоб от холода стал легким и бесчувственным.

Проводница закрыла печку, поставила коцергу на место.

— Надоест — придешь. — И ушла.

В спину ударил холод, лягнула дверь тамбура — кто-то прошел из вагона в вагон. Опять тишина, опять толчки на стыках.

А потом случилось совершенно неожиданное. Кто-то сзади крепко и сильно скрутил ее, закрыл перчаткой рот, завел руку за спину, чтоб не сопротивлялась, и ее стали заталкивать на площадку между вагонами.

Жанна упиралась ногами, расставляла локти, пыталась сбросить руку в перчатке, но ее все равно заталкивали, и в какой-то момент, разогнувшись, она узнала мужчину в дубленке и очкарика.

Они смеялись, им было весело, они затолкали женщину на площадку, заставили ее присесть, завязали рот шарфом, веревками скрутили ноги-руки, затем для верности, чтобы не поднялась, прикрепили концы веревки к железной скобе, проверили надежность и, не переставая хихикать, удалились.

— Пусть охладится... Ей это полезно.

Жанна пробовала кричать, выкручивала руки, чтобы освободиться от веревок, пыталась подняться, одна нога попала как раз между лягающими металлическими листами, и она с трудом вытащила ее оттуда.

Площадку трясло и подбрасывало, ветер поддувал сверху, снизу, сбоку. Из-за грохота никто не мог слышать ее мычания, и Жанна успокоилась, затихла, смирилась.

Под вагоном мчалась холодная свистящая ночь.

...Очнулась она оттого, что кто-то старался ее поднять, распутать веревки на руках и ногах, отцепить от скобы. Тело заоченело до такой степени, что Жанна не способна была ни в чем помочь спасителю, только водила головой, шевелила затвердевшими губами, пыталась что-то сказать.

Человек освободил ее, втащил наконец в теплый тамбур, где вовсю гудела раскаленная печка, и теперь Жанна рассматривала его.

Это был Аркадий.

Он поддерживал ее, прижимал к себе, стараясь отогреть, растирал ладони, пальцы. Она все же отстранилась от него, какое-то

время смотрела внимательно и серьезно, улыбулась.

— Кретин... — Опять прижалась, впилась одеревенелыми пальцами в его спину.

Вокзал в Сергиевске был маленький, невзрачный, и редкие пассажиры, сошедшие здесь, как-то быстро исчезли, рассосались в морозном ветреном утре.

Аркадия колотило — то ли от холода, то ли от возвращения на родину.

— Сначала лучше позвонить, — бросил он Жанне, когда они вышли на привокзальную площадь, — вдруг дома никого.

Двинулись к автоматам. Жанна держалась за Аркадием, иногда поворачивалась спиной, прятала лицо от обжигающего ветра и не заметила, как налетела на кого-то.

— О боже!.. — Она подняла голову и от неожиданности остановилась.

Ее знакомый очкарик тоже придержал шаг, удивленно и чуть-чуть испуганно поправил на переносице очки, произвольно едва кивнул: здравствуйте, мол.

— Сережа, не отставай! — резко позвала его немолодая женщина, видимо, мать.

— Бегу! — Он бросился за ней вдогонку, еще несколько раз оглянулся, и во взгляде, в повороте головы был тот же испуг и удивление.

Жанна настигла Аркадия возле телефонных будок, затеребила за рукав:

— Глянь, Аркаша... Оглянись!..

— Погоди ты! — Он оттолкнул ее и продолжал суетливо и бестолково шарить по карманам в поисках монеты.

— Волнуешься? — Она протянула ему двушку.

— Нормально... — вошел в будку, стал тыкать толстыми одеревенелыми пальцами в диск, потом замер. Беспомощно повернул голову к Жанне: — Кажется, забыл... Сейчас вспомню... — Вспомнил, опять было взялся за диск, поманил ее: — Давай лучше ты...

Жанна протиснулась в будку, взяла монету.

— Что сказать?

— Спросишь Марию Григорьевну.

— Жену, что ли?

— Ну да... Вдруг дома... Она сутки работает, трое отдыхает. Диспетчер.

Набрал номер, в трубке густо пошлы гудки, потом монета провалилась.

— Алло... — сказал мужской голос.

Побледневший Аркадий быстро передал Жанне трубку, кивнул.

— Марию Григорьевну, пожалуйста! — попросила она.

— Кто спрашивает?

— С работы.

— С какой работы?.. Она как раз на работе.

— А будет когда?

— Кто спрашивает?

— Подруга спрашивает. Приезжая!..

— Откуда приезжая?

— Издалека!

— Кто это говорит?

— А со мной кто говорит?

Аркадий нажал на рычаг.

— Ты что, дура? То с работы, то приезжая. А потом, какое тебе дело, кто с тобой говорит?

— Но ведь мужик... Кто это?

— Пусть тебя не колышет.

— Как — не колышет? Она что, другого приняла?

— Да пошла ты! — Аркадий вытолкнул ее из будки, принялся опять шарить по карманам в поисках монеты.

Жанна нашла еще двушку, просунула в будку.

— Она на работе.

— Пошла! — Он выхватил у нее монету, закрыл поплотнее дверь.

Стал набирать номер, остановился, резко повесил трубку на рычаг и вывалился из будки, чуть не сбив чемоданом Жанну.

Она двинулась за ним следом. Пересекли привокзальную площадь в обратном направлении, вошли в вокзал, и Аркадий выбрал скамейку в самом конце зала.

Жанна присела в метре от него, следила за каждым движением, молчала.

Наконец он повернул голову в ее сторону, сказал:

— Это Шурыгин. Они три года как снюхались.

Она подвинулась поближе.

— Одно дело — снюхаться, другое — жить в квартире. Сам-то давно из дому?

— Год.

— За год можно много натворить.

Аркадий сжал кулак, потряс им в воздухе:

— Но я же обещал... я же клялся! Вернусь и завяжу! Не поверила, сука! Кобеля привела! А я уже почти год ни грамма!

— А дети?

— Двое... Парень и девка! Но они уже в ее утробе меня ненавидели. С появления на свет были чужими! И все она, стерва!

Помолчали. За окном проплыл прибывший состав, стайка приехавших быстро пересекла зал, и опять стало тихо.

Аркадий поднялся, взял чемодан.

— Ладно, пойдем разбираться.

— А мне можно? — Жанна тоже встала.

— Нужно.

Дом был старый, хрущевский, лифта в нем не было. Пришлось подниматься пешком.

На площадке Аркадий собрался с духом, взял чемодан покрепче, бросил спутнице:

— Не заходи. Если надо, позову. — И нажал кнопку звонка.

Дверь скоро открылась. На пороге стоял плотный человек лет сорока, спокойно смотрел на прибывшего.

— Что нужно? — спросил тоже спокойно, и лишь кадык на горле выдал волнение.

— Нужно войти, — сказал Аркадий и попытался сделать шаг через порог.

Шурыгин выставил вперед колено:

— Зачем?

— Как это зачем?.. Ты знаешь, кто я?

— Не знаю.

— А я сейчас объясню. — Аркадий поставил чемодан и вдруг с силой толкнул Шурыгина в грудь. — По-мужски объясню.

Тот устоял, негромко произнес:

— Не надо... Коля приболел, спит.

Аркадий оглянулся на Жанну, ухмыльнулся:

— Гуманист. О чужих детях переживает... — И опять толкнул Шурыгина: — Что с сыном?

— Грипп... — Шурыгин напрягся, слегка пододвинул корпусом вперед, попросил: — Не надо, Аркадий. Иди своей дорогой... Спутница есть, иди.

— А откуда тебе знать, где моя дорога? — Он ринулся на Шурыгина, вцепился в сорочку, пробовал сдвинуть его с места. — И кто моя спутница? Кто дал тебе право определять?

— По-хорошему просишь, не понимает...

И тут Шурыгин толкнул его. Толкнул так, что Аркадий отлетел к двери напротив, крепко ударился спиной.

— Ты что, кретин? — Жанна бросилась на обидчика. — Кого ты толкаешь? Отца детей толкаешь?!

— Ну, Шурыгин, держись!

Аркадий с разбегу налетел на него, вдвоем с Жанной они пытались прорваться в квартиру, а Шурыгин спокойно и сильно оттеснял их к ступенькам, успевая отбрасывать ногой их вещи.

Дверь напротив открылась, выскочила молодая женщина в халате, закричала:

— Вернулся, долгожданный? Опять концерты устраиваешь?! А с милицией не хочешь побеседовать?

Вдруг Шурыгин опустил руки, смотрел на лестницу.

Остальные остановились тоже.

На площадку ступила худенькая девочка лет двенадцати с портфелем в руке, удивленно посмотрела на соседку, на Аркадия с Жанной, перевела взгляд на Шурыгина:

— Что, дядь Саша?

Он смущенно улыбнулся, пожал плечами:

— Нормально... Там потише, Коля уснул. Девочка кивнула, направилась к квартире.

— Дочь! — позвал Аркадий.

Она оглянулась, на пороге задержала шаг. В глазах вздрогнули враждебность, испуг.

— У Коли температура под сорок. Пусть поспит... — Она переступила через порог, еще раз оглянулась: — А нам все это время было хорошо.

В полумраке прихожей появился мальчишка лет пяти с помятой пижамке, босиком, сестра быстро подхватила его на руки. Оглянулась в последний раз, мальчишка ничего не понимал со сна, смотрел на людское сборище.

Шурыгин не спеша собрал разбросанные вещи Аркадия и Жанны, поставил их к стенке, показал соседке, чтоб не волновалась и шла домой, вошел в свою квартиру и плотно закрыл за собой дверь.

Присутствовать при разговоре с женой Аркадий не разрешил.

Жанна стояла на автобусной остановке, которая находилась как раз напротив проходной железобетонного завода, видела отсюда два силуэта, ждала окончания встречи терпеливо, зло.

От мороза и непрекращающегося ветра озябла до такой степени, что пришлось достать из сумки еще один платок, обмотать им голову. Переступала с ноги на ногу, подпрыгивала, хлопала руками, а силуэты все маячили за стеклом.

Наконец Аркадий вышел из проходной. Жанна махнула ему, он отрешенно глянул в ее сторону и медленно побрел в противоположном направлении.

Жанна рванула через улицу. Догнала — не заговорила, а закричала:

— Какого черта ты от нее хочешь?! Она положила на него с прибором, а он лезет, выясняет, унижается. Хоть бы капельку гордости имел!

Он не отвечал, продолжал шагать быстро, сосредоточенно. Жанна не отставала:

— Слепой, да? Мужика в квартиру пустила, а ты все еще на что-то рассчитываешь? Кретин! Да и я дура. Жду мерзавца, высматриваю. А спроси, зачем — сама не ответи.

Аркадий вдруг остановился, посмотрел на нее, закрыл лицо руками и, уткнувшись лицом в шершавую заводскую стену, заплакал отчаянно и горько.

Жанна растерянно смотрела на вздрагивающую спину. Осторожно притронулась:

— Ты чего, Аркаша?.. Я не хотела, извини...

Он повернул к ней мокрое лицо, прокричал:

— Все! Понимаешь, все! До этого на что-то рассчитывал, а теперь — все! Ни детей, ни семьи, ничего. Понимаешь?

— А может, еще поговоришь?

— Бесполезно... — Он вытер локтем лицо. — Не поможет. Во-первых, надо знать ее

характер. А во-вторых, дети... Слышала, что дочка заявила? А разве я виноват, что пил? Разве только моя в этом вина?! — Он ударил несколько раз по шершавой стене кулаками. — Боже, что же теперь? Как же дальше?..

Жанна обхватила его сзади, уткнулась в спину.

— Ничего, Аркаша, успокойся. Все будет хорошо... Ничего.

К вечеру ветер разгулялся еще сильнее, мороз стал колючим и обжигающим, и находиться на улице в такую погоду было невыносимо.

Аркадий идти не мог. Тяжелым, управляемым кулем валился он на Жанну, а она каким-то чудом умудрялась поддерживать его, в стельку пьяного человека, и тащить сумку и чемодан. Идти до вокзала оставалось совсем немного.

— Ну, давай... Еще немножечко, и придем. Вот, ей-богу, беда какая.

Остановилась, принялась растирать заочневшее лицо, руки Аркадия, подышала на собственные ладони.

— Улица Комарова... дом тридцать пять... квартира пятьдесят шесть... — с трудом выговаривал Аркадий и старался смять, расцарапать лицо Жанны. — Четвертый этаж... Запомнила? Сейчас пойдем туда... Мы поговорим с ними. Обо всем поговорим.

— Конечно, поговорим... — Она поволокла его дальше. — Нам сейчас только разговоров и не хватает.

Аркадий сильно оттолкнул ее:

— Послушай, ты, макака! Кто ты такая? И вообще, что тебе от меня нужно? Пошла вон, паскуда!

Жанна пыталась удержать, остановить его, а он вырывался, затем не устоял, упал тяжело, с хрустом. Жанна бросилась поднимать его.

— Ну, глупый... Вот глупый... Что же ты так неосторожно?

— Тоже тварь! Пошла!

— Пойду. Обязательно пойду. Вот доберемся до теплого, и пойду.

С трудом поднялись по ступенькам вокзала, кое-как протолкались в дверь и оказались в полупустом зале.

Аркадий рухнул на ближнюю скамью, распластался на ней, захрапел громко, с присвистом.

Пассажиры отсели подальше, кто-то из мужчин сострил:

— Устал, бедолага...

Засмеялись. Жанна села на скамью, положила голову Аркадия себе на колени. Вытерла запекшуюся слюну на губах.

В конце зала появился милиционер. Подошел, нехотя ткнул пьяного.

— Твой?

— Мой... — Жанна просяще смотрела на него.

— Убери.

— Куда? Там же холодно.

— Убери. Иначе мы уберем.

— Но ведь замерзнет человек! Разве он кому мешает? Спит себе, ну и пусть спит. Господа как-нибудь переживут.

— А госпожа тоже ничего, — заметил кто-то из сидящих. — Два сапога пара.

— Не пара! — Жанна вскочила. — Если хотите, я ему никто! Случайная! Из жалости притащила. Из человечности!

В зале опять засмеялись:

— Вот он где, гуманизм...

— Ну ладно, — заключил милиционер и решительно двинулся к своей комнате.

— Ну правда, пожалуйста... — Жанна пошла за ним. — У него беда... Такая беда, что не дай бог.

— Сейчас поможем беде.

Сержант сел за стол, стал набирать номер. Жанна остановила его руку.

— В чем дело? — он сурово посмотрел на нее.

— Сынок... Прошу, умоляю... Его жена бросила. Привела другого, а его бросила. Выгнала! Неужели хотя бы это нельзя понять?! Была жена, были дети, а теперь никого. Да еще кобелина в квартире поселился. Как тут не напиться?! Пожалей, сынок. Полчаса поспит, и уведу. Ага?..

Милиционер помолчал, взглянул на часы: — Полчаса, и ни минуты больше.

— Чтоб мне с места не сойти!

Жанна на радостях хотела было приложиться к руке сержанта, но он смущенно отдернул руку:

— Ладно, час.

Жанна выскочила из его комнаты, побежала в конец зала, где оставила Аркадия, и не увидела его. Растерянно огляделась.

— А где ж?.. Товарищи, не видели? Где ж?..

— Ушел. Душиновато, говорит.

Выскочила на ступеньки. Пурга не унималась, и ни одной живой души кругом видно не было.

— Аркаша! Аркадий!

Слетела вниз, пересекла площадь. Заметила в переулке мужскую удаляющуюся фигуру, побежала за ней.

— Аркадий!

Догнала, забежала наперед. Мужчиной оказалась молоденькая девушка в ушанке и ватных брюках.

— Пьяного не видела?.. Только что?!

Девушка с радостным удивлением вспомнила, показала рукой:

— На путях. Лез в пустой состав... Помочь, может?

Жанна отмахнулась, побежала обратно.

Пустой состав стоял на заснеженных путях. Она, спотыкаясь и падая, добралась до него, попыталась забраться хотя бы в один вагон, не вышло. Двери были заперты. Отчаянно, в страхе за самое худшее, Жанна крикнула:

— Аркадий!..

И тут увидела его. Он стоял на пустых дальних путях, и в его виде было что-то необычное. Пригляделась и сразу поняла — Аркадий был раздет до нижнего белья.

Стоял выпрямившись. Ледяные языки пурги обхватывали его тело, одевали в белую сыпучую одежду, и издали он был похож на призрачный снежный столб. Столб неподвижный, вытянутый, замерзший.

— Ты что?! — завизжала Жанна и не помня себя бросилась к нему. Обхватила, сдвинула с места, потащила по путям. — Ты что? Совсем?!

Он вцепился в ее платок, рванул к себе так, что она с трудом удержалась на ногах, закричал:

— Я не хочу жить!.. Я не хочу жить!.. Я не хочу жить!..

Жанна снова обхватила его, снова поволокла дальше, и снова он что-то кричал, вырывался, проклинал себя и все на свете.

Из вагона пустого состава выпрыгнула женщина, подобрала одежду Аркадия, подхватила его с другой стороны, и Жанна узнала в ней проводницу, с которой ехала сюда.

Вдвоем дотащили мечущегося человека до открытой двери вагона, с трудом подняли наверх, довели до купе проводницы, уложили на нижнюю полку.

Он уже не сопротивлялся, лежал покорно и тихо, а женщины стояли рядом и никак не могли отдышаться.

— Здравствуй, — запоздало и, в общем, ни к чему поздоровалась Жанна.

Проводница кивнула, покачала головой:

— За какие такие грехи мучается человек? Прости его, господи.

Состав стоял на путях, за окнами продолжалась снежная круговерть. Жанна и проводница сидели в пустом вагоне, пили невкусный дорожный чай. Говорили тихо, чтобы не разбудить Аркадия.

— И что, — Жанна с недоверием смотрела на проводницу, — так и живешь в вагоне? Неужели даже комнатухи нет?

— А какой мне смысл врать? — Та медленно водила чайной ложкой в стакане. — Обещают... А обещанного, сама знаешь, сколько ждать нужно.

— Детей не было?

Проводница не ответила, продолжала позванивать ложечкой.

— Может, поэтому и привел он эту шалаву?

— Поэтому или по-другому, но как застучала их в одной койке, ноги моей больше там не было.

— А он так и живет с ней?

— Живет...

В купе проводницы что-то со звоном упало, и проснувшийся Аркадий стал рвать дверь, пытаясь ее открыть.

Жанна торопливо достала из-под полки бутылку вина, прихватила стакан и бросилась в купе.

Проводница никак не прореагировала на случившееся, по-прежнему размешивала давно растворившийся сахар, не сводила остановившегося взгляда с золотистой жидкости в стакане.

В купе еще некоторое время бушевал и протестовал Аркадий, потом все утихло, и Жанна вернулась.

— И куда ты его теперь? — спросила проводница.

— К себе... А куда еще?

— Завидую, — проводница подняла глаза. — Честно... Нашла свое.

Жанна смутилась, махнула рукой.

— А может, чудное. Сейчас главное — помочь человеку. Например, как его довести?

— Доведем. Пусть маленько оклемается.

Днем Жанна умудрилась купить в привокзальном магазине все, что могло понадобиться в дороге — и свежую колбаску, и мягкий хлебушек, и даже пару бутылок пива.

Пересекла площадь, выскочила на перрон, увидела здесь прибывший состав, полностью перегораживающий дорогу к запасным путям.

Пригнулась, чтобы пролезть под вагоном, на всякий случай оглянулась, и тут совершенно случайно увидела «своего» очкарика.

Его провожала та самая женщина, что и встречала, говорила о чем-то ласково и просительно, не сводила с парня нежного, влюбленного взгляда.

Жанна выбралась из-под вагона, стала издали наблюдать за прощающейся парой.

Женщина первой почувствовала чей-то взгляд, повернула голову и столкнулась с твердыми, неподвижными глазами Жанны. Что-то сказала сыну, тот оглянулся, узнал почти мгновенно, потому что сжался, задревенел, испугался.

Жанна двинулась к ним. Шла ровно, спокойно, направленно, и мать, предчувствуя что-то, взяла сына за руку.

В двух шагах Жанна остановилась. После паузы спросила:

— Сын?

Женщина кивнула.

— Хороший... — Она подняла руку, мед-

ленно повела ее к лицу очкарика.— Поглажу, можно?

Лицо парня покрылось испариной, мать еще крепче сжала руку сына, а Жанна нежно, осторожно провела ладонью по розовому лицу очкарика, подтвердила:

— Хороший...— и медленно пошла прочь.

— Долго ходишь! — крикнула проводница, затаскивая в вагон тяжелые тюки с постелью.— Дали другой маршрут — сейчас отправление.

— А как мой? — Жанна засуетилась, заервничала, испугалась, мигом стала помогать.— Спит или проснулся?

— Проснулся. Хотел даже помочь.— Они тащили тюки по проходу вагона.— Слабый еще очень.

Затолкали тюки в специальное отделение, проводница стала сверять написанное на тюках с квитанциями, Жанна бросилась в купе, где ее ждал Аркадий.

При ее появлении он поднялся, виновато и беспомощно улыбался, жадно смотрел на сумку в руках Жанны.

— Как? — Она поставила на стол кефир, выложила хлеб, под конец достала пиво.

— Плохо...— Аркадий дрожащей рукой дотянулся до пива, тут же открыл бутылку о столик, пил ненасытно, задыхаясь.

Вошла проводница, протянула Жанне два билета:

— Отправление ночью... В разных, правда, купе, но там поменяется.

— А деньги? — та принялась торопливо шарить в сумке.— Деньги я сейчас.

— Успокойся,— проводница остановила ее.— Мне так надо.

— Серьезно?.. Так надо? — Жанна от благодарности готова была расплакаться.— А зовут тебя хоть как?

— Допустим, Маша... Какое это имеет значение?

Пожилая недовольная проводница посветила фонарем на билеты, перевела фонарь на лицо Аркадия.

— Учти,— предупредила,— будешь безобразничать, высажу.

— Не будет,— торопливо заверила Жанна.— Он спокойный у меня, не будет.

— Деньги за постель сразу.

— Конечно, мы не возражаем.— Она отдала два рубля, скорчила просительную гримасу: — А нельзя, чтобы в одном купе?

— Садитесь согласно купленным билетам.

— Спасибо. Так и сядем, спасибо.

Мороз к ночи покрепчал, руки прямо-таки липли к поручням. Жанна помогла Аркадию подняться, забралась сама, еще раз зачем-то поблагодарила хмурую проводницу:

— Спасибоочки.

— Ступай уже,— отмахнулась та.— Культурная нашлась.

Жанна открыла первое купе, здесь спали одни женщины, прикрыла дверь.

— Одни бабоньки, пойдем дальше.

В следующем купе было трое, и все трое были мужчины. Один спал на верхней полке, двое других сидели при тусклом свете на нижних, глядя друг на друга в упор.

При появлении Жанны и Аркадия сидящие повернули к ним головы, верхний тоже проснулся, привстал на локте.

— Мужчины,— сказала Жанна,— я с мужем... С больным. У нас разные места. Может, кто-нибудь поменяется? К тому же, там одни женщины. Веселее будет.

Молчал тот, что наверху. Молчал второй, устало и мрачно глядя на вошедших. А третий, худой, коротко стриженный, державший правую руку под столиком, потянул вдруг эту руку чуточку к себе, и оказалось, что она прикована к ножке стола наручниками.

— Я бы с удовольствием, дорогая, но, как видите, условия не позволяют.

Сидевший напротив толчком ноги заставил арестованного спрятать прикованную руку, кивнул тому, что наверху:

— Спи. Через час разбужу.— И показал Аркадию:— Ваше место верхнее. Располагайтесь.

Мчался поезд в ночи, корчился от боли и мук на верхней полке Аркадий, душил в себе стон и плач, смачно похрапывал напротив отдыхающий охранник, а внизу, при тусклом освещении, не спали двое — один прикованный, второй — стороживший. Не спали, глядя друг на друга напряженно и устало.

К Жанниной квартире поднимались долго и мучительно. Аркадий через каждые пять ступенек останавливался, смущенно улыбался, задышался, присаживался на чемодан. Затем Жанна подхватывала его под мышки и тащила дальше.

Встречавшиеся соседи сторонились, давая им пройти, оглядывались удивленно и с насмешкой. А Вовка из пятьдесят третьей даже предложил свои услуги:

— Теть Жанн! А если я чемоданчик?!

— Сами,— отказалась она.— Как-нибудь сами. Уже рядышком.— Ей доставляло удовольствие, что она сама, самостоятельно тащит этого тяжелого человека.

Добрались наконец до верхнего этажа, открыли квартиру, и в это время щелкнула дверь напротив.

Оглянулись одновременно — и Жанна, и Аркадий.

На площадке стояла Саша. Чистая, аккуратная, в короткой белой шубке.

— Здравьете, — сказала она весело. — С приездом. Рада вас видеть.

Жанна не поняла, кого она рада видеть, бросила взгляд на смутившегося Аркадия, хмыкнула:

— Взаимно, — и поинтересовалась: — Никто не приходил?

— Наташа... Два дня тому.

Во сне Аркадий метался, скрежетал зубами, стонал.

Жанна сидела рядом, вытирала мокрый лоб больного, неловко приподнимала тяжелую голову, давала попить. И когда Аркадий слегка успокаивался, протягивала руку к его лицу и нежно касалась горячей небритой мужской щеки.

В дверь позвонили резко и неожиданно. Аркадий вскочил на постели, водил круглыми испуганными глазами и в бреду ничего не мог понять.

Жанна уложила его, прошептала:

— Не бойся, это ко мне.

Открыла дверь, на площадке стояла Наташа, радостная, улыбающаяся, трезвая.

— А я по окнам узнала, что дома... Можно?

Жанна посторожилась, дала ей возможность войти. В комнату не пустила, предупредила:

— Туда нельзя, — направила на кухню.

— А кто там? — шепотом поинтересовалась Наташа.

— Человек. — Жанна смотрела недовольно: — Поздно ходишь.

— А я уже три дня не живу дома. Ушла... Совсем ушла.

— И что дальше?

— Не знаю. К вам пришла.

Жанна выдержала ее взгляд:

— Зачем?

— Погреться. Отогреюсь, а там как-нибудь устроюсь... Можно отогреться?

— Можно. — Жанна продолжала в упор смотреть на нее. — Но лучше греться дома.

Наташа пожалала плечами, растерянно улыбнулась:

— Мне их жалко, понимаете? И отца, и маму. И я поклялась... Пока не брошу пить, дома не появлюсь. Понимаете? Жалко.

Жанна побагровела:

— Их жалко? А больше никого? Меня, например... Не жалко?! А я, между прочим, тоже человек. И тоже, между прочим, имею право на жизнь! — Она потеряла контроль, перешла на крик: — Жизнь собачья осточертела! Осточертели собачьи пьянки! Осточертело жить так, будто и не было жизни вовсе! Если всем глубоко наплевать на меня, то мне — глубоко нет! Я хочу жить.

Понимаешь, жить. Не такая я старая, чтоб сдохнуть. Мне жалко себя!..

В дверях кухни появился растерянный Аркадий. Жанна бросилась к нему, обняла, обхватила, прижала, повела обратно.

— Что, миленький?.. Что, родной?.. Что, единственный?!

Уложила в постель, изо всех сил обхватила руками, замерла, и только по спине можно было понять, с каким трудом удастся ей сдержать плач.

Пришла в себя, когда стукнула входная дверь. Вскочила, бросилась на площадку — внизу часто стучали затихающие шаги.

— Наташа!

Хлопнула дверь в подъезде. Жанна метнулась в квартиру, из окна кухни увидела тоненькую фигуру, пересекающую заснеженный пустынный двор.

Проснулся Аркадий оттого, что глаза резал яркий дневной свет. Попробовал подняться на постели — тяжело.

— Эй! — позвал. — Жанна!

Не ответили. Сбросил ноги на пол, тяжело поплелся на кухню.

— Эй!

Дома никого не было. Аркадий вышел в прихожую, ватник его висел, чемодан стоял здесь же. Полы были вымыты, выскоблены.

На площадке щелкнул громко замок, и звонкий голос соседской девочки позвал:

— Мамочка, мы опоздаем! Долго ты там? Аркадий замер.

— Бегу, доченька! — Дверь хлопнула, шаги простучали и растворились.

Он на цыпочках перешел на кухню, из окна увидел Сашу в белой шубке и дочку, волчком вертевшуюся вокруг нее.

Они весело пересекали двор, мать убегала от девочки, а та догоняла ее и пыталась попасть в снежок.

В прихожей что-то стукнуло, Аркадий от неожиданности вздрогнул. На кухню уже входила Жанна, уставшая, нагруженная сумками с продуктами, улыбающаяся.

— Видел меня, да? Я тоже тебя заметила... — Поставила сумку в угол, подошла к нему, прижалась: — Не чаяла, когда домой приду. — Подняла повлажневшие глаза: — Как ты?

— Нормально...

Аркадий освободился от ее рук, присел на стул. Жанна стала доставать продукты.

— Есть новость, Аркаша. Хорошая... — Выдержала паузу, не без интриги сообщила: — Восстановили на работе. Да!.. И знаешь, кто? В первую очередь, Галина Федоровна. Та самая, что познакомила нас. Как увидела, так и бросилась ко мне. Как к родной. Без тебя, говорит, и вокзал не вокзал. Даже аванс выписали.

Что-то вспомнила, бросилась в прихожую, вернулась с конвертом в руке:

— И еще — письмо от Нинки. От дочки!.. Приглашает в гости. Поедем вдвоем?

— Когда?

— Ну не сегодня же. Выздоровеешь, придешь в себя, и поедем. Согласен? — Опустилась перед ним на колени, прижалась к ногам, подняла голову: — Аркаша, если бы ты знал... Господи, Аркаша...

Аркадий как раз брился, когда в дверь позвонили. Отложил помазок, бритву, пошел открывать. Нагнулся к замочной скважине, узнал Сашу, напрягся. Открыл дверь резко, решительно:

— Здравствуйте...

— Да, — она тоже смутилась. — Вы одни дома?

— Один.

— А не очень заняты? Там у меня кран.

— Сейчас.

Вернувшись в квартиру, вытер полотенцем остатки мыла на лице, натянул свитер и вышел из квартиры, не заперев ее.

Саша провела его в ванную, показала на кран, из которого текла тоненькая струйка.

— Второй день не приходят сантехники. Не посмотрите?

Аркадий молча подтянул рукава свитера, взял приготовленные плоскогубцы, стал откручивать гайку.

— Что-нибудь еще нужно? — спросила Саша.

— Достаточно.

Пальцы не гнулись, не слушались, и оттого, что за спиной мягко дышала эта маленькая, чистая, уютная женщина, Аркадий двигался неуклюже, неповоротливо, неумело.

— Дочка в школе?

— Да. Каникулы кончились, теперь опять школа.

— Какой класс?

— Первый... А Жанна?

— На работе.

В кране износилась прокладка, он заменил ее, подмотал под резьбу пакли. Открыл, закрыл — кран работал легко.

— Все.

Саша улыбнулась:

— Что значит — мужчина. Спасибо.

Аркадий сложил инструменты, передал ей, и от соприкосновения рук его бросило в жар.

— Не стбит. — И он решительно двинулся в прихожую.

Она задержала его:

— Чайку не хотите?

Остановился, подумал, кивнул:

— Ладно.

Пришли на кухню, Саша принялась хлопотать у стола, ставила чашки, печенье, са-

хар, а Аркадий сидел на стуле и рассматривал ее ладную аккуратную фигуру, ловкие нежные руки.

Она чувствовала его взгляд, иногда улыбалась ему и двигалась еще изящнее, женственнее.

— Вы уезжали и вернулись. Почему?

Он пожал плечами:

— Жизнь.

— Что-нибудь там не так?

— Так, как и должно быть.

— Дети, наверно, остались, жена?..

— Остались. И дети, и жена, и еще кое-кто.

— Извините.

— Извиняю... — Аркадий положил себе две ложки сахара, стал размешивать. — Получается, нас ждут вовсе не там, где нам хочется.

Саша села напротив, тоже взяла сахарницу.

— К сожалению... — Подняла глаза, спросила: — Хотите, я что-то скажу?

Почему-то пересохло горло, он проглотил колющий ком, кивнул.

— Я рада, что вы вернулись.

— За кого рады?

— Еще не поняла. Но что рада — точно.

Оба молчали, оба неспешно размешивали в чашках сахар, оба не смотрели друг на друга.

В дверь позвонили. Саша быстро взглянула на часы.

— Это не дочка.

Аркадий поднялся:

— Я в ванную. Можно?

— Да.

Саша подождала, когда за гостем закроется дверь в ванную, пошла открывать.

Это была Жанна.

— Где он?

— Кто? — Саша удивленно смотрела на нее.

— Аркаша. У тебя?

— Почему вы так решили?

— Решила, потому что знаю. Позови!

— Его у меня нет.

— А почему дверь открыта? — кивнула Жанна на дверь своей квартиры.

— Вам лучше знать. Я пока еще не обязана следить ни за вашей дверью, ни за вашими друзьями.

Захлопнула дверь, вернулась к ванной. Аркадий стоял в темноте, ждал.

— Она, Жанна.

Он вышел, какое-то время они молча стояли друг против друга, вдруг Аркадий решительно обнял ее, стал целовать жадно, отчаянно.

— Саша... Сашенька... Саша...

Она сопротивлялась, отталкивалась, не давалась.

— Что вы? Аркадий...

Обмякла, повисла на его руке, и они

стали целоваться, забыв обо всех, потеряв себя.

С площадки доносился обеспокоенный голос Жанны:

— Аркаша! Ты где, Аркаша?! Аркаша!

Саша отстранилась:

— Потом... Потом, ладно?

— Когда?

— Потом.

На цыпочках она подошла к двери, прислушалась. Быстро пробежала на кухню, глянула во двор. Из подъезда выскочила Жанна, в панике стала оглядывать двор.

Саша бросилась к Аркадию. Сорвала со стены какой-то ключ, сунула ему.

— Ключ... От чердака! Скажешь, искал что-то... На чердаке искал! Быстро!

Аркадий выскользнул из квартиры Саши, поднялся по железной лестнице, ведущей на чердак, дрожащей рукой открыл замок и оказался в огромном темном чердачном помещении. Сделал несколько шагов, прислушался.

Жанна уже поднималась:

— Аркадий!

В полумраке он нашел чей-то старый башмак, сунул под мышку, направился к освещенному люку.

— Аркадий!..

— Чего? — он выглянул из люка, спокойно смотрел на поднимающуюся Жанну.

— Ты где был?

— А ты не видишь?

Аркадий сбросил башмак на площадку, неторопливо стал спускаться сам. Спрыгнул, отряхнулся от пыли, паутины. Жанна настороженно следила за ним.

— Что ты там делал?

Он не ответил, подобрал башмак, направился в квартиру.

— Тебя, кретин, спрашивают: что ты там делал? Глухой?! — Жанна вошла следом.

Аркадий оглянулся, спокойно ответил:

— По хозяйству, — и принялся сосредоточенно изучать принесенный башмак, присев на единственный стул.

— А ключ? — Жанна сняла с гвоздя ключ, покрутила перед самым лицом Аркадия: — Ключ где взял?

Он молчал, продолжал возиться с башмаком.

— Где ключ взял?! — заорала она.

Аркадий укоризненно посмотрел на нее, тихо попросил:

— Не сходи с ума, — и через паузу объяснил: — Там было не заперто.

Жанна постояла над ним, отбросила ключ и вдруг стала целовать его голову часто и виновато:

— Извини, ладно? Дура... Полная дура...

Кретинка! Извини! — Вспомнила что-то, рассмеялась: — А я, знаешь?.. Думала, что ты у этой... У мочалки... У соседки! Даже

хотела обмыслить устроить! Представляешь? Во, кретинка! — Заставила его поднять голову, посмотреть на нее. — А зачем тебе ботинок?.. Он же ни к чему.

— Краны хочу починить.

Она опять рассмеялась:

— А чего их чинить? У меня краны нормальные — Васька-сантехник постарался! Лучше ей почини! — кивнула Жанна в сторону соседки. — У нее вечно протекают! — Обняла его голову, прижала к себе: — Не отдам. Никому и ни за что... Для меня дороже человека нет.

— А дочка?

— Была. Когда-то... А теперь ты... Ради тебя я живу.

Аркадий не спал. Хотя дыхание было размеренное, сонное, через щелочки глаз он видел, как собиралась на работу Жанна, как тихонько ходила она по комнате, боясь его потревожить, как писала записку и положила рядышком — на полу — с его постелью.

Хлопнула дверь, щелкнул замок, и в квартире стало тихо.

Он поднялся, взял записку: «Аркаша, будь дома и отдохай, тебе это полезно. Я тебя заперла. Жанна».

Аркадий смял бумажку, подошел к двери, подергал — действительно заперта, и на стене никаких ключей.

От злости и бессилия двинул ногой по собственному чемодану, опустился на пол, стал думать, что предпринять.

На кухне выдвинул один ящик, второй. Пошарил под мойкой, где стояло мусорное ведро. Перебрал нехитрую кухонную утварь и тут нашел то, что искал. Нож!

Включил в прихожей свет, осмотрел внимательно замок и принялся отворачивать шурупы, крепко и глубоко загнанные в дерево.

Нож соскальзывал, шурупы поддавались с трудом, пальцы дрожали от напряжения, лоб покрылся испариной.

Наконец крышка замка была снята, Аркадий отвел «собачку», и дверь открылась.

Выглянул на площадку, прислушался, прошел к двери напротив. Позвонил. Какое-то время никто не отвечал, затем голос Саши спросил:

— Кто?

— Я.

Открыла, он тут же двинулся к ней. Саша выставила защитно руки:

— Нет, нет... Умоляю, нет... Я боюсь...

— Дома никого.

— Все равно. Она сожжет, убьет, отравит. От нее всего можно ждать.

— Но как же?

— Не знаю... Во всяком случае, не здесь.

У меня дочка... Где угодно, только не здесь.

— Где?

— Сейчас... Подождите, я подумаю... — Саша терла пальцем виски. — Надо сосредоточиться.

Аркадий ждал. Она опустилась на тумбочку для белья, виновато улыбнулась:

— Не могу. Не получается... Предложите что-нибудь сами.

— В парке. После обеда.

— После обеда я работаю.

— Завтра с утра. Тоже в парке.

— В каком?

— В любом. Вам лучше знать, в каком.

— Хорошо. — Саша поднялась. — Три квартала отсюда — парк Чкалова. В десять утра. При входе.

Аркадий снова шагнул к ней, она попросила:

— Не надо сегодня... Лучше завтра. Завтра встретимся и обо всем спокойно поговорим. Прошу... — И дрогнувшим голосом добавила: — Я не спала всю ночь.

Аркадий вернулся в квартиру Жанны, собрал шурупы и крышку от замка и принялся старательно пристраивать все это на место.

Жанна пришла с работы позже обычного. Закрывает дверь, заглянула в комнату, где на кровати лежал Аркадий.

— Привет!.. Ну, как в одиночестве?

— Нормально.

— Недельки две отдохнешь, а там и про работу надо подумать. — Сняла пальто, сапоги, платок, предупредила: — Не вставай, у меня для тебя подарок.

Аркадий слышал, как она шелестела бумагой, стряхивала что-то. Затем в дверном проеме появилось серое мужское пальто, рядом с ним такого же цвета костюм, и из-за всего этого вынырнуло счастливое лицо Жанны.

— Ну как? Чего скажешь? — она прямо-таки светилась. — В кредит купила. На полгода...

Аркадий, пораженный, поднялся, смотрел на принесенные подарки и не знал, что делать.

— Одевай, Аркаша! — кричала, радуясь, Жанна. — Будешь у меня стопроцентным жельтменом! У Жанки мужик должен быть с иголочки!

Утром, когда за Жанной защелкнулась дверь, Аркадий вскочил с постели и из окна кухни проследил, пока она не скрылась под аркой дома напротив, проверил на всякий случай дверь — как и вчера, она была заперта.

От волнения его бил озноб.

Хоть и быстро, но тщательно побрился, хорошенько почистил зубы, помылся по поясу, стал прикидывать, во что одеться.

Снял с гвоздя купленный Жанной костюм, достал из чемодана сорочку, оделся, и сам вдруг почувствовал, каким другим человеком он стал в этот момент.

Привычным манером открыл дверь, прислушался к звукам на лестничной площадке, в пару длинных шагов достиг двери напротив. Хотел было позвонить, но передумал. Глянул на часы — они показывали всего половину девятого.

Вернулся в квартиру, попил прямо из-под крана холодной, до зубной боли, воды, снова прошел в прихожую, прислушался. Тихо, спокойно, беззвучно.

Решительно снял с гвоздя серое новое пальто, сунул ноги в ботинки и вышел из квартиры, плотно прикрыв за собой дверь. Покашлял громко и призывно, пошаркал ботинками о тряпку возле порога и стал неторопливо спускаться вниз.

Саша пришла к парку Чкалова минута в минуту.

Аркадий к тому времени достаточно уже промерз, поглядывал на часы нетерпеливо и с надеждой и, когда знакомая фигурка в белой шубке мелькнула в ближнем узком переулке, напрягся, сделал несколько шагов навстречу.

Саша прошла мимо не останавливаясь, он двинулся следом, и лишь когда главный вход скрылся за поворотом аллеи, остановилась, протянула навстречу ему руки:

— Здравствуй!..

Аркадий схватил ее руки, прижал к себе, и некоторое время они стояли неподвижно.

— А я тебя не сразу узнала, — сказала Саша. — Очень идет серый цвет.

— Боялся, что не придешь. — Аркадий приложил ее ладони к лицу. — Страшно боялся.

— Глупенький, — она засмеялась. — Как же я могла не прийти?.. Вот глупенький.

Они двинулись по аллее дальше, увидели пустую заснеженную скамейку, не сговариваясь, сели.

— Саша, — сказал Аркадий, — я сошел с ума. Со мной такого еще не было.

— Со мной тоже. — Она провела ладонью по серому сукну пальто. — Но главное, я не вижу выхода.

— Почему?

— У тебя есть семья.

— У меня нет семьи.

— Допустим. А Жанна?

— Что — Жанна?

— Ты живешь у нее.

— Я уйду.

— Куда?
— К тебе.
— У меня дочка.
— Это будет и моя дочка.
— Но ты живешь у Жанны!
— Ну и что? Что из этого?! Какое это имеет значение, у кого я живу?!

— Она нашла тебя.
— Я не вещь.
— Но пойми! Ты для нее — всё!
— Пойми и ты меня... — Аркадий взял ее руки, сжал до белизны. — Для меня ты — тоже всё! Я уже не мальчик — за сорок. И пора понять, для чего я живу. Не скрою — пил. Крепко пил. По-черному! Но теперь — всё. Ушло, сгнуло, осталось где-то там. Как страшный сон. Хочу и буду жить по-новому. И только с тобой... С тобой — больше ни с кем!

— Ты меня не знаешь. Я никогда не была замужем. Родила и поклялась, что не выйду замуж никогда... Ты совершенно не знаешь меня!

— Знаю! Давно знаю... — Он стал целовать маленькие белые кулачки. — Ты не выходила замуж, потому что ждала меня. И я буду жить ради тебя. Ради дочки, ради нашей семьи!

Он уткнулся лицом в ее ладони, они сидели тихо и неподвижно и не заметили, как рядом, из кустов, выбралась пьяная, пошнелая от холода Наташа.

Она выплутала на аллею, вернулась в сугроб за потерянном сапогом, увидела влюбленную парочку на скамейке, остановилась напротив.

— Товарищи дорогие, — сказала, — а ведь прохладно.

Аркадий поднял голову, и Наташа узнала его.

— О! — удивилась она совершенно искренне. — Очень приятно, Аркадий Петрович. Здравствуйте. — Взглянула на женщину, тоже узнала ее: — И с вами очень приятно, хоть и пардон! — Прикрыла лицо подобранным сапогом, захихикала: — Клянусь, не хотела. Честное комсомольское... — И пошла прочь, посмеиваясь и прикрываясь сапогом.

Аркадий и Саша смотрели, как уходила Наташа, ступая босой ногой по снегу. Саша спросила:

— Что будет теперь?

Аркадий подумал, спокойно ответил:

— Ничего не будет.

Возвращались домой порознь. Во дворе возилась в сугробах детвора с формочками, перемалывали нескончаемые новости старухи, чистила в дальнем углу ковры какая-то семейная пара.

Аркадий вошел в подъезд, на первом этаже постоял в раздумье и стал медленно подниматься вверх.

Его в подъезде уже знали. Здоровались, сторонились, давая пройти, улыбались.

Поднялся на последний этаж. Дверь квартиры была заперта. Позвонил.

За дверью послышались шаги, щелкнул замок, и на пороге он увидел Жанну.

— Салют! — улыбалась она спокойно и ласково. — Уже погулял?

Аркадий молчал, смотрел на нее внимательно, напряженно. Она чуточку посторонилась, кивнула:

— Заходи.

Он вошел в прихожую, раздеваться не стал, по-прежнему внимательно смотрел на Жанну.

— А тебе, между прочим, идет, — заметила она. — Совсем другой человек.

Помогла снять пальто, повесила на гвоздь, поинтересовалась:

— Только что заварила чай, будешь?

Аркадий пошел следом за ней на кухню, сел за стол, заметил второй стул.

— Купила, — объяснила Жанна. — В квартире двое, а стул один. Разве это порядок?

— Наташу видела? — спросил Аркадий.

— Видела. Приходила ко мне на работу.

— И что?

— Ничего. Все по-старому... Жаль девку.

Разлила чай по чашкам, поставила сахар, села сама напротив, на только что купленный стул.

Звенели ложечки, несильно шипела горелка на плите.

— А почему пришла раньше? — Аркадий поднял глаза.

Она тоже посмотрела на него, глаза ее были влажными.

— Соскучилась.

— За кем?

— За одним человеком.

Опять помолчали, и опять Аркадий поднял голову.

— Я сломал замок. Видела?

— Правильно сделал. Не сидеть же тебе здесь, как в тюрьме. А я — дура.

— Почему?

— Потому что запирала тебя.

Он протянул руку, крепко схватил ее выше локтя:

— Ты знаешь...

— Что?

— Все знаешь! Все! Знаешь ведь!

Жанна расцепила его пальцы, тихо произнесла:

— Не понимаю тебя.

Он смотрел на нее, и от напряжения глаза его болели и слезились.

— Врешь! Все знаешь, все понимаешь! Но если строишь дурочку, скажу. Слушай только внимательно. Я был с женщиной... С другой женщиной! Сегодня... Только что.

— Ну и что?

— А то, что я ее люблю. Тебя — нет,

а ее люблю!.. А ты делаешь вид, будто ничего не знаешь!

— Ты — человек взрослый, — Жанна усмехнулась, — тебе виднее.

— Да, мне виднее! — Аркадий поднялся. — А вот ты слепая! Не видишь, что ты мне вот здесь уже! Не замечаешь, что видеть тебя не могу! Пойми, мы встретились случайно. Мы с тобой разные люди!

— Одинаковые.

— Что?.. Что ты сказала?!

— Мы одинаковые люди. И никому мы не нужны.

Аркадий ударил ее хлестко, с размаху. По лицу.

— Врешь! Врешь, сука! Разные! Хотя бы потому, что я еще умею... что я еще люблю.

Она подняла сухие, горящие глаза, сказала: — Я тоже.

— Нет! Ты уже неспособна! Ни на что уже неспособна! Тебе кажется... А вот я... — Он схватил ее за кофточку, заставил встать, приблизил ее лицо к своему. — Не смей! Никогда не смей сравнивать с собой! Разные. Запомни это — разные! Разные!

Сильно оттолкнул ее, зацепился ногой за стул и ушел в комнату.

Жанна осталась сидеть за столом, кричала детвора во дворе, гулко звучал телевизор за стенкой, где-то пел курчавый и страстный Леонтьев.

...Сколько прошло времени, она не помнила. Поднялась, тихонько вошла в комнату, неожиданно обнаружила Аркадия лежащим на кровати. Осторожно приблизилась, прислушалась — он спал, чуть слышно посапывая.

Постояла, любуясь им, задернула шторы,

заперла на замок входную дверь, оборвала проводку, ведущую к дверному звонку, на кухне тоже задернула шторы и плотно закрыла форточку, включила все четыре комфорки на газовой плите, зажигать их не стала, вернулась в комнату.

Постелила рядом с кроватью старый ватник Аркадия, легла на него, улыбнулась спящему мужчине, подложила ладони под щеку и плотно закрыла глаза.

Шипение газа было слышно здесь, во дворе по-прежнему визжала детвора.

Жанна лежала на полу мирно, спокойно, и тяжелая дрема начинала наваливаться на глаза, на голову, на все тело.

Уже согни газовых горелок плясали вокруг, и шипение их было обволакивающим и слегка тошнотворным.

Она все же преодолела себя. Поднялась, попыталась как-то разбудить Аркадия — он спал крепко и глубоко.

Качаясь и падая, Жанна ринулась на кухню, выключила газ, попробовала открыть форточку — пальцы не слушались. Тогда она ударила кулаком по стеклу — оно треснуло. Боли никакой не почувствовала. Саданула еще раз, в лицо ударил свежий морозный воздух.

Ее рвало до слез.

Разбила окно в комнате тоже, с трудом добралась до прихожей, кое-как справилась с замком, вывалилась на лестничную площадку, не закричала — заблуждала:

— Помогите!.. Помогите нам!.. Помогите же кто-нибудь!

1988 г.

ХУАН
Шуцинь

ЧЕЛОВЕК.
ДЕМОН.
СТРАСТЬ.

人·鬼·性



О фильме «Человек. Демон. Страсть» и его авторе.

В последнее десятилетие китайское кино развивается столь стремительно, что опережает само себя, неудержимо вырываясь к рубежам общечеловеческого, решительно разрушая омертвевшие каноны. От социологизаторства недавних драматических десятилетий, воспринимавшего человека только как социальную единицу, искусство в КНР (не только кино) уходит в сторону психологического анализа личности. Не персонажи сквозь призму общества, а общество через отражение его во внутренних глубинах человека — вот какая смена ракурсов обнаруживается в китайском киноискусстве. Показательно то пристальное внимание, с каким сегодня относятся к кино КНР в мире. Конечно, далеко не всякая премия международного фестиваля — адекватное свидетельство пристойного художественного уровня, нередко премии выражают просто политические симпатии или авансы на будущее (вспомним 50-е годы, обильно поощрявшие молодую кинематографию КНР, метавшуюся между искусством и политикой, еще не зная, куда преклонить голову). Но победа на МКФ в Маниле в 1983 г. (фильм «Давняя история в южном предместье», который в начале 1989 г. вышел на советский экран под названием «Воспоминания о старом Пекине»), в Карловых Варах в 1986 г. («Добропорядочная женщина», тоже выходящая в наш прокат под названием «Женщина из порядочной семьи»), в Токио в 1987 г. («Старый колодец»), в Западном Берлине в 1988 г. («Красный гаолян») — это уже не вежливые полупоклоны, а престиж. Да, таково еще не все кино КНР (а реально ли ждать от всей массы фильмов одинаковой высоты?), но это уже недвусмысленное направление развития. Правда, вызывающее в КНР не только восторги, но и сомнения: нужны ли «нам» призы «оттуда»? Понятно: реформы, перестройки не совершаются в мгновение ока и наиболее консервативным оказывается сознание, тем более когда оно десятилетиями мертвело, скованное жесточайшими догмами.

О сложности, многослойности человеческого сознания — фильм «Человек. Демон. Страсть», снятый в 1987 г. на Шанхайской студии режиссером Хуан Шуцинь по своему сценарию. Классический национальный театр стал фоном действия, но фильм не о театре, не об актерах и даже не о судьбе: о душе, впитывающей в себя, взрослея, импульсы внешнего мира и жаждущей цельности, сознавая свою многосоставность. Даже театральная маска, которой начинается фильм, — не привычная психологическая монохромность, а полифония цветовых мазков, в своей совокупности формирующих образ.

Главная героиня — актриса традиционного театра, нарушившая традицию, согласно которой мифологического повелителя бесов Чжун Куя должен играть мужчина (в основе этой киноистории лежат факты биографии реальной актрисы Пэй Яньлин, на экране выступающей в роли Чжун Куя). В копии фильма, предназначенной для зарубежного проката, есть объяснение, подчеркивающее авторские акценты: «Китайцы считают Чжун Куя великим духом, преследующим бесов, и называют Духом-Охранителем. Он уродлив и хром, но у него золотое сердце...» По народным поверьям, никакая нечисть не проникнет в дом, если на дверях висит лубочное изображение Чжун Куя. Да, он бес, но не из их числа, он — с людьми, которых охраняет он бесовских происков. Аллегорически «бесами», объясняет свою мысль сценаристка и постановщица, можно считать и злобу, и зависть, и коварство... — все людские пороки.

Благородное беспокойство Чжун Куя — неотрывная часть природы его исполнительницы Цю Юнь, сросшейся с ним. И самого автора фильма Хуан Шуцинь, вложившей в свое произведение и его героиню душу. Тут, как подметил зоркий китайский критик, «триединство Хуан Шуцинь, Цю Юнь и Чжун Куя».

Хуан Шуцинь принадлежит к так называемому «четвертому поколению» китайских кинематографистов — поколению драматичной и у многих трагичной судьбы: кинообразование они получили в начале 60-х годов, но затем «культурная революция» оторвала их от профессии, погрузив в трясину политической смуты. Рубежом 70—80-х годов обозначены их первые самостоятельные работы. Свой долг перед отечественным киноискусством они исполнили: вернули его, опустошенное, низвергнутое хунвэйбиновским нигилизмом, на уровень лучших работ прошлого — и передали эстафету молодому «пятому поколению», отбросившему догмы и раскрывшему свое сознание для восприятия мирового искусства, не третируя его вульгарными ярлыками.

Пять фильмов, поставленных Хуан Шуцинь после 1982 г., не дают непрерывной линии творческого восхождения, но показывают метания, поиски, неудовлетворенность собой и, наконец, мучительные находки. В 1984 г. в Ташкенте демонстрировался на МКФ ее второй фильм «Да здравствует юность» — честный рассказ о школьниках первых лет КНР, о том, какие искры могли бы возжечь пламя подлинного социализма, если бы его не притушило мракобесие «культурной революции» (сама «революция» в сюжет не вошла, присутствуя лишь в сознании зрителя в зале). Но это было еще вполне рядовое кино. Попыткой вырваться из стереотипов изображения историко-революционной темы, уйти от априорных моделей к жизни прозвучал фильм «Друзья детства», ставший лауреатом конкурса картин для детей «Теленок». Затем последовал зигзаг в сторону масскультуры: возжаждав высоких цифр посещаемости, Хуан Шуцинь сняла детектив «Надгосударственная акция», о чем теперь и вспоминать не хочет. Вот после этого провала и последовал рывок — внешне, быть может, неожиданный, но закономерный для тех, кто знает ее серьезность, глубину, самосожжение как художника: фильм «Человек. Демон. Страсть». В ноябре 1988 г. этот фильм стал победителем МКФ в Рио-де-Жанейро. Потом она обратилась к сюжету из полной драматизма жизни художницы 20-х годов Чжан Юйлян.

Не случайно Хуан Шуцинь пришла в своем искусстве к теме искусства. Здесь и элементы биографии, воспитания, окружения: ее отец — один из старейших режиссеров кино и театра Хуан Цзолин, муж — художник, сестры и их мужья — кинематографисты и музыканты, сын — будущий кинорежиссер. И среди причин — глубокое понимание гуманистичности искусства, психологической полифоничности художника. Художник — трагическая фигура китайской истории. И сегодня, в период поиска Человека, художник как никто другой гармонично созвучен целям социальных перемен в Китае, центром которых становится Человек. Художник подлинный — такой, как героиня фильма «Человек. Демон. Страсть», такой, как его автор Хуан Шуцинь.

Сценарий этого фильма получил приз на Всекитайском конкурсе «Золотой петух» — самом престижном, жюри которого составляется из профессионалов-кинематографистов. Они достаточно разборчивы: были годы, когда ни один из сценариев не сочли достойным именовать «лучшим».

А Хуан Шуцинь не очень довольна: она надеялась (и обоснованно!) получить приз за режиссуру. Что поделаешь! У нее был такой серьезный конкурент, как «Красный гаоян» (правда, лучшим режиссером признан постановщик «Старого колодца», более традиционной работы — в этом и разгадка, Хуан Шуцинь тоже нарушитель традиций, ее уход от события к психологизму не в русле привычного).

В кулуарных дебатах о фильме в Китае я услышал примечательную оценку: Хуан Шуцинь принадлежит к «четвертому поколению», но «Человек. Демон. Страсть» — в духе «пятого поколения». Иными словами, это уже новая эстетика, новые рубежи китайского киноискусства.

С. Торопцев

Просторная гримерная большого государственного театра.

На стенах — большие эскизы театральных масок.

Зеркало гримерного столика отражает милое женское лицо. Готовясь гримироваться, женщина медленно подбирает волосы.

На палитре — насыщенные красно-белочерные пятна.

Уверенно и самозабвенно, точными искусными движениями она наносит грим, словно создавая картину: белые, черные, красные мазки на лице. И в процессе гримирования меняется ее настроение.

Прелестная женщина превращается в воинственного насмешника, парадоксального чародея Чжун Куя.

В этой роли — известная актриса Цю Юнь.

Она встает из-за стола, костюмер подкладывает ей набивки на плечи, талию, грудь, поверх набивок — тонкий бамбуковый каркас — ни дать, ни взять большой воздушный змей.

Оглядев себя в зеркале, Цю Юнь выходит из гримерной.

Стены кулис оклеены красочными афишами на китайском и иностранных языках, изображениями актеров в гриме, фотографиями сцен из спектаклей, текстами либретто.

Со сцены несутся приглушенные звуки ударных инструментов — гонгов и барабанов. Вечернее представление уже началось.

Цю Юнь появляется в дверях своей гримерной, и дежурный по сцене тут же протягивает ей стакан чая.

Костюмеры надевают на нее, скрывая бамбуковые конструкции, большой шелковый красный халат, который делает ее могучей и огромной.

За кулисами царит всеобщее оживление в причудливом переплетении жизни и театра: о чем-то задумчиво беседуют уже загримированные «красавицы» и «нечистая сила», а кто-то еще только готовится к выходу на сцену, с незаконченным гримом, полуодежды, только-только сменившие обувь на каблуках на расшитые атласные туфельки...

Последние штрихи: повязать голову платком, надеть головной убор судьи — и костюм Цю Юнь завершен.

Со сцены звучат гонги и барабаны.

Там же, за кулисами — репетиционная комната с тремя зеркальными стенами.

Навстречу Цю Юнь появляются как бы три Чжун Куя. Перед выходом на сцену она

придирчиво разглядывает себя в зеркале, приседает, разминает ноги.

Группа «бесенят», исполнив эффектный танец «нечистой силы», покидает сцену.

Появляется Цю Юнь в костюме Чжун Куя, на мгновение застывает в скульптурной позе «ляняня», ярко выявляющей духовный облик главного героя, обходит в танце сцену и поет:

Коварство прервало
мой жизненный путь,
но смерть даровала
душе облегченье и радость.
О, сладость Небесной любви!
В обидах судьбы
закалилась душа.
Мой главный, мой славный
отныне удел
быть высшим судьей над нечистою
силой,
земные пределы очистить вполне.
Я умер, но в сердце осталась
тревога
о милой сестре, незамужней
Мэйин,
я ей приглядел благородного
друга
и свадьбу готовлю Дупина
с Мэйин —
последнее дело пред высшим
уделом
в Чжуннаньских горах
по веленью Небес*.

Преисполненная колдовским очарованием, мощью, страстью, какой-то особенной пленительностью, игра Цю Юнь завораживает, чуть не на каждый ее жест публика взрывается бурными аплодисментами.

Бесенята! — зовет Чжун Куй.

Из-за кулис, ожидая выхода, за действием следят артисты.

Выскакивают пятеро маленьких бесенят.

Чжун Куй: *А ну-ка, несите скорей музыкальные инструменты — и шэн, и сяо, и барабанчики, и цинь, готовьте мечи и короба с книгами, фонари, вино, знамена. Я беру вас с собой выдавать замуж сестру!*

Бесы с криками: *Аа-а!* разбегаются.

В репетиционном помещении слышна легкая и веселая музыка реприз, доносящаяся со сцены.

Один за другим проходят по сцене му-

* Стихи в переводе С. Горюцева

зыканти с инструментами, перекатываются в «колесе» бесы с фонарями, коромыслами, зонтами и, наконец, появляется бес, что тянет осла, а его погоняет Чжун Куй с кнутом.

Пестрая, веселая, шумная свадебная кавалькада отражается в трех зеркальных стенах комнаты.

В зеркале появляется ликующий Чжун Куй, он в радостном возбуждении, приподнятом настроении, полон энергии. Цю Юнь подходит ближе и ближе — маска Чжун Куя, похожая на абстрактный рисунок, постепенно заполняет собой весь кадр.

Пятидесятые годы. Зима. Театральные подмостки в одной из деревень на севере.

За подмостками у столбов — девочка и мальчик. Пятилетняя Цю Юнь плотно закрыла глаза, и десятилетний Эр Вацзы наносит ей на лицо грим, между бровями ставит красную точку. Цю Юнь открывает глаза, перед нами — маленькая актриса в женском гриме.

Эр Вацзы, уже загримированный и одетый в костюм комика, старательно прилаживает на голове девочки украшение из цветов.

Идет спектакль.

Родители Цю Юнь исполняют эпизод «Чжун Куй выдает сестру замуж».

В пятидесятые годы все не такое, как в восьмидесятые, — и слова, и мелодия, и даже музыкальные инструменты.

Сестра испуганно: *Кто это?*

Чжун Куй: *Сестренка, милая, не бойся, это я, твой брат Чжун Куй, вернулся.*

Сестра поет:

Ах, брат мой, ты теперь
совсем другой,
Твой новый облик причиняет
боль:
Ты покидал наш дом таким
красивым
И вдруг вернулся —
безобразный, злой...

Потрясенный Чжун Куй молчит, спрятав лицо в ладонях.

Маленькая Цю Юнь испуганно утыкается головой в боковой занавес и чуть слышно спрашивает Эр Вацзы: *Скажи, хорошего или плохого человека играет отец?*

Эр Вацзы, зловещим тоном: *Твой отец играет не человека, а беса.*

Цю Юнь начинает всхлипать, и Эр Вацзы, зажимая ей рот, успокаивает: *Его звали Чжун Куем, потом он стал божеством, большим божеством, которое ловит бесов и наказывает плохих людей. У него ого-го какая сила!*

Цю Юнь снова высовывает голову и с возрастающим интересом следит за происходящим на сцене: *А мою маму он тоже схватит?*

Эр Вацзы: *Нет, твоя мама тут играет его сестру, он хочет устроить для нее самую большую радость в жизни.*

Цю Юнь: *А что это за радость?*

Эр Вацзы: *Вот приставала! Замуж твою маму выдать — вот что это за радость! Новобрачной сделать. Что же тут непонятного?!*

Чжун Куй: *Милая сестренка! В чудную лунную ночь твой брат придет, чтобы совершить таинство брака. Когда вы возожжете брачные свечи, исполнится моя заветная мечта!*

Сестра протяжно вздыхает: *Бра-а-т!*

Чжун Куй: *Сестренка, дорогая!*

Обнявшись, оба горестно рыдают.

Зрители — все жители деревни: старики, дети, женщины, заполнившие все пространство перед подмостками, — внимательно следят за действием «деревенского» спектакля. Они восхищаются, самозабвенно переживают происходящее, кое-кто украдкой смахивает слезы. Гремят восторженные рукоплескания.

Точно шествие демонстрантов, по улицам небольшого городка льется поток гуляющих и артистов заезжей труппы — отплясывая народный хэбэйский танец янгэ, они шумно приветствуют толпу на улицах и обитателей домов и поздравляют их с праздником.

Впереди всех идут «Чжун Куй» и его «сестра», маленькая Цю Юнь подбегает сзади, хватая родителей за руки и идет между ними подпрыгивая. Позади — другие артисты в костюмах мужских и женских персонажей, комиков, молодых героев.

В некоторых домах входы украшены изображениями богов-хранителей, праздничными парными надписями и плакатами: «Разовьем плоды аграрной реформы», «За мир во всем мире». А на самой двери — все тот же Чжун Куй — охранитель дома, самое почитаемое в этих местах божество.

Комик-«герой» с гонгом, прокладывающий дорогу всей процессии, изображает удивление: *Чжун Куй, драгоценный мой, все говорят, что ты умеешь ловить... — и он делает несколько «героических» движений, сопровождаемых хватательными жестами.*

Чжун Куй: *Кого ловить — зайцев?*

Все вокруг смеются.

Маленькая Цю Юнь, привалившись к матери, хохочет до колик.

Комик-герой ударяет в гонг: *Нет, вы только взгляните на него! Один глаз горит гневом, а другой смеется — он и суров, и язвитель! Но от взгляда этих глаз не укроются ни бесы, ни люди, коли совесть у них нечиста. Всё видит Чжун Куй — беса злобы, убийцу, развратника, картежника, пьяницу... Да, тем, у кого совесть нечиста или дурное на уме, — не сдобровать.*

Цю Юнь дергает отца за полы широкого красного халата и, когда тот наклоняется, пылко шепчет: *Папа, а Эр Вацзы мне сказал, что Чжун Куя может играть только очень способный человек.*

Отец как-то странно смеется.

Молодая женщина подводит к Чжун Кую подрастающего сына для почтительного поклона.

Женщина: *Ну-ка, поскорей попроси господина Чжун Куя даровать нашей семье благополучие в Новом году!*

Паренек смущен и, даже не поклонившись как следует, под всеобщий смех убегает.

Двое молодых мужчин, представители местных властей, преподносят «почтенному Чжун Кую» пиялу.

Усы мешают ему пить вино, Цю Юнь тянется сорвать их, но комик-герой хлопает ее по руке: *До усов Чжун Куя нельзя просто так дотрагиваться.*

Справившись с усами, Чжун Куй опустошает пиялу.

Представители власти тоже выпивают. Им подливают еще. А Чжун Кую несут новогодние подарки. Здесь и окорока, и жареные бараньи ножки, и пельмени, и новогодние «юаньсяо», рисовые шарики с начинкой, и пирожные с финиками, украшенные сверху иероглифом «счастье».

Комик-герой выступает вперед. Отпуская шуточки и остроты и подражая женской манере исполнения, он поет:

Отхлебни из жбана, брат,
Съешь барашка и гусят,
А утробу не насытишь —
Хлопни пару бесенят...

Так, танцуя и напевая, он хватает двоих артистов, переодетых бесами, чтобы ими, якобы, закусить.

Представители власти подносят бумажного вола, прося Чжун Куя поджечь его — это должно благоприятствовать ранней пахоте.

Вол догорает, жители и артисты следят, как он исчезает, оставляя им удачу.

В глазах маленькой Цю Юнь, обнявшей мать, отражаются огоньки.

На следующий день рано утром артисты трогаются в путь.

Длинный, не охватить глазом, обоз телег, запряженных волами, уходит в утренний туман.

Мерно скрипят деревянные колеса, медленно бредут волы.

На передней телеге сидит семья маленькой Цю Юнь: молодая и красивая мать и отец — по всей видимости, с весьма покладистым характером.

Цю Юнь пристает к отцу: *Па, а ты вчера опять сфальшивил.*

Отец: *А?*

Цю Юнь звонко выкрикивает: *Ма, ну ведь, правда, отец сфальшивил?*

Мать, мельком глянув на мужа, говорит: *У малышки слух лучше, чем у тебя.*

Отец напускает на себя грозный вид: *Да ты и слов-то даже не знаешь, мелкота...*

Цю Юнь встает в полный рост на телеге и, вытягивая шею, исполняет несколько фраз. Артисты на соседних телегах прислушиваются.

Комик-герой: *Так это же чжункуева дочка. Ну и девка! — И дав подзатыльник Эр Вацзы, добавляет: Вместе вроде околачивается за сценой, а ты чему выучился?*

Мать останавливает Цю Юнь: *Ладно, будет тебе, садись.*

Отец: *А кто тебе позволил учить пьесу? Чтоб больше этого не было!*

Уже весна. У входа в заброшенную кумирню.

Телеги актеров. Безмолвная ночь. Только слышно, как волы жуют траву.

В кумирне, поделенной тростниковыми циновками на крохотные клетушки, устроен временный ночлег для актеров.

Отец Цю Юнь входит в кумирню и заглядывает в свою загородку, ищет жену. Ее нигде нет, и в конце концов он ложится спать один.

Дети актеров забавляются в зарослях тростника: кто больше сделает кувырков и переворотов «колесом», издавая при этом звуки, подражающие аккомпанементу музыкальных инструментов. Их стайка напоминает разноголосое праздничное шествие.

Эр Вацзы с приятелем несут Цю Юнь на скрещенных руках, ее голова закутана красной шалью.

Мальчишки выкрикивают: *А вот и невеста прибыла!*

«Паланкин», подпрыгивая, появляется из-за кустов.

Эр Вацзы: *Она будет моей невестой.*

Второй мальчишка: *Нет, моей.*

Эр Вацзы показывает на другую девочку: *Вот твоя невеста.*

Мальчик упирается: *Нет, мне Цю Юнь.*

Между ними возникает спор. Цю Юнь срывает шаль: *Не хочу быть ничьей невестой! И убегает.*

Оба парня бросаются вдогонку: *Эй, подожди...*

В вечерних сумерках стога сена напоминают темные мрачные холмы.

Цю Юнь добегает до поля и прячется за стогом.

Слышится голос приближающегося Эр

Вацзы: *Я же тебя видел! Ну куда ты подевалась?..*

Цю Юнь украдкой перебегает за другой стог, где есть ниша, куда она и скрывается.

Ничего не заметивший Эр Вацзы продолжает бегать между стогами с криками: *Цю Юнь! Где ты?* Голос его постепенно удаляется.

Цю Юнь облегченно вздыхает и начинает выбираться наружу, но вздрагивает и замирает от неожиданного шороха. Еще шаг вперед — натывается на мужскую ногу, в ужасе кричит. Из разворошенного сена вдруг возникает лицо матери и бритый крутой мужской затылок.

Испуганные глаза Цю Юнь.

Мать резко отворачивается, откидывая голову, и сено валится сверху, скрывая ее лицо и мужской затылок.

В ужасе Цю Юнь мчится прочь.

За ее спиной рушатся стога.

Что есть сил Цю Юнь продирается сквозь сено.

Огромный черной горой надвигается на нее стог.

А стога позади — словно огромные раскрашенные театральные маски — преследуют ее, окружают со всех сторон. Бессильно бьется между ними Цю Юнь, пытаясь спастись. Только выберется из сена, тут же наталкивается на беса...

Крошечная тень Цю Юнь неслышно скользит внутрь кумирни.

Огромные фигуры охранителя храма Вэйто* и четырех духов-хранителей по бокам провожают ее взглядом.

Приподняв полог циновки, Цю Юнь незаметно забирается на кровать. Сжавшись в комочек и сдерживая дыхание, она неподвижным взглядом уставилась в спину отца.

Его глаза полуприкрыты, он похрапывает — как бы спит.

Цю Юнь, испуганно: *Папа, папа.*

Отец открывает глаза, поворачивается к ней.

Цю Юнь: *А мама... мама...*

Отец спокойно, без тени удивления помогает ей вытащить запутавшиеся в волосах соломинки и говорит: *Не разговаривай, спи!*

Цю Юнь нетерпеливо вскрикивает: *Я хочу к маме!*

Отец зажимает ей рот, укладывает рядом с собой, укрывая одеялом. Гасит лампу.

Ранним утром у входа в кумирню труппа грузит вещи на телеги. Как и в прежние дни, сборами руководит отец Цю Юнь.

В дверях показывается ее мать с узлами. Она, как всегда, аккуратно одета и красива. Парни помогают ей поднять багаж на самый верх телеги.

Стоя около телеги, Цю Юнь молча наблюдает за суетящимися людьми, ее взгляд выискивает кого-то.

Кругом открытые улыбки, шутки, смех — работа спорится.

Один молодой артист стягивает с головы войлочную шляпу, обнажая затылок, — ах, какой он крутой и бритый!

Цю Юнь подбегает к нему и колотит кулачками, а он подхватывает ее, подбрасывает высоко в воздух и ловит.

Сверху Цю Юнь видны спины еще четырех молодых людей с сундуком — они все с такими же бритыми затылками, и точно такой же — у парня-возницы. Похоже, что кроме ее отца, у всех артистов труппы одинаковые затылки.

Отец подает знак рукой: *Пора в дорогу!*

На первой телеге — маленькая Цю Юнь с родителями. Мама все такая же ласковая и родная: накидывает отцу на плечи пальто, смахивает пыль. Потом она протягивает Цю Юнь картофелину, да так и остается с протянутой рукой — девочка пристально смотрит на мать, как будто впервые ее видит.

Мать улыбаясь передает картофелину отцу: *И что это с малышкой?*

Отец, ни слова не говоря, берет картофелину и прячет ее за пазуху Цю Юнь.

По дороге тянется вереница телег, запряженных волами, и постепенно удаляется.

Порывистый пыльный ветер наконец совсем скрывает обоз от глаз.

Театральный помост в горной деревушке. Три бензиновые лампы освещают сцену.

Отец Цю Юнь в роли Чжун Куя исполняет вместе с бесенятами эпизод «В пути». Вот Чжун Куй подходит к дверям дома, стучит и зовет сестру.

Зрители с интересом следят за действием.

Цю Юнь вместе с Эр Вацзы сидят в первом ряду.

Сестра не выходит.

Сделав еще один круг по сцене, Чжун Куй снова стучится и зовет: *Сестренка, открывай, это я, твой брат Чжун Куй.*

Цю Юнь в предчувствии какой-то беды взбирается на сцену и бежит за кулисы.

За кулисами обеспокоенные артисты заглядывают во все углы, на ходу в растерянности перебрасываются фразами: *Сбежала? Как такое может быть? — Я только что видел, как она гримировалась... — С кем сбе-*

* Вэйто — божество, страж буддийской веры, статуя его ставится при входе в храм в окружении четырех статуй духов ваджры (охранителей храмового входа). Здесь и далее примечания переводчика.

жала? — И одна артистка зашептала что-то другой на ухо.

Напоминающая яркий цветок артистка в гриме худань — молодой кокетки, схватив Цю Юнь, деланно громко спрашивает: *Где твоя мама? Что же ты за ней плохо приглядывала? Солистка сбежала, что же это такое?!*

Цю Юнь, горько расплакавшись, вырывается из ее рук и бросается в сторону оркестра.

Музыканты вновь начали с того места, когда Чжун Куй обходит сцену. Зрители в некотором недоумении.

Чжун Куй в бешенстве врывается в дом и исполняет арию, обращенную к сестре, перед пустым пространством. Он поет, изображая при этом, будто обнимает сестру, пытаясь в одиночку продолжить действие пьесы.

Публика волнуется. На сцену уже летят очистки, картошка, комья глины.

Несколько ударов пришлось и по Чжун Кую, но чем стремительнее «атака», тем неистовее он поет.

Публика покидает зал, кто-то по лестнице добирается до ламп и опрокидывает их.

Актеры бросаются на сцену, чтобы унять разбушевавшихся селян.

Толпа теснит Цю Юнь все дальше в глубь сцены. Она забирается в угол, горько плача и утирая слезы, и смотрит на отца.

Зрители обстреливают музыкантов гнилыми фруктами. Оркестр разбегается.

Уже все три лампы сорваны, свет меркнет. Светится лишь одна рампа.

И только отец Цю Юнь упрямо продолжает свою роль. Он в полном отчаянии, и даже густой грим не скрывает боли, искажившей его лицо.

По берегу речушки идет Цю Юнь.

На противоположной стороне собралась компания ребят, детей актеров. *А вот и она, явилась — не запыхлилась!* — кричат они.

Цю Юнь молча идет дальше, ступает на мостик.

Один из мальчишек строит ей рожицу, как у беса на сцене. Ребята, присев на корточки, принимаются раскачивать мостик. При этом они колотят по доскам и, подражая Чжун Кую, выкрикивают: *Сестренка, открывай, это я, твой брат Чжун Куй!*

Цю Юнь стоит на мосту, ей страшно и стыдно. Она умоляюще смотрит на Эр Вацзы, который молча стоит на противоположном берегу: *Эр Вацзы! Братец!*

Мальчишки как один поворачивают головы, испытующе смотрят на него и продолжают издевательским тоном: *Сестренка, открывай, это я, твой братец Эр Вацзы вернулся!*

Эр Вацзы, покраснев, возмущается: *И кто же это ее брат?*

Один из ребят усаживает его на корточки, и вот уже все они дружно раскачивают мост и выкрикивают: *Сестренка, открывай двери! Это я, твой брат Чжун Куй вернулся.* Она слышит только одно: Чжун Куй, Чжун Куй...

Цю Юнь не решается пройти по качающемуся мосту и поворачивает назад. Вдгонку ей несутся обидные выкрики: *Беги, беги! — Беги ищи свою мать! — Беги-беги к своему отчиму!*

Ребята постарше продолжают раскачивать мост, а малышня брызгает водой в Цю Юнь.

Цю Юнь останавливается и поворачивает назад. Сбрав всю свою решимость, она снова ступает на мост. Неосторожное движение — девочка, покачнувшись, теряет равновесие. Это вызывает новый приступ хохота у ребят. Но Цю Юнь упрямо продолжает идти вперед, на ходу вытирая с лица брызги воды. Доходит до конца моста, малышня бросается врассыпную. Старшие ребята постепенно умолкают. Ни на кого не глядя, Цю Юнь надвигается на Эр Вацзы, в ее глазах появляется звериный блеск.

Настороженный взгляд Эр Вацзы — он смотрит на нее с недоумением и испугом. И вдруг Цю Юнь бросается на мальчика и что есть силы лупит его. Эр Вацзы уворачивается и пытается защищаться — все бесполезно.

Оба падают на землю, продолжая бороться. Клубок двух тел.

Остальные ребята застыли в оцепенении.

Трудно сказать, где происходит действие: это не сцена — нет занавеса, а если земное бытие — почему беспрестанно рыщут причудливо мерцающие круги света? Это взрослая Цю Юнь в роли Чжун Куя. Его путь сопровождается классической мелодией «инь».

Поднимается ветер, все раскачивается в пятнах света. В расплывчатом туманном изображении угадывается то ли пустырь, то ли кладбище.

В руках у Чжун Куя хлыст, которым он неистово сечет то пропадающих во тьме, то вновь возникающих бесов. Танец с хлыстом полон неукротимой энергии, в нем выходит наружу гнев, жажда борьбы, проявляется безудержное веселье, когда хлыст настигает цель.

Звучат слова арии:

Ах, как тяжек бесконечный
этот путь мой среди мрака,
Но кому еще под силу
истреблять коварных бесов!

Театральные подмостки в деревне.

Белому петуху отрезают шею — брызжет кровь.

Руководитель труппы протягивает петуха отцу Цю Юнь: *Эта сцена смотрит с востока на запад, покровитель ее Белый тигр**. *Жители просят, чтобы мы принесли жертвы предкам. В конце концов, ты все равно не выступаешь, спустись и покричи зазывно пару раз, да, пожалуйста, погромче,* — при этом он похлопывает отца по плечу.

Отец берет петуха и спускается под навес из циновок. На вид он все еще крепок, но угрюм — не то что прежде.

Цю Юнь — ей уже девять лет — несет отцу стакан чаю.

С петухом в руках отец приплясывает и приговаривает: *Представление скоро начнется, все злые духи, нечистая сила, куда вы попрятались? Куда схоронились? А ну, скорей вон отсюда!* — он делает движения, как бы изгоняющие бесов.

Дети весело режутся за его спиной.

Но когда девочки видят, как свирепо его лицо, от испуга прячутся за спины сверстников.

За сценой исполнитель роли полководца Чжао Юня катается по полу, держась за живот, и бормочет: *Не могу больше*. Актеры поднимают его и, поддерживая под руки, уводят.

Руководитель труппы раздражен: *Кто же справится с этой ролью? Ну-ка, ты!* И он хватает первого попавшегося под руки парня.

Тот пыгается отвертеться: *Я никогда не репетировал*.

Другой парень: *Ну что вы, я не смогу...*

Неизвестно как очутившаяся за сценой Цю Юнь незаметно прислушивается к разговору.

Отец на сцене, все еще держа в руках петуха и окропляя вокруг все кровью, продолжает выкрикивать: *Бесы и нечистая сила! Изыдите вон! Да будет успех представлению!*

За сценой, в укромном местечке, Цю Юнь проговаривает слова из арии Чжао Юня.

Кто это? — на голос поворачивает голову руководитель труппы. Ответа нет. *Спой-ка еще!* — просит он.

Цю Юнь бесстрашно исполняет арию в полный голос.

Раздвигая толпу, руководитель устремляется на голос: *А-а, Цю Юнь*. — Он ставит ее на гримерный столик: *Ну-ка сделай боковой шпагат, стоя на одной ноге*.

Цю Юнь так высоко задирает ногу, что достает даже до макушки.

Хорошо, — он опускает ее на пол. — *А теперь несколько кувырков*.

Окружающие расступаются, освобождая пространство, и с интересом наблюдают.

Цю Юнь делает подряд больше двадцати кувырков.

Актеры в недоумении: *Что-то я никогда не видел, чтобы она тренировалась, кто ее обучил?* — *Да и поет как чисто*.

Кто-то пробует у нее мышцы на руках и ногах: *Ну, сильна! Ловка!*

Руководитель: *Хватит болтать! Помогите ей одеться!*

Актеры принимаются за дело: один гримурует, другой надевает сапоги. Несколько человек натягивают костюм, в котором ей предстоит выступать, на большой чурбан, подкальывая спереди и сзади булавками. Цю Юнь спокойно взирает на суету вокруг нее.

А представление уже идет, исполняют эпизод «Холм Чанбаньпо», в котором Чжао Юнь верхом на коне спасает своего маленького господина.

Госпожа Ми*, прижимая к груди малыша Адоу, исполняет арию.

Боковые кулисы. Цю Юнь, облаченная в костюм Чжао Юня, ждет выхода.

Руководитель наставляет ее: *Если и ошибешься, не обращай внимания, продолжай играть дальше. Вот только Лю Адоу держи крепче, ни в коем случае не урони. В нашей группе его называют «нашим дорогим братцем Адоу». Выпустишь из рук — не будет удачи. Все поняла?*

Три яркие масляные лампы освещают Цю Юнь. Ей кажется, что и свет ламп, и эта волшебная музыка — все теперь только для нее одной. Кто-то слегка подталкивает ее сзади — и она на сцене, как будто в своей родной стихии. Лица зрителей неразличимы, ей кажется, что она одна обитает в крошечной тьме. Звучит мелодия, и сливается с ней на высоких нотах чистый детский голосок. Эффектен грим маленькой актрисы, и она сама, ловкая и умелая, очень точно передает состояние духа героя.

Плавно летится диалог Чжао Юня и госпожи Ми.

Публика оживилась и изо всех сил подбадривает юную исполнительницу.

Все еще держа в руках белого петуха, как зачарованный, даже подавшись вперед, на сцену смотрит отец Цю Юнь. *Да она же прирожденная актриса. Ты посмотри, как чудесно играет!* — говорит ему стоящий рядом комик.

Помрачневший отец ничего не отвечает. Его судейская суровость усиливается.

Госпожа Ми протягивает сына Чжао Юню. Тот церемонно раскланивается и направляется к выходу, держа царственного ребен-

* Белый тигр — в китайской астрологии название западного сектора неба, куда входят 7 созвездий; дух-покровитель Запада.

* Госпожа Ми — вторая супруга Лю Бэя, императора царства Хань; это все герои исторического романа «Троецарствие».

ка. По дороге он вступает в схватку с солдатами Цао Цао*, еще мгновение — и маленький Адоу чуть не выпадает из его рук.

Руководитель в испуге застыл за боковой кулисой.

Но Чжао Юнь успевает подхватить Адоу, замирает на мгновение в героической позе «лянсян» и покидает сцену, напевая и танцуя.

Вслед несутся восторженные крики.

Цю Юнь чуть не падает, наткнувшись на музыкантов, но барабанщик показывает ей большой палец. Обернувшись, она смотрит на горящие лампы и прислушивается к крикам публики — совсем как взрослая «звезда» после удачного выступления.

Сельское общежитие, в котором остановилась труппа.

Мигает масляная лампа, отбрасывая на стены огромные тени.

Со всего размаха отец наподдает Цю Юнь: *Кто позволил тебе выступать? Кто? Ты еще ребенок, рано тебе. Распустилась, совершенно испортилась, как это я допустил...* — бранится отец.

Цю Юнь все сносит молча, сдерживая слезы.

Отец: *Завтра возвращаемся в деревню пахать землю, — достает из кожаного бумажника пачку денег. — Я запишу тебя в школу, а потом пойдешь в университет.* Гнев и мольба во взгляде отца смешались.

Все так же молча смотрит на него Цю Юнь.

Ранним утром, под дождем труппа грузит вещи.

Под тяжестью огромного сундука с реквизитом чуть не падают в слякоть двое парней.

Исчезла Цю Юнь. На плечах у отца весь их нехитрый скарб, они собрались вернуться в деревню. Но нигде даже тени Цю Юнь не видать.

Телеги, запряженные волами, выезжают на дорогу.

Руководитель труппы прощается с отцом: *Если тебе когда-нибудь захочется вернуться, старина Цю, извести меня. Нам будет не хватать тебя, особенно жаль твою дочь. Небо даровало ей талант большой актрисы...*

Почти не слушая его, отец шарит глазами в поисках Цю Юнь.

Телеги медленно удаляются.

Один-одинешенек стоит отец под дождем, уже почти не различая людей в обозе.

Верхний сундук на самой последней телеге. Приоткрывается крышка, и в щель видно лицо Цю Юнь.

Отец, уже догадываясь, продолжает тащиться за телегами. Он промок до нитки.

Обливаясь слезами, Цю Юнь смотрит на отца.

А он все идет и идет за вереницей телег.

Цю Юнь опускает голову и плачет, раздражаемая противоречивыми чувствами. Слезы текут по щекам, и она вытирает их реквизитным «дорогим братцем Адоу», которого не выпускает из рук.

Вереница телег под дождем, последний взгляд на отца, бредущего с узелком на плече за удаляющимся обозом.

Отец расчищает от снега небольшую круглую площадку, привязывает к поясу Цю Юнь веревку. Он стоит в центре круга и подстраховывает ее, когда она выполняет перевороты. Со всей силой дергает веревку вверх, если ноги ее касаются заснеженной земли за пределами круга. Петля сдавливает талию Цю Юнь, и от боли у нее кривятся губы.

Задохнувшись, отец бросает веревку: *Довольно! Театр не приведет к добру! Того и гляди, какой-нибудь злой язык оскорбит, а то еще хуже... станешь когда-нибудь, как твоя мать. Эх!*

Цю Юнь сердито выдыхает: *А я... я не у нее учусь, не хочу женских ролей, учи меня мужским...* — протягивает отцу другой конец веревки, привязанной к ее талии.

Женщина — и мужские роли? — изумляется отец.

Стрекот цикад, палящее солнце, от которого негде укрыться.

Дети актеров отрабатывают технику. Между ними разгорелось соревнование, кто подряд сделает больше переворотов. Считают двое деревенских ребятешек. Один за другим соревнующиеся сменяют друг друга, и вот остаются только Эр Вацзы и Цю Юнь.

Эр Вацзы делает шестьдесят переворотов и останавливается.

Последняя — Цю Юнь. Она уже коротко острижена и причесана на прямой пробор. Как и мальчишки, полураздета.

Деревенский паренек азартно считает: *Шестьдесят девять, семьдесят, семьдесят один...* — и только когда он доходит до семидесяти пяти, Цю Юнь без сил валится на землю.

Паренек мчится сообщить Эр Вацзы: *Эй, а она сделала больше тебя на пятнадцать переворотов.*

Другой подбегает к Цю Юнь и, прикрыв ее от палящего солнца своей соломенной шляпой, спрашивает: *Сестренка, зачем же ты так мучаешь себя?*

На лице Цю Юнь капельки пота смешались с комочками глины, она бросает на

* Цао Цао — герой исторического романа «Троецарствие», противник Лю Бяя.

мальчишку быстрый взгляд: *Не твое собачье дело, нашел себе сестренку.*

Отец подходит к дочери: *Ну сама подумай, много ли таланта надо, чтобы с каким-то там Эр Вацзы тягаться? Тебе предстоит серьезно заниматься театральным искусством, чтобы обрести имя и объездить весь мир. А если не сумеешь стать любимой публики, так уже лучше вернуться в деревню и выращивать батат...*

Цю Юнь неподвижно лежит на земле с закрытыми глазами, и только губы упрямо шевелятся: *Я стану известной актрисой...*

Чжун Куй в исполнении Цю Юнь, со своей свитой отправляются в путь.

Чжун Куй и бесенята забавляются, изображая в разных сценах, как они преодолевают горы, переплывают реки. И поют:

Пусть зонтики дырявы,
фонарик чуть горит,
Но барабан веселый
в процессии гремит.
Пусть ослик спотыкается,
идет-бредет с трудом,
Но путь тысячеверстный
ведет нас в сестрин дом
И завершится свадьбой —
веселым торжеством!

Мелодия продолжает звучать.

Клубится пыль, вздымаемая ветром. По дороге торопятся отец и дочь.

Мчитя грузовик, отец просит остановиться. Машина несется мимо, оставляя за собой клубы пыли.

Тяжелая и утомительная дорога привела отца с дочерью в новую труппу. Отец делает дочери знак поклониться руководителю труппы.

Тот придирчиво оглядывает шуплую фигурку провинциалочки и презрительно качает головой.

Чжун Куй в исполнении Цю Юнь продолжает путешествие. Он пронзает толпу фей, то скрываясь от глаз зрителей, то снова появляясь. Поет:

Вот они, пташки на ветках,
игривы,
Дамба, как прежде, зеленые ивы —
Нет, не пресытят красоты весны!
Так восторгаются только поэты,
Так возвращаются давние сны.

Мелодия продолжает звучать.

По дороге бредут отец и дочь.
Вдали появляется уездный городок.

У входа в провинциальный театр — красная афиша спектакля «Встреча героев». Анонс: «В спектакле четыре главные роли исполняет специально приглашенная удивительная девятилетняя актриса Цю Юнь».

Вход в театр. Люди расталкивают друг друга. Вопль: *Не наступайте на ноги!..*

Одна за другой падают потерянные туфли. ...Ночь после представления.

Старик-привратник вытаскивает на улицу две корзины потерянных туфель и вываливает их на землю.

На велосипедах подъезжают Цю Юнь и ее отец.

Привратник: *Старина Цю, с тех пор как твоя дочь стала выступать у нас в театре, каждый вечер подбираю не меньше двух корзин потерянных туфель. Девушки наступают на пятки старикам, а те что же? Норовят оттоптать цветные туфельки невесток...* Старик с любовью смотрит на Цю Юнь.

Правда, забавно! — весело смеется Цю Юнь.

Рядом с афишей у входа в театр небольшого городка — десять крупных черно-белых фотографий Цю Юнь в разных ролях.

Сегодня опять — «Встреча героев».

Цю Юнь в костюме военачальника Лу Су с длинными усами. Закончив арию, она покидает сцену.

Публика взрывается от восторга.

За сценой отец быстро помогает Цю Юнь сменить костюм, шапку, сапоги. Цю Юнь берет из рук реквизитора пику и вновь оказывается на сцене.

В этом спектакле она исполняет роль и другого полководца — Чжоу Юя.

Среди зрителей сидит мать Цю Юнь — теперь это уже женщина средних лет. Не отрывая глаз от сцены, она следит за игрой дочери. Ее переполняет чувство материнской любви, а восторженные крики зрителей вокруг нее окончательно растрогали, и, не в силах сдерживать свои чувства, она что-то шепчет на ухо сидящему рядом человеку. Этот крутой бритый затылок мы уже видели раньше.

Чжоу Юй наносит последний удар пикой и уходит с подмостков.

Цю Юнь отпивает два глотка из стакана, протянутого отцом, а потом снова меняет грим и костюм. Третья роль — Чжугэ Лян. Опять на сцену. А отец торопливо готовит костюм для четвертой роли, полководца Чжао Юня*.

* Лу Су, Чжоу Юй, Чжугэ Лян, Чжао Юнь — известные полководцы древности.

Публика неистовыми криками подбадривает маленького Чжугэ Ляна. Среди зрителей близко к сцене сидит красивый молодой человек — это мэтр Гу, приехавший из центра провинции, где он выступает в театре.

Актриса играет все с большим подъемом. Вдруг от резкого движения приклеенная борода падает на пол. Цю Юнь замирает на мгновение, но, не растерявшись, ловким движением отбрасывает ее за кулисы: *Потом подашь мне, папа,* — и продолжает выступление.

Публика в восторге, гремят аплодисменты.

Смеются даже отец и стоящие у кулис другие актеры.

А на сцене все так же обворожителен маленький Чжугэ Лян, хотя уже без бороды.

После представления в день храмового праздника Цю Юнь в окружении подруг тесной стайкой со смешками разгуливают по ярмарке.

Мелькает уже знакомый нам «затылок» — плотный и коренастый, он то и дело выглядывает из-за лотков с товарами, издали наблюдая за Цю Юнь и ее подругами.

Волосы девочки расчесаны на прямой пробор, да и одета она ладно — этакий пригожий паренек. Посетители ярмарки оглядываются, обращая на нее внимание. Но она лишь ближе придвигается к своим подружкам. Они веселятся, отпускают милые шутки, вызывая улыбку прохожих.

В уголке за сценой напротив друг друга сидят родители Цю Юнь.

Мать: *...Я последний раз повторяю: верни мне дочь, а то... а то я всем скажу, что ты ей не отец...*

Отец рывком поднимается с места и открывает дверь за сценой. *Скажи, это на тебя похоже,* — говорит он ровным голосом.

Мать нервно вскакивает, оглядывается, нет ли кого поблизости, а потом осторожно прикрывает дверь. Поворачивается к отцу, голос ее дрожит: *А иначе я силой заберу ее у тебя... Я не позволю тебе трясти это «денежное дерево».*

Хаааа! — отец достает кошелек и вытряхивает на стол все его содержимое.

Стайка немного уставших от впечатлений девочек все еще бродит по ярмарке.

Цю Юнь с подругой, продолжая хотеть, входят в женский туалет. Неожиданно оттуда раздается истошный крик, и на улицу стремительно вылетает какая-то деревенская девушка. А вслед за ней женщина, по виду представительница сельских

властей, выволакивает из туалета Цю Юнь: *Ты зачем это полез в женский туалет? Хулиганить? Тьфу!*

Вокруг собираются зеваки, толпа растет, мальчишки, указывая на Цю Юнь пальцем, смеются и бросают в нее комья земли.

Из-за лотков с товарами появляется человек с крутым затылком, хочет вмешаться, но в нерешительности останавливается. До него доносится жалобный голос Цю Юнь. *Я девочка, отпустите меня...*

Окруженная со всех сторон, Цю Юнь плачет: *Я же девочка, девочка...*

Люди галдят, объясняя женщине, которая все еще не отпускает ее: *Да это же артист, исполняет роль Чжугэ Ляна, конечно же, это парень. — Да отведите вы его в милицию, там разберутся...*

Некоторые стоят молча, упиваясь зрелищем.

Цю Юнь, вся в слезах, отчаянно защищает: *Никуда я не пойду. Я девочка — и все тут. Пусть придет папа и заберет меня.*

Человек с крутым затылком, стоящий позади всех, поворачивается и удаляется под плач Цю Юнь.

Толпу раздвигает мэтр Гу из провинциального театра, тот, что присутствовал на спектакле Цю Юнь, и говорит: *Я подтверждаю, что это девочка...* Он достает красного цвета удостоверение личности, при виде которого женщина смягчается и отпускает Цю Юнь.

Девочка присматривается к незнакомцу и все доверчивее приближается к нему.

Гу предлагает толпе разойтись: *Разве мужские роли исполняют только мужчины? А с короткой стрижкой сейчас ходят только юноши? Что же тогда говорить про Мэй Ланьфана?** Он что, женщина? *Расходитесь, расходитесь...*

И уводя за собой все еще всхлипывающую Цю Юнь, он проходит сквозь толпу.

За сценой через щель в двери Цю Юнь следит за разговором отца с Гу.

Гу: *В центре провинции создается молодежная труппа, в которую будут приняты дети от десяти лет с фальцетом. Если ваша Цю Юнь поступит в эту труппу, ей не надо будет подстраиваться под солистов, да и возможностей для совершенствования будет больше...*

* Мэй Ланьфан — великий китайский актер, исполнитель женских ролей в театре пекинской музыкальной драмы, создатель ряда классических женских образов в популярных пьесах. В 1935 г. был на гастролях в СССР. С. Эйзенштейн посвятил ему статью «Чародей грушевого сада».

Отец смотрит на него. *Да что это вы все повадились сюда добиваться моей дочери? Сговорились, что ли?* — все сильнее распаляется он.

Гу подносит указательный палец к виску: *О чем это вы?*

Отец охватывает голову руками и, досадуя, глубоко вздыхает.

Цю Юнь выходит во двор за сценой.

Навстречу ей кидается женщина и заключает ее в объятия: *Доченька моя родная!*

Цю Юнь слегка отстраняется — это ее мать. С тоской та устала на дочь. Цю Юнь испуганно вырывается из ее объятий.

Мать снова притягивает ее к себе и борочет: *Он ведь тебе не родной отец. А не хочешь вернуть тебя мне...* — Она достает пачку купюр. — *Вот видишь, откупился. Он думает, это все? Мне нужна моя родная дочь. Идем со мной, моя маленькая.*

Нет-нет, — Цю Юнь рвется из ее рук.

Но мать продолжает тянуть: *Он ведь тебе не родной отец!*

Я не верю! Ты говоришь неправду, уходи! — Цю Юнь в конце концов отталкивает ее и убегает.

Цю Юнь вбегает в помещение за сценой и бросается к отцу: *Папа, там... она, я ей не верю.*

Отец все понял, он гладит ее по голове и говорит: *Теперь никто не в силах тебя увезти, ты поедешь в государственный театр.*

Цю Юнь только молча улыбается Гу.

Повернувшись к отцу, она спрашивает: *Па, а ты тоже поедешь со мной?*

Отец хохочет: *Но ведь им же приглянулась ты, а не я.* — И, поглядывая на Гу, усмехается: *Ну, а я вернусь в деревню и стану сажать багат.*

Папа! — вскрикивает Цю Юнь. Ее маленькую душу раздрают противоречивые чувства.

Маленький городок. Около театра.

У ворот ограды останавливается джип. Отец с Цю Юнь, ведя велосипеды, выходят вместе с Гу за ворота.

Гу и Цю Юнь направляются к машине.

По улице к воротам спешит мать Цю Юнь.

Отец снимает с багажника узел, но дверца машины уже закрыта. Он барабанит в окошко, объясняя знаками, в чем дело. Дверца снова открывается, он едва успевает просунуть узел, как машина трогается.

Цю Юнь высовывается в окно и громко кричит: *Папа... Мама!*

В ответ на ее крик родители встречаются взглядами.

Развилка, от которой дороги уходят на

три стороны. Медленно закрываются ворота ограды, прямо от зрителей удаляется джип, в противоположных направлениях расходятся отец и мать Цю Юнь. На велосипеде у отца укреплен узелок — он действительно возвращается в деревню.

Улица перед воротами ограды пустеет.

Очищающая ночь, озаренная ярким светом.

Цю Юнь в роли Чжун Куя. Сцена, когда небожители добираются до цели своего путешествия.

Дымка тумана. Бесенята в масках с гримасами улыбок забавны и милы. Все старинные аксессуары, которыми пользуются артисты, богато разукрашены.

Танцуют бесенята: у кого-то в руках музыкальные инструменты — шэн, сяо, флейта, гонг, барабан, у кого-то фонари, бутылки, стяги да зонтики.

Самым последним появляется бесенок, толкающий разноцветный паланкин в цветах.

Следом появляется Чжун Куй, поет:

Брачная карета явилась
за сестрой,
Навсегда покинет
дом она родной.

День такого счастья

омрачен тоской

Все девушки взрослеют
и уходят к мужу...
Радости и скорби отолью слезой!

Шестидесятые годы. Улицы центра провинции.

Оживленно хохоча, идет пятнадцатилетняя Цю Юнь с подружками. Все так же коротко стрижены волосы, в простенькой куртке, кедах. Не то что другие юные актрисы, разодетые весьма эффектно. Девушки идут тесной стайкой, лукаво перешептываются. Никто не обращает на них внимания. В большом городе до них никому нет дела.

Гу с блеском выступает в пьесе «Побег Линь Чуна ночью».

У боковых кулис уже в костюмах фей толпятся актрисы, не сводя с него обожающих взглядов.

Лишь на Цю Юнь — костюм благородного старца с длинной бородой. Стиснутая феями, она тоже поглядывает на сцену.

Закончив выступление, Гу уходит за кулисы, пройдя мимо девушек.

Одна смотрит на него неожиданно смело, другая бросает взгляд украдкой, а третья в замешательстве низко опускает голову...

Гу встречается взглядом с Цю Юнь, и она резко отворачивается. Когда он приближает-

ся, начинает отклеивать бороду. И вдруг замечает — одна из фей подносит Гу стакан крепко заваренного горячего чая, а другая украдкой подает ему полотенце.

Девушки едят у столовой, сидя кружком на корточках.

Пошушукавшись, заводилы обращаются к той, что накануне вечером подала Гу чай: *Ну, госпожа Линь, а не нальешь ли ты нам супу?*

Взгляды остальных устремляются на эту девушку, а она, сделав вид, что намека не поняла, спрашивает: *Кто эта госпожа Линь?*

Заводила: *А разве та, кто каждый вечер подает чай Линь Чуну, — не госпожа Линь?*

Чтоб тебя! — «Госпожа Линь» вскакивает и набрасывается на заводилу.

Поднимается шум.

Цю Юнь встает и, подражая Гу, произносит: *Ладно, хорошо-хорошо, госпожой Линь будешь... ты!* — Неожиданно она поворачивается в сторону все той же девушки, и весь гнев той направляется на Цю Юнь.

В этот момент Гу проходит мимо них в столовую.

В одно мгновение девушки затихают, даже перестают есть и, затаив дыхание, следят за красивым молодым учителем.

Гу: *Это ты меня передразниваешь, Цю Юнь? Ну, чертенок, горазда!*

Все смеются, а Цю Юнь без стеснения показывает ему язык.

Со словами: *Спасибо тебе!* Гу возвращает заводиле полотенце, которое та подала ему накануне после выступления, и направляется в столовую.

Взгляды всех мгновенно сходятся на заводиле.

Первой очунулась девушка, которая подавала чай: *А, так это вот кто, оказывается, госпожа Линь — полотенцем с ним заигрывает.*

Сдержавшись, заводила присаживается на корточки: *Доедайте скорей, после обеда снова будут занятия.* — И продолжает есть.

Вторая девушка злопамятна, но на конфликт не идет, поэтому переносит огонь на Цю Юнь: *Ну-ка, фальшивый парень, пойдди поцелуй ее в губки.*

Обернувшись, Гу наблюдает за девушками. Почувствовав на себе его взгляд, Цю Юнь пытается унять подруг: *Ну хватит, хватит...*

Девушки не отстают: *Не задавайся, парень, иди-ка ты лучше...*

Поняв, что уговоры не действуют, Цю Юнь нападает: *Кто же это парень? Я такая же, как и вы, настоящая де-вуш-ка!*

В ответ — дружный хохот.

И тогда она взрывается: *Вот что я вам скажу: кто еще раз посмеет назвать меня фальшивым парнем — тому не жить!*

Девушки сразу замолкают, пораженные. Гу поворачивается и уходит.

Цю Юнь открывает дверь, входит к комнате женского общежития. А там — ее подруга Сяо Чжоу с Да Лю, пареньком из училища. Они поспешно отскакивают друг от друга, и после нескольких томно-тайнственных знаков Да Лю уходит.

Сяо Чжоу обнимает Цю Юнь, но та недовольно отстраняется.

Сяо Чжоу напускает на себя загадочность: *Знаешь, Да Лю пригласил нас в кино, пойддем?*

Цю Юнь огрызается: *Не лезь ко мне со своими заботами! Катись!* — и запускает в подругу подушкой.

Сяо Чжоу торопливо открывает дверь и исчезает.

Цю Юнь остается в комнате одна. Берет зеркальце Сяо Чжоу и смотрится в него, а потом начинает ожесточенно расчесывать свои короткие волосы на прямой пробор и дельть челку.

Укромный уголок за сценой после спектакля.

Зеркало отражает девушку в костюме хуандань. Она закалывает прическу заколками и украшениями. Это Цю Юнь — прелестная, обворожительная небесная фея. Она сама любит себя, как будто раньше никогда и не подозревала, что может быть такой красивой.

В зеркале рядом с ней возникает другое изображение — Гу. Он восхищен: *Ты настоящая красавица, маленькая фея.*

Глаза Цю Юнь горят восторгом возбуждения.

А Гу продолжает говорить: *С таким гримом можно всю жизнь играть девочек-прислужниц и субреток.*

Цю Юнь замерла, не смея повернуть головы.

Но все равно никогда тебе не засверкать так, как Мэй Ланьфан. — Сев перед ней, Гу смотрит ей в глаза: *Разве это красота? Вот если бы ты красиво сыграла Героя, это было бы действительно прекрасно... Искусством боя ты владеешь в совершенстве, у тебя хороший голос, достаточно мастерства, чтобы стать непревзойденным исполнителем ролей полководцев. Ты можешь быть «звездой», почему же ты не хочешь продолжать?* — И он берет ее за руку.

Цю Юнь от смущения опускает веки.

Гу помогает ей вынуть из прически заколки и украшения; *Да тебе ведь и грима не надо — такая симпатичная девушка, да-да, настоящая девушка.*

Алая краска заливает лицо взволнованной Цю Юнь.

На площадке перед общежитием Гу репетирует с Да Лю и Цю Юнь эпизод из «Ночного побега».

Движения Да Лю вызывают его недовольство: *Да Лю, ты туп как осел, поди-ка отдохни.*

Цю Юнь начинает свою роль.

Гу одобрительно качает головой и объявляет перерыв: *А теперь обедать! И уходит.*

Да Лю, повернувшись к Цю Юнь, больно хватает ее пальцами за нос. Цю Юнь ударяет его по руке, но он не отпускает носа, а продолжает жестоко сжимать пальцы.

Цю Юнь не смеет произнести ни звука, хотя от боли по ее щекам текут слезы.

При свете луны стога на пшеничном поле напоминают холмы с расплывчатыми контурами.

В одиночестве здесь тренируется Цю Юнь. Невдалеке что-то темнеет — то ли стожок, то ли столб.

Не обращая ни на что внимания, Цю Юнь увлеченно выполняет перевороты.

Тень приближается — это Гу.

Все так же ничего не замечая, Цю Юнь продолжает тренироваться. Гу протягивает руку и ловко останавливает её, вызывая на поединок. Он подает ей палку, сам берет такую же, и между ними разгорается тренировочный бой. После ожесточенной схватки оба отбрасывают палки и, как в эпизоде «Развилка трех дорог», продолжают бороться в темноте вслепую. Цю Юнь перекатывается через спину Гу влево, вправо... Они двигаются ритмично и согласованно, без слов прекрасно понимая друг друга. Их движения свободны и изящны и в то же время исполнены силы. Все это похоже на танец.

В конце концов, Гу останавливается, Цю Юнь тоже застывает и смотрит на него.

Гу, с легкой одышкой, улыбаясь: *У тебя сил побольше. И выносливости, и воли. Не говорю уже о пластике. Мне и не разгадать тебя...*

Цю Юнь вглядывается в темноту в его глаза.

Гу: *Жаль, что ты еще так мала...*

Цю Юнь отодвигается от него, поднимает с земли свою одежду.

Гу идет за ней: *Я должен тебе сказать, Цю Юнь, что в деревне... у меня есть жена и четверо детей. Но настоящего чувства я еще не знал... А мне ведь и тридцати нет...*

Цю Юнь испуганно шарахается: *Не надо об этом, я не хочу этого слышать, не хочу...*

Глаза Гу наполняются слезами.

Цю Юнь бросилась бежать. И снова, как в далеком детстве, ей кажется: громады стогов надвигаются на нее. Они преследуют ее, похожие на огромные театральные маски. Окружают со всех сторон. То гора сена, то маска беса встает на пути.

Перед началом спектакля. Уже загримированная, но еще не одетая в костюм, Цю Юнь тренируется на ковре за сценой.

У боковых кулис несколько актрис судачат о ней: *Вы посмотрите на нее, по ночам не спит и откуда столько сил...— Действительно, будто морфия кольнула, гляди, как возбуждена.— Да, не думала, что этот «парень» окажется способен на что-нибудь еще...— И когда они только успели снюхаться?*

Говорившие уходят за сцену. Шепчутся на ухо друг другу, а затем тоненько подхихикивают.

Сценарист стирает с доски название спектакля «Ночной побег», поясняет: *Спектакль переносится, исполнитель занят другими делами.— И поспешно уходит.*

Взрослые актеры, уже загримированные, удивлены: *И какие же это дела могут быть у старины Гу?*

Один из них, похоже, бывший в курсе всех дел, высказал предположение: *Начальство его вызвало — вот какое дело. С чего бы это? — Негромко присоединяются к разговору другие любопытные: Вероятно, он уйдет...— Жаль, группа лишится хорошего исполнителя военных героев.*

Издеваешься! — осуждающе сказал тот, кто знал все.— Ведь у нас есть Цю Юнь — лучший фальцет всей провинции, это наше сокровище. И кто посмеет ее тронуть, тут уж, извините...

Раздается дружный смех.

У задника с изображением неба Цю Юнь разминает ноги.

Она слышит разговор актеров, собравшихся на сцене: *Да говорю же я тебе, сегодняшней спектакль отменили! — Как? Гу отказался от такой престижной роли? — А то нет! И все из-за этой девчонки. Старину Цю помнишь? Ну так вот, она — его дочь...— А вы слыхали? Говорят, на поле меж стогов...— Да ну! Такая же, как ее мать...*

В самых разных интонациях этих предположений одинаково слышались серьезность и загадочность.

Этого Цю Юнь не могла вынести. Дрожа всем телом, она бросилась вон.

Цю Юнь домчалась до общежития, где жил Гу, на одном дыхании. В комнате Гу горит свет, и в окно видно, как администратор театра сдвигает две кровати вместе. Тут же — жена Гу с четырьмя детишками мал мала меньше.

Она стоит спиной к окну, и Цю Юнь видно, что волосы ее собраны на затылке в пучок, как это обычно делают деревенские женщины. Она растеряна и беспрестанно благодарит администратора. Потом угощает его спелыми красными финиками. Вежливо

отказавшись от угощения, тот уходит. Женщина сует финики мужу, намекая, чтобы пошел проводить гостя.

Увидев, что они выходят, Цю Юнь прячется за дерево.

Пойдемте вместе, — говорит Гу, — *мне ведь еще надо успеть загримироваться.*

Администратор понимающе и сердечно откликается: *Да что вы, дирекция специально пригласила к вам в гости вашу жену. Вы должны побыть в теплой семейной обстановке. И не думайте пока выступать. Отдохните пару дней, займитесь семьей.*

От такой неожиданности Гу замирает, забыв даже вручить финики, которые так и остаются у него в руках. Помедлив, он поворачивает к дому. И тут видит стоящую у дерева Цю Юнь, приближается к ней.

Дрожащими губами она спрашивает: *Зачем вас вызывали в дирекцию?*

Гу: *Поговорить о работе, о будущем театра, я ведь написал заявление об уходе, хочу вернуться в уездный театр.*

Цю Юнь: *Почему?*

Чтобы быть вместе с семьей, — Гу показывает на светящееся окно комнаты, где находятся жена и дети. — *Они же не могут переехать сюда.*

Цю Юнь: *Для чего вы все это делаете?*

Гу: *Для тебя, Цю Юнь.*

Цю Юнь стоит молча.

Гу предлагает ей финики, которые все еще у него в руках.

Она было протягивает руку, но быстро отдергивает ее и стремительно убегает.

Красные финики падают на землю.

Сценарист снова подбегает к доске и стирает название спектакля, в котором должна была участвовать Цю Юнь, — «Ночжа* бушует на море». И громко объявляет: *У артистки что-то произошло, спектакль переносится на другой день.*

Любопытство актеров подогрето еще больше, отовсюду слышатся вопросы: *Что случилось? — Ведь она только что гримировалась.*

Ночью под проливным дождем бежит Цю Юнь к остановке междугороднего автобуса.

Фары проезжающей машины высвечивают ее фигуру.

Она садится, машина трогается.

Цю Юнь сидит, устало привалившись к окну, уже почти без грима, смывтого дождем.

Распахиваются деревянные ворота отчего

* Ночжа — один из мифологических героев.

дома с изображением хранителя дома Чжун Куя. Во двор с вязанкой хвороста входит отец.

Теперь он выглядит обычным крестьянином.

Слышится шипение мехов, раздувающих огонь в очаге. Отец в недоумении оглядывает двор.

Из-за очага показывается голова: *Папа!* — и вылезает Цю Юнь. Она жует блин, а другой протягивает отцу.

Отец, радостно: *Ты чего это вернулась? Цю Юнь, озорно: Блины тебе жарить.*

Отец: *На сколько дней дали отпуск?*

Цю Юнь, словно не услышав вопроса: *Знаешь, я так соскучилась по блинам, так что теперь спозаранку блин тебе, блин мне...*

До отца что-то начинает доходить, и он напрямик спрашивает: *Что произошло?*

Цю Юнь: *Я решила вернуться домой.*

Отец: *И что ты собираешься дома делать?*

Цю Юнь: *Сажать батат.*

Отец вспыхнул: *И батат, и блины обойдутся без тебя. А раз тебе в театре не дали отпуск, я тебя быстренько выставлю отсюда.* — Берется за коромысло. — *Немедленно возвращайся, слышишь?* — И замахивается коромыслом.

Цю Юнь испуганно отскакивает: *Подожди, я должна тебе рассказать...*

И знать ничего не хочу, а ну, давай-ка отсюда! — Не придавая значения ее словам, отец продолжает гнать ее со двора, как поросенка, размахивая коромыслом.

Отец продолжает подгонять дочь — бежит за ней по дороге вдоль деревни. Цю Юнь с плачем уворачивается от него, на ходу объясняя: *Руководство вызвало в город семью Гу. И в театре болтают, будто я... я... Я не вернусь в театр.*

Отец: *Ты совершила что-нибудь предосудительное?*

Цю Юнь: *Нет.*

Отец: *Ну так ты у меня здесь не останешься, даже если небо рухнет. Я тебя заставлю вернуться во что бы то ни стало.*

Цю Юнь: *Я... я не хочу выступать в театре.*

Отец: *Глупости все это! Помнишь, что ты в детстве говорила? Даже если умру на сцене — никогда не пожалею.* — Нагнав, он обнимает ее за плечи, и дальше они идут рядом. — *Вспомни — вспыхивает рампа и лица зрителей исчезают в темноте. Ты видишь только свет ламп и ничего вокруг... Приглушенный звук барабанов и гонгов, ты выходишь на сцену — и мир перестает для тебя существовать, только сцена и ты на ней. Вот что такое актриса! Настоящая актриса!*

Цю Юнь все еще всхлипывает, но сердце ее уже откликается на отцовские слова.

Отец чуть подталкивает ее: *Ну давай, девочка, сейчас подойдет рейсовый.*

Вскоре, действительно, подъезжает междугородний автобус, и Цю Юнь легко впрыгивает в него.

Взметнувшаяся из-под колес пыль окутывает отца, опирающегося на коромысло.

Центр провинции, театр.

Ослепительные лампы. Грохочущие барабаны.

Закрикованная Цю Юнь сосредоточенно смотрит из-за кулис на освещенную сцену.

Вокруг нее в контражуре движутся люди: одни артисты выходят на сцену, другие торопливо покидают ее. Перед камерой как бы туда-сюда проплывают, проходят, пробегают огромные маски. Раскрашенные мужские лица свирепы, женские — кокетливы, а у комиков — лукавы... Все кажется таинственным и неизвестным.

В такой момент мир для Цю Юнь, действительно, перестает существовать, она освобождается от всего лишнего, как бы внутренне очищается и ждет только звонкого удара деревянных кастаньет, чтобы выйти на сцену. Она собрана до предела, и сила и нежность возникают в ней. Восторженные возгласы зрителей сопровождают ее выход.

К автовокзалу приближается, волоча багаж, семейство Гу.

Дети радостно карабкаются в автобус, а Гу, передав вещи жене, с минуту стоит на остановке, оглядываясь по сторонам.

Потом он тоже садится. Автобус трогается.

Действие на сцене провинциального театра достигло апогея.

Цю Юнь готовится выполнить элемент высшей сложности: оттолкнувшись от возвышения, она должна сделать переворот в воздухе.

Артисты у боковых кулис наблюдают за действием, затаив дыхание.

Крупный план крышки стола с большой воткнутой в нее иглой.

Рука Цю Юнь упирается в крышку и подгибается — но артистка удерживает равновесие. Взрыв восторга в зале. Стоя спиной к публике, Цю Юнь раскрывает ладонь — игла прошла сквозь тонкие и нежные ткани ладони. Продолжая петь и танцевать, Цю Юнь мужественно заканчивает выступление.

Публика снова награждает ее восторженными овациями.

За кулисами она зажимает нестерпимо ноющую ладонь, в изнеможении опускается на скамью.

Мимо нее проходит уже готовая к выходу на сцену заводила в женском гриме и наклоняется: *Что с тобой, Цю Юнь?*

Цю Юнь раскрывает ладонь.

В испуге заводила кричит: *Ой! Кто же это подстроил такую пакость?*

Подбегают другие актеры: *Ай-яй-яй, как глубоко прошла игла! — Как же это можно было выдержать, ведь игла проколола самое болезненное место!*

Скорее вытаскивайте, — Сяо Чжоу переживает чуть ли не до слез.

Я боюсь, попробуй сама, — заводила не трогается с места.

Прижавшись к заводиле и отвернувшись, Цю Юнь позволяет Сяо Чжоу вытаскивать иглу.

Вокруг почти все взволнованы и поражены, но кое-кто злорадствует. Эти сочувствия не выражают.

Цю Юнь терпеливо сносит боль, пока наконец игла не вытасчена.

Сценарист показывает ее Цю Юнь — у большой иглы отломали ушко и заточили с двух сторон.

Цю Юнь доверительно обращается к сценаристу: *Надо разобраться, кто это сделал, кому понадобилось протыкать мне руку!*

Едва услышав эту просьбу, артисты начинают разбегаться.

Цю Юнь пытается удержать сценариста: *Помоги мне выяснить, кто это сделал.*

Тот тоже ретируется.

Цю Юнь мечется за кулисами, обращаясь сразу ко всем: *Помогите мне выяснить, кто это сделал, кому понадобилось ранить мне руку?..*

Так же в контражуре движутся навстречу друг другу недогримированные маски и безучастно переговариваются между собой: *Кто это сделал? Кто? Выясним, выясним...*

Толпа людей рассеивается, как дым, как туман.

За длинным гримировальным столом одиноко сидит Цю Юнь. В руке у нее игла, которую она рассматривает при свете лампы.

Поднявшийся ветер распахивает окно, хлопает дверьми...

Лицо Чжун Куя смотрит в объектив, он внимательно вглядывается в этот мир.

Чжун Куй поет:

Я подошел к родным вратам,
Но никого не вижу там,
Позвать сестру пришла пора.
Да испугается сестра,
Стою, молчу, лью слезы горя,
И застывают звуки в горле.

Чжун Куй поднимает руку, хочет постучать в дверь, но потом в нерешительности замирает.

В центре провинции, за сценой театра. Голос за кадром протяжно тянет: *О-ой, застывают звуки в горле!*

Ветер стихает, двери больше не стучат.

Цю Юнь внимательно разглядывает себя в зеркале и легкими движениями смазывает лицо кремом. Будто вновь гримируется. Изображение в зеркале преобразается: вместо прекрасного молодого героя перед нами пестрая маска хуалянь, на которой разбросаны черные, белые, красные мазки. Цю Юнь еще раз придирчиво оглядывает себя в зеркале, потом резко встает, закидывает голову, принимая типичную позу своего персонажа, — и из горла вырывается пронзительный крик.

Семидесятые годы. Квартира Цю Юнь в общежитии провинциального театра.

Эскизы маски Чжун Куя: один, другой, третий. Это лишь первые незрелые пробы...

Оказывается, они приклеены изнутри на дверцу платяного шкафа. Дверца открывается, Цю Юнь достает новую красную косынку и закрывает дверцу.

Здесь же Сяо Чжоу, актриса на амплу циньи — скромных женщин. Подругам по двадцать пять лет. Цю Юнь выглядит уже не мальчиком — изящной девушкой: коса до пояса, на лбу челка. На Сяо Чжоу — военная форма, короткая, как у хунвэйбинов, стрижка.

Цю Юнь накидывает на подругу красную косынку: *Замуж выходят, женятся раз в жизни, в этот день надо быть нарядной...*

Сяо Чжоу, с покрасневшими от слез глазами, взволнованно: *В самом начале культурной революции родители покончили с собой. И вот еду с мужем на Северо-Восток. А проводить некому. Только ты и осталась, Цю Юнь.*

Цю Юнь успокаивает ее: *Ну ладно, ладно, едешь-то далеко, но зато станешь полковничихой, «госпожой офицершей». Не так уж плохо!*

Сяо Чжоу: *Да что ты говоришь, какая из меня жена командира полка... Единственно, о чем я думаю, так это о будущих детях — пусть у них будет хорошее происхождение, не то что у меня...*

У двора провинциального театра останавливается военный джип, украшенный красивыми красными шариками, — приехали за невестой.

Из-за машины появляется Да Лю, давний возлюбленный Сяо Чжоу.

Из глубины двора выходят обе женщины, переговариваясь на ходу.

Сяо Чжоу: *Ну а как там твой техник с дипломом инженера?*

Цю Юнь, простодушно: *Да ничего. Каждый день на заводе, а я дома кухарю.*

Сяо Чжоу, подняв голову, замечает Да Лю и останавливается.

У ограды театра, прямо на земле, под обветшавшими лозунгами расположились артистки. Кто-то нежится под солнцем, кто-то кормит ребенка, занимается починкой одежды. А кто и просто ничего не делает.

Мама! — к Цю Юнь подбегает ее трехлетний сыншшка. Обнимая малыша, она обращается к Да Лю: *Ах, это ты! Ну вот и Сяо Чжоу...*

Словно не слыша, Да Лю растерянно следит за проходящей мимо него Сяо Чжоу. Та на прощание целует Цю Юнь с сыном и садится в машину.

Вот и еще одна выскочила! — комментирует эту сцену артистка средних лет, в вязаном свитере.

Другая, исполняющая роли старух: *Культурная революция революционизировала нашу труппу до того, что вот уже без лучшей цинги остались, а знаменитый наш военный герой отрастил косу. Ну что же это такое?*

Молодая артистка, кормящая грудью ребенка, откликается: *А помните, как за восемь лет антияпонской войны Мэй Ланьфан, лучший в Китае исполнитель женских ролей, сумел отрастить длинные усы, так долго не выступал на сцене...**

Маленькая, простенькая квартирка в общежитии.

Цю Юнь в фартуке готовит еду в маленькой кухне.

Возвращается с работы муж, заводской техник, молодой человек приятной наружности.

Поддай папе тапочки, — просит сына Цю Юнь.

Сын лезет под кровать и достает шлепанцы. Отец целует его и протягивает яркую детскую книжку. Сын, с восторгом листая, уходит.

Муж идет на кухню и отдает Цю Юнь две свежие рыбины. Присматривается к жене: *Что такое, отчего глаза припухли?*

Цю Юнь: *Сегодня Сяо Чжоу уехала к мужу, последняя из нашей компании.*

Муж: *Так теперь в вашей труппе и вовсе некому выступать.*

Цю Юнь, продолжая готовку: *Так и я о том же, теперь только и остается умереть..*

* Во время оккупации Китая японцами Мэй Ланьфан в знак протеста покинул сцену и в течение нескольких лет занимался живописью, добывая средства к существованию продажей своих картин.

Не умрешь, — смеется муж. — Твое сердце надежно спрятано — в платяном шкафу.

Цю Юнь смеется в ответ: *Эти эскизы — так, от скуки. Но ведь Чжун Куй спасает от неприятностей, он-то и помог мне выйти замуж за хорошего человека, разве не так? — И она шутливо ударяет мужа поварешкой.*

Муж: *А о чем же говорит твое сердце сейчас?*

Цю Юнь: *О том, что у нас будет еще один ребенок.*

Муж, счастливый, обнимает Цю Юнь.

На внутренней стороне дверцы прибавилось еще несколько набросков Чжун Куя, много более совершенных. Цю Юнь достает из шкафа пеленки, слышится плач малыша.

Цю Юнь заботливо меняет пеленки, подмывает малыша. Закончив с этим, присаживается к зеркальцу и пристально всматривается в свое лицо. Потом она берет ножницы и отрезает свои длинные косы.

Муж с работы, сын из школы вместе возвращаются домой.

Из зеркала на них глядит Цю Юнь, причесывающая свои укоротившиеся волосы. Первым замечает это сын-первоклассник: *Здрово, мама, совсем как наша учительница.*

Муж все еще не может прийти в себя. *Сегодня в театре, — радостно сообщает ему Цю Юнь, — обнародовали репертуар. Через три месяца — первое после культурной революции представление.*

Муж, недоверчиво: *А ты еще способна?*

Цю Юнь, уверенно: *Э-э... мне только тридцать. И я не считаю, что самые лучшие роли уже сыграла.*

Муж: *Но... ведь ты же еще кормишь грудью.*

Раздается плач малыша.

Цю Юнь берет его на руки, убаюкивает: *Прости свою маму, она уже не сможет кормить тебя молочком. И поговорить с тобой. И поцеловать твою милую мордашку... Сокровище мое... Я думаю, — обращается она к мужу, — отвезти его к бабушке, а положенные на ребенка деньги придется тратить на сухое молоко. Другого выхода я пока не вижу, ведь не откажется твоя мать от внука. По всему видно, что она уже все тщательно продумала и не оставила мужу возможности выбора.*

Муж молчит.

Тихонько напевая колыбельную, Цю Юнь убаюкивает свое сокровище.

Восьмидесятые годы. Квартира Цю Юнь. Красный халат и черная флеровая шапка с перьями, которую носили в древности чиновники, от костюма Чжун Куя висят на большой вешалке. Под ней стоит пара обуви на котурнах. Такое впечатление, будто за

дверью притаился человек высокого роста. Старший сын, ему уже двенадцать лет, баляясь, натягивает сапоги.

Кухня полна гари. Муж Цю Юнь, повязанный фартуком, готовит на кухне. Услышав крик сына, он вбегает в комнату и видит, что мальчик не может вытащить голову из халата. Он пытается ему помочь, но как раз в этот момент опрокидывается вешалка. Тяжелый халат накрывает обоих на полу. Чиновничья шапка закатилась в угол.

Цю Юнь в тренировочном костюме с булавой в руке, раскрасневшаяся, вбегает в комнату. Эта сценка приводит ее в сильное волнение. Она поднимает вешалку, высвобождает красный халат и помогает мужу подняться. В руке тот по-прежнему крепко сжимает поварешку.

Боясь его гнева, Цю Юнь спрашивает как можно более беззаботно: *Ты не ушибся? — Муж с окаменевшим лицом хранит молчание.*

Тогда Цю Юнь обращается к сыну: *Плохой мальчишка! Это же не игрушки!*

Сын в ответ грубит: *Это ты плохая — репетируешь то, чего не следует...*

Ах, ты! — Цю Юнь готова взорваться от гнева, но сын выбегает из комнаты и хлопывает дверь.

Цю Юнь бросает взгляд на мужа.

Но ведь это правда, — незаслуженно укоряет он ее, — Чжун Куй — роль совсем не для женщины. Почему тебе надо играть именно ее? Я никак не могу тебя понять, хороших людей не играешь, нужен тебе этот черт уродливый, эта образина...

Изо всех сил сдерживая себя, Цю Юнь старается говорить как можно мягче: *Спектакль только выиграет, если женщина сыграет «черта уродливого» так, что он покажется прекрасней всех красавцев на земле. Ты не согласен?*

Муж: *Какая самоуверенность!*

Цю Юнь: *Я хочу выразить в этой пьесе любовь мужчин так, как я ее понимаю, как сумела почувствовать ее сама в этой жизни, в этом мире. Как же он хлопочет о том, чтобы выдать замуж сестру!*

Ах, любовь мужчин? — прерывает ее муж. — *Так сколько же мужчин тебя любил?*

Цю Юнь остолбенела: *Как же... как же ты можешь?*

Муж распаляется еще больше, срывает фартук: *С меня довольно! Пока ты играешь мужчин, я тут окончательно стал бабой! Он швыряет фартук и попадает точнехонько в красный халат.*

Супруги замирают, не произнося ни слова.

Свет ярких люстр большого государственного театра слепит глаза. Шквал аплодисментов.

Это успех премьеры с Цю Юнь в роли Чжун Куя. Вновь и вновь она выходит на вызовы зрителей и кланяется публике.

Министр вручает Цю Юнь «Специальную премию за лучшее исполнение главной роли» и диплом.

Празднично одетая Цю Юнь светится счастьем.

Цю Юнь с вещами в руках поднимается по лестнице и видит на дверях квартиры большой замок.

Голос мужа за кадром: *Цю Юнь! Пока ты ездила в Пекин, я подал заявление о переходе на работу в кампанию в Шэньчжэне*, и мне предложили должность инженера с высоким окладом. Наше сокровище я забрал с собой, чтобы помогать ему готовить уроки. И еще: нам, по-видимому, будет полезно пожить какое-то время врозь, мы немного успокоимся.*

Пока звучит голос мужа за кадром, на площадку выходит сосед и протягивает Цю Юнь письмо и ключ.

Открыв дверь, Цю Юнь входит в дом. Все очень чисто прибрано, но в доме так пустынно.

Элитарный театр в Западной Европе. Огромные старинные люстры. Ярусы с ложами.

Аплодисменты и крики: *Браво!*

На авансцене стоит огромная корзина цветов. Цю Юнь выходит кланяться — который раз.

Фотографии Цю Юнь крупным планом, рецензии на ее выступления в китайской и зарубежной печати, либретто спектаклей...

Звучит передача Центрального радио КНР: «Выступления театральной труппы во главе с нашей знаменитой актрисой Цю Юнь в пяти странах Европы и Америки вызвали большой интерес у зрителей и специалистов театрального искусства. Рецензенты единодушно называют ее «китайской волшебницей», а пьесу «Чжун Куй», в которой она исполняет главную роль, — «волшебным китайским искусством».

Вслед за отзвучавшим радиосообщением на экране появляются: немытая посуда, кастрюли на кухне и одиноко сидящая в комнате Цю Юнь, которая только что поела,

но которой совершенно не хочется приближаться в комнате.

Камера приближается к ней — она дремлет, сидя в кресле. На коленях у нее огромное количество писем, ворох газет и журналов...

На симпозиуме китайских и зарубежных ученых, посвященном театру, выступает Цю Юнь, иллюстрируя доклад сценическими движениями — мастерски, одухотворенно, самозабвенно. Вспыхивают блицы репортеров.

Во время вечернего фуршета. Цю Юнь чокается с гостями, произносит тост. Потом тихонько садится в сторонке.

К ней подходит сценарист: *Почему ничего не ешь? Что тебе принести?*

Цю Юнь лукаво улыбается: *Кусочек блина и немного простого рисового отвара.*

Сценарист делает шаг к столу, и тут же до него доходит: *Что? Да ну тебя!* — Садится рядом: — *Вот вернемся в Китай — тут же на целый месяц поедим на гастроли в провинцию.*

Ох, как хорошо! — Цю Юнь мечтательно откидывается в кресле.

Осенняя глухомань Северного Китая.

Внушительная кавалькада машин: четыре легковых, четыре небольших фургона и еще четыре грузовика с реквизитом и чемоданами — так в восьмидесятые годы выезжает на гастроли театр.

Цю Юнь неотрывно смотрит в окно легковой машины. Вдруг она радостно восклицает: *Смотрите! Вот оно, озеро Дацзинху!*

Машины едут по дороге вдоль берега озера.

Из зарослей тростника взлетает вспугнутая стая диких уток.

Из всех машин раздаются веселые голоса и крики.

Цю Юнь высовывается в окно: *Вернулась, можно считать!* — И, взволнованная, обращается к сценариусу: — *Ты представляешь, я ведь не выступала в родной деревне с детства! Как же я соскучилась по своему старику!*

Сценарист листает контракт: *В Цючжуане мы будем выступать целую неделю. На храмовом празднике. Вторая остановка.*

Колонна автомашин въезжает на улицу уездного города. Останавливаются и глазуют прохожие.

Колонна подъезжает к новенькому зданию театра, у входа в который висит гро-

* Шэньчжэнь — одна из «особых экономических зон» в Китае с более высоким, чем в стране в целом, уровнем жизни.

мадная афиша спектакля «Чжун Куй» и указан гастрольный репертуар. У кассы — длинная очередь.

Пожилая женщина протискивается к окошечку, достает красный матерчатый кошелек, отсчитывает деньги: *Я... мне десять билетов — на каждый спектакль.*

Кассир смотрит на нее испуганно.

Цю Юнь провожает до выхода из гостиницы руководителей уезда. Один за другим они жмут ей руку: *Вы самая большая слава нашего района, и то, что мы смогли пригласить вас на гастроли,— большая честь для нас. А сейчас отдыхайте, пожалуйста, не стоит провожать.— «Чжун Куй» как символ справедливости помогает нам в пропаганде законности. Управление юстиции уезда выражает вам свое почтение. Как это прекрасно! Не стоит провожать, отдыхайте.— Вы — образец женщины: верная супруга и добрая мать. Да к тому же еще и настоящий мужчина. Федерация женщин нашего района приветствует вас. Спасибо, не провожайте, не стоит...*

В конце концов, гости откланялись, расселись по машинам и уехали.

И только Цю Юнь направилась ко входу в гостиницу, из-за угла вдруг выглянула та самая пожилая женщина, что покупала билеты в кассе. Она подступает к Цю Юнь и хватается ее за плечи. Цю Юнь испуганно отстраняется.

Ха-ха! — возбужденно восклицает женщина, не успев перевести дыхание, и с таинственным видом добавляет: — *Ну вот мы и встретились.*

Цю Юнь пристально вглядывается в ее лицо — да это ее родная мать, с которой они много лет не виделись.

Теперь это увядшая старая женщина. Но сейчас она в возбужденном состоянии, глаза ее горят.

Мама! — восклицает Цю Юнь.

Пожилая женщина взволнованно протягивает руки.

Проходящие мимо молодые артисты с удивлением смотрят на них.

Цю Юнь отводит мать в сторону. *У тебя какое-нибудь дело?* — тихим мягким голосом спрашивает она.

Дело? Какое дело? — мать не отрывает глаз от дочери и сбивчиво бормочет: — *Взгляни, вот новые часы, и вот еще — новый джемпер... Я не нуждаюсь в деньгах, не из-за денег разыскала тебя.*

Цю Юнь смотрит на мать, которая стала для нее совершенно чужим человеком.

Мать: *Пойдем со мной, я хочу, чтобы ты увиделась с одним человеком.— Не дав Цю Юнь сказать ни слова, она уводит ее с собой.*

Мать подводит Цю Юнь к двери лапшевной и тихо просит: *Войди, поищи сама...*

Подталкивает Цю Юнь, и та невольно обводит глазами помещение.

Душная маленькая забегаловка. Несколько приехавших на ярмарку взрослых с детьми едят лапшу. Вдруг ее взгляд останавливается.

Она видит спину пожилого мужчины, круглой затылок. Ничего не замечая вокруг, он ест лапшу, подхватывая ее палочками.

Как будто получив невидимый импульс, Цю Юнь сосредоточенно вглядывается в незнакомца.

Мать не спеша приближается к ней: *Посмотри на его нос, брови. А какое у него чистое белое лицо... Похож? А?*

Но Цю Юнь смотрит только на его затылок.

«Затылок» ощущает пристальный взгляд и, будто пронзенный током, еще ниже опускает голову и все более погружается в процесс поедания лапши.

А мать продолжает нашептывать: *Когда ты еще была маленькой, я тебе говорила, а ты не верила...*

Цю Юнь отодвигается от матери и входит внутрь. Приближается к «затылку», садится рядом.

«Затылок», не поднимая глаз от миски, спешит покончить с лапшой, даже не смахнув пот со лба, встает, опираясь о стол, и уходит.

Цю Юнь, как приклеенная, сидит на одном месте.

Через некоторое время бесшумно, как привидение, подходит мать, садится рядом: *Доченька, он говорит, что чем известней ты становишься, тем дальше уходишь... Когда-то мы все вместе были в одной труппе, и он тоже играл военных героев. Потом мы перешли в другую труппу, а сейчас вот, к старости, вернулись в родные места... На этот раз-то ты должна поверить, ведь твоя мать уже старая. Неужели ты думаешь, что я стану наговаривать что-то?.. А этот-то, старина Цю, ну ни в какую не желал нам отдавать тебя. Нехороший он человек!*

Прекрати! — этого Цю Юнь не могла выдержать. Но испуганный и жалкий вид матери погасил ее гнев, она попросила с мольбой в голосе: — *Скажи что-нибудь хорошее. Хорошее? Наконец-то мы все трое вместе!* — мать с трепетом кивнула на пустую миску на столе. — *Воистину, это воссоединение разлученной семьи.*

Цю Юнь невольно поднимает взгляд от миски и смотрит на улицу.

«Затылок» удаляется все дальше и дальше.

Крестьяне деревни Цючжуан ремонтируют подмости; одни носят землю для выравни-

вания поверхности, другие чинят навес над зрительскими местами.

Уже состарившийся отец Цю Юнь по-прежнему полон сил и бодрости. В радостном возбуждении он распоряжается работами.

К нему подходит беззубая старуха и, улыбаясь, громко заявляет: *Эй, старина Цю, когда будет играть твоя дочь, уж я-то обязательно должна сидеть в первом ряду.*

Отец: *Конечно, тетушка. Уж кого-кого, а тебя, нашу деревенскую повитуху, никак нельзя обойти!*

Молодежь громогласно вопрошает: *Эй, дядюшка Цю, твоя знаменитость вышла из нашей деревни, так неужто односельчане должны еще билеты покупать? — Хотя бы пару спектаклей обязана подарить нам...*

Старый Цю, пользуясь правом старшего, отвечает: *Что за чушь несете, макаки! Ведь театр-то принадлежит государству, а не семейству Цю. А если он не будет продавать билеты на свои представления, на что же жить артистам? Вот так вот...* — И вместе с повитухой они удаляются.

Ай! — один из юношей отпускает веревку, и белый полог снова заваливается. — *Эх, а еще говорят, государственное дело. Театр приезжает, а у нас даже поселить негде, только и остается, что на земле стелить...*

Храмовый праздник в деревне Цючжуан. Ярмарочная суета, куда ни глянь — масса товаров местного производства.

Людской поток выносит старика Цю к маленькой харчевне, он находит на заднем дворе хозяйна, угощает его сигаретой и говорит: *Старина Ван, хочу попросить тебя помочь мне устроить праздник.*

Хозяин Ван, не поворачивая головы: *На сколько мест?*

Отец: *Восемь столов.*

Хозяин даже прекратил работу от удивления: *Ну, бобыль, у тебя что, свадьба?*

Отец: *Так ведь девочка моя со своей труппой приезжает. Большой театр из большого города — потеплее бы надо принять таких гостей.*

Хозяин Ван: *Власти ничего не предпринимают, так ты решил сам?*

Отец: *Ну да, сам. Прикинь-ка, во что обойдется?*

Не прекращая своей работы, хозяин Ван подсчитывает вслух: *Свинья — двести, полосла, полкоровы, большие карпы из Дацунху, лангусты, десяток кур...*

Отец: *Ты так считай, чтобы у меня восемьдесят человек наелись да напились вдоволь!*

Хозяин Ван: *Ну, без вина сотен на шесть потянет.*

Отец: *Идет! По такому случаю я готов все свое состояние промотать.*

Все три комнаты дома Цю на время стали кухней. Тут мелко стругают мясо, разделяют кур. Дружно стучат ножи. Во дворе забивают и ощипывают кур, режут кроликов и гусей. Работа кипит, спорится.

Торжественно подъезжает к деревне колонна автомашин театральной труппы.

У въезда в деревню ее радостно приветствуют дети и взрослые.

Опираясь на палку, неподвижно стоит отец Цю Юнь.

Цю Юнь выходит из машины и идет навстречу односельчанам. При виде отца глаза ее увлажняются, она не может вымолвить ни слова.

Во дворе дома Цю. Ночь.

Горят свечи, полон двор свечей.

Настал момент, когда на банкетных столах уже одни объедки. Стаканы, тарелки разбросаны, а голоса гостей слились в бесвязное бормотание... Актеры и местное начальство — все восемь столов — навеселе. Один из начальников встает шатаясь — поднять заздравную чарку, но неосторожно опрокидывает стоящую на столе свечу. Сидящий рядом сценарист успеваеt подхватить ее.

Местный начальник: *Как же не вовремя отключили электричество... Ну ладно, поехали!*

Сценарист: *Да вы настоящий герой!*

Начальник: *Вы тоже молодец!*

Сценарист: *Нет уж, давайте не вилить. Говорите напрямик все, что вы думаете о нашем театре...*

Начальник: *Как можно! На всю страну известный театр, по приглашениям не ездите. Уж завтра непременно найдем вам помещение, все будете спать на лежанках. А то на полу, ай-яй-яй, как можно... Ну ладно, выпьем!*

За соседним столом уже азартно играли, угадывая выброшенные пальцы.

А в центре — староста деревни, тоже слегка навеселе, обращается к Цю Юнь, похлопывая ее по плечу: *Да ты, братец, далеко пошел... а родом, помню, из наших мест. Так что если у тебя будут какие трудности, стоит лишь рот открыть...*

Цю Юнь встает и поднимает тост за всех присутствующих: *Я хочу поблагодарить вас за то, что вместо меня вы заботитесь о моем старике. Спасибо! Вот все, что я хотела сказать. А завтра, как только зазвучат гонги и барабаны, приходите посмотреть, чего достигла ваша Цю Юнь и достойна ли я вас, мои дорогие односельчане!*

Спасибо! — ревет дружный хор.

Дворик пуст. Горят свечи.

За столом остались только отец и дочь. Цю Юнь наливая обоим вина: *А теперь, старичок, давай выльем за нас с тобой!*

Оба осушают стаканы,

Отец не в силах сдержать смех, захлебывается, глядя на недоумевающую Цю Юнь.

Отец: *Ну собрался, прямо-таки «Встреча героев». Все действующие лица, молодцы! Герои! Все пришли.*

Тут уж и Цю Юнь хохочет: *Разорили-то нашего старичка. Поди, потратился до последнего фэня.*

Отец: *Кто теперь скажет, что я — не Хуан Гай*. Вам хотелось попить, а мне — угостить вас. Жаль, что я не спел и двух строк.*

Слушай, а это идея! — Цю Юнь осушила свой стакан.— *Завтра ты будешь играть Чжун Куя, а я сестру. И ты выдашь меня замуж. Ну как?*

Захмелевший отец приподнимается из-за стола и идет между столами, изображая Чжун Куя. С видом человека, возжаждшего блаженства: *Я хочу сыграть Чжун Куя, но не по кусочкам, а целиком, и таким, чтобы он в каждой сцене расправлялся бы с каким-нибудь бесом.* — И продолжает, на каждой фразе гася по свече: *—...Бесом-людоедом... бесом жадности... бесом азартных игр... бесом похоти... (бесом пьянства... — вставляет Цю Юнь) ... бесом злобного двуличия... бесом распущенности... бесом угодничества, да и бесом надоедливости...* — Он входит в раж: *— Весь мир должен очистить Чжун Куй...*

Почтенный Чжун Куй, поосторожней, а то поясницу повредишь! — Цю Юнь смеясь наблюдает за ним.— *Папа, своего Чжун Куя я давно-давно почувствовала. Кто это — бесы? Их ни увидеть, ни потрогать. Так кого же мне ловить?*

Фитилек ближайшей свечи начинает обретать форму большой иглы...

Цю Юнь: *Мой Чжун Куй совершает только один поступок.*

Отец: *Какой поступок?*

Цю Юнь, с таинственным видом: *Святотство!*

Отец удивленно поднимает брови: *Святотство?*

Цю Юнь: *А ты не относись к Чжун Кую как к бесу. Ведь что его заботит больше всего? Судьба женщины! Не найти сестре хорошего мужа — этого он не перенесет.*

Отец: *Вот оно что, ты, значит, по-своему подходишь, так понимаешь...*

Цю Юнь: *Ты знаешь, корреспонденты постоянно пристают ко мне с вопросом, почему*

этого уroda я делаю прекрасным. Это, говорят они, «неземное чудо», «современный миф», представляешь? А ведь он только о том и думает, что женщина должна быть удачно выдана замуж и счастлива со своим мужем.

И тут отец и дочь, раззадоренные вином, принялись громко хохотать. Давно уже им не было так весело.

Все еще смеясь, отец спрашивает: *Ты так и отвечаешь корреспондентам?*

Цю Юнь, улыбаясь, качает головой: *Да нет... Им я не говорю... Ведь они только и знай твердят о «неземном чуде», «современном мифе»! Ну скажи я им, они же все равно не поверят.*

Продолжая смеяться, отец спрашивает: *А как твои сокровища и их папочка?*

Хорошо, хорошо... Все хорошо... Так хорошо, что уж лучше не бывает. — Быть может, от смеха ее голос обрывается.

Отец хлопает по столу и горделиво заявляет: *Дочка, говорил же я тебе, что стоит только достичь известности, стать знаменитой актрисой, как все остальное устроится само собой.* Мурлыча мелодию, шатающийся старина Цю пытается поводить плечами, как в танце.

Цю Юнь смотрит на отца, и сквозь улыбку на лице ее проступает горечь.

Опираясь на клюку, во двор входит старуха: *Хочу посмотреть, как тут отец с дочерью веселятся.* Это уже известная нам беззубая повитуха. Все лицо у нее испещрено морщинами. Она любовно оглядывает Цю Юнь: *Какая большая выросла. Говорят, ты уже и за морем побывала, перед иностранцами пела? Много чего еще ждет тебя... Дай-ка мне на тебя поглядеть...* Ее высохшие руки поглаживают руки Цю Юнь.

Отец знакомит с ней дочь: *Это тетушка Ван, она принимала тебя.*

Старуха: *Во время родов твой отец так расписывался, что стал кукурузные початки считать. Если будет, говорит, нечет — значит, сын родится. Раз десять пересчитал — все нечет. Уж он-то обрадовался!.. А как родилась ты — худющая, кожа да кости, рожина огромный, орешь что есть мочи, будто поешь на сцене. Твой отец и решил, что парень родится. Ждет он меня, чтобы на тебя взглянуть, забросил все свои забавы... — а оказалось-то дочка, маленькая девчушка...*

Отец слушает и поддакивает да смеется так, что слезы льются по щекам.

Цю Юнь слушает как зачарованная, как будто это сказки «Тысячи и одной ночи», а руки старухи тихонько гладят ее по лицу.

Стога на пшеничном поле. Лунная ночь.

Звучит свадебная музыка. На сцене, при-танцовывая, появляется Чжун Куй. За ним следуют пять бесенят.

* Полководец Хуан Гай — персонаж исторического романа «Троецарствие», сподвижник Чжоу Юя. Согласился даже быть избитым своим хозяином только для того, чтобы ввести в заблуждение противника и уничтожить его.

Он смотрит в зеркало, прихорашивается — сестра выходит замуж.

Чжун Куй танцует и поет. Все ему подпевают:

Вот я смотрю —
запряжена карета,
запряжена карета,
так поспешим же в путь
с свечами, фонарями,
знаменами, флажками,
под шепот голубков.
Дух, обуздавший бесов,
взял в руки рваный зонтик —
и брачная карета
летит навстречу счастью.

Бесенята-оркестранты и паланкин совершают проход.

На сцену в родной деревне поднимается Цю Юнь, еще слегка под хмельком. Она кажется крошечной. Стоит посреди сцены, а перед ней — крошечная тьма ночи.

Ветер.

Он со свистом проносится по пустым местам в зрительном зале.

Цю Юнь смотрит перед собой очень пристально и сосредоточенно, как будто пытается разглядеть вдали что-то, что привлекло ее внимание.

В туманной тьме — пятно света следит за медленно бредущей фигурой.

Цю Юнь: *Кто это?*

Очертания фигуры постепенно проясняются — это Чжун Куй.

Смеясь, он смотрит на Цю Юнь: *Я — это ты, а ты — это я!* — Он возбужден и насмешлив.

Цю Юнь испуганно следит за ним: *Мы с тобой неотделимы друг от друга!* Чжун Куй нежно берет ее за руки, как самого близкого друга, как родную сестру.

Цю Юнь согласно кивает головой.

Чжун Куй, с еще большим восторгом: *Но ведь ты при этом — женщина!*

Тут уже улыбается и Цю Юнь.

А я — я бес... я уродлив, — Чжун Куй стыд-

ливо прикрывает лицо ладонью.

Цю Юнь поспешно отводит его руку и мягко, как сестра или близкий друг, говорит: *Не надо из-за этого переживать.*

Чжун Куй: *Я? Я не печалюсь, но мне показалось, что ты загрустила...*

Цю Юнь: *Да нет, я просто выпила немного...*

И оба они беззаботно, как дети, смеются.

Преувратностей судьбы кому не миновать! — поучает ее Чжун Куй. — *А что ты чувствуешь, когда раз за разом я на сцене выдаю замуж сестру? Не представляешь ли ты себя на ее месте?*

Цю Юнь: *Но ведь я уже замужем.*

Чжун Куй: *Э, меня не проведешь, я вижу, что ты несчастлива.*

Цю Юнь: *Нет. Я счастлива, я навеки обречена со сценой.*

На сцену поднимаются пять бесенят. Они окружают ее, забавляются, совсем как дети играют на свадьбе с невестой. Всем весело. Один из бесенят набрасывает себе на плечи пальто Цю Юнь. Это так нелепо, что Чжун Куй и Цю Юнь переглядываются и смеются.

Вдруг снова поднимается ветер.

Чжун Куй прощается с Цю Юнь, оба плачут и смеются.

Чжун Куй и его свита растворяются во мраке.

Цю Юнь одиноко стоит на сцене, пальто сброшено на пол.

Её освещает яркий луч света.

Эта замечательная актриса находится сейчас в мире, принадлежащем только ей. Здесь она властвует одна, как императрица.

Фигурка Цю Юнь в пучке света на огромной сцене отдалается, становясь все меньше и меньше...

1987 г.

Перевод И. Кульчицкой под редакцией С. Горопцева (журнал «Дяньин синьцзо», Шанхай, 1987, № 5).





Марина
ШЕПТУНОВА

ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ

Рита.
Оконное стекло было плотно закрыто морозным узором.

Мы лежали на узкой кровати под бедным больничным одеялом. Я всматривалась в его лицо, успокоенное, посветлевшее.

Имя,— подумала я,— имя-то как?.. Забыла. Склеротичка.

— Ромео,— сказала я,— ах, зачем же ты — Ромео?

Он улыбнулся.

— Ну, вот так. Правильно,— сказала я, одобряя.

Он покивал, удивленно глядя перед собой.

А ты вешаться! — подумала я, вслух спросила:

— Все ведь хорошо, да?

Он кивал, улыбаясь, прислушиваясь к себе, занятый только собой, такой довольный, что смотреть противно. Я была ему уже неинтересна.

Все же двухдневную небритость на его щеках я погладила пальцем с некоторым сожалением.

— Мне пора.— Встала, начала одеваться. Тогда он вспомнил обо мне, посмотрел.

— Я ж на работе,— напомнила я.

Он смотрел и видел теперь, наверное, что мне никак не меньше сорока и что я не так уж хороша собой.

Я нарядилась в мятые зеленые штанишки, белый халат, зеленую шапочку — сестра милосердия, одним словом.

...Я прошла по длинному больничному коридору — высокие синие кислородные баллоны вдоль стен, каталки, крашенные облупившейся белой масляной краской,— и скрылась за дверью с табличкой «Ординаторская».

На раскладушке у окна шумно спал Сенечка. Лейда, ядовитая девушка лет тридцати, лежавшая у стены на диване, сказала, глядя на меня:

— Те же и Клеопатра.

Я легла на соседнюю с Лейдиным диваном раскладушку.

— Может, и мне попробовать,— сказала Лейда, презируя меня.

— Попробуй,— сказала я, жалея ее.

— Да нет,— зевнула Лейда.— Я еще не сошла с ума.

— Тогда не надо,— равнодушно отозвалась я и провалилась в сон.

Я колотилась по хозяйству в кухоньке малогабаритной квартиры, где проживала моя дочь Эва с мужем Томасом: готовилось семейное торжество в узком кругу — день рождения Эвы. Она рассеянно помогала мне, работала, что называется, на подхвате. Томас звенел посудой, накрывая на стол. Магнитофон в комнате выдавал что-то ритмическое, вздорное, философское, что-то нелицеприятное в адрес человечества. Вероятно, все мы трое имели очень похожие выражения лиц, слушая этот вздор, балдея от этого ритма. Поэтому когда позвонили

в дверь, никто не заметил. И только когда звонивший замолотил в дверь кулаком, Томас рывкнул:

— Бабульку приволокли! — и выключил магнитофон.

Моя свекровь Зинаида Николаевна — женщина аккуратная, ласковая до тошноты. Страдая в серых буднях от недостатка внимания, она невольно переигрывает старческую беспомощность и наивность в праздничном присутствии родных и близких.

— Деточки мои! Эвочка! Ритуся! Мальчик мой! Томки! Я так рада! С днем рождения, солнышко! Андрюша, родной, где сумка, помоги же мне, где мой подарок?!

Андрей терпеливо ждал на лестничной площадке, пока его мама закончит тесный коридорный обряд целований и поздравлений. Наконец двинулись в комнату.

— Я уговаривала Лизу!..

— Не надо Лизу! — взмолился Томас.

—...но у Лизы печень. А где мой столик?

— В коридор выставили. Не протолкнуться же, бабуля, — сказала Эва.

Зинаида Николаевна впала в транс.

— Это дедушкин столик...

— На дрова его, на дрова, — пробормотал Томас.

Я зашипела на зятя и вытурила его в кухню.

—...и еще мой папа...

— Мамочка, это только мебель, — успокаивая, сказал Андрей.

— Это памяти!

Томас на кухне покусился на салат, за что получил от меня символический подзатыльник.

— Это настоящий Лейстлер! — не сдавалась Зинаида Николаевна.

— На дрова Лейстлера!

— Это подделка, бабуля, — сказала Эва, усаживая бабулю в кресло во главе стола. — Это не Лейстлер.

— Я думала... я надеялась, что вы умеете ценить красоту.

Томас открыл было рот, но я его опередила:

— Так что там с печенью, Зинаида Николаевна?

— Ой, она так мучается! — оживилась Зинаида Николаевна. — И совершенно не соблюдает диету.

...Поели, попили, произнесли тосты. Накрыли стол к чаю с домашним вареньем и магазинным тортом. Умиротворенная Зинаида Николаевна звякнула чашечкой о блюдечко и лягнула:

— Я считаю, что вам пора завести ребенка. Жить только для себя — это чистойшей воды эгоизм.

Она очень точно, хотя и не преднамеренно ударила Эву в самое больное место. С невинным недоумением оглядела

притихших родственников.

— А что? Я стала бы вам помогать. Снова ощутила бы себя нужной.

Андрей попытался под столом взять дочь за руку. Она вырвала руку.

— Зинаида Николаевна, — сказала я терпеливо, глядя в стол, — есть вопросы, которые не стоит выносить...

— Да я все чудненько понимаю! — вскричала бабуля. — Но мы же здесь все свои, все — близкие люди. Я только хочу понять, почему у них нет детей. Я так страдаю.

— Шас сделаем, — сказал Томас. — Эвка, пойдем в ванную, сбациаем ей одного сопливого.

Эва мучительно улыбнулась.

— Не груби бабушке! — возмутился Андрей.

— Вот я родила троих детей и не зря прожила жизнь! — объявила Зинаида Николаевна и добавила, стесняясь кокетливо, как девица. — К тому же аборт вреден для женского организма.

— Мамочка! — взмолился Андрей.

Эва горько усмехнулась.

— Зачем же аборт? — значительно улыбнулся Томас. — Мы цивилизованные люди. Грамотные в вопросах секса.

Зинаида Николаевна густо покраснела.

Я невольно рассмеялась.

— Томас, перестань.

— Она сама запросилась, — мстительно сказал Томас.

— Так, — решительно сказала Зинаида Николаевна, повернув голову к Андрею, но глядя мимо него. — Я хочу знать, кто хозяин в этом доме.

Андрей молча страдал.

— Я, — сказал Томас. — Вы забыли, что вы в моем доме?

Она действительно об этом забыла.

Томас взял гитару, рухнул на пол и заорал:

Ты — дрянь! Лишь это слово способно обидеть.

Ты — дрянь! Я не хочу тебя любить и не могу ненавидеть.

Эва захохотала.

— А я вообще могу уйти, — сообщила Зинаида Николаевна. — Андрюша, поймай мне такси.

— Бабуля, не дури.

— Мамочка, не надо.

Ты продала мою гитару и купила себе пальто.

Тебе опять звонят весь день.

Прости, но я не знаю, кто.

Но мне до этого давно нет дела.

Вперед, детка, бодро и смело!

Ты — дрянь!

— Прекрасно! Я доберусь сама. На трамвае. — Зинаида Николаевна поднялась, пе-

решагнула через расprostертого Томаса.— И никакой благодарности! Никакой — за все, что я для вас сделала.

Ты спишь с моим басистом и играешь в бридж с его женой.

Я все ему прощу, но скажи, Что мне делать с тобой.

Тебя снимают все подряд, и тебе это лестно,

Но скоро другая займет твое место. Ты — дрянь!

И тут со мной приключилось то, что бывало уже не раз и что я мысленно называла «выпасть из ситуации». Я начинала вдруг видеть происходящее как-то уж очень со стороны, не как соучастник и даже не как зритель, потому что перед собой я не видела правых и виноватых: все были правы и все были виноваты. Я могла смотреть вокруг только с любопытством, нежностью и скорбью, как, наверное, Господь Бог смотрел на этот мир и на всех нас, когда его угораздило воплотить свое одиночество в некую более или менее гармоничную форму. Важны были подробности: ловкие пальцы Томаса на гитарных струнах, Эвин смех и слезы, она стирала их ладонью и уговаривала бабушку, Андрей обнимал за плечи свою старенькую маму, а та капризно и гордо встряхивала головой, седой, как одуванчик, и смягчалась, и позволяла себя обнимать и уговаривать.

В кухне на плите жалобно, нерешительно посвистывал чайник.

Летом я добиралась на работу на велосипед. Небольшой старый провинциальный городок на холмах. По преимуществу двух- и трехэтажные дома. Встречались и аккуратные частные домики в окружении садов за крепкими заборами, и неожиданные, нелепые многоэтажные домищи.

В коридоре на кафельном полу возле кафельной стены стоял красный пластмассовый ящик с пакетами молока. Рядом на небрежно расстеленной зеленой простыне лежала человеческая нога, оторванная выше колена, белая, окровавленная. Потом туда же, на простыню, упала рука.

На каталке лежал мужчина лет пятидесяти.

Работали вчетвером: я, Лейда, печально-ироничный Олав и добродушный юный Сенечка.

Мы с Сенечкой быстро раздевали больного, разрезая одежду ножницами или просто разрывая ее.

Лейда обыскивала карманы, все содер-

жимое бережно собрала, положила на стол сестринского поста: ключи, кошелек, яблоко, какие-то квитанции, огрызок карандаша, удостоверение и карманный ингалятор от насморка.

Над столом было длинное окно в палату. В палате уже лежал один больной. Туда привезли и нового.

— В оперблок позвони,— сказал Олав. — Уже,— сказала я.

Олав вешал зажимы на большие сосуды — останавливая кровь.

Я собрала бритву, начала брить обрубок ноги.

Лейда определяла группу крови — на края тарелочки взяла три капли крови, в каждую капнула из пипетки индикаторы и ждала, потягивая тарелочку.

Сенечка звенел капельницей.

На соседней каталке лежал молодой парень. Дней пять небрит. Глаза закрыты. Руки бинтами привязаны за кисти к каталке. Полоска крови на годе плече.

— Резанные вены,— сказал Олав, заметив мой взгляд.

— Его Хендриком зовут,— сказала Лейда.— Между прочим, Ритуся, твой клиент...

— Помолчи,— попросила я.

Олав взглянул на меня, оглянулся на самоубийцу.

— Кровь узнала? — спросил он Лейду.— Иди принеси... По-моему, еще и перелом таза.

— Я рентген приволоку,— сказал Сенечка и вышел.

Вновь поступивший больной вдруг зашевелился, задвигался.

— Ребята,— забормотал он пересохшим ртом,— ребята, это вы чего?.. Мне идти надо... Мне наряды подписать.

— В другой раз, отец,— сказал Олав.— В другой раз.

Мы пили чай у сестринского поста. Лейда вязала что-то пушистое. Она говорила:

— Тут его мать приходила. Зеленая, трясется. Я все у нее узнала. Оказывается, Хендрик наш женился недавно. До свадьбы девица ему много чего позволяла, а чтобы под юбку пустить — так только после ЗАГСа: извини, любимый...

— Нравственная, сучка,— сказал Олав. Он лежал на каталке.

— А потом, когда все по закону, все можно, у него, естественно...— Лейда пристынула и сделала выразительный жест рукой.— Она своему папе пожаловалась, а ее папа — к его маме с претензией: почему жениха...

— Ну, хватит,— перебила я. Я обработала пилкой ногти.

Лейда усмехнулась.

Олав посмотрел на меня.

— Ничего страшного,— сказал он мне.— Придет психиатр, поговорит с нашим Хендриком. Все будет в порядке.

— По заднице ей надавать,— сказала я.— Кому? Маме или жене? — уточнил Олав.

— Обeim.

Посмеялись.

Пришел психиатр. Разговаривал с Хендриком.

Я смотрела на них через окно, пытаюсь понять, что между ними происходит, но врач стоял ко мне почти спиной, а лица Хендрика я совсем не видела.

Потом врач наклонился и стал развязывать бинты, прижимавшие руки Хендрика к краям каталки.

Олав сидел у стола, наблюдал за мной, удерживая привычную ироническую улыбку. Из палаты вышел психиатр, стал разговаривать с Олавом.

Я стояла возле них и, слушая, смотрела через окно в палату. Я видела, как Хендрик шевелится, устраиваясь удобнее на каталке, и смотрит на дверь, ожидая, не войдет ли кто.

Врач говорил о тормозных рефлексах и повышенной возбудимости больного. Психических отклонений от нормы он не нашел.

Я слушала, смотрела на Хендрика и поняла вдруг, что он не устраивается удобнее на каталке, а, спрятавшись под одеяло по самый подбородок, старается освободить от повязок руки. В тот момент, когда я поняла это, Хендрик встретился со мной глазами.

Он притих на мгновение, а потом, уже не скрывая, принялся яростно срывать бинты с изуродованных рук.

Тогда это заметили остальные.

Олав первым вбежал в палату. Отбросив одеяло, он схватил самоубийцу за руки, развел их в стороны, а потом опустил, прижал к краям каталки. Он что-то говорил быстро и зло. Хендрик тоже что-то кричал. Его глаза стали черными от расширившихся от боли зрачков.

Хендрику сделали инъекцию. Его снова привязали.

Подошел заспанный Сенечка.

— К нам поступление,— сказал он, зевая и почесываясь.— Автомобильная катастрофа. Двое взрослых и ребенок. А у вас тут чего?

Хендрик.

Я слышал, как они возились рядом, у соседней каталки. Повернул голову, посмотрел.

Длинные светлые волосы свешивались вниз.

Я закрыл глаза.

Женщину переложили на другую каталку, не застеленную, металлическую, накрыли простыней с головой, заправили под простыню длинные волосы умершей и увезли.

В палате осталась одна сестра. Я слышал, помнил, как другие называли ее по имени.

Рита убирала ненужную капельницу, лотки с использованными инструментами, таз с окровавленными тампонами. Она посмотрела на меня, отвернулась.

Она мыла инструменты в умывальнике. Спиной чувствовала мой пустой, лишенный всякого интереса взгляд.

— Рита,— сказал я.

Она удивилась, почти испугалась, услышав свое имя.

— Отвяжи меня,— сказал я.

Она повернулась. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Рита вытерла руки о полотенце и подошла отвязать.

— Спи,— сказала она.— Ночь.

Она сняла грязные простыни с соседней каталки. Чистую достала.

— Сны снятся,— сказал я, шевеля затекшими кистями рук.— Страшно спать. То есть сон-то один, но уже какую ночь снится. Длинный такой коридор. И я иду. А пол грязный, скользкий. Там набросано чего-то, сырое, скользкое. Я иду. Наступить боюсь, но и под ноги смотреть тоже боюсь. И все повороты, повороты. И трубы под потолком. Коридор длинный.— Я сидел на каталке, колени подтянул к груди, жалкий, голый.— А слева в стене дверь стеклянная, а за ней темно. И я знаю, что смотреть туда не надо, нельзя смотреть, а все-таки не удержался. Отражение слабое, смутное, но я вижу,— я провел ладонью перед лицом,— нету здесь ничего.— Я уставился на Риту сумасшедшими, страшными глазами, объяснил: — Лица у меня нет, понимаешь? Глаза, рот, нос — ничего нет. Ровное место. Уши есть,— я вдруг улыбнулся,— а лица нет.

Глаза у меня покраснели от близких слез, но я так и не заплакал.

Рита погладила меня по голове.

— Не бойся.

— Но как же так? — Я все водил беспомощно ладонью перед лицом и смотрел вопросительно.

Рита взяла эту мою руку, поцеловала.— Ничего не бойся.

...С ней было легко. Глаза у нее такие бездонные, пристальные, точно ей дано видеть в другом человеке, во мне, то, что видеть не положено, не принято, нельзя так проникать в меня, в другого человека, но вот она смотрит на меня, и ей как бы

уже и можно так смотреть, потому что ни осуждения, ни сострадания, вообще никакой оценки нет в ее глазах, она просто принимает то, что видит, как оно есть, и оттого моя жизнь уже как бы и ее жизнь тоже, не чужая...

Рита прижала мою голову к своему животу, закутала плечи в одеяло.

— Пойдем. Пойдем со мной.

...Рита вела меня по коридору. Привела в бокс, где были только кровать, стул и тумбочка. Пустая молочная бутылка стояла на подоконнике.

— Иди. Не бойся.

— Ничего не получится,— я покачал головой, нервно, язвительно усмехаясь.

— Ну не получится, так не получится,— сказала Рита.— Хуже от этого все равно не станет.

— Да уж,— сказал я.— Хуже как будто бы некуда.

Рита.

Был рассвет, когда я ушла, оставив Хендрика спать в боксе. Я постояла у двери, посмотрела на него, спавшего глубоко и спокойно, на треугольный силуэт ночной бабочки на стекле, на зазеленевшее за окном небо и ушла.

Олав.

Мы с Лейдой сидели у сестринского поста. Я повернул голову и смотрел, как Рита идет к нам по коридору.

— Ну и ну,— сказала Лейда, когда Рита подошла.— Где мальчонку-то потеряла?

Рита указала подбородком куда-то назад. Вынула из ящика стола свою косметическую сумочку. Начала красить глаза.

— Ты у нас просто специалист по импотентам,— сказал я, не умея скрыть раздражение.

— Он не импотент,— сказала Рита.

— Тебе виднее,— сказал я.— Ты хоть успела сказать ему, как тебя зовут?

— Зачем? — спросила Рита.

Я первый отвел взгляд.

Лейда улыбалась, опустив глаза к вязанию.

Виктор.

Я остановил машину неподалеку от дома, в котором она жила, эта самая Рита.

Я рассеянно перелистывал страницы журнала, валявшегося рядом на сиденье. Другую, левую руку в черной кожаной с прорезями перчатке я положил на руль. Я листал журнал и наблюдал за подъездом.

— Рейн!.. Спустись!.. Рейн!..

Я отвлекся на голос: рыжая баба в домашнем халате, выбивавшая ковер на пло-

щадке перед домом, звала, орала благим матом, закинув голову к верхним окнам дома.

— Рейн, изверг ты рода человеческого!

Она меня даже развеселила, но тут из подъезда вышла Рита с каким-то мужиком. Оба были с велосипедами.

Я почувствовал себя охотником. И взгляд у меня стал соответствующий — цепкий, холодный. Я следил, как рыжая с ковром окликает этих двоих, как они весело разговаривают и мужик помогает рыжей снять ковер, скрывается с ковром и рыжей в подъезде.

Рита осталась его ждать.

Я все смотрел. Будь на то моя воля, я, наверное, раздавил бы машиной эту велосипедистку. Я натянул перчатку на другую руку, все наблюдая за ней. Но чем-то она мне нравилась, эта шлюха, было в ней что-то, отчего сквозь прочную, тяжелую мою ненависть начало мучительно, против моей воли, пробиваться страдание, неизбывное и сладостное, каким оно бывает в детстве. Я был совсем не так неуязвим, как мне верилось, как мне хотелось, и я бесился на самого себя.

Я завел машину.

Я проехал в двух метрах от Риты и сумел не посмотреть на нее.

Рита.

Я сидела на посту и, теряя терпение, заполняла очередную из многочисленных бумаг. Нудное занятие.

— Тебя спрашивают,— бросил Сенечка, проходя мимо.

...В коридоре возле двери ждала женщина. Ростом выше меня на две головы. На мощной шее висели бусы в тон ярким крупным цветам ситцевого платья. Женщина держалась обеими руками за черную лаковую сумочку. Нетвердая обида и презрение в наглом от неуверенности лице.

— Вы — Рита?

— Я — Рита.

Тогда она произнесла фразу, видимо, заранее заготовленную, каким-то чужим, тонким голосом, с несвойственной ей, видимо, интонацией — напор, мелодраматизм, угроза.

— Я категорически требую,— сказала она,— чтобы вы оставили в покое моего сына. Посмотрите на себя! В ваши годы стыдно... стыдно... такая женщина, как вы... в ваши годы... — она запуталась, замолчала, увидев искреннее непонимание в моих глазах, растерянное пожатие плеч.

— Простите, ваш сын — это кто?

— Так Хендрик же! — возмутилась женщина на этот раз уже своим, низким голосом.— Хендрик Рооз. Вы уж будьте так любезны, скажите ему, пусть к жене вернется. А то нехорошо получается.

— Хендрик! — радостно вспомнила я.
Некоторое время она меня рассматривала. Потом заговорила, медленно, вяло, точно продолжая уже безо всякого желания играть ту же роль.

— Он как из больницы вышел, недели две только у них пожил, то есть, значит, у жены две недели, и ко мне жить вернулся, а после и от меня ушел. Я знаю, что он у вас. Знаю.

Однако, — изумленно подумала я и сказала с сожалением:

— Должна вас огорчить, — и развела руками.

— А чем вы докажете? Чем докажете? Вы докажете!

Какая прелесть, — подумала я.

Я села на подоконник, болтала ногами, с любопытством рассматривая эту женщину. Я ее не понимала. Все же было приятно, что Хендрик говорил обо мне своей маме. Я спросила:

— Хендрик говорил вам обо мне? — И тут же — о, наивное женское тщеславие! — получила оплеуху:

— Он про вас жене рассказывал, — объяснила женщина, думая уже о своем, тоскливо глядя в сторону. — А жена — отцу своему, а тот мне рассказал.

— До чего же вы все разговорчивые, — процедила я сквозь зубы.

— Анне папу своего очень любит, — бормотала женщина. — Очень ему доверяет. А он у нее такой человек... — последовал неопределенный жест рукой, короткий настороженный взгляд в сторону. — Вы понимаете?

— Нет, — сказала я, лучезарно улыбаясь.

Она посмотрела на меня длинно, точно проверяя, действительно я не в своем уме или только прикидываюсь. Поняла, что действительно, и махнула рукой. Кажется, она вознамерилась плакать.

— Вы радуйтесь, что сын живой остался! — сказала я как могла грубо.

— Да я радуюсь! — крикнула она отчаянно. — Радуюсь! Я просто счастлива! Только вы бы сказали ему, чтобы он к ним вернулся. Он перед тем, как к вам попасть, такой тяжелый был, все вздрагивает и оглядывается, вздрагивает и... А вернулся из больницы, светлый такой, спокойный, и не кричит, не злится ни на что, не боится ничего. Вы бы повлияли на него, пусть вернется.

Я засмеялась.

Бред, — подумала я.

— Да оставьте вы его в покое! — сказала я. — Пусть сам решает. Довели человека бог знает до чего. Мало вам? Мало?

Истерика ее в миг пропала. Она достала носовой платок, шумно высморкалась, бледно улыбнулась мне.

— У меня четверо детей. Не могу боль-

ше... Сил нет. Извините. — И ушла.

Виктор.

Я сидел в машине, ждал, положив руки на руль.

Из ворот больничного двора вышла Ильзе Рооз. Остановилась, оглядываясь по сторонам.

Я наблюдал ее растерянный, ищущий взгляд и почему-то понял, что ничего у этой коровы не получилось. Я гуднул, и Ильзе засуетилась, зашла к машине так, что едва не угодила под автобус, переходя улицу.

Я усмехнулся. Нелепая баба.

— Ну, как наши дела? — спросил я, когда она взгромоздилась на сиденье рядом со мной.

— А никак, — безучастно сказала она.

Я повернулся к ней, посмотрел. Шутишь, милая?

Она опомнилась, едва не шарахнулась от моего взгляда.

— Не встречаются они, — быстро, виновато сказала Ильзе. — Точно. Не встречаются.

Я коротко засмеялся.

Она с готовностью улыбнулась в ответ, слабо пискнула:

— А что?

— Что? Дурой не надо быть, вот что. — И улыбнулся ей, как если бы сказанное было шуткой, и она опять послушно улыбнулась в ответ.

Господи, как я презираю это стадо. Я сказал, продолжая улыбаться:

— Если ваш сын изуродует жизнь моей дочери, я его не пощажу. Куда вас?

— Что? — пискнула она.

— Отвезти вас куда? — Я завел мотор.

— На работу, — сказала она и добавила торопливо: — Это недалеко.

Андрей.

— В своей прошлой жизни ты была дельфином, — сказал я, когда Рита вышла наконец из ванной, слегка прикрывшись полотенцем.

— Да? Тогда я сплываю за газетами.

— Так и поплывешь — голая?

— Сейчас смокинг надену, — угрожающе пообещала Рита и ушла в комнату.

Я закончил сервировку стола и остался очень доволен собой.

— Завтрак стынет, мадам! — крикнул я.

— А! — сказала Рита, возникшая на пороге кухни.

Она натянула на голое тело мои цветные шорты, мой клетчатый жилет и черный галстук-бабочку.

— Встретишь соседей — привет от меня! — сказал я.

Рита послала мне воздушный поцелуй

и ушла за газетами, звеня ключами на пальце.

Я тоже пошел в комнату переодеть халат: не хотелось отставать от жены.

Так что когда Рита вернулась, я нацепил на себя ее шляпку, клипсы и бюстгальтер.

— Ты что, в педики записался? — захохотала жена.

— Я тебе не нравлюсь? — дискантом спросил я, элегантно ковтыля по кухне.

Рита попыталась сорвать с меня интимную деталь своего туалета.

Мы подрались. Шляпка слетела с моей головы. Галстук-бабочка сполз к ее плечу.

— Завтрак стынет, мадам, — прошептал я, осторожно кусая Риту за ухо.

— Не хлебом единым, — сказала жена. ...Мы заканчивали завтрак, когда я взял с полки газеты. Развернул одну. На пол под ноги Риты упало письмо.

— Тебе, — сказала жена, протягивая мне конверт.

Обратного адреса не было. В конверте лежал лист, отпечатанный на машинке. Текст был коротким и, разумеется, без подписи. Я прочитал послание и положил на стол. Собственно, я не узнал из письма ничего нового, но все равно стало противно.

— Что? — спросила Рита.

Я намазал джем на булочку с маслом. — Что?!

Бедная моя девочка, — подумал я и сказал: — Твоя благотворительность стала достоянием гласности.

Рита засмеялась. Несколько, впрочем, растерянно.

— Нарушение супружеской верности, — пояснил я, — половая связь с пациентами... что там еще?

— Ах это, — сказала Рита.

Я поднял письмо двумя пальцами за уголок, помахал им в воздухе.

— Он исполнил свой нравственный долг. Бедняга! Рассчитывал открыть мне глаза... К вам опять привозили какого-то несчастного?

Рита кивнула. Она хотела взять письмо. Я не отдал. Движение мое получилось слишком резким.

— Хочешь почитать о себе мерзости?

— Я знаю о себе кое-что и похуже, — улыбнулась жена.

Я рзорвал письмо, сходил в уборную и спустил эту дрянь в унитаз.

Не дай бог, — подумал я, — если узнает моя мама!

— Может, для тебя все-таки легче меня бросить? — спросила Рита.

Я ткнул лбом в холодную кафельную стену и улыбнулся.

Как я тебя люблю. Как я тебя нена-

вижу, — подумал я и вернулся к столу.

— Ладно, — сказал я. — Кофе допью и брошу.

Рита улыбнулась. Она в самом деле не испытывала никаких угрызений совести. Потрясающая женщина.

— Моя Карме-ен! — запел я. — Моя Карме-ен! — еще громче.

Она засмеялась.

Виктор.

Был серый день. Дождь грозился пойти, но все не шел.

Я ехал домой безо всякого желанья. Тоскливая пустота. Безвыходность.

Я пережидал красный свет, когда на другой стороне перекрестка увидел Риту и, нарушая правила движения, резко повернул на погасшую уже «стрелку». Шарахнулись пешеходы, загудели машины. Я успел заметить, что Рита вошла в бетонный саркофаг университета. Остановил машину и через асфальтированную площадь, лишенную признаков растительности, отправился следом за женщиной в магазин.

Я нашел ее в лабиринте контейнеров и прилавков и некоторое время наблюдал за ней. У Риты не было тех машинных от усталости движений, того невнимательного, тусклого или раздраженного взгляда, какие свойственны большинству наших женщин. Она совершала покупки с эдакой милой детской непосредственностью, легкостью и любопытством.

Я подошел к ней и сказал:

— Девушка, поговори с одиноким мужчиной.

Она посмотрела вопросительно.

— Не бойся. Денег просить не буду, — пообещал я.

— Я вижу, — улыбнулась Рита.

Чего ты видишь-то? — подумал я усмехаясь.

— Ты, — сказала она, — скорее грабить станешь, чем милостыню просить.

Она была права. Я почувствовал себя польщенным и разозлился на себя.

— А еще что? — спросил я.

Она пожала плечами:

— Ты говорить хотел — не я. — И пошла, толкая перед собой металлическую коляску с продуктами.

А я, как привязанный, поплелся за ней. В молочном отделе я сказал, стараясь заглянуть ей в лицо:

— Вот я читал в одной книжке: «Все-му и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, добродетельному и грешнику». Правильно сказано, между прочим.

Она держала в руке бутылку кефира, вы-

слушала меня внимательно, потом сказала: — А еще там сказано: «Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает сердца».

— Библию почитываем,— глупо хихикнул я.

— Бывает,— Рита улыбнулась так, точно ей было за меня неловко, и пошла дальше. Я стоял, смотрел, как она уходит.

Вот она сейчас уйдет,— подумал я,— и я опять останусь один.

Я догнал Риту уже по ту сторону касс. Она перекладывала в сумку продукты и улыбнулась мне, как родному.

— Жизнь рухнула,— сказал я.— Понимаешь? Была дочь. Единственный близкий мне человек.

— Умерла? — спросила Рита.

Я посмотрел в ее спокойные глаза, и мне самому вдруг стало спокойно и свободно. Я не хотел с ней расставаться.

— Поехали куда-нибудь,— сказал я.— У меня машина.

— ...На остров Святой Елены, пожалуйста,— сказала Рита, устроившись в машине.

Я сказал, рассматривая ее:

— А что, если я завезу тебя в тихое место, изнасилую и убью?

— Вряд ли,— с сомнением сказала Рита, посмотрев на меня.

Сумку с продуктами она положила на заднее сиденье.

Мы ехали. Серая дорога ложилась под колеса. Сначала — центр города, потом — окраина, потом — пригород. И — дальше, дальше, дальше. Я говорил:

— Жена бросила нас, когда дочери было полтора года. Сказала, что полюбила другого, и ушла. Большая любовь! Животное. Она пришла к нам через два года. Захотела видеть дочь. Я не впустил ее в квартиру. Мы разговаривали на лестничной площадке, и она стояла передо мной на коленях. С тех пор я ее не видел. Она присылала нам деньги. Полгода я терпеливо получал от нее эти деньги по почте, а потом взял их все, разрезал — каждую бумажку я аккуратно разрезал на три части — и отправил ей назад этот мусор. Больше денег она не присылала... Я рассказывал дочери, каким человеком была ее мать. И она тоже стала презирать и ненавидеть эту женщину. Она мне очень верила, моя девочка. У нее не было никого дороже меня. Мы могли говорить с ней о таком, о чем девочки не всегда говорят даже с подругами.

Машина стояла на краю леса.

Я сидел на стволе упавшего дерева.

Рита стояла неподалеку возле куста.

Я говорил:

— Я отказался от себя ради ее счастья.

Я боялся любить женщин и не женился из-за нее. А когда она влюбилась, я смирился и с этим. Это было страшно, но я смирился. Я согласился, чтобы этот соплик, ее муж, вошел в наш дом. Через месяц он ее бросил. А два дня назад она сказала мне, что ее мама была права, когда ушла от меня... И знаешь, кто во всем виноват?

— Кто? — спросила Рита.

— Ты,— с удовольствием сказал я.

Она посмотрела недоумевающая.

А я наслаждался истаявшим было чувством, но вернувшимся ко мне теперь — тяжелым, сладким чувством ненависти к этой твари.

— Ты. Ты,— сказал я.— Гретхен. Маргаритка моя.

Она довольно долго соображала. Наконец до нее дошло.

— А-а,— протянула она.— Этот мальчик, Хендрик.

— Ты,— сказал я,— такое же грязное животное, как моя жена.

— Ты слишком любил свою дочь,— сказала она, как будто в этом было объяснение всему.

— Да,— сказал я, не понимая.

— Ты хотел смерти этого мальчика, правда?

Да,— подумал я.

— Твоя девочка осталась бы с тобой и страдала, а ты бы ее жалел. Ты был бы ей нужен.

Да,— подумал я.

— Ты слишком любил свою девочку,— сказала она.

Я смотрел в ее сумасшедшие глаза и не мог отвести взгляд. Я понял.

— Нет,— сказал я.— Нет.

— Да,— сказала она.— Ты это знаешь. Ты боишься сказать себе. Тебе надо, чтобы сказал кто-нибудь другой.

Она была права, и мне стало страшно.

Она была права, и я сказал, улыбаясь, не сдерживая больше себя:

— Я тебя уничтожу.

— Меня? — она вдруг улыбнулась так, точно знала свое бессмертие и я тоже должен был знать его.

Ведьма,— подумал я.— Ведьма.

Она опять улыбнулась, как будто знала, о чем я подумал.

Я не выдержал. Я попятился от нее. Я бросился к машине, вскочил в нее. Я завел мотор и поехал.

Потом вспомнил, остановил машину, взял сумку Риты с заднего сиденья и выбросил на дорогу. Что-то зазвенело, разбиваясь.

Я так мчался по дороге, словно за мной и в самом деле гналась вполне реальная нечистая сила.

Рыжая Марта.

Рейн ушел в рейс на шесть суток. Расказать было некому. Соседки все дуры, скучно им рассказывать. Я постояла в коридоре, подумала, а потом сложила эту газетку в четыре раза, сунула в карман халата и пошла прямо к ней, к Ритке. Я человек простой, чего считаю нужным, то и делаю.

Входная дверь у них была, как всегда, не заперта.

— Рит! — позвала я, всовываясь в квартиру.

Рита вышла в коридор.

— Привет.

— Рейн ушел в рейс, — сказала я. — На шесть суток. Скучно, старуха!

...Я сидела в Риткиной кухне на диванчике, а Рита разбиралась в шкафах. Она выволокла на стол банки и пакеты с крупами, травками, мукой и прочей съедобной дрянью и теперь наводила среди них порядок.

— Как живешь-то? — спросила я.

— С любопытством, — сказала Рита.

И улыбается легко так, безмятежно.

Не знает, наверное, — подумала я. — А может, это совсем и не про нее написано?

— А муж на работе? — спросила я.

Рита посмотрела на меня.

— На работе, — кивнула она и взгляд отвела не сразу, как будто поняла, что я к ней не просто так, со скуки, а имею что сказать. Я даже застеснялась чего-то.

И тогда я сказала:

— Тут вот в газете напечатано. Так получается, что про тебя.

— Найти и обезвредить преступницу! — провозгласила Рита. — Нет?

— Почти, — сказала я и газету ей протянула.

Она читала, а я наблюдала за ней и видела, как лицо у нее изменилось, увяло как-то, постарело.

Про тебя, значит, милая, — подумала я. — А с виду не скажешь, что шлюха.

Она отдала мне газету.

— Ну и как? — спросила я.

— Любопытно, — сказала она.

Я прямо обалдела.

— Чего тебе все любопытно? — возмутилась я.

А она смотрит на меня и молчит. Потом опять банками своими занялась.

— Ты чего, правда к больным в постель ложилась?

Она засмеялась.

— Выпить хочешь?

Да вроде нет, — подумала я, но почему-то сказала:

— Хочу.

Рита достала мне водки из холодильника, закуски приготовила.

— А ты?

— Я не пью, — сказала она.

— Чего же я одна, как алкоголик, — засомневалась я и выпила. — А вдруг муж узнает? Убьет ведь тебя, дуру.

— Ты закусывай, закусывай, — сказала Рита.

Я еще немного выпила, закусила. Сижу, удивленная.

— Мой убил бы, — сказала я. — Точно. Или бросил бы меня.

— Это — если узнает, — уточнила Рита.

— Ясное дело, — согласилась я. — Не узнает — не бросит.

Голова у меня посветлела. Мысли появились и вместе с ними — тоска.

— Но я бы все равно мужу не изменила, — сказала я с сожалением. — Вдруг узнает. Страшно. Так живешь себе в покое. Все есть. Ничего не надо. Дом устроенный. Зарплата у мужа — нам хватает. Все есть... А скучно! — прорвалась вдруг из меня тоска. — Скучно, Рита! Вот у меня на работе — сплошь бабы. И у всех одно и то же. Вроде как жизни разные, а у всех одно и то же. Дети рождаются, родители умирают. А так, если подумать, куда они все? Зачем? Одна, правда, из нашего отдела в кооператив вступила. Абажуры делает и очень счастлива. Дура. Может, мне тоже чего-нибудь делать, а? Как думаешь?

Рита смотрела на меня как-то издали. Лицо вдруг у нее оказалось незнакомое, чужое.

— Дети рождаются, — повторила она за мной, — родители умирают. Куда они? Зачем?.. Ты сказала. Думай.

— «Думай!» — усмехнулась я. — И так башка от забот разламывается.

Рита смотрела на меня так спокойно, так холодно, что я разозлилась.

Ты — святая, я — дерьмо, что ли? — подумала я.

Рита улыбнулась.

— Ах ты, сука, — удивилась я. — Это ты меня учишь? Знаешь, ты кто?

— Знаю, — сказала она вдруг лукаво.

Я хотела ответить, но, глядя на нее, не нашлась, что сказать. Я растерялась. Ритка имела за душой что-то, чего не было у меня. Обошла меня жизнь. Обманула. Я страшно обиделась и, уже едва ли не плача от обиды, чувствуя, как губы у меня дрожат и кривятся, сказала:

— На тебе! — и толкнула какой-то пакет на столе.

Пакет опрокинулся. Крупа зашелестела, стекая на пол.

Рита засмеялась и покачала головой, глядя на меня, как на капризную девочку.

Эва.

Я бестолково и нетерпеливо топталась возле кухонного стола, мечтая, чтобы мама поскорее вынула все, что было в сумке, и ушла. Я ждала гостей. Томас пошел их встречать. Ребята все будут, конечно, свои, но я не хотела, чтобы они видели у меня маму.

А она, выложив на стол какие-то консервы, бананы, сок, конфеты, радостно достала целлофановый пакет с ярким, легким платьем.

— Лейда продавала, — сказала мама. — Ее сестре не подошло, а на тебя, по-моему, в самый раз. Красиво? — она приложила платье к себе и дурачилась, демонстрируя его.

— У нас с деньгами сейчас плохо, — сказала я.

— Лишь бы подошло, — успокоила мама. — Мы с папой тебе его подарим.

Вы с папой? — подумала я.

Мама быстро посмотрела на меня, тревожно, вопросительно. Я уже позабыла о ее пугающей способности читать чужие мысли. Я отвела взгляд.

— К нам сейчас ребята в гости придут. Томми встречать пошел. Видишь, вот, — я кивнула на недоделанные салаты, сырую курицу. — Мне теперь так некогда. Едва все успеваю.

— Тебе помочь? — спросила мама странным, темным каким-то голосом.

— Нет-нет, не надо, — я все оглядывала собственную кухню, как чужую, только бы не смотреть маме в глаза.

Мама молча протянула мне платье — пришлось посмотреть: глаза у нее были внимательные и беззащитные. Она смотрела на меня снизу вверх.

Тогда я спросила, все-таки на что-то надеюсь:

— Это правда?

Она молчала и смотрела так, как будто не слышала моего вопроса.

— В газете — правда? — настойчиво повторила я.

— И да, и нет, — сказала мама.

— Значит, правда, — сказала я. — Ты лучше домой иди, а то сейчас ребята придут.

— Нет, — быстро, испуганно сказала она. — Нет, я не могу.

— Ты не обижайся, — сказала я. — Пойми меня.

— Я стараюсь, — закивала она с готовностью и надеждой.

— Я даже с Томми поссорилась, — сказала я. — Он сказал, что не мне тебя судить и вообще — не людям судить. А кому же еще? Среди людей живем. Я-то тебя не сужу, нет. Я даже могу тебя понять. Как женщина могу понять.

— Что? — изумилась мама.

— То есть, если бы ты влюбилась, — объяснила я, смутившись, так как явно сказала лишнее, — я бы поняла. Все бывает. Когда любовь, когда настоящая любовь, много можно простить. Но просто так...

Мама вдруг усмехнулась с грустной иронией.

Может быть, я сказала о любви слишком патетично, но смеяться надо мной, иронизировать — над этим?!

— Стыдно, — сказала я почти брезгливо. — Это нехорошо. Стыдно. Раньше это называли — грех.

— Грех, — повторила мама и задумалась о чем-то.

Я говорила с ней, а сама все прислушивалась, не идут ли гости, на часы посматривала.

— Нет, — сказала мама, очнувшись. — Это не грех. То, что во мне, это как... не знаю, как назвать... это такое, вроде чувства ответственности...

Мама родная, — подумала я. — Да она просто чокнулась на почве секса!

— Нет, ты пойми меня, — упрямо сказала мама. — Постарайся меня понять. Если я могу что-то сделать для человека, чем-то помочь и не делаю, не пытаюсь помочь, вот это — действительно грех.

Некоторое время я ее рассматривала. Вид у мамы был такой жалкий, такой униженный, что мне захотелось ее ударить. И она это поняла.

— О другом человеке ты думаешь, — сказала я, начиная злиться, — другому, чужому, ты хочешь таким... интересным способом помочь. А я? А папа? Вот ты уверена, что я теперь должна понимать тебя и жалеть. А тебе самой тогда, раньше, было жалко меня, жалко папу?

— Не было, — сказала мама.

— Ты не думала ни обо мне, ни о папе!

— Не думала.

— Что же ты хочешь от меня теперь?.. Если бы не этот фельетон в газете, все было бы, наверное, проще. Там, правда, нет твоей фамилии, но есть имя, описание внешности, место работы указано. Ведь всем знакомым ясно, про кого это написано. Я вот гостей позвала, а теперь боюсь. А если читали? А если меня спросят? Я боюсь выйти из дома, боюсь встретить соседей. Я боюсь приходиться на работу. Чувствую, как оглядываются мне вслед. Я хочу уехать из этого города! — закричала я.

— Эва...

— Не надо! — крикнула я.

Но тут позвонили в дверь.

— В ванную! Быстро! — приказала я. — Иди в ванную. Я провожу их в комнату. Закрою туда дверь. Тогда выскочишь из квартиры.

Рита.

Эва с силой захихнула меня в темную ванную комнату и закрыла дверь. Потом еще раз заглянула, торопливо сунула мне в руки платье и мою сумку.

Я слышала, как она отпирает входную дверь, по возможности весело разговаривает с мужем и гостями. Она стояла под дверью ванной комнаты, чтобы никто без ее ведома не попытался вымыть руки.

Под потолком ванной находилось узкое окошко, так что здесь было не совсем темно. Я сидела на стиральной машине, положив на колени платье и сумку. В полумраке привычные предметы становились ирреальны и страшноваты. Вода в сливном отверстии ванны булькала и стонала почти человеческим голосом. Состояние у меня было соответствующее.

Я гладила белый халат.

Раскрытый чемодан лежал на столе. Андрей собирал вещи. Он чувствовал себя передо мной свиной и поэтому на меня злился.

И он все говорил, объяснял, настаивал так, как будто я ему возражала.

— Ты знаешь, — говорил он, — за мамой некому ухаживать. Ольга работает сутками. Ты же знаешь. Эта история ее сломала. Мама не виновата, что не понимает наших отношений, не знает нашего прошлого... Где моя голубая рубашка?

— Не знаю, — сказала я.

— Вот только не надо скандалов! — попросил Андрей.

Я пожала плечами.

— У нее скачет давление. У нее сердце. Ты же знаешь. Где она может быть? — это относилось уже к рубашке.

— В ванной может быть, — предположила я.

Андрей ушел в ванную и вернулся с голубой рубашкой.

Я перестала бессмысленно водить утюгом по материи, смотрела, как он складывает рубашку.

Не уходи, — подумала я.

— И не надо думать, что я тебя бросаю, — сказал Андрей. — Как только маме станет немного лучше, я вернусь. Я не могу бросить ее в беде. Ну, заяц, улыбнись же!

Я изобразила ртом чудовищную улыбку. — В конце концов, мать у меня одна! — сказал Андрей.

В дверь позвонили.

— Открыто! — крикнула я и вышла в коридор.

В коридор уже входила Зинаида Николаевна. Она действительно плохо выглядела. Мне стало ее жаль. Зинаида Николаевна взглянула в мою сторону и прошла мимо меня в комнату, как мимо неодоушевлен-

ного предмета.

— Почему так долго? Шофер не хочет больше ждать.

Я вернулась к своему утюгу.

— Мама, зачем ты? — пробормотал Андрей.

Бедный ты мой, — подумала я. — Вечный мальчик. Я же ведь умру.

Ненаглядная моя свекровь взялась помогать сыну собирать вещи. Она рылась в шкафу на полках, доставала то носки Андрея, то его белье.

— Какой беспорядок! — возмутилась она.

— Это я устроил, — сказал Андрей.

— Что вы ищете? — спросила я.

Меня все это начало раздражать.

Свекровь не ответила. Она вынула из шкафа мою ночную рубашку и брезгливо уронила ее на пол.

— Мама, не надо. — Андрей поднял мою рубашку.

— Что вы ищете? — повторила я.

Свекровь не ответила.

Ох, напрасно она беспокоила во мне беса. Я чувствовала, как у меня меняется лицо: яростно-восторженный взгляд, сатанинская улыбка — я уже не справлялась с собой, не могла себя остановить.

Я подошла к Зинаиде Николаевне и отстранила ее, почти оттолкнула от шкафа.

— Рита! — вскрикнул Андрей.

Он удержал за плечи свою мамочку.

Свекровь смотрела на меня со злым торжеством. Она за этим сюда и пришла — ей хотелось скандала.

— Я знаю, деточка, — сказала она, — ты способна ударить старую больную женщину.

— Способна, способна, — сказала я улыбаясь.

Она несколько испугалась.

— Я всегда знала, что ты — та еще штучка, — зашипела Зинаида Николаевна. — Ангел небесный. Святая невинность. Изуродовала жизнь моему мальчику. Такие, как ты, не имеют права выходить замуж.

— Не имеют, — согласилась я и кокетливо сморщила носик. — Но так хочется!

Зинаида Николаевна смотрела на меня с ужасом и недоумением, как на незнакомое омерзительное животное.

— Шлюха, — прошептала она. — Чтоб тебе спидом заразиться.

Я засмеялась.

— Мама, — слабо позвал Андрей.

Я посмотрела на мужа и поняла, что сейчас у меня начнется истерика. Я попыталась сказать им, чтобы уходили, но не смогла.

Они, впрочем, и так ушли.

Оставшись одна, я взяла с гладильной доски свой халат, пошла повесить его в шкаф.

В шкафу висел пиджак Андрея, забытый им в спешке. Я достала пиджак. От него

пахло Андреем. Я положила на плечи пустые рукава и некоторое время стояла так.

Потом я легла на диван, продолжая обнимать пиджак. Наверное, было бы хорошо заплакать. Я попробовала, но у меня не получилось.

— «А это — на прощание. Это — мое последнее,— произнес молодой мужской голос.— Я прошу никого не винить в моей смерти. Убийство, которое я...» сав... моя... ну и почерк!.. со-вер-ши-ла! Во! Значит... «убийство, которое я совершила, и самоубийство, которое собираюсь совершить,— результат трезвого расчета и малодушия...»

В ординаторской на диване сидел милиционер и читал нам вслух с листочка бумаги, вырванного из школьной тетради.

— «Мне было сорок лет, когда я стала матерью-одиночкой. Решиться на это было трудно. Еще труднее быть в этом мире совсем одной. Но Судьба сыграла со мной чудовищную шутку и на этот раз: мой маленький сын тяжело и неизлечимо психически болен. Я знаю, что может его ждать, и я решила сохранить своего мальчика, сберечь его от Судьбы. Я сама сыграю с Судьбой шутку. Мы еще посмотрим, кто над кем посмеется. Вот так. Я пишу все это потому, что чувство вины все-таки слишком мучает меня. Все-таки страшно. Я пишу в надежде на невозможное — быть понятой. Я восхищаюсь теми, кто находит в себе силы нести свой крест до конца. У меня нет больше сил. К сожалению, я не верю в Бога, но мне отчего-то кажется, что наша жизнь начинается только теперь, когда нас уже нет. Мы встретимся, мы еще встретимся. И тогда мы не будем так беспомощны, беззащитны, одиноки!..» У вас чайник кипит,— сказал милиционер, аккуратно складывая письмо.

— Ох, страсти какие! — вздохнула Лейда, выключая электрический чайник.

Ириша, юная сестричка из лаборатории, забежавшая к нам на чай, смахнула со щеки слезу и спросила:

— Она умерла?

Ей ответили не сразу.

— Откачали,— сказал Олав.— Ребенка не успели. А женщина жива.

— Кто будет чай? — спросила Лейда.

— Все будут! — это Сенечка.

— Сахара у нас нет,— сказала Лейда.

— Министерство здравоохранения СССР предупреждает,— объявил Олав,— сахар опасен для вашего здоровья!

Посмеялись.

— Ее же теперь судить будут,— поняла Ириша и даже побледнела.

— Обязательно,— сказал милиционер и надел на Иришину голову свою фуражку.

— Есть варенье и конфеты,— сказала Лейда.

— Так ведь она же... — начала Ириша.

— Хватит! — перебил Олав.— Лучше чаю выпей.

— Кто хочет есть? — спросила Лейда.

— Все хотят! — это Сенечка.

— Тебя как зовут? — спросила Лейда милиционера.

— Александр Петрович.

— Угощайся, Александр Петрович. Что ты, как невеста на свадьбе?

Я смотрела на них, слушала их. Мне тоже налили чаю, сунули в руку бутерброд.

— Александр Петрович,— сказал Сенечка,— расскажите нам что-нибудь детективное. Из своей практики.

— Ограбление банка,— предложила Ириша.

— Наркоманы,— предложила Лейда.

— Проститутки,— попросил Олав.

— Кому что,— усмехнулась Лейда.

Александр Петрович слушал их, застенчиво улыбаясь.

— А я недавно работаю,— сказал он и покраснел.— Всего четвертые сутки.

Я начала «выпадать из ситуации», когда Александр Петрович еще дочитывал предсмертное письмо этой женщины. Я очень старалась остаться среди них, среди людей, но не сумела и выпала окончательно.

На столе у окна стоял открытый бикс; розовые резиновые зонды свернулись в нем, как черви. Мне даже казалось, что они шевелятся. Кусок подсыхающего сыра покрывался капельками «пота» — Олав откусывал бутерброд с этим несчастным сыром и энергично, жадно жевал его. У Лейды из носа шел дым — она курила и улыбалась, кокетничая с Александром Петровичем, скалилась на него, как вампир; того гляди, клыки прорастут. По краю чашки протянулся кровавый след — от губной помады, надо полагать.

Мне стало совсем нехорошо. Я поднялась и вышла из ординаторской.

Ноги тяжелые. Я шла, как будто воду ногами разгребала.

Остановилась у сестринского поста и смотрела на ту женщину, немолодую и некрасивую.

Я долго смотрела на нее. Потом поставила на стол стакан с чаем, положила бутерброд и ушла.

...Я шла по коридору. Вошла в бокс, где были только кровать, стул и тумбочка. Пустая молочная бутылка стояла на подоконнике.

Я села на стул.

В боксе темно. Свет за окном сделался густым, синим. Фонари зажгли. Тень оконного переплета и бутылки легла на стену. Я все сидела.

Была ночь, когда я встала и вышла из бокса.

Олав.

Я спал в кабинете на диване, когда Рита вошла и включила настольную лампу.

Я сразу проснулся и сел, нашаривая ногами тапочки.

— Я ухожу,— сказала Рита.

Пресвятая дева! — подумал я, сбросил тапочки и лег.

— Заявление об уходе на столе. — Рита погасила свет, пошла, отворила дверь.

— Истеричка,— сказал я. — Отработаешь две недели — катись к чертовой матери.

Она закрыла дверь. Помолчали в темноте.

— Вали отсюда,— сказал я. — Я спать хочу.

— Я не могу,— сказала она. — Я больше не могу.

— А ты меньше думай, тогда сможешь.

— Я не могу не думать.

— А что ты вообще можешь? На велосипеде кататься?

Рита засмеялась.

Очертания людей и предметов начали проступать в темноте.

— Обратись к невропатологу,— сказал я. — Твоя беда — не по моей части.

— По твоей,— сказала она. — По твоей. Подпиши заявление.

— Не подпишу! — рявкнул я, сел на диване, встал. — Кто будет откачивать этих балбесов — резаных, травленых? Я один?

Я налил молоко себе, ей.

— А зачем? — спросила Рита.

— Пока человек жив, есть надежда,— сказал я.

Она засмеялась.

Я и сам не верил в то, что сказал, и разозлился.

— Я врач, а не духовный наставник,— сказал я. — И вообще я не завотделением. Я временно исполняющий обязанности. Вернется Лембит — с ним разбирайся. А меня избавь! — я посмотрел на Риту. — Слушай, детка, ты не спишь, я не сплю — давай не спать вместе! — я обнял ее, прижал.

Рита плеснула мне в лицо из чашки.

— Молочные ванны на рассвете,— сказал я. — Хорошо живем.

Дверь открылась. На пороге остановился Сенечка.

— Нашли время,— сонно сказал он. — Она удрала.

— Кто? — спросил я.

— Эта женщина, которая и ребенка, и себя. Бинты как-то отвязала и удрала.

Рита.

Мы стояли в темном больничном саду и оглядывались.

— Она же не может далеко уйти. Ее оставят,— успокаивал виновато Сенечка.

— Она же голая и босая.

— Совсем?! — спросил Олав.

— Нет, она простыню унесла. В ней и ушла, наверное. Она не может далеко...

— Ей далеко не надо! — разозлился Олав.

— А куда ей надо? — удивился Сенечка.

— Повеситься можно на любом дереве. Было бы желание.

— На чем вешаться-то? — улыбнулся Сенечка, успокаивая.

— На бинтах! — рявкнул Олав.

И тут я все поняла.

— Я знаю, куда она пошла,— сказала я и пошла по дорожке.

— Куда ты? — крикнул Олав.

— Я приведу ее,— сказала я.

...В глубине сада стояло маленькое здание морга.

Я прошла вдоль него, заглядывая в нечистые полуподвальные окна.

В комнатке при морге на раскладушке спал сторож. На столе была тарелка с объедками и стакан.

Я заглянула в следующее окно и увидела ее.

Ближе к окну на цинковом столе лежал мертвец с замотанной тряпками головой. По бедру — надпись зеленкой: номер истории болезни и прочая. А дальше на полу сидела она, закутанная в простыню, с мертвым ребенком на руках. На его маленьком желтом бедре была похожая надпись, тоже — зеленкой.

Я посмотрела на лицо женщины, склоненное к сыну, как она смотрит на него, и опустилась на землю, цепляясь пальцами за решетку окна.

Боль вдруг отпустила меня, и я наконец заплакала, завывала, зажимая ладонью рот.

Я шла по коридору. Я так не люблю этот бесконечный подземный лабиринт. Пол его и стены были отделаны кафелем, а под самым потолком тянулись трубы. Вечный такой коридор с поворотами, внезапными тупиками, с темными проемами в стенах, ведущими неизвестно куда. А свет был здесь такой сильный, ровный, такой беспощадный, мертвый свет, что невольно хотелось прибавить шаг, чтобы коридор наконец кончился.

Олав.

Мы сидели в кабинете заведующего по разные стороны стола.

Я положил перед Ритой газетную вырезку и письмо.

Рита придвинула к себе бумажки, взглянула и сразу отодвинула.

— Знаю. Читала,— сказала она.

— Ты только статью читала,— сказал я. — Ты письмо почитай.

Она не стала читать письмо, сказала:

— Честные труженики, добропорядочные

отцы и матери семейств возмущены моим аморальным поведением. Они требуют срочно принять жесткие административные меры по оздоровлению нравственного климата...

— Не смешно! — перебил я.

Я помахал в воздухе этими мерзкими бумажками.

— Это прислали не мне — туда, — я указал пальцем вверх. — Меня вызвали и приказали отреагировать.

— Реагируй, — сказала Рита.

За дурака меня держишь, — подумал я усмехаясь, — а я совсем не дурак. Я сказал: — Ты сама принесла заявление об уходе. Так вот — я его подписал.

— Правда? — радостно улынулась она.

— Покажи.

Я положил перед Ритой ее заявление об уходе. Я улыбался почти торжествующе.

А она взяла его и разорвала.

— Не было никакого заявления! — и при- свистнула.

Я растерялся, обиделся. Я рассердился.

— Я тебя в санитарки переведу! — пообещал я. — Ты у меня полы мыть будешь! Пальто в гардеробе подавать!

— Тоже дело, — кротко согласилась Рита.

— Санитарок в стране не хватает.

Я ее не понимал. Ей бы к начальству бежать, в ножки падать, оправдываться, а она веселится.

Я спросил почти мстительно:

— Правду говорят, что тебя муж бросил?

— Если говорят, значит, правда.

— Чего же ты радуешься? Муж бросил.

С работы выгоняют.

А она улыбается безмятежно.

— Чем меньше имеешь, тем меньше теряешь, — объяснила она. — А я теперь такая нищая! Мне жаловаться стыдно, — и улыбается, будто автомобиль в лотерею выиграла.

Я посмотрел, как она улыбается, и ляпнул то, о чем думал постоянно, когда видел эту женщину. Да и когда не видел — тоже думал.

— Выходи за меня замуж, — сказал я.

— Зачем? — спросила она, ничуть не удивляясь.

Я тебя жалеть буду, — подумал я и сказал:

— Ты не надейся. Тебя никто защищать не будет.

— Я не надеюсь, — сказала она.

И смотрела она на меня так, будто не ее, а меня с работы гонят и родной человек бросает. Как будто вся эта история не ее беда, а моя.

Рита.

Больница опустела — все разошлись по отделениям: ночные дежурства, ночной сон. Я предавалась увлекательнейшему занятию — мыла пол главного приемного покоя,

куда поступали только плановые больные. Внеплановые поступали через другой покой, со двора подстанции «Скорой помощи».

Так что в этот час я была здесь совершенно одна, и шлепанье мокрой тряпки о пол одиноко и гулко раздавалось под сводами холла. Так что я имела возможность легко сразу расслышать и какой-то посторонний звук со стороны входа, очень похожий на шорох шагов.

Я замерла. Тишина.

Начала мыть пол. Звук повторился.

Я быстро оглянулась. Мне показалось, что кто-то даже мелькнул в глубине холла.

— Кто здесь? — окликнула я и подумала: привидение.

Приведений я не люблю. Но было тихо.

Я кончила мыть пол. Я отполоскала тряпку в ведре.

И тут раздался еще более неожиданный звук, который я сначала — честно признаюсь, от испуга — приняла за человеческий голос. Но то был голос флейты. Красивая, странная мелодия.

У входа в приемный покой на высокой стойке гардероба, сложив по-восточному длинные ноги, сидел Хендрик собственной персоной и играл на флейте.

Фавн в полях Елисея, — подумала я, невольно любуясь отроком.

— А детям пора спать, — сказала я.

Хендрик кивнул, соглашаясь, и продолжал играть.

...Он провожал меня домой. Идти рядом он не умел. Все ходил вокруг меня, то отставая, то обгоняя, то спускаясь на мостовую, то вспрыгивая на каменный парапет.

— А я бы тогда познакомил тебя с женой, — говорил Хендрик.

— Сомневаюсь, что ей приятно такое знакомство, — усмеялась я.

— Но ты для меня, — сказал он, — что-то вроде матери. Не обижайся. Не из-за возраста.

— Я понимаю, — кивнула я. — Все правильно. Только не надо быть слишком откровенным с женщинами.

— Почему? — удивился он.

— Съедят, — объяснила я. — Но это ты, может быть, поймешь потом.

Он взглянул вопросительно, но уточнять не стал.

— Я ее все равно уведу из дома. Я ей сказал, что буду ждать ее всю жизнь.

Я посмотрела на него.

Кто знает, — подумала я, — хватит ли тебя хоть на год.

— У нее папашка заботливый, как милиционер, — сказал Хендрик. — Как будто я на нем женился. Он только что в постель к нам третьим не ложился.

Я засмеялась.

Виктор.

Рука в перчатке привычно — на руле. Я наблюдал, как эти двое идут по улице и разговаривают, и живнерадостно хихикают. Я знал, что однажды застану их вдвоем, но в глубине души надеялся, что этого все-таки может и не быть.

Адам и Ева, — подумал я. — Ромео и Джульетта. Тристан и Изольда.

— Нет, ребята, — сказал я вслух самому себе. — Сейчас я вас немного побеспокою, — и вышел из машины.

Она увидела меня первой и даже не замедлила шаги, и даже улыбнулась удивленно и приветливо.

Зато ее щенок встревожился. Смотрел хмуро.

— Радостная встреча! — крикнул я. — Не правда ли?

— Нет, — Рита с сожалением покачала головой.

Я перешел на их сторону улицы.

— Я ведь тебя предупреждал, Гретхен, — сказал я.

— Не помню, — лучезарно улыбнулась она.

— Вы знакомы? — удивился Хендрик.

— А тебе все мало, — сказал я ей.

Она подняла на меня глаза — тяжелый, жесткий взгляд.

Я несколько оторопел. Я не думал, что она может быть и такой.

— Отойди, — сказала она Хендрику, коротко на него взглянув.

И он попятился назад.

— Я ведь предупреждал, — повторил я, беря ее пальцами за лацкан курточки.

Она посмотрела на мою руку и улыбнулась.

— Руки! — вскрикнул Хендрик.

Он рванулся к нам.

Я успел его ударить, не слишком сильно, но достаточно, чтобы этот щенок отлетел в сторону. Он уронил футляр с флейтой.

— Дудку береги. Сломаю, — сказал я. — Гретхен, это ведь только начало — то, что с тобой случилось.

Она смотрела, улыбаясь с печальным сожалением, точно она была — священник, а я — заблудшая душа. Я ничего не мог с ней сделать.

— Я тебя на колени поставлю, — процедил я сквозь зубы.

Она расхохоталась и вдруг стремительно упала передо мной на колени. Она смотрела на меня, стоя на коленях, но все равно как будто бы сверху вниз.

А я торчал перед ней, беспомощный, словно голый.

— Я сказал, я тебя уничтожу, — пробормотал я.

— Уничтожить — да, — сказала она. — Но больше ты ничего не можешь.

И тогда я ее ударил.

Я бил ее беспощадно, сам едва не плача

от обиды и боли. Хендрик все лез, норовил закрыть ее собой. В конце концов, мне пришлось врезать ему как следует.

Потом я устало опустился на край тротуара.

Рита лежала рядом. Голова ее была как-то странно, неестественно вывернута.

— «Скорую» вызови, — сказал я.

— А?!

— Вызови «скорую помощь»! — крикнул я.

Я поднялся, направился к машине, оглядываясь на Хендрика, — он послушно побрел к углу дома, к телефонной будке.

Я открыл дверцу машины и достал с заднего сиденья бутылку джина. Вернулся к Рите, присел на корточки рядом с ней.

— Пей, — сказал я.

Я хотел приподнять ее голову, чтобы ей удобнее было пить, но увидел темное пятно крови, растекавшееся по асфальту.

— Пей, — сказал я.

Она что-то пробормотала. Открыла и снова закрыла глаза.

Я вливал в нее джин — она давилась, но пила — и иногда смотрел бутылку на свет, много ли мне удалось влить.

— Сейчас приедут, — сказал мне в спину Хендрик. — Ты что делаешь, сволочь?

Я вылил немного джина ей на лицо и сам отпил из бутылки. Потом встал.

— Иди отсюда, — сказал я.

— Нет, — сказал он.

— Иди в машину.

— Нет.

Тогда я посмотрел на него и сказал:

— Я тебя посажу.

...Мы сидели в машине и ждали. Машину я поставил в переулок. Мотор выключил, фары погасил.

Мы видели, как подъехала «скорая помощь», как суетились люди в белых халатах.

Когда Риту увезли, я подождал еще немного, потом сказал:

— Пошел вон.

Хендрик быстро выскочил из машины и бросился бежать.

Я остался сидеть. Слава богу! — все это время я не снимал с рук перчатки.

Олав.

— Все по койкам! — объявил я и сглазил: зазвонил телефон.

Телефон у нас внутренний. Соединяется через коммутатор. Ни цифр, ни букв на нем нет. И вообще — мертвый диск.

К телефону подошла Лейда.

— От Яна звонили, — сказала она, возвращаясь к нам. — Женщину нам хотят отдать. Вытянут и отдадут.

— А что у нее? — вежливо спросила новенькая медсестричка.

— Черепно-мозговая с алкогольным опьянением,— сказала Лейда.

— Хорошая женщина,— сказал я.— Интересно, что пила.

— Портвейн,— предложил Сенечка.

— Коньяк.

— Одеколон.

— Жидкость от пота.

— Дураки,— скривилась Лейда и ушла в пустую палату готовить место для больной.

— Зубной эликсир.

— Лосьон для волос.

— Мозольная жидкость.

Тут мы наконец засмеялись, но опять зазвонил телефон.

И опять к телефону подошла Лейда.

— От Яана звонили,— сказала она потом.— Не вытянули. Ушла эта тетка.

— Куда ушла? — удивилась новенькая.

— Туда,— выразительно сказал я.

Девочка была хорошенькая. Воспитывать ее было приятно.

— Человек — уходит,— объяснил я.— И другими грубыми глаголами не пользуйся.

Лейда посмотрела на меня, усмехнулась и беззвучно прошептала грубое словосочетание.

— Ты поняла? — строго спросил я девочку.

— Поняла,— доверчиво пискнула она.

Девочка сидела на том стуле, на котором обычно сидела Рита, но она не была похожа на Риту, и я почему-то расстроился.

1988 г.





СОЛОГУБ — СЦЕНАРИСТ

Имя Федора Кузьмича Сологуба, русского писателя и поэта-символиста, в разговорах современников начало связываться с кинематографом сравнительно рано — в конце 900-х годов, когда его новая жена, А. Н. Чеботаревская, открыла в квартире литературный салон. В салоне, по воспоминанию Г. И. Чулкова, бывали «все — антрепренеры, импрессарио, репортеры, кинематографшички»¹. 19 июля 1912 года А. А. Блок в одном из писем упомянул о следующем событии: «По выражению Философова, переданному Женей, жизнь Мережковских — сплошной пикник. Их снимали для кинематографа: по лестнице спускаются сначала Мережковский, потом Гиппиус, потом Сологуб»².

В стихах Сологуба слово «кинематограф» (с ударением на последнем слоге, еще напоминающим о французском приоритете на это изобретение) впервые появилось в 1911 году по соседству с другими признаками современности: эссенцией, кислотой, трамваем:

Не кручинься и, обняв
Талью новой, умной милой,

¹ Г. И. Чулков. Годы странствий. М., 1930, с. 160.

² Письма Александра Блока к родным. II. М.—П., 1932, с. 220.

³ Федор Сологуб. Стихотворения. Л., 1975, с. 360.

Из архива мастеров

**Федор
СОЛОГУБ**

БАРЫШНЯ ЛИЗА

С нею в кинематограф
Ты иди с моей могилы³.

В 1912 году, объясняя читателям журнала «Театр и искусство» символистский парадокс об истинной реальности искусства и кажимости действительной жизни, Сологуб неожиданно прибег к аналогии с кинематографом: «Мы перед ними (образами искусства) — только бледные тени, как видения кинематографа. Мы повторяем во многих экземплярах чьи-то подлинные образы, как на множестве экранов мелькают образы многих женщин, раз навсегда наигранные некою Астою Нильсен, знаменитою в своем мире»⁴.

В 1915 году Сологуб посвятил кинематографу отдельное стихотворение (насколько нам известно, никогда не публиковавшееся):

В КИНЕМАТОГРАФЕ.

В узкой зале кинематографа
Длинной словно шея у жирафа
Несуразный элит собравшихся антракт.
В 3-м месте шум, и стук, и ропот,
Во 2-м — смешно на этот топот,
В первом чинно ждут, когда начнется акт⁵.

А. В. Февральский приводит рассказ мейерхольдовской актрисы Л. С. Ильязенко о

⁴ Сологуб Ф. Нетленное племя. — Театр и искусство, 1912, № 51, с. 1021.

⁵ ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 2, л. 279.

своеобразной игре, в которую любили играть в литературном салоне Сологуба в 1914—1915 годах: «После ужина, когда маститые гости расходились, Федор Кузьмич подмигивал нам, молодым, и мы оставались. Тут начиналось настоящее веселье... Самым веселым была наша игра в кино. Развешивалась большая простыня, тушили свет, а за простыней ставилась яркая лампа. Мы действовали между лампой и простыней, на которой четко вырисовывались наши тени. Весь нужный реквизит давала нам жена Сологуба — А. Н. Чеботаревская. Федор Кузьмич садился с ногами на диван и диктовал нам текст, а мы его мгновенно изображали на экране. Старались больше играть в профиль, так как этот экран фаса передать не мог. Конечно, в основном, мы пародировали кино. Играли гротескно, а иногда (на то мы и были студийцы) применяли технику балагана. По тексту Сологуба я изображала Фата Моргану. Я надевала на голову бумажный колпак наподобие сахарной головы и к верхушке его привязывала длинный шнур, который отбрасывал зигзагообразную тень. Всеволод Эмильевич (Мейерхольд) сам в нашей игре участия не принимал. Он сидел рядом с Сологубом и иногда выкрикивал свое знаменитое «Хорошо!» Иногда у нас «рвалась лента», и мы замирали в самых невероятных позах. А иногда кино начинало крутиться в обратную сторону (в те времена это случалось), и мы двигались в обратном направлении, вызывая гомерический смех»⁶.

Переписка Сологуба (а точнее, его жены) с кинематографическими фирмами показывает, что в середине 10-х годов поэт был готов подвизаться и в «настоящем» кино. Первое из таких предложений Сологуб получил в 1914 году от акционерного общества «А. Ханжонков и К^о», заинтересовавшегося пьесой «Венец победы»⁷. В августе 1916 года, получив 600 рублей задатка, он согласился продать компании «Продалент» права на повесть «Звериный быт». Владелец петербургского отделения М. Я. Маркус заодно обратился к поэту с просьбой: «...имеем честь покорнейше просить Вас взять на себя труд сочинения подробной схемы сценария и, поскольку возможно, принять в соображение те изменения, о которых лично беседовал наш представитель с многоуважаемой Анастасией Николаевной»⁸. Одним из таких изменений была замена названия на «Лик зверя». «Лик зверя» в постановке А. А. Аркатова (фильм не сохранился) вышел на экраны в 1917 году. Рецензент журнала «Прозектор» написал, что главная поль-

за от этой картины — «наглядный пример, какая осторожность и обдуманность нужна в стремлении воплотить и конкретизировать отвлеченные понятия и образы»⁹.

Сложнее были отношения Сологуба с московским «Ателье кинематографических съемок «Эра». Предложенный роман «Слаще яда» ателье «нашло не совсем подходящим»¹⁰, и Сологуб предложил его товариществу «Фильмарок». Рецензент и тут остался недоволен: «Роман Сологуба производит в чтении впечатление своеобразно-интересного произведения; тем не менее на экране из него получились бледные и банальные картины»¹¹. И этот фильм в постановке Б. Светлова до нас не дошел.

Наиболее яркий эпизод в кинематографии Сологуба — его сотрудничество с В. Э. Мейерхольдом в работе над фильмом «Навыи чары» — досконально изучен А. В. Февральским и описан в книге последнего «Пути к синтезу» (М., 1978). Напомним только, что фильм не был завершен.

После революции сценарная деятельность Сологуба не прекратилась. К нему обращались две конторы: одна — частная, другая — кооперативная. В обоих случаях Сологуб выполнил заказ — написал сценарий. Ни тот ни другой сценарий не был поставлен. Оба сохранились и находятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом).

Литературная Коллегия кинематографического отдела московского центрального рабочего кооператива связалась с Сологубом летом 1919 года. В результате был написан сценарий «Заклинательница змей», в котором чисто сологубовский мистицизм сочетался со стремлением предвосхитить вкусы заказчика:

«Она идет домой. Смотрит вокруг себя, и в ее мечте встает Рабочий город будущего.

Мечтается ей на месте фабричной слободки красивый город-сад. Небольшие каменные дома, красивые сады, веселое и здоровое население»¹².

Другой эпизод связан со сценарием «Баярышня Лиза».

В 1918 году от пореволюционной творческой летаргии оправилась кинематографическая фирма «Русь». Ее владелец М. С. Трофимов передал производству своим киноделом опытному продюсеру, «заведующему производством» М. Н. Алейникову, который заключил контракты с известным театральным режиссером А. А. Саниным, критиком Н. Е. Эфросом,

⁸ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 879, л. 8.

⁹ Прозектор, 1917, № 13—14, с. 11.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 879, л. 3.

¹¹ Прозектор, 1917, № 13—14, с. 13.

¹² ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, № 192, л. 16.

⁶ Февральский А. Пути к синтезу. М., 1978, с. 11—12.

⁷ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 879, л. 1

киносценаристом и режиссером Ф. А. Оцепом, актерами Качаловым, Гайдаровым и Гзовской. Творческая группа «Руси» приступила к поискам сценария.

Санин и Оцеп обратились к символистам. 15 октября 1918 года Ф. А. Оцеп отправил два письма идентичного содержания — В. Я. Брюсову и Вяч. И. Иванову.

«Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Литературно-художественный отдел кино-издательства «Русь» (Тверская, Леонтьевский пер., д. 24, тел 4-83-08 и 4-71-31) обращается к Вам с предложением написать для него сценарий. Кино-издательство «Русь» обладает всеми необходимыми средствами, чтобы давать большие художественные постановки. От Вас желателен сценарий с ролями для арт(истки) Гос(ударственного) Мал(ого) т(еатра) О. В. Гзовской и артиста М(осковского) Худ(ожественного) т(еатра) В. И. Качалова. Если предложение это Вас заинтересует, то добровольно сообщить — когда можно к Вам заехать для подробных переговоров. К Вам заедут или реж(иссер) Худ(ожественного) т(еатра) Александр Акимович Санин или я, заведывающий отделом, всегда готовый к услугам, Федор Александрович Оцеп»¹³.

Брюсов откликнулся и написал сценарий «Родине в жертву любовь» («Итальянская трагедия начала XVI века»), ныне хранящийся в Отделе рукописей Ленинской библиотеки — ф. 386, 30.21.). Причины, в силу которых этот сценарий был отклонен художественным коллективом «Руси», излагает в своих воспоминаниях В. И. Качалов, предполагавший Брюсовым как исполнитель главной роли: «Мы очень рассчитывали на этот сценарий, но нас ожидало разочарование. Внезапно Брюсов принес произведение на материале итальянского ренессанса. Ни у меня, ни у коллектива не было желания работать на этом материале, и знакомство с кино на этот раз опять не состоялось»¹⁴.

Письмо Оцепа к Вяч. И. Иванову отличалось от приведенного одной фразой: «Работать в литературном отделе издательства дали свое согласие А. Блок, Ф. Сологуб, Л. Андреев и др.» (сообщено Ю. П. Благоволиной).

Эта фраза отсылает к более раннему циклу переписки, которую вел с А. Блоком, Ф. Сологубом, Л. Андреевым и А. Ремизовым А. Санин. Письма Санина были разосланы летом. Они содержали такое же предложение, но были менее официальные по тону: «...люди здесь показали мне чудесные — широкие, бодрые, работающие, любящие кинематографию, ее будущее... У меня глубокое убеждение, дорогой Алексей Михай-

лович, что Вы можете в какой-то исключительно характерной, «ремизовской форме» дать для кино что-то интересное, живое, значительное. Для нас это было бы настоящей художественной радостью и удовлетворением» (Санин к Ремизову, 21 августа 1918; сообщено Р. Д. Тименчиком).

Ремизов, как можно заключить из письма Ф. Оцепа Ф. Сологубу (ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 517, л. 3), какие-то переговоры с «Русью» вел, но, по-видимому, к реальному сотрудничеству с фирмой они так и не пришли. Блок ответил вежливым отказом — дал обоснование, которое ныне часто приводится в киноведческих работах как последнее высказывание поэта о кино:

«Многоуважаемый и дорогой Александр Акимович!

Спасибо Вам за письмо и за предложение. Готового для экрана у меня нет ничего, но я не раз думал писать для него; чувствую, однако, всегда, что для этого надо найти в себе новую технику. Кинематограф, по моему, ничего общего с театром не имеет, ни в каких отношениях не конкурирует с ним; один другого убить не может; потому и разговоры «о кинематографе и театре», которые были одно время в моде, казались мне нереальными. Я долго любил кинематограф таким, каков он был; потом стал охладевать — уж очень крепко захватила в свои руки обывательщина и пошлость «великосветских» и т. п. сюжетов.

Но ведь двигатель — все двигатель, и лента — все лента. К ним ничего не пристаёт. Актеру, воспитанному на Шпажинском, нельзя дать Шекспира, а механике все можно верить, надо только суметь воспользоваться ее услугами и не утруждать колес и рычагов тем, что они сами все равно брезгливо откинут, не перемолов, а только поломавшись...»¹⁵.

Сохранилась и переписка Санина с Леонидом Андреевым — санинское письмо в фонде Андреева в ИРЛИ (ф. 9, оп. 3, ед. хр. 46), андреевский ответ — в фонде Санина в музее МХАТа. Предложение Санина интересно тем, что режиссер дает развернутое объяснение, какого рода сценарий нужен ему для постановки.

Ответное письмо — один из последних прижизненных документов Андреева — никогда не публиковалось и в литературоведческом обиходе не упоминается:

«Да, дорогой Александр Акимович — я

¹⁴ Качалов В. И. «Чуткий художник». — Сб. «Яков Протазанов», М., Госкиноиздат, 1948, с. 269.

¹⁵ Блок А. Письмо к А. Санину от 10.9.1918 г. — Собр. соч. в восьми томах. — Т. VIII, М. — Л., 1963, с. 515.

¹³ ОР ГБЛ, ф. 386, картон 97, ед. хр. 20, л. 73—74.

ничего не пишу. Решительно ничего. Когда буду писать, известно одному Богу, тому самому, которому известны и судьбы России.

Трофимова я не знаю (верю, что хороший человек), но для Вас и В. И. Качалова постараюсь составить сценарий — не теперь, но когда возьмусь за перо (и если возьмусь). Понимаю, что надо для В. И. и Вас.

Вопрос: Вы и он не думали об «Анатеме»? Дранков три года хлопотал в Синоде, доходил, говорят, даже до Распутина, чтобы ему разрешили «Анатему» именно для В. И. Уже в дни революции, когда все стало позволено, ко мне за тем же и для того же артиста обращался Тиман, но мне не хотелось ему давать и я заломил несообразную цену: ни Тиман, ни время не казались мне подходящими для такой вещи. Насколько я знаю, В. И. всегда желал выступить именно в «Анатеме», где он имел такой огромный и заслуженный успех, да и мне этого хотелось: моральный сюжет вещи удобен для кино, а с другой стороны — В. И. в игре своей был необыкновенно пластичен и привлекателен для глаза.

Но времена быстро меняются, и то, что нравилось вчера, сегодня может не вызвать никаких настроений. И если «Анатема» ныне не у дел, то я смогу, повторю, составить со временем новый сценарий. Срока не называю. Впрочем, и для «Анатемы» я должен был бы сам составлять сценарий, так что и здесь срок неопределен. Это Вы прислали 2000 р.? Оно не нужно бы, не люблю авансов, но раз прислали — поблагодарите Трофимова.

Это интересно и необходимо, что Вы дошли к кино, вещь огромнейшая, возможность чудесные, средства неисчерпаемые. Для Вашего таланта, б. м., единственное поле, где Вы можете развернуться во всю Вашу ширь и силу. Но жаль, что это в России, где техника так убийственно слаба и естественный антураж (море, скалы, замки и проч.) так беден и пространственно разбросан (а сейчас и политически недоступен). К фотографии наши художники и «умственная» интеллигенция всегда относились презрительно и до сих пор не знают, сколько заключено богатства в свете без красок. Отсюда на каждом шагу такая безграмотность, как в «Катерине Ивановне», где Германова в одной сцене снята на фоне тигрово-пятнистых обоев: не то лицо ее движется, не то шпалеры на глазах линяют, не то зритель допилса до белой горячки.

Много труда и борьбы Вам предстоит, но и энергии у Вас достаточно, чтобы стать пионером в этом великом деле. От души желаю успеха, ибо крепко и неизменно люблю Вас и верю в Ваши силы.

Если увидите Немировича-Данченко, передавайте ему, что я жив и относительно

здоров и целую его.

Пусть не забывает меня.

Крепко жму Вашу руку. Конечно, об участии тех или иных артистов я болтать не стану.

Ваш Леонид Андреев
14—27 июня 1918 г.
Ваммельсу»¹⁶

Сценарий Брюсова не был принят; ответ Андреева разочаровывал; Ремизов текста не дал; Блок выслал письмо с отказом. Как видно, слова Оцера о том, что Блок, Сологуб, Андреев и другие дали согласие работать в литературном отделе «Руси», на 15 октября 1918 года не вполне отражали истинное положение дел.

Наиболее плодотворной оказалась переписка А. Санина с Ф. Сологубом.

Санин — Сологубу, 17/30 августа 1918 г.

«Глубокоуважаемый Федор Кузьмич, жесткие условия жизни бросили меня сейчас в кинематограф, и я уже окончил большую художественную картину на тему, представленную мне Е. Н. Чириковым (...). Есть у меня к Вам, дорогой Федор Кузьмич, горячая просьба. Нет ли у Вас желания что-нибудь подарить нам? Если нет готового материала, нет ли желания, идеи написать что-либо для кино. Это было бы дорогим художественным подарком для «Кино» (...). Ваш А. С.»¹⁷

Санин — Сологубу, 6/9 сентября 1918 г.

«...Получил от Вас ответ скоро, по нынешним временам, даже удивительно скоро — и сейчас же отвечаю Вам: так мне хочется, чтобы у Вас с «Русью» непременно завязались и художественные, и материально-деловые сношения. Дело в том, что сейчас в «Руси» работает Гзовская, я же привлек и Качалова, и вот для них-то «Русь» и ищет настоящего литературно-художественного материала. Если не для обоих сразу, то для каждого в отдельности. Ваша «Барышня Ли-за» была бы чудесна для Гзовской. (...) «Мелкий бес» интересен, кинематографичен, захватывающ, но Трофимов и Алейников, обращаясь к Вам как к художнику слова, хотели бы чего-либо более острого, отвечающего моменту... Объясняюсь подробнее (...) «Кино» — вещь очень серьезная, головоломная, чтобы картина имела успех, необходим целый ряд факторов. Большие силы исполнительские и постановочные — они у нас komponуются. Но нужны и подходящие к силам и ко времени темы... Вы, например, чудесный стилист — и я думаю, что для Гзовской Вы могли бы выбрать и сделать какую-то стильную поэму, старую, элегическую, в духе Мусатова...

¹⁶ Музей МХАТа, . 5323/192.

¹⁷ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 610, л. 3.

А может быть, иное: искрометное, брызжущее, радостное, с кучей переодеваний, тоже в каком-то давнем стиле — ведь Ольга Владимировна на все Ваши «узоры» большая мастерица... С Качаловым — иное дело. Он выступит тут в **первый раз** в жизни — хочется найти образ для него!.. Может быть, трагический образ римской, нашей, византийской империи — вспомните, как он играл чудесно Цезаря! Может быть, какой-то образ мистериальный — теперь ведь, вне рамок цензуры, поле исканий широченное, кончая темами из евангелия, религиозных исканий... Но еще думаю от Вас и иное получить. Вы — большой символист, мистик. Теперь, когда человечество совсем запуталось в исканиях правды, истины, счастья, не напишете ли какой-либо фантазматической, проходящей через все века в будущность... Кинематограф любит такие сооружения. Тут обыкновенно герои и героини меняют каждый раз свою личину (вспомните, как в «Эросе и Психее»), а идея произведения царит и связывает 5,6 отдельных фрагментов, из которых складывается картина. Тут, думается, и для Качалова, и для Гзовской можно выдумать интересные образы и дать им интересную пищу обобщенно. Ученого учить — только «портить», думаю я, написав Вам все эти строки. Вам и «книги в руки!» Делайте, что надумаете и что захотите!.. Хочется мне лишь толкнуть Вас в Вашем теперешнем заолуствии на фантазирование и на работу, хочется указать Вам, чего здесь ищут и о чем пекутся. И раз Вы возьметесь, деньги сейчас же потекут, будьте совершенно спокойны и уверены (...).

Ваш Ал. Санин¹⁸.

Без даты.

«Глубокоуважаемый Федор Кузьмич! Спешу сообщить Вам о решениях, которые тут приняты. «Русь» просит Вас сделать кино-либретто из «Барышни Лизы». Тут знают, что пьеса¹⁹ в Художественном театре. Но когда она там пойдет? Просьба — такая. Опираясь на **лютые** времена, просят написать Вас Владимиру Ивановичу, что у Вас-де просят для Кино «Лизу», что Вы хотели бы ее дать, но связаны с театром, и что-де даете срок театру, положим, до 1-го июня 1919 года или до 1-го октября 1919 года. Засим «Русь» просит, чтобы Вы немедленно сообщили, сколько хотите за сценарий. Если фирма с Вами столкнется (а я в этом не сомневаюсь), аванс (тысячи две) будет Вам немедленно выслан. Я знаю, дорогой Федор Кузьмич, что Вы очень щепетильно относитесь к вопросам этического порядка, что пребывание «Лизы» в портфеле Художественного театра — для Вас

препона и серьезная... Но, во-первых, Гзовская — Лиза там не служит. Во-вторых, там громадная заваль пьес, и можно с искренностью сказать, что «Лизе» придется еще годы ждать своего череду... Наконец, Вы открыто вступаете с театром в переговоры... И **самое** главное и убедительное — писателям **надо** есть, а мука стоит 100 рублей — пуд! Начало «Заклинательницы змей» интересно, но «Русь» не рискует взять для кинопьесы вещь ей незнакомую в целом, да и вряд ли это — для Гзовской! А вот для «Лизы» — она рождена. Должен еще прибавить, что «Русь» удивительно чутка, рыцарственна, грациозна в вопросах этических и моральных — можете быть совершенно спокойны. Затем, если Вы либретто представите — вещь ранее 8, 10 месяцев не будет готова — и это важно. Думайте, ради Бога, о Качалове, потому что с Гзовской выступает молодой красивый актер Гайдаров и ему в «Лизе» тоже есть дело. С приветом жду Вашу руку.

Ваш А. Санин²⁰.

Сологуб — Санину, 27 ноября 1918 г.

«...Третьего дня послал Вам мои заметки по поводу «Барышни Лизы» не в виде безусловного требования, а на тот случай, если они пригодятся. Дело постановки совсем особое, и автору спокойнее бы в него не вмешиваться вовсе. Но все ж таки хочется поделиться еще кое-какими соображениями. Имея в виду артистку, с которой Вы будете иметь дело, уверен, что это будет очень художественно и грациозно. Должно быть и улыбочиво, и трогательно. Мне кажется, что все должно быть взято не слишком в трагических, серьезных тонах. Как бы слегка стилизованная повесть из того времени, когда и при грубых формах быта люди настроены гораздо идеалистичнее, чем в наше время, слаще влюблялись, тоньше чув-

¹⁹ По этому поводу существует комментарий В. И. Немировича-Данченко от 12—17 февраля 1927 г., являющийся вступлением к его собственному либретто сценария по пьесе Сологуба, предложенному для постановки в Голливуде: «Большой русский писатель Федор Сологуб (он еще жив и пишет) написал повесть «Барышня Лиза». Она показалась мне очень сценичной, и я предложил ему переделать ее в пьесу, он сделал ее под названием «Узор для роз». Пьеса была поставлена в Московском Художественном театре, имела очень большой успех и неизменно заставляла публику проливать слезы удивления» (Музей МХАТа, ф. 4, 12/17/P-T/ №№ 1804, 1805, 74447, 74448), 1. ед. хр., 24 л./ В настоящий момент пьеса «Узор из роз» хранится в машинописи в библиотеке ВТО в Москве.

²⁰ ИРЛИ. ф. 289. оп. 3, № 610, л. 8-9.

¹⁸ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 610, п. 5—7.

ствовали и ценили красоту внешних форм. Не столько проходят картины реальной жизни, а как бы перевертываются страницы старой, слегка наивной, забытой и трогательной книги. Поэтому желательны кое-где как бы страницы показанной книги, — гравюры, виньетки, заставки, все, конечно, с большим тактом. Вообще, мне кажется, что больше следует оглядываться на мою повесть, чем на сделанную из нее пьесу (...). Текстов я старался давать как можно меньше, — но, может быть, Вы найдете, что их следует умножить? Возможно такое начало или заключение: Лиза в старости, окруженная внуками и правнуками, рассказывает им историю своей любви, улыбаясь и растроганная, играя своим лорнетом, с которым она, по приобретенной над вышиванием покрывала близорукости, никогда не расстается. Впрочем, опять повторяю, это на тот случай, если какие-нибудь из моих намеков Вам пригодятся...»²¹.

Сологуб — Санину, 30 ноября 1918 г.
«...Кто у Вас изображает Алексиса? Не думаете ли Вы, что это подходило бы для Качалова? Он мог бы быть очень элегантен, что необходимо для этой роли. И роль эта совсем не такая второстепенная, что могла бы не заинтересовать такого большого артиста»²².

Сценарий «Барышня Лиза» — стилизация под сентиментальную повесть начала XIX века. Влечение к этой эпохе пронизательные критики уловили в прозе Сологуба еще до того, как она стала в ней предметом непосредственного изображения. В 1907 году литературный обозреватель газеты «Слово» писал: «...стараясь создать новую фразу, Сологуб напрямик упирается в старое, почти карамзинское, в стиль романа 20—30-х годов»²³.

Само название повести и сценария Сологуба непосредственно отсылает к двум источникам: «Бедная Лиза» Карамзина и «Барышня-крестьянка» Пушкина. По наблюдению А. Зорина, Сологуб в третий раз меняет социальный статус героев внутри одной сюжетной схемы — если у Карамзина неравенство Лизы и Эрста приводит к самоубийству героини, а в пародийной повести Пушкина трансформация крестьянки в барышню позволяет влюбленным соединиться, то у Сологуба условием такого соединения становится обратное перевоплощение барышни в крестьянку. (Действительно, см. в повести: «Мало-помалу Лиза и одеваться стала как все крепостные девуш-

ки. Казалось ей, что, перенявши их одежду, она лучше поймет их душу... Загорела Лиза, и лицом на крестьянку стала похожа»).

Тексты Сологуба, в особенности — повесть и пьеса, богаты реминисценциями из обоих произведений. Главной отсылкой к «Бедной Лизе» становится пруд, на берегу которого происходят ключевые сцены объяснений героев. Однако апелляции к Пушкину явно доминируют. Эпиграф к повести «Барышня Лиза» — «Над вымыслом слезами обольюсь»; главных героев, как и в «Барышне-крестьянке», зовут Алексей и Лиза; их встреча, как и у Пушкина, происходит на мостике через речку, в текст места включены прозаические переложения пушкинских стихотворных строк. (Ср., например, в повести: «Барыня, едут! Гости едут, гости от Заозерья!» — «Что кричишь, оглашенная! ...Может быть, еще и не к нам едут»).

А сама засуетилась. Пошла в гостиную к зеркалу, тревожно оглядывая себя с головы до ног, нет ли какой неисправности в туалете. И уже слышен стал звон бубенчиков все приближающийся», — с фрагментом из «Графа Нулина», начиная со стиха «Кто долго жил в глуши печальной» до «И ждет. Да скоро ль, мой творец?») Сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана» превращается у Сологуба в «чувствительный роман о горестях Адольфа и Амалии», монолог Алексиса о рабстве народа в пьесе «Узор из роз» есть дословное прозаическое переложение финала стихотворения «Деревня» и т. д.

Характерная для пушкинской повести тема сближения героев, благодаря переписке, находит свое отражение в сценарии Сологуба. Он как бы предлагает нам факсимильный перевод Пушкина с помощью «графической экспертизы» почерков его героев (см. «Заметки к постановке», пункт № 6). Тут же автором предлагается вариант вводного титра (пункт № 5), где будущий фильм озаглавлен то как «пьеса», то как «повесть», и название предлагается стилизовать под «заглавную страницу» старинной книги. Графика титров немного кино, по замыслу Сологуба, явно должна выражать идею литературной доминанты его произведения и прямо отсылать к источнику референции. Используя возможности кино, автор сценария обращает внимание будущего постановщика на возможности внефокусной съемки для передачи картины мира, данной на экране через призму зрения слепнувшей Лизы. Интересно, что то, что в описании давалось через цвет («багряный туман» перед глазами Лизы в повести, плывущие перед ней и все, заслоняющие «фиолетовые, желтые, зеленые пятна» в пьесе) — в фильме должно было быть подме-

²¹ Музей МХАТа, 5323/1250.

²² Музей МХАТа, 5323/1252.

²³ Неблагодарный читатель. Искания и блуждания. (Новый роман Ф. Сологуба «Навыи Чары»). — «Слово», 1907, 14(27) декабря, № 330, с. 4.

нено расплывчатостью изображения. Если слепота героини — одна из распространенных тем еще русского дореволюционного кино, то использование «субъективной камеры», действия, снятого с точки зрения героя, для языка кино на 1918 год — прием сравнительно новаторский.

Описание Лизы, данное Сологубом в начале сценария, вполне совпадает с описанием внешности О. Гзовской. Однако такое совпадение случайно — Гзовская не выбиралась Сологубом, она сотрудничала с «Русью» по контракту; то же самое описание героини было дано еще в повести, написанной в 1912—1913 годах. Другой облик («любимица и баловница», «вся цветущая и смеющаяся») описывает В. И. Немирович-Данченко в своем «проекте сценария». Здесь, по всей вероятности, это связано с тем, что сценарий писался непосредственно для Лилиан Гиш. Второе существенное изменение, внесенное Немировичем-Данченко в текст Сологуба, — фамилия главного героя, Алексиса, из Лвыцына ставшего Бельским. По-видимому, это связано с тем, что, хотя в заглавии либретто Немирович-Данченко указывает, что оно написано по повести Сологуба, непосредственным его источником была, видимо, именно пьеса, представленная в МХАТ. Пьеса по отношению к повести пародирует некоторых героев, в первую очередь, Алексиса, речь которого сочетает в себе резонерство и напыщенность карикатурного вольтерьянца с нарочитой безграмотностью. В финале он начинает говорить ритмизированной прозой («О, Лиза милая, мой ангел нежный!» — «Мой милый друг, пленительная Лиза!» и т. д.). В отличие от повести и сценария в

пьесе Алексис — почти комедийный персонаж. По-видимому, именно это обстоятельство и было существенным для Немировича-Данченко, в силу каких-то причин заменившего все имена второстепенных героев и опустившего даже фамилию родителей Лизы. Бельский или Вельский — распространенное имя героя русской комедии и светской прозы (наблюдение А. Зорина, примеры: пьеса А. А. Шаховского «Пустодомы»; пьеса М. Н. Загоскина «Благородный театр»; очерки М. Н. Загоскина «Москва и москвичи»). Возможно, трансформация образа героя Сологуба в пьесе послужила для Немировича-Данченко внутренней отсылкой к этому жанру, хорошо знакомому ему по театральным воевиям, и подсказало новую фамилию героя вместо забытой или даже привела к аберрации памяти. Поскольку либретто Немировича-Данченко повторяет все основные моменты пьесы «Узор из роз», мы пока воздерживаемся от публикации его полного текста.

Сценарий Сологуба интересен не только как кинематографическое переложение нарочито наивной прозы. Для Сологуба, как и для других наблюдателей тех лет, кинематограф 910-х годов был новым воплощением наивного и назидательного искусства. Стилизация под сентиментальную повесть совпала с жанровыми законами сентиментальной «деревенской» мелодрамы в кино. Сама по себе возникла типологическая параллель между литературой начала XIX века и кинематографом начала XX.

**Н. Нусинова,
Ю. Цивьян**

* * *

ЗАМЕТКИ К ПОСТАНОВКЕ

1. Действие происходит в конце двадцатых или начале тридцатых годов 19-го века.

2. Имея в виду исполнительницу заглавной роли, желательно очень выдвинуть пластические и мимические моменты этой роли. Поэтому автор счел нужным отметить в тексте сценария несколько картин, в которых б. Л. была бы показана одна, в разнообразных ее настроениях, но всегда равно очаровательная. Первое такое явление б. Лизы мне казалось уместным в самом начале — как бы живая виньетка, вроде тех гравюр, которыми украшались книги того времени. Потом она часто является в мечтах и воспоминаниях Алексиса, а стало быть, и зрителя, что являет без околичностей один ее чистый образ в светлых одеждах.

3. Алексис всегда, и наяву, и в мечтах и воспоминаниях Лизиных, чрезвычайно элегантен. По рождению и воспитанию он принадлежит к лучшему обществу, одевается у лучших портных, усвоил самые возвышенные и передовые идеи своего времени и обладает самыми тонкими и благородными манерами.

4. Желательно выдвинуть достигнутую в то время и значительно высокую степень материальной культуры и свойственную времени любовь к вещам, которая в наши

дни почти утрачена. Поэтому весьма желательно возможно отчетливее показать вещи — простенький, но изящный веночек из роз, вышиваемый Лизою в начале, вышитое ею покрывало, шлафрок помещика, его табакерку с изображениями на крышке и на стенках, маменькин письменный стол красного дерева с бронзовыми полосками, дорожный дормез, трость Алексиса и т. п.

5. Тексты должны следовать старой орфографии. Название пьесы лучше сделать как заглавную страницу книги того времени, с соответственным шрифтом. Лучше бы даже показать название в таком виде: «Барышня Лиза. Повесть».

6. Тексты писем — рукописные, гусиным пером. Почерки старинные, красивые. У Алексиса — широкий, размашистый, с определенными нажимами и густыми росчерками, довольно наклонный. У Лизы — прямой, тонкий, связанный, строчки не совсем ровные, буквы круглые.

7. В четвертой части желательно показать ослабление зрения в натруженных работах Лизиных глазах. Для этого, мне кажется, пейзаж следует снимать не в фокусе, чтобы очертания предметов были расплывчаты. Что эта расплывчатость очертаний зависит не от случайностей съемки и не от ненастной погоды, может быть подчеркнуто отчетливым пейзажем до появления Лизы.

Действующие лица:

ЛИЗА.

ВОРОЖБИНИН Николай Степанович, ее отец.

ВОРОЖБИНИНА Надежда Сергеевна, ее мать.

АЛЕКСИС ЛЬВИЦЫН, Лизин жених.

НЯНЬКА Лизина.

ЛУШКА, служанка простодушная.

СТЕПАНИДА, служанка хитрая.

МАРФУШКА, вышивальщица ослепшая.

Часть первая.

ЛЮБОВЬ ЛИЗЫ И АЛЕКСИСА.

1. БАРЫШНЯ ЛИЗА. 1*.

1/2. Лиза — девушка высокая, стройная. У нее веселые глаза, черные, слегка выщипанные волосы, густые черные брови, которые сходятся вместе, когда она хмурится. Она — живая, веселая. Ей семнадцатый год.

2. ОДНАЖДЫ В НАЧАЛЕ МАЯ ЛИЗА С ВЕЧЕРА ДОЛГО НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ, СЛАДОСТНО И НЕВИННО МЕЧТАЯ.

2/4. Высокое окно Лизиной спальни выходит в сад. Тихо. Светит Луна. Лиза сидит у окна, мечтая.

3. ...МЕЧТАЯ ОБ АЛЕКСИСЕ.

3/6. В ее мечте проходит Алексис. У него длинные, до плеч, волнистые русые волосы. Взор его томен. На нем серый фрак. Галстук повязан небрежно, но красиво. В одной руке его белая роза, в другой трость.

4/7. В Лизиной кровати уютно и радостно. Приятно повернуться на бок, закрыть глаза и предаться мечтаньям, неприметно переходящим в сон. И вот ночь проходит, наступает утро. За кисейный полог кровати пробивается из окна ранний свет еще невысокого солнца. Тихо открыв дверь, входит веселая краснощекая Лушка с кувшином воды. Помедлив у порога, отдергивает занавес окна. Становится светло. Лушка приоткрывает полог. По лицу спящей Лизы видно, что сон тревожен. Потрясенная светом, она открывает глаза. Говорит с Лушкой.

— Что ты, Лушка?

— Воду принесла, барыня.

— Погода хороша ли? Нет ли ветра?

Получив ответ, что погода ясная и теплая,

ветриночки не веет, приказывает раскрыть окно. Закрывает глаза еще помечтать с минутку. Что-то такое сладостное встало в ее памяти, что Лиза вся затрепетала и, быстро откинув одеяло, вскочила с постели.

8. Через несколько минут там же. Лиза торопится кончить своей туалет — озабочена тем, что после родителей придет в столовую. Как ни торопится, но все же внимательно оглядывает себя в зеркало: тонкий стройный стан, смеющиеся глаза, выщипанные вокруг смуг-

* Учитель математики по своей прежней профессии, Ф. Сологуб увлекся изобретением своей собственной системы «нумерации картин». Система получилась сложной: отдельно пронумерованы титры, отдельно «картины» и отдельно — «части картин». Титры (или «тексты», как их называет автор) набраны прописным шрифтом и нумеруются по порядку от начала каждой части. «Картины» — это отрезки действия, происходящего в одной декорации. (Мы бы назвали их сценами.) Картины тоже нумеруются по порядку следования. Номер картины — цифра в числителе дроби. В сологубовской системе учитываются и так называемые «части картин» — сменяющиеся в пределах картин кадры. В знаменателе дроби — общее количество кадров, включая «тексты» и «части картин». (Когда номер кадра обозначен не дробью, а только ее знаменателем — это значит, что сменился кадр, но место действия осталось тем же.)

Надо признать, что нумерация только затрудняет чтение. Поэтому можно посоветовать читателю, специально не интересующемуся археологией сценарных форм, не обращать внимания на цифры и читать сценарий, как читают сплошной текст. (Прим. публикатора).

лого лица локоны нравятся ей чрезвычайно. Послав тоненькими пальчиками воздушный поцелуй своему отражению, ответившему ей тем же, Лиза спешит в столовую.

5/9. Столовая. На столе самовар, чай, сливки, мед и т. п. Отец, мать. У конца стола жмутся два старенькие приживальщика. Отец часто нюхает табак из серебряной табакерки. Лиза, быстро и легко постукивая каблучками маленьких башмачков, входит в столовую, светлая и свежая. Мать улыбается ей, отец смотрит одобрительно. Поцеловав руку отцу и матери, Лиза садится за стол и, улыбаясь, смотрит в окно. На ее нежном лице нежная и радостная улыбка. Мать обращается к ней с несколькими вопросами. Лиза отвечает с приметной рассеянностью. Ей грезнится,

6/10. ...что мимо проходит Алексис, изысканно одетый и погруженный в меланхолические мечтания.

7/11. Мать спрашивает: — Да что ты все в окно смотришь? Лиза вздрагивает от неожиданного вопроса и, смешавшись, отвечает невпопад. Мать смотрит на нее с удивлением. — Что с тобой, Лизанька?

Отец, нюхая табак, посмеивается, от чего Лиза еще больше смущается. Признается:

4.— Я СЕГОДНЯ СТРАННЫЙ СОН ВИДЕЛА, МАМЕНЬКА.

13. И смеется.

— Что за сон? — недовольным голосом, но с любопытством спрашивает мать.

— Ах, маменька, глупости, и говорить не стоит.

Мать строго говорит:

— Изволь рассказывать, сударыня.

Лиза рассказывает свой сон, слегка смущенная строгим тоном матери. Отец, слушая, нюхает табак, неодобрительно покачивает головою и ворчит. Старая нянька пришла в столовую и стала у дверей. Слушает, голову качает, бормочет что-то. Из-за двери выглядывают любопытные дворовые девушки.

14.

8/15. В Лизину горенку входит арап (негра) с пунцовым тюрбаном на голове. Велит Лизе идти за ним [к королю Крысиному]. Лиза хоть и не хочет, но идет [за ним]*.

16. Дорога гладкая, как скатерть, вышита синелью и бисером, а итти по ней трудно.

* Текст сценария публикуется по правленной автором машинописи. Правка имеет читательский интерес — она отражает процесс адаптации к условиям киноязыка. Так, Сологуб вычеркивает слово «лиловый», вспомнив, что кинематограф не передает цвета; вспомнив, что кино не терпит монологов, вычеркивает рассказ Лизы о радостях зимы. Мы сохранили вычеркнутые места, пометив их квадратными скобками. (Прим. публикатора).

По сторонам дороги ученые медведи пляшут, [а] перед Лизою арап идет, часто обирачивается, сверкает белыми зубами.

[6. В ЧЕРТОГЕ КОРОЛЯ КРЫСИНОГО.]

17. Продолжается сон. Лиза входит в чертог. Богато и пышно. Высокие колонны. Горит много свеч. Свет от них [лиловый и] дымный. У дверей [стоят] арапы и придворные кавалеры. В глубине зала трон. Лизу подводят ближе. На троне сидит Лушка.

18. На [ней] Лушке корона и порфира и золотом шитые башмаки. Лушка смеется во весь рот. Лиза с удивлением оглядывает себя. Видит, что в сарафане [как простая девушка], да и сарафан плохо [ньки]й, рваный. Лушка важно протягивает ей руку для поцелуя, кавалеры подталкивают Лизу к Лушке. Лизе становится так стыдно, что

19. ...она просыпается.

9/20. Лиза кончает рассказ о своем сне. Ворожбинина рассержена. Всплеск [нула] руками.

21.

6.— АХ, ОНА ПОДЛЯНКА! ДА КАК ОНА ОСМЕЛИЛАСЬ! ДА И ЧТО Ж ТЫ ЕЕ НЕ УНЯЛА, ЛИЗАНЬКА? ПОДОШЛА БЫ К ПОДЛЯНКЕ, ДА ПО ЩЕКАМ ЕЕ!

22. Ворожбинин сердито смотрит на дверь, из-за которой выглядывают девушки, говорит, что — поостроже за ними надо глядеть не во сне, а наяву.

Испуганные девушки скрываются. Нянька, ворча, идет вслед за ними. Ворожбинина упрекает Лизу за сон!

Лиза оправдывается.

— Ведь я не нарочно.

Отец внушительно стучит табакеркою по столу.

— А ты, сударыня, матери не отвечай.

Лиза смотрит на отца опасно. Постукивая по табакерке, он ворчливо говорит:

— Вот вам нынешнее воспитание!

Лизе стыдно, она потупилась.

Мать сердито выговаривает ей. Велит позвать Лушку.

Бранит.

Вдруг вбегает запыхавшаяся девушка [Степанида], крича:

[23]

7.— ГОСТИ ЕДУТ!

24. Ворожбинина ее унимает:

— Не можешь доложить спокойно!

А сама засуетилась. Оглядывает себя в зеркало с головы до ног.

Ворожбинин идет по дому, покрикивая на слуг.

10/25. В гостиной. Увидев, что все в порядке, Ворожбинин входит в гостиную. Ворожбинина сидит на диване с рукоделием в руках, опираясь локтем на вышитую подушку. У окна Лиза, тонкими пальцами отодвинув край кисейного занавеса, выглядывает на дорогу, торопясь узнать, кто едет. Отец глядит на Ли-

зу, грозит ей пальцем, смеется.

26.

8.— ВИДАТЬ СРАЗУ, ЧТО ЛЬВИЦЫН МОЛОДОЙ ЕДЕТ. ВСЕ ВИЖУ, ПЛУТОВКА БЫСТРОГЛАЗАЯ.

27. Лиза бросает на отца стыдливый, умоляющий взгляд, потом смеется и убегает. Ворожбинин подмигивает жене. Улыбаясь, разговаривает о Лизе и об Алексисе [Алексис входит. Лиза и Алексис гуляют в саду. Вешний день тих и ясен. Лиза простодушно и доверчиво рассказывает Алексису, когда они проходят берегом пруда, как зимою здесь она катается с горки, а летом удит рыбу. Рассказывает, что она лю...]

11/28. Улицею деревни и потом широкою березовою аллею, ведущею к дому Ворожбининих, в коляске, запряженной тройкою быстрых деревенских лошадок, едет Алексис, одетый точно так же, как его видела в мечтаньях Лиза. Трость лежит у него на коленях, в руке он держит белую розу, полураспустившуюся и непорочную. Алексис откинулся к спинке коляски. Взор его томен и мечтателен. Встречные беловолосые крестьянские ребятишки смотрят на него с привычным испугом и любопытством, наиболее трусливые с плачем прячутся в подворотни, на что молодцеватый кучер глядит не без удовольствия. Старцы, греющиеся на завалинках, крихтя поднимаются и подобострастно кланяются. Алексис мечтает.

12/29. В мечте Алексиса встает сияющий, радостный образ Лизы.

13/30. Подъезд помещичьего дома. Казачки, лакеи, девки встречают подъезжающую коляску и не то помогают, не то мешают Алексису выйти. Алексис ласково говорит со старым лакеем и входит в дом.

14/31. Опять гостиная. Ворожбинины приветствуют гостя. Он ищет глазами Лизу, и разочарован — ее нет. Это усиливает его эгегическое настроение. После обычного обмена привычными приветствиями он начинает говорить красноречиво и пылко о деспотизме правительства и о рабстве народа.

32.

9.— ЧУЖИЕ КРАЯ МЕНЯ ПРИВЛЕКАЮТ. В ГЛАЗАХ ЕВРОПЕЙЦА САМОЕ ИМЯ РОССИИ ЕСТЬ СИНОНИМА ВАРВАРСТВА.

— ОДНАКО ЭТИ САМЫЕ ВАРВАРЫ ОСВОБОДИЛИ СИХ ПРЕСЛОВУТЫХ ЕВРОПЕЙЦЕВ ОТ НЕСНОСНОГО ДЕСПОТИЗМА НАПОЛЕОНОВА!

— ЧЕМ ДРУГИХ СПАСАТЬ, НЕ ЛУЧШЕ ЛИ НА СЕБЯ ОБОРОТИТЬСЯ?

33. В таком духе продолжается разговор, когда входит наконец Лиза. Алексис встает и учтиво кланяется ей. Лиза, смущенно пролепетав слова приветия, скромно садится рядом с матерью на стуле под портретом одного из ее предков, воинственного полководца

с величавою осанкою. Томный взор Алексиса, слегка презрительный и насмешливый, теперь оживляется. Он продолжает начатый разговор, но уже не в силах отвести взора от белого кисейного Лизина платья. Нежно взглянув на Лизу, говорит:

34.

10.— ПРОСВЕЩЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ИСТИННЫЙ ГРАЖДАНИН И СЫН ОТЕЧЕСТВА, ПИТАЕТ НЕНАВИСТЬ К ДЕСПОТИЗМУ. А МЫ, СКИТАЮЩИЕСЯ ПО СЕЙ ОБШИРНОЙ И БЕЗВЫХОДНОЙ ПУСТЫНЕ, К ДЕСПОТИЗМУ ТАК ПРИВЫКЛИ, ЧТО УЖЕ И НЕ ВОЗМУЩАЕМСЯ ИМ... НАМЕРЕН Я ВСКОРСТИ ПОЕХАТЬ В ГЕРМАНИЮ.

— РАЗВЕ У НАС ХУДО? ЛЕГКО ЛИ К ЧУЖИМ ПОРЯДКАМ ПРИВЫКАТЬ!

35. Лиза досадливо хмурится. Ворожбинин и Ворожбинина возражают Алексису. Распахивается дверь из гостиной в столовую, и молодой курносый лакей в кафтане с бронзовыми пуговицами докладывает, что кушате подано. Алексис, меланхолически взглянув на Лизу, направляется к Ворожбининой, чтобы, исполняя долг светской любезности, подать ей руку и вести к обеду. Но Ворожбинин лукаво улыбается, смотрит на Лизу проницательно, чем она весьма смущена, и вдруг опережает Алексиса, берет жену под руку и идет с нею впереди, с лукавым смешком оглядываясь на молодых людей. Взволнованный Алексис возвращается к Лизе. Она трепетно и нежно принимает его руку, и они идут за стариками, он — эlegantный, чувствительный и томный, она — грациозная, стройная, радостная и смущенная.

13/36. Столовая. Их выхода ждут, стоя у своих мест, приживалки и приживальщички, десяток небогатых дворян и дворянок. Лакеи на своих местах. Усаживаются. Обед проходит установленным порядком. Алексис и Лиза рядом, оба этим счастливые, но и смущенные. Ворожбинин, чтобы позабавить гостя, обращается с насмешливыми вопросами к одному из приживальщичков, седому, насмешливому старику во фраке, с длинным носом и с резною табакеркою. Старик своими ответами вызывает общий смех. Один лишь Алексис смотрит с изумлением, и потом старается перевести разговор на другие предметы. Лиза сначала смеялась вместе с другими. Но сдержанность Алексиса заставляет ее на минуту задуматься. Потом она, как бы поняв что-то, смотрит на старого приживальщичка ласково и жалостливо, а на Алексиса с восторгом.

16/37. Лиза и Алексис гуляют в саду. Вешний день тих и ясен. В саду неглубокий пруд. Лиза простодушно и доверчиво рассказывает, как она зимою здесь катается с горки, а летом удит рыбу, как она любит это имение, любит березки, летний дождик. Алексис,

необычайно волнуясь, решается заговорить о своей любви. Раскрасневшаяся Лиза потупилась и молчит. Алексис изъясняет свои чувства, как всегда, красноречиво. Страстно и нежно приносит ее руки. Лиза, едва сдерживая волнение, благодарит.

— Но я не завишу от себя, у меня есть папенька и маменька, я должна прежде просить их разрешения.

Алексис радостно улыбается. Спрашивает, что она сама ему скажет. Лиза задрожавшими вдруг губами шепчет, что она согласна. Она вся вспыхивает и слезы показываются на ее глазах, отчего она становится вдвое очаровательнее. Алексис нежно целует ее руку и шепчет ей слова, полные волнения и любви.

Об руку с Лизою Алексис идет к дому. [17. Лиза взбегает по лестнице.]

17/38. Низковатая, но довольно просторная проходная в верхнем этаже, в глубине ее три окна невысокие, по сторонам двери. Спереди, слева направо, идет лестница снизу, обнесенная точеными перилами. Проходная комната от лестницы стеною не огорожена. Направо виден короткий марш лестницы поуже, ведущий в мезонин, где Лизина горница. Дверь налево в проходную приоткрывается: выпавшись после обеда, Ворожбинин кричит:

— Эй, вы там, засони! Квасу!

Дремавший на подоконнике казачек схватывается с места и стремительно мчится вниз, крича привычные слова с привычно испуганным и привычно усердным лицом:

— Барин проснувши! Барину квасу!

Ворожбинин смотрит на него благодушно — хорошо пообедал, хорошо выспался. Но томит жажда. В нетерпении выходит из спальни, нечесаный, запахивая великолепный халат. Кричит:

— Долго я ждать буду?

Но уже казачек мчится вверх с подносом, на котором жбан, прикрытый от мух, и большая хрустальная кружка.

С дрессированной ловкостью не звякнув посудой, казачек подлетает к барину. Ворожбинин наливает квас, быстро пьет и идет в спальню. Казачек за ним. По лестнице взбегает взволнованная Лиза. Наверху останавливается, прижимая руки к груди, передохнуть. Потом бежит к себе наверх. В это время опять отворяется та же дверь. Лиза слышит шаги отца, вышедшего из спальни в шлафроке и в мягких сафьяновых бабушах. Замирая от смущенья, прижимается в угол, боится, что отец увидит ее смущение и посмеется над ней. Но отец не замечает ее и спускается вниз. Лиза успокоилась, тихохонько спускается к проходной, осторожно высматривая, как идет отец. Когда он сошел с лестницы, Лиза бежит в спальню, к матери. Но вот и мать выходит. Лиза бросается ей на грудь.

39.

11.— АХ, МАМЕНЬКА, ОН МЕНЯ ЛЮБИТ!

40. И заливается слезами. Мать гладит ее по голове и радостно говорит:

— Ну, и слава Богу! Слава Богу!

18/41. В гостиной Алексис ждет Ворожбинина. Другой казачек — челяди в доме много — на его вопрос докладывает ему, что барин только что встали, требовали квасу и сейчас изволят выйти. Тревога и волнение Алексиса усиливаются с каждой минутой, но жесты и позы остаются все так же изысканны и томны. Наконец выходит Ворожбинин в шлафроке, в бабушах, причесанный без особого тщания. В одной руке платок, в другой табакерка. Улыбка благосклонная и знающая. Да и как не знать? Весь дом уже в радостной тревоге, и любопытные девки толпятся за дверьми, чтобы не пропустить ни одной детали ожидаемых событий. Алексис взволнованно подходит к нему. Ворожбинин, стоя и приветливо улыбаясь, выслушивает красноречивое признание Алексиса. Он хочет быть спокойным и важным, но значительность момента и красноречие Алексиса волнуют его. На его глазах слезы, когда он дает Алексису традиционные ответы, как желательному жениху:

42.

12.— Я ЛУЧШЕГО МУЖА ЛИЗАНЬКЕ НЕ ЖЕЛАЮ, НО В ЭТОМ ПРЕДМЕТЕ РЕШЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЕЙ САМОЙ. — Я УЖЕ СПРАШИВАЛ. ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА СОГЛАСНА.

— ЕСЛИ ДОЧЬ МОЯ ИЗБРАЛА ВАС, ТО Я ВРУЧАЮ ЕЕ ВАМ, СДЕЛАЙТЕ ЕЕ СЧАСТЬЕ. НО НАДОБНО СПРОСИТЬ И У МАТЕРИ.

43. Кричит, чтобы пригласили барыню. Ворожбинина выходит с заплаканными глазами, но с веселым лицом. Выводит с собою упирающуюся, стыдящуюся Л., которая смеется и плачет. Алексис берет ее за руку. Все вместе молятся перед образом. Потом Ворожбинин и Ворожбинина становятся рядом, Алексис и Лиза опускаются перед ними на колени, родители их благословляют. В это время гостиная уже полна — впереди приживалки и приживальщики, между ними проталкиваются девки посмелее, подалее другие девки, лакеи, казачки, дворовые, на всех лицах любопытство, почти непритворная радость, умиление верных слуг, любованье юною парой и прочие соответственные эмоции.

19/44. Вечером в своей спальне Лиза разговаривает со своими горничными девушками. Лушка раздевает барышню, а Степанида рассказывает деревенские новости. Говорят и о сегодняшней радости, лстыиво хваля барышнина жениха. Лиза вспоминает, как ей нынче ночью приснилось

20/45. ...Лушка на троне, в порфире и в короне. Круглое Лушкино лицо улыбается во

весь рот.

21/46. Лиза смеется и говорит:

47.

13.— СМОТРИ, ЛУШКА, ТЫ МНЕ СЕГОДНЯ ОПЯТЬ НЕ ВЗДУМАЙ ПРИСНИТЬСЯ — МАМЕНЬКЕ ПОЖАЛУЮСЬ!

— ДА УЖ БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, БА-РЫШНЯ, СПИТЕ СЕБЕ С БОГОМ.

48. Лушка смотрит опасно — вспоминает утренний гневный выговор барыни.

[Не смей барышне сниться. Не уймешься, накажу строго.]

49. А Степанида злорадно усмехается. Лиза велит девушкам итти. Когда они уходят, погасив свечи, Лиза встает с постели, садится к окну и мечтает, глядя на ясные звезды. Из-за ближнего леса медленно всходит багровый полумесяц. Алексис вспоминает прочтенные ею недавно стихи:

50.

14. ЛУГ СДЕЛАН ДЛЯ ОВЕЦ,
ДЛЯ ЛУГА ЧИСТЫ ВОДЫ,
ЛУНА ДЛЯ ВСЕЙ ПРИРОДЫ,
ЛЮБОВЬ ДЛЯ ВСЕХ СЕРДЕЦ.

51. Эти стихи вызывают слезу умиления и радости на Лизины глаза. Она воображает, как счастлива будет с Алексисом.

22/52. В ее мечтах встает сияющий образ вечно влюбленного в нее Алексиса.

23/53. Радостно улыбаясь, она дремлет, потом идет к постели, ложится, засыпает.

24/54. Лизе снится залитый ясным светом очаровательный луг. На нем милые девуш-

ки — пастушки и любезные юноши. Пастухи, чрезвычайно чисто вымытые и необычайно элегантные. Она видит их танцы и галантные пантомимы.

25/55. Потом снятся ей палаты сказочного царя. Лиза — царица, сидит на балконе, рядом с ней Алексис — царевич, глядит на нее нежно, прижимает ее руку к сердцу. Повешенные тут же доспехи показывают, что Алексис благополучно окончил все свои подвиги. Его верный помощник, Серый Волк, мирно щиплет травку на лужайке.

26/56. Лиза просыпается на заре, нежно веселая. Проворно вскакивает, поспешно одевается.

27/57. Тихонько спускается по лестнице, прислушиваясь, не проснулись ли родители. Но в доме все тихо.

28/58. Бежит садом,

29/59. ...росистым лугом.

30/60. В то же время к ручейку на границе их владений подходит Алексис. Он прогуливается. Дойдя до мостика через ручеек, он предается меланхолическим мечтаньям.

31/61. В мечте его Лиза, читающая сентиментальный роман. Она кончила книгу, идет, тронутая судьбою героев романа. Постепенно ее лицо светлеет. Мечта переходит в явь.

32/62. Лиза подходит с другой стороны к мостику. Сладостная, но краткая встреча. Нежная беседа. Но долго медлить нельзя. Лиза бежит домой, Алексис томно посылает ей воздушный поцелуй.

Конец первой части.

14 текста, 32 картины, 16 частей картин, всего 62.

Часть вторая.

ССОРА.

1/1. Лиза в саду забавляется с собачкою, осыпая ее ласками и нежными словами.

2.

1. ЛИЗА НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА СОБАК, А СЕГОДНЯ НА НЕЕ ВДРУГ КАПРИЗ НАШЕЛ, ОНА ПОДХВАТИЛА МАМЕНЬКИНУ БОЛОНКУ И ПОБЕЖАЛА С НЕЮ В САД, ГДЕ ЗАБАВИЛАСЬ С НЕЮ, ОСЫПАЯ ЕЕ ЛАСКАМИ И НЕЖНЫМИ СЛОВАМИ.

3. Алексис застал Лизу в саду. Увидев его, Лиза заговорила:

— Смотрите, Алексис, какая милая собачка! Погладьте ее, она не укусит. Какая у нее мягкая шерстка!

Но Алексис не хочет ласкать лающую на него злую собаченку, которая кажется ему довольно противною. Лиза подносит к нему болонку. Он отвертывается с приметным неудовольствием. Он огорчен: возясь с собаченкою, Лиза теряет влекущее его к ней нежное очарование. От этого душе его нестерпимо больно. Лиза смотрит на него с удивлением.

— Чем вы так расстроены, Алексис?

Ее простодушие чуждается мысли, что в ее поступках что-нибудь может не понравиться ее милому. Алексис просит ее не носить собачку на руках. Этим Лиза еще более удивлена. Хмурится так, что черные брови ее сошлись.

— Почему же мне не носить ее, ежели мне это нравится?

4.

2. — ЭТО — НЕЖЕНСТВЕННО И БОЛЕЕ ИДЕТ ОХОТНИКУ, ЧЕМ БЛАГОВОСПИТАННОЙ БАРЫШНЕ.

— ПАПЕНЬКА И МАМЕНЬКА МНЕ ЭТОГО НЕ ЗАПРЕЩАЮТ.

5. Лизе досадно. Алексис настаивает. Лиза не смущается и продолжает заниматься собачкою. Упрямо спорит с Алексисом. Говорит с ним гневно и досадливо. Алексис, не теряя надежды уговорить упрямую, долго уговаривает ее. Он огорчен, она обижена.

6.

3. — ВЫ НИ В ЧЕМ НЕ ХОТИТЕ ДАТЬ

МНЕ ВОЛИ! ЧТО ЖЕ БУДЕТ, КОГДА Я СТАНУ ВАШЕЙ ЖЕНОЮ? ВЫ БУДЕТЕ ЖЕСТОКИМ ТИРАНОМ!

— НЕТ, ЛИЗА, Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ТИРАНОМ. НО НЕ СКРОЮ — ТЫ СЕГОДНЯ ПРОИЗВЕЛА НАДО МНОЮ НЕПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

7. Лиза гладит собаченку и шепчет ей нежные слова. Алексис вертит в руках цветок шиповника. Старается казаться спокойным, но с трудом сдерживает проявление досады и огорчения. Холодно прощается с Лизой и уходит.

2/8. Алексис в нерешительности и раздумьи подходит к своей коляске. Ставит ногу на подножку, останавливается, идет назад, снова останавливается. Думает:

9.
4. **«ЕЕ НАДОБНО ПРОУЧИТЬ ХОЛОДНОСТЬЮ, ОНА ТОГДА ОДУМАЕТСЯ И РАСКАЕТСЯ».**

10. Лицо Алексиса принимает холодное и неприятное выражение. Совсем уже измятый цветочек шиповника падает из его рук. Он торопливо бросается в коляску, кидает обиженный взгляд на дом и сад и велит ехать как можно скорее. Во все это время его молодцеватый кучер, сидя боком на козлах, наблюдал за ним с усмешкою: видно, милые поссорились. Когда барин сел, кучер взмахивает кнутом, свищет и лихо бросает тройку в буйный бег. Пыль вьется, мальчишки шарахаются, Алексис от внезапного толчка откидывается к спинке, роняет трость. В одном из окон дома видно лукаво улыбающееся лицо Ворожбинина, его шлафрок, табакерка и платок.

3/11. Меж тем в саду Лиза, оставшись одна, скидывает с колен собаченку и заливается слезами. Погода внезапно портится. Набегают тучи. Лиза бежит к себе на антресоли.

4/12. Лиза в своей горнице. В стекла бьет сильный дождь, стучат ветки березок. Лизе скучно и грустно.

5/13. Ночью Лизе опять снится Лушка, которая сидит в раззолоченном кресле, одетая в богатые уборы, важничает необычайно. У нее на коленях сидит прелезлая собачка, глаз у нее не видно из белой пушистой шерстки, а зубки беленькие да острые. Так и норовит как бы укусить Лизу. Лушка строго приказывает Лизе взять собачку и вести ее погулять.

— Да смотри,— озорничая над барынею, говорит Лушка,— гляди за нею в оба, а не то я отдам тебя моим драбантам, они тебя проучат.

А драбанты стоят тут же и вращают свирепо глазами.

6/14. Тревожные сны заставляют Лизу вскакивать с постели. Лушка и Степанида прибегают к ней. Суется, опять укла-

дывают в постель. Светает.

7/15. В соседней горенке спит нянька. Лушка и Степанида будят ее, говорят, что барышня почивает беспокойно. Нянька идет к Лизе, ворча на девок.

8/16. Светло. Лиза не может заснуть. Чувствует себя нехорошо. Голова болит, не хочется вставать. А в окно видно, что опять хорошая погода. Но она не манит Лизу в сад. Приходит нянька, ворчливо выговаривая девкам, что худо смотрят за барышнею. Ласково спрашивает Лизу, что с нею. Лиза со скужающим лицом отвечает: — Ничего, нянечка, это пройдет.

Нянечка беспокоится. Проворно выходит. Девки перекоряются: Степанида упрекает Лушку — видно, опять приснилась барышне. Лушка отвечает сердито, Лиза унимает обеих. Нянька возвращается, держа в морщинистых руках, от старости и от усердия дрожащих, чашку дымящегося напитка.

5. ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ ОТМЕННО ПОМОГАЕТ ОТ ПРОСТУДЫ.

18. Няня заботливо наклоняется над Лизой и уговаривает ее выпить целебное средство. Лиза отказывается, но нянька настаивает на своем и заставляет ее выпить горячее и довольно вкусное питье. Потом тщательно укутывает Лизу и уходит, тихонько ступая на цыпочках.

9/19. В столовой. Утро. Степанида нашептывает Ворожбининой о тревогах прошлой ночи и о Лушкиной дерзости. При этом опасливо посматривает на барина, который и так недоволен тем, что Лизы опять нет вовремя. Лиза приходит грустная и бледная. Мать спрашивает, как она почивала,— правда ли, что беспокойно, как сказывали девки. При этом Степанида имеет смущенный вид сплетницы. Лиза хмурит брови.

20.
6. — **ОПЯТЬ МНЕ ЛУШКА ПРИСНИЛАСЬ.**

21. Мать гневается. Лиза рассказывает сон. 10/22. Может быть показано в преувеличенно озорном виде широко ухмыляющееся лицо Лушки из Лизина сна, ее приказы и угрозы, и злая собаченка на ее руках.

11/23. Ворожбинина, разгневанная, велит позвать Лушку. Степанида со злорадною улыбкою уходит и скоро возвращается с Лушкою. Меж тем мать выговаривает и Лизе, зачем видит неприятные сны, а отец слушает с насмешливым видом. Когда Лушка входит, Ворожбинина гневно кричит на нее:

24. — **ЛУШКА, ТЫ ЧТО Ж ЭТО ПОВАДИЛАСЬ БАРЫШНЕ СНИТЬСЯ? ДУМАЕШЬ, НА ТЕБЯ И УПРАВЫ НЕ НАЙДЕТСЯ?**

25. Лушка валится барыне в ноги. Вставши, не обнаруживает никаких признаков страха и раскаяния и отвечает барыне как вовсе не-

винная, что она тому делу не причинна и ни в чем не виновата. Ворожбинина изумлена ее дерзостью. Лушка настаивает, что у нее и в уме не было сниться барышне.

— Да нешто я училась кому сниться! Да у нас и в роду никого не было, кто бы такие дела знал!

Степанида стоит у дверей, радуясь тому, что Лушка попала в беду. Шипит:

— Как только господа терпят! Да я бы ей такого жару задала, перестала бы барышне сниться!

Ворожбинина приказывает ей молчать — без тебя знают, что делать надобно. А Лушке говорит уже спокойно, с выражением удовлетворенного гнева:

— Уж не взыщи, Лушка,— раз простила, другой не прощу.

Отдает Степаниде соответствующее приказание, и та подходит к плачущей Лушке. Ворожбинин пытается заступиться за Лушку, говоря, что ее наказывать не за что. Но Ворожбинина решительно заявляет ему, что в девичьей ее власть, что разбаловать девок никак нельзя, и что Лизино здоровье для нее всего дороже. Степанида хватает Лушку за руку. Лушка грубо говорит ей:

— Ты не толкайся, сама пойду.

И обе уходят. Лиза думает, что Лушке так и надо, но все-таки ей неловко.

26.
8. ЛИЗА ЖДАЛА АЛЕКСИСА, НО ТШЕТНО — ОН В ТОТ ДЕНЬ НЕ ПРИЕХАЛ. 12/27. Лиза в саду. Плачет. Красота природы не утешает ее. Воспоминания о вчерашней ссоре разрывают ее сердце.

28.
9. «АХ, ЗАЧЕМ Я НЕ ПОСЛУШАЛА АЛЕКСИСА!»

29. Лизе иногда кажется, что счастье ее навеки погребло. Она дает себе твердое обещание, если только Алексис придет, смирить перед ним свою гордость и уверить его, что собачку на руках никогда носить не станет.

30.
10. АЛЕКСИС ПРИЕХАЛ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ.

31. К вечеру в саду прогуливаются все вместе. Лиза особенно внимательна и ласкова с Алексисом. На повороте одной дорожки встречают бегущую из фруктового сада Лушку. Она несет корзину с только что собранной земляникой. С разбега не успев вовремя свернуть с дороги, едва не задела за локоть Алексиса, слегка вздрогнувшего от неожиданности при виде внезапно появившейся перед ним девушки. Ворожбинина смотрит на Лушку строго.

— Чего под ноги суешься? Забыла вчерашнее наказание?

Лушка стыдится, закрыв глаза рукавом сорочки, и шмыгает в сторону. Лиза смущена. Приметив это, Алексис наклоняется

к ней и тихо спрашивает, за что наказывали Лушку. Лиза отходит с Алексисом в сторону от родителей и с чистосердечной откровенностью рассказывает о своем вчерашнем сне и о том, как за это была наказана Лушка. Выслушав этот рассказ, Алексис опечаливается. Он выпускает из своих рук Лизину руку. Поднимая глаза к небу, красноречиво говорит о бесчеловечном обращении с крепостными. Лиза не понимает причин его неудовольствия. Оправдывается. Алексис огорчен. Недовольные друг другом, они выходят из сада.

13/32. В гостиной. Видя, что молодые люди невеселы, Ворожбинина велит Лизе показать свое вышивание. Лиза застенчиво подводит Алексиса к пальцам. Похвалиться особенно нечем — вышито только 14/33. ...полвечерка роз. Правда, узор изящный, но особого усердия не обнаруживает.

15/34. Но Алексис смотрит на узор и на Лизу влюбленными глазами, хвалит рукоделие. Лиза рада. Ворожбинин велит ей показать жениху, как девушки готовят ей приданое. Лиза, слегка смущаясь но и гордая,— знает, что есть что показать,— ведет Алексиса в девичью.

16/35. Девичья, просторная горница, но освещенная только двумя окнами, находящимися в более узкой ее стене. Десятка два крепостных девиц сидят довольно тесно, склоняясь над работою,— кружевницы и вышивальщицы, за пальцами, за шитьем, за вязанием. Света падает немного, и видно, что усердные девушки напрягают сильно зрение. Одна из девушек ничего не делает и, стоя у окна, говорит что-то сидящей рядом подруге.

36.
11. МАРФУШКА, КРУЖЕВНИЦА ОСЛЕПШАЯ.

17/37. Марфушка смотрит прямо перед собой мутными глазами.

18/38. В девичью входят Лиза и Алексис. Алексис с удивлением смотрит на Марфушку. Лиза спрашивает ее, зачем она здесь. — Пришла с подружками побывать.

— Ты им мешаешь своими разговорами, иди себе.

Марфушка выходит колеблющимися шагами, придерживаясь за стены. Лиза обращается к Алексису.

39.

12.— ТАКАЯ ДОСАДА — МАРФУШКА ОСЛЕПЛА. В ГЛАЗА ЕЙ СОР ПОПАЛ. А САМАЯ ИСКУСНАЯ БЫЛА У НАС ВЫШИВАЛЬЩИЦА.

40. Алексис идет между станками. Всматривается в лица и в работу девиц.

19/41. Глаза кружевницы натружены и слезятся.

20/42. Образец узора, исполненного с чрезвычайной точностью.

21/43. Алексис выходит из девичьей вместе с Лизою.

22/44. В гостиной они одни. Говорят о работницах, Алексис огорченный и Лиза недовольная. Алексис упрекает ее в пустом тщеславии, из-за которого служанки ее слепнут над чрезмерною работою. Лиза с живостью возражает ему. Чувствует, что Алексис сильно огорчен, но из самолюбия продолжает спорить.

45.
13.— СЛУЖАНКИ ТВОИ СЛЕПНУТ НАД ЧРЕЗМЕРНОЮ РАБОТОЮ, ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЛЯ НИХ ГОСПОЖОЮ МИЛОСТИВОЮ.

— ПО-ВАШЕМУ, Я — ПУСТАЯ И ЖЕСТОКАЯ. ДЛЯ ВАС МАРФУШКА ДОРОЖЕ МЕНЯ!

46. Они говорят друг другу много неприятных и укоризненных слов. Наконец Лиза оставляет Алексиса и уходит в другую комнату. На пороге встречается с матерью, которая смотрит на нее с удивлением. Затем в гостиную входит и Ворожбинин. Алексис прощается с ними. Спрашивают, в чем дело. Ворожбинина зовет Лизу.

23/47. В соседней комнате Лиза стоит с нахмуренными бровями. Отвечая на зов матери, отказывается выйти к жениху.

24/48. В гостиной сухо раскланивается и уезжает. Мать опять зовет Лизу. Она притихла. Родители ей выговаривают. Но, узнав в чем дело, принимают ее сторону.

25/49. Алексис дома. Поздний вечер. Он только что вернулся. Ходит в раздумьи, взволнованный, по своему кабинету. Вносят свечи. Докладывают, что ужин подан. Он не хочет есть. Удивленный, старый слуга медленно уходит. В сердце Алексиса борются любовь к Лизе, неспособная погаснуть, и пламенная ненависть к деспотизму. Целую ночь не может заснуть.

50. Там же. Раннее утро. Алексис не ложится. Свечи догорают. Алексис все ходит по кабинету, обуреваемый борьбою разнообразных чувств и помышлений. Наконец в состоянии, близком к отчаянию, он садится за стол и пишет.

51.
14. МИЛАЯ ГОСУДАРЫНЯ, ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА!

ЛЮБОВЬ МОЯ К ВАМ НЕ СПОСОБНА ПОГАСНУТЬ, НО ВСЛЕДСТВИЕ РАЗНОСТИ ПОНЯТИЙ НАШИХ Я НЕ ОСМЕ-

ЛИВАЮСЬ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ИМЯ ВАШЕГО СУПРУГА. ПОСЕМУ С ДУШЕВНЫМ ПРИСКОРБИЕМ ВОЗВРАЩАЮ ВАМ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ЖЕЛАЯ ВАМ СОВЕРШЕННОГО СЧАСТЬЯ С ДРУГИМ, БОЛЕЕ МЕНЯ ДОВЕРИЯ ВАШЕГО ДОСТОЙНЫМ.

ВПРОТЧЕМ ИМЕЮ ЧЕСТЬ БЫТЬ С ИСТИННЫМ ПОЧТЕНИЕМ ПОКОРНЕЙШИЙ СЛУГА ВАШ А. ЛЬВИЦЫН.

52. Окончив письмо, Алексис кладет гусяное перо на бронзовую чернильницу. Присыпает письмо золотым песком. Завертывает, снимает с руки обручальное кольцо, вкладывает его в письмо, запечатывает письмо малою печатью, на перстне носимую, и звонит. Никто не идет. Алексис хочет позвонить опять, но рука его, к звонку протянутая, останавливается. Он глубоко задумывается. Опирается склоненною головою на руку, дремлет. Входит слуга. Уносит догорающие свечи. Разбуженный легким шумом его шагов, Алексис поднимает голову. В окно падают первые лучи восходящего солнца. Алексис горько улыбается. Берет письмо, долго смотрит на него. Порывисто звонит. Вошедшему слуге приказывает отнести письмо немедленно. Слуга уходит. Алексис подходит к окну, смотрит в ту сторону, где живет Лиза, суетная, жестокая, но все же милая.

26/53. В мечте его встает образ капризной, своенравной, упрямой, деспотической, но все же очаровательной Лизы.

27/54. Алексис чувствует, что сердце его разбито.

28/55. У Ворожбининых в гостиной. Лиза сидит за пальяцами, но работа ее продвигается мало. Отец и мать бранят Алексиса. Лиза развертывает, читает.

56.

15. (ПОВТОРЕНИЕ ПИСЬМА.)

57. Лиза плачет. Передает письмо родителям. Они не знают меры своего гнева на Алексиса. Торопят Лизу писать ответ. Лиза садится за маменькин стол красного дерева с бронзовыми полосками. Пишет, а родители советуют и подсказывают ей. Потом она снимает с руки обручальное колечко и со слезами вкладывает его в письмо. Отец берет от ней письмо. Зовет слугу, велит отнести письмо. Мать и отец утешают Лизу. Она вытирает слезы и притворяется веселою.

29/58. Алексис уезжает из своего имения. Дормез, чемоданы, прощание с дворнею.

Конец второй части.

15 текста, 29 картин, 14 частей картин, всего 58.

Часть третья. РАЗЛУКА.

1. ПРОШЛО ДВА ГОДА. 1.

1/2. Лиза на кладбище молится на моги-

лах своих недавно скончавшихся родителей. Два старые приживальщика стоят в стороне

и потом провожают ее к ее коляске.
2/3. Комната в господском доме. Лиза отдает хозяйственные распоряжения бурмистру, старосте, ключнице. Ее лицо выражает строгую деловитость и ласковую заботливость.

3/4. Лиза входит в девичью. Там половина станков уже убрана. Остались только те, что поближе к окнам, где светлее. Видно, что девушки работают неторопясь и что работа их не трудна и не сложна. Они оживленно разговаривают. Лиза говорит с ними ласково. Солнце еще высоко, но Лиза их отпускает. Они весело уходят. Лиза подходит к окну, лицо ее становится задумчивым и печальным. Нянька, сильно постаревшая, входит. Видит, что девок уже нет. Ворчит, зачем их рано отпустила Лиза. Лиза слушает ее с улыбкою.

4/5. В саду. Девки поют, качаются на качелях. Лиза разговаривает с ними, поет в их хоре, заводит с ними хоровод. Нянька на все это ворчит — непорядок.

Приходит бурмистр, степенный и строгий мужик. Девушки, завидя его, смущаются и уходят. Он пришел по хозяйственным делам, но не может удержаться от того, чтобы не поворчать. Сначала ворчит на девок, а потом, видя, что барышня смеется и не сердится, говорит ей, покачивая головою: 2.— НЕПОРЯДОК, БАРЫШНЯ. ДЕВКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО, А ГОСПОДА — СВОЕ.

— Я ХОЧУ БЫТЬ ГОСПОЖОЮ МИЛОСТИВОЮ.

7. Лиза, поговорив с бурмистром о хозяйстве, уходит. К бурмистру подходят два приживальщика. Угостив почтенного старичка из своих табакерок, опасливо оглядываясь — не услышала бы Лиза,— судачат о ней. Приходит Степанида, усмехаясь с таким видом, словно хочет сказать:

«Знаю, о чем вы толкуете, да не будет по-вашему, барышня-то у нас своевольная». Перемолчав, пока она проходит, они возобновляют беседу о том же.

5/8. Лиза в кабинете покойного отца. Перебирает старые книги. Порою глубоко задумывается. Тогда встает перед нею

6/9. ...образ Алексиса — печальное лицо, сверкающий негодованием взор, пламенная речь о деспотизме.

7/10. Лиза стоит, опустив голову.

11.

3. «НЕУЖЕЛИ АЛЕКСИС НЕ ВЕРНЕТСЯ? АХ, Я ЕГО НЕДОСТОЙНА!»

12. Продолжая разбирать книги, Лиза находит старый фолиант с миниатюрами.
8/13. Красивый и очень сложный мотив узора из роз

9/14. ...наводит Лизу на замысел, пока еще для нее самой не совсем ясный. Из книги,

от ветхости на листы распавшейся, она берет лист с узором [или весь фолиант] и идет

10/15. ...в свою горенку на мезонине. Так она отыскивает забытые пальцы. Открывает оставшийся незаконченным

11/16. ...веночек из роз, простой и наивный сравнительно с тем узором, который нашла.

12/17. Улыбается простоте веночка. Глядит на вновь найденный узор. А если его еще более усложнить? В ее воображении

13/18. ...словно сыплются розы разных колеров, сплетаясь в гирлянды. Калейдоскопически колыхнется, становясь чрезвычайно богатым, узор покрывала. (Словно сыплются розы.)

19. Над узором мечтаются ей ее руки с иглою, склоненная ее голова,

14/20. ...а за окном, видится ей, проходит Алексис и смотрит на ее усердие.

15/21. Горница около девичьей, где Лиза занимается хозяйством. Сундуки, укладки, шкапы, мерочки и мешочки с образцами семян, корзиночки, ящики — на столах, скамьях, подоконниках разные разности. Лиза и пожилые, степенные служанки. Лиза рассматривает куски полотна. Выбирает самый лучший, большой кусок. Велит отнести его в девичью. Потом из шкапа достает мотки гаруса. Рассмотрев их, записывает, чего не хватает, велит позвать кучера и с деньгами и запискою отправляет его в город купить недостающее. Кучер, молодой красивый парень, выслушав внимательно наказания барышни, выходит, очень довольный перспективу прокатиться в город.

16/22. В девичьей Лиза и девки. В большие пальцы очень осторожно и внимательно вделывается выбранный Лизою кусок полотна. Лишнее завертывается — кусок очень велик,— и Лиза начинает вышивать. Видно, что она взволнована началом большой работы. Девки любят образцом узора. Одна из них предлагает Лизе свои услуги. Но Лиза велит им всем отойти и говорит, что все покрывало вышьет сама. Девушки удивляются — такое большое!

Лиза хмурит брови и внимательно вглядывается в узор.

23. Через несколько месяцев там же. В окно смотрит зимний ясный день. Лиза за работою. По тому, как на станке наверху концы полотна, видно, что работа не дошла и до половины. У Лизы утомленный вид. Нянька выговаривает ей, что она все сидит за работою, отдохнула бы. То же говорят и девки. Няне Лиза отвечает ласково — начала, так надо кончить,— а девкам велит замолчать.

24. Там же. Опять весна. Лизина работа на половине. Большая усталость и в выражении Лизина лица, и в ее позе. Отрываясь от работы, смотрит в окно, вздыхает

и опять принимается за вышивальную иглу.

17/25. У мостика через ручеек, где встречались Алексис и Лиза. Теперь Лиза приходит сюда одна, помечтать об

18/26. ...Алексисе.

19/27. Но милый образ меркнет, пейзаж туманится в натруженных Лизиних глазах. Лиза думает:

28.

4. «Я ТЕПЕРЬ СОВСЕМ НЕ ТА ПУСТАЯ И КАПРИЗНАЯ ДЕВУШКА, КАКОЮ ЗНАЛ МЕНЯ АЛЕКСИС».

29. Идет домой. Смотрит вокруг — и ясный день туманен, и все предметы словно скрыты легкой сетью. Но глазами души она видит лучше, чем глазами тела, и в ее мечтах опять

20/30. ...образ Алексиса, и ей кажется, что он грустит о ней, что он простит ее.

21/31. А если не простит? А если забыл? А если

22/32. ...рядом с ним другая, покрытая венчальной фатой, его невеста?

23/33. Лиза в отчаянии садится на камень, лежащий у мостика, и рыдает.

5. ЧТО ЖЕ ДЕЛАЛ В ЭТИ 5 ЛЕТ АЛЕКСИС? ТО ПРЕДАВАЛСЯ СВЕТСКОМУ РАССЕЯНИЮ

24/35. Картина столичного бала. В разгаре веселья, после танцев с светскою красавицею, Алексис вдруг погружается в меланхолическую мечтательность, и перед ним является

25/36. ...образ Лизы.

26/37. Сосед по имению, ненадолго приехавший в столицу и резко отличающийся манерами и дородностью от здешних, хотя одетый отменно хорошо, хлопает Алексиса по плечу.

— О чем задумались?

Смеется и подводит его к открытому буфету. Алексис принужденно, но весьма вежливо отвечает ему. Чтобы отвести разго-

вор от себя, спрашивает его о деревенских знакомых. Помещик охотно рассказывает, кто с кем повенчался, кто за это время умер, кто с кем поссорился. Наконец, Алексис спрашивает о Лизе.

38.

6. — ДОЧКА ПОКОЙНОГО НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА? ЧУДИТ, С ХАМАМИ ЗАПАНИБРАТА, КАК ГОВОРИТСЯ, ВСЕМ ЖЕНИХАМ ОТКАЗЫВАЕТ.

39. Алексис, чтобы скрыть волнение, спешит заговорить о другом, и наливает помещику вино.

40.

7. ...ТО ВДРУГ ЗАТВОРЯЕТСЯ ОТ САМЫХ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ, ПОГРУЖАЕТСЯ В КНИГИ И БУМАГИ.

27/41. Алексис один в своем кабинете, читает, мечтает о

28/42. ...Лизе. Лиза — капризная. Но она ждет его.

29/43. В нем возникает внезапно решение ехать в деревню. Звонит слугу, отдает распоряженья, начинается укладка дорожных вещей.

30/44. Ямщик, привезший Алексиса на станцию, хвалится перед тем ямщиком, который выводит новую тройку, щедрою подачкою на чай. Новый ямщик намерен заслужить не менее. Алексис выходит на крыльцо. На нем изысканная дорожная одежда, и он даже и в дороге, несмотря на утомление, не утратил тонкости манер. Станционный смотритель угожливо провожает его, предполагая в нем особу высшего общества. Алексис садится в экипаж, смотритель почтительно подсаживает его, ямщик ест его глазами и, выждав, когда барин с помощью смотрителя устроился удобно, лихо мчит коляску, весь горя усердием.

31/45. Алексис приезжает в свой деревенский дом.

Конец третьей части.

7 текста, 31 картина, 7 частей картин, всего 45.

Часть четвертая. ПРИМИРЕНИЕ.

1/1. В девичьей. Лизина работа подходит к концу. Лиза с большим усилием натруженными глазами всматривается в шелка, тщательно подбирая тончайшие оттенки. Девки рассказывают ей новости.

2.

1. — А В ЗАОЗЕРЬЕ БАРИНА ЖДУТ. — СКАЗЫВАЮТ, НЕДОЛГО ПРОБУДЕТ. — ГОВОРЯТ, В ЧУЖИЕ КРАЯ СОБИРАЕТСЯ.

3. Говорят это с осторожностью, не зная, отзываться ли о соседском барине с поч-

тением или так, как о господском враге. Лиза слушает с необычайным волнением.

4. «ОН ПРИЕХАЛ, А МОЯ РАБОТА ЕЩЕ НЕ КОНЧЕНА. И УЕДЕТ ОПЯТЬ НЕВЕСТЬ КУДА, МОЖЕТ БЫТЬ, НАВСЕГДА, ТАК И НЕ УВИДЕВ ПЛОДОВ МОЕГО ВЕЛИКОГО УСЕРДИЯ».

5. Торопится кончить работу. Вечереет. Лиза отпускает девушек, а сама остается и велит принести свечи. Девушки медленно расходятся. Приходит няня, говорит Лизе,

чтобы она шла спать, но Лиза не слушается. Няня ворчит, присаживается в уголок и засыпает.

6.

3. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.

7. Там же. Лиза работает при свечах, одна. В окно виден занимающийся рассвет. С тихой радостью Лиза закрепляет последнюю шелковинку. Спина у Лизы болит, голова кружится, в глазах туманно. Не то радостно, не то печально она любит видный в пяльцах

2/8. ...краем вышитого покрывала.

3/9. Днем Лиза выходит в сад. День кажется ей темным, хотя солнце светит ярко, и все перед нею предметы плавают в тумане. Она чувствует большую слабость. Садится на скамью, задумывается. Она печальна, но спокойна.

10.

4. ЕЙ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНА СКОРО УМРЕТ, НО НЕ ЖАЛЬ БЫЛО ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ТРУД ЕЕ КОНЧЕН.

11. Подходят девушки. Лиза их не замечает. Видно, что они взволнованы. Подталкивают одна другую. Выбегает Лушка. Кричит:

12.

5.— БАРЫШНЯ, МОЛОДОЙ БАРИН ЛЬВИЦЫН, СКАЗЫВАЮТ, СЕЙЧАС К СЕБЕ ПРИЕХАЛ. ДА КАК ПОСТАРЕЛ! ДА КАК ПОДУРНЕЛ!

13. Лиза растерянно глядит на Лушку, взволнованная неожиданным известием. Немного оправившись от этого волнения, спешит к оконченному покрывалу.

4/14. В девичьей. По приказанию Лизы девушки развертывают покрывало во всю его длину, чтобы осмотреть его. Девушки толпятся вокруг же, ахают и восхищаются вышивкою. Сама же Лиза смотрит на работу, плохо различая красивый узор.

5/15. Красивый и сложный узор покрывала.

16. Тот же узор, смешивающийся в Лизиных глазах в одно пестрое, переливчато-мелькающее пятно.

6/17. Лиза при помощи девушек складывает покрывало по длине вдвое, бережно свертывает его в несколько оборотов, завертывает в чистое, тонкое полотно и осторожно завязывает шелковым шнурком.

7/18. В кладовой Лиза заботливо выбирает самый лучший мед.

8/19. В саду Лиза срезывает цветы.

9/20. В кабинете Лиза садится за стол и пишет письмо. Руки ее дрожат. Она колеблется между желанием излить свои чувства и страхом показаться смешною или навязчивою.

21. Слезы текут из ее натруженных глаз.

22. Прежде, чем письмо готово, не одно перо сломано ею, и несколько листов бу-

маги, испачканной чернилами, разорвано. 23. Притом и на тонких пальчиках Лизиных, исколотых иголкой, осталось несколько чернильных пятен, отчего не стали они менее красивыми.

24.

6. МИЛЫЙ АЛЕКСИС!

Я УСЛЫШАЛА, ЧТО ВЫ ПРИЕХАЛИ В ЗАОЗЕРЬЕ, И МИНУВШИЕ ДНИ ПРЕДСТАЛИ ПРЕДО МНОЮ КАК СЛАДОСТНЫЙ СОН. В ПАМЯТЬ БЫЛОЙ ДРУЖБЫ НАШЕЙ ПРИМИТЕ ОТ МЕНЯ ЭТОТ НЕПЫШНЫЙ ДАР, ПОКРЫВАЛО, НАД КОТОРЫМ БЛУЖДАЛИ МОИ БЕДНЫЕ РУКИ, МОИ УСТАЛЫЕ ГЛАЗА, МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ. ТАКЖЕ ВЗГЛЯНИТЕ БЛАГОСКЛОННО НА ЦВЕТЫ, СРЕЗАННЫЕ МНОЮ, И ДА БУДЕТ ВАМ СЛАДОК МЕД, ПРОИЗВЕДЕНИЕ СКРОМНОГО ХОЗЯЙСТВА МОЕГО.

Я БУДУ ОЧЕНЬ РАДА, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕДЕТЕ ПООБЕДАТЬ СО МНОЮ И ВЗГЛЯНУТЬ НА ТО, КАК ЖИВУ Я, ГОРЕСТНО ОСИРОТЕВШАЯ, ПОТЕРЯВШАЯ ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ.

ВПРОТЧЕМ, ЕСЛИ НЕПРИЯТНЫ ВАМ ВОСПОМИНАНИЯ О ДНЯХ, ДЛЯ МЕНЯ НЕЗАБВЕННЫХ, ТО ПРОШУ Я ВАС НЕ СТЕСНЯТЬ СЕБЯ ПРОСЬБОЮ МОЕЮ. Я ЖЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ВАС НАВСЕГДА ЦЕМ ИНЫХ РАДОСТЕЙ, КРОМЕ ВОСПОМИНАНИЙ.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЮЩАЯ ВАМ СЧАСТЬЯ ЛИЗА ВОРОЖБИНИНА.

25. Перечитав письмо, сама им тронутая и, наконец, оставшись им довольна, запечатывает. Звонит.

10/26. Лиза выходит на заднее крыльцо смотреть, как запрягают в тележку серую гладкую лошадку. Сама смотрит внимательно, хорошо ли уложены ее дары, не мнутя ли, не сохнут ли цветы, не льется ли мед, не трется ли, не мнется ли покрывало. Так как глаза ее как бы в тумане, то все дары свои тщательно перетягивает она руками. Передает письмо черноусому Дмитрию, расторопному и толковому слуге, дает ему подробные наставления, которые Дмитрий внимательно выслушивает. Он вскакивает на козлы. Тележка, подпрыгивая на камешках окованными железом колесами, катится со двора. Лиза бежит за нею к воротам, как резвое дитя.

11/27. За ворота выезжает тележка. За нею выбегает Лиза. Кричит вдогонку, чтоб Дмитрий довез все в сохранности, да письма бы не потерял. На это Дмитрий только крутит головою и взмахивает кнутом, отчего лошадка бежит еще бойчее. В одну минуту в надвигающихся сумерках убегающие очертания тележки, седока и ло-

шадя сливаются в отуманенных Лизиных глазах в один серый мреющий ком. Лиза чувствует, что глазам ее больно. Внезапно усталая и плачущая возвращается домой.

12/28. Ходит из комнаты в комнату, нигде не находя себе места и нетерпеливо поджидая возвращения Дмитрия. Нетерпение ее возрастает с каждой минутой, и при наступлении темноты ночной уже она как сама не своя. Старая нянька пытается утешить ее.

7.— О ЧЕМ СЛЕЗЫ РОНИШЬ, ЛИЗАНЬКА? ХОЛОСТ, НЕ ЖЕНАТ ВЕРНУЛСЯ — ВИДНО, ТЕБЯ НЕ ЗАБЫЛ.
— АХ, ЗАБЫЛ! АХ, ЗАБЫЛ! ВОН ИЗ ГЛАЗ, ВОН ИЗ ПАМЯТИ.

30. Плачет, неутешная, ломает руки.

13/31. Вечер. Над ручейком и над полями туман, в котором разливается неясный, млечный свет только что взошедшей луны. Алексис ходит один над ручейком. Взоры его обращены в ту сторону, где пережил он столько разнообразных чувствований. Возвращается домой.

14/32. В столовой докладывают ему о посланном от барышни Ворожбинной. По приказу Алексиса вводят Дмитрия, который передает ему дары Лизины и ее письмо. Алексис дает Дмитрию серебряный рубль на водку, велит подождать ответа и уходит с письмом.

15/33. В кабинете Алексис при свечах читает письмо. Вносят Лизины цветы в двух вазах. Алексис долго сидит над письмом, предаваясь грустным размышлениям. Звонит. Вошедшему слуге приказывает принести покрывало. Оставшись один, открывает край вышивки. Любуется ею. Потом вспоминает, что над такими вышивками слепнут дворовые девушки. В его мечте встает

16/34. ...девичья, в пяльцах покрывало, девушки работают над ним. Лиза для рассеяния скуки приходит в девичью, присаживается, делает несколько небрежных стежков и, скоро бросив работу, уходит. А девушки под надзором сварливой старухи трудятся, напрягая зрение. И уже не одна Марфушка, несколько девушек ослепшие стоят в стороне, невесело разговаривая с подругами.

17/35. Алексис с досадой отбрасывает от себя покрывало. Берет в руки письмо, роняет его на стол, задумывается — чего же она хочет? Зачем она пишет? Притворщица, из тщеславия хочет увидеть у своих ног некогда отвергнувшего ее поклонника. Живое воображение немедленно ставит перед ним картину того, как

18/36. ...Лиза, тщеславно поднимая голову, самолюбиво и презрительно улыбаясь, смот-

рит на склоненного у ее ног Алексиса.

19/37. Алексис вспыхивает, чувствует в душе своей ожесточение, и пишет Лизе холодный ответ.

38.

8. МИЛЯЯ ГОСУДАРЫНЯ, ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА!

Я ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ ЗА ПОДАРОК ВАШ, ВЕРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТМЕННОГО УМЕНИЯ ВАШЕГО УПРАВЛЯТЬ ВЕЩАМИ И ЛЮДЬМИ. РАСПОЛАГАЯ УЕХАТЬ ОТСЮДА ВСКОРЕ, НЕ ЗНАЮ, БУДУ ЛИ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЕЗНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ВАШИМ, ЗА КОТОРОЕ ПРИНУДИЛ ВАМ МОЮ НИЖАЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ВПРОТЧЕМ ИМЕЮ ЧЕСТЬ БЫТЬ С ИСТИННЫМ ПОЧТЕНИЕМ ПОКОРНЕЙШИЙ СЛУГА ВАШ А. ЛЬВИЦЫН.

20/39. Лиза при свечах с трудом читает ответ Алексиса. Плачет навзрыд. Хотя уже поздно, но сон не приходит к ней, и она, несмотря на уговоры няньки, не идет спать. Наконец, по приказу няньки Лушка и Степанида ведут ее, почти бесчувственную от жестокой печали, в спальню.

21/40. Весь ночной отдых ее состоит в том, что она в тягостном полузабытии то одною, то другою стороною вверх переворачивает подушку, беспрестанно увлажняемую слезами. Утром встает она рано.

22/41. Идет к ручью.

42.

9. ТЕПЛИЛАСЬ В СЕРДЦЕ ЕЕ СЛАБАЯ НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО ВСТРЕТИТ ОНА АЛЕКСИСА И СКАЖЕТ ЕМУ, ХОТЯ БЫ И В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ПРО СВОЮ ЛЮБОВЬ.

43. Утро ясное, но Лиза мало что различает, словно очертания предметов скрадываются от ее взора падением великого дождя. Лизе кажется, что мир зыблется в ее глазах.

23/44. Образ ослепшей Марфушки становится в ее воображении.

24/45. Лиза думает печально:

46.

10. «ОСЛЕПНУ И Я. НУ ЧТО ЖИ РАЗВЕ МЫ НЕ ВИДИМ ЛУЧШЕ ГЛАЗАМИ ДУШИ, ЧЕМ ГЛАЗАМИ ТЕЛА?»

47. Лиза стоит у мостика, объятая неизъяснимым волнением, не смея итти вперед, не решаясь вернуться. Потом садится на большой обомшелый камень.

48.

11. «НЕУЖЕЛИ АЛЕКСИС НЕ ПРИДЕТ СЮДА В ЭТОТ РАННИЙ ЧАС, В КОТОРЫЙ НЕКОГДА МЫ С НИМ В ЭТОМ МЕСТЕ ВСТРЕТИЛИСЬ?»

49. Долго сидит в ожидании. Видно, Алексис не придет. Лиза, вздохнув печально, собирается уходить. Туманным взглядом окидывает окрестность, и уже оперлась о камень рукою, чтобы встать, как вдруг какие-то звуки там, за ручьем, останавливают ее. Не смея ни на что надеяться, Лиза поднимает глаза. За ручьем, по дорожке мимо моста идет Алексис, тихо, погруженный в глубокую задумчивость. Вспоминает минувшее.

25/50. Воображает Лизу легкомысленною, веселою шалунью и своевольницею, и вспоминает свои встречи с ней здесь же, на мостике.

26/51. Взор Алексиса невнимательно скользит по простому одеянию Лизы. Поклонясь ей приветливо, как девушке из этой местности, должно быть, когда-нибудь бывшею знакомою, он уже готов пройти мимо. Лиза окликает его. Знакомый голос, проникший до глубины его души, внезапно останавливает его и заставляет всмотреться в сидящую на камне девушку. Лиза встает и поспешно идет навстречу к Алексису. Сердце ее сильно бьется. Перед нею плывет туман, сквозь который она различает только

52. ...лицо Алексиса, и только на одно это лицо хочет смотреть. Алексис глядит на нее с изумлением и невольною нежностью.

53. Перед ним стоит с глазами, полными слез, стройная, печальная девушка, лицо которой неизъяснимо трогательно и прекрасно.

54. Они стоят друг против друга и обмениваются первыми словами принужденного разговора. Алексис благодарит Лизу за вчерашние подарки. Она с трудом удерживает готовые уже пролиться слезы, слушая его холодные слова.

55.
12.— **ВЫШИВАЛИ ЕГО, БЕССОМНЕННО, ОТМЕННО ИСКУСНЫЕ МАСТЕРИЦЫ.**

— **ВЫШИВАЛА ОДНА, ИЗРЯДНО УСЕРДНАЯ, ДА УЖЕ НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬ ИСКУСНАЯ.**

56. При этом Лиза улыбнулась сквозь слезы, отчего стала вдвое милее. Внезапно вспыхнув, Алексис спрашивает:

57.

13.— **И ВСЕ ТАК ЖЕ НЕСЧАСТНЫЕ ДЕВУШКИ СЛЕПНУТ НАД РАБОТОЮ?**

— **Я ВСЕ ПОКРЫВАЛО СВОИМИ РУКАМИ ВЫШИЛА!**

58. И, наконец, плачет. Алексис с удивлением спрашивает, сколько лет надобно было над ним сидеть. Лиза, плача, показывает Алексису свои пальцы, исколотые иглою. Указывает на свои глаза, красные от работы и еще более от многих слез, от бессонных ночей, в труде и в печали проведенных. Алексис всматривается. Слезы подступают к его глазам. Он осыпает Лизины руки поцелуями. В его душе возникают и сплетаются нежность, любовь, сожаление, раскаяние, радость. Нежно обнимая Лизу, говорит ей ласковые слова. Лиза прижимает голову к его груди.

59.

14.— **Я УМЕРЕТЬ ГОТОВА, НО ГЛАЗА ДУШИ МОЕЙ ОТКРЫТЫ ДЛЯ НЕВЕЧЕРНЕГО СВЕТА ПРАВДЫ, И ДУША МОЯ РАДОСТНА.**

60. Она так плачет, точно вся душа ее растворяется в слезах. И с ее слезами чувствительный Алексис смешивает свои, столь же горестные, сколь и сладостные ему слезы. Примирение равно радостно для обоих.

61.

15. **ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ.**

27/62. В храме села Ворожбины венчаются Алексис и Лиза.

63. Лизино лицо радостно и счастливо, глаза ее отдохнули и сияют радостью, хотя и стали близорукими и слегка щурятся от света многих свеч.

Конец четвертой части.

15 текста, 27 картин, 21 частей картин, всего 63.

Конец кино-драмы.

51 текста, 119 картин, 58 частей картин, всего 228.

Сценарий публикуется по машинописному тексту, хранящемуся в фонде Ф. Сологуба (289, оп. 1, № 184). Публикация Ю. Цивьяна. От редакции. Рукопись печатается в полном объеме, с некоторыми отступлениями от особенностей формы авторской записи: титры-«тексты» не вынесены левее основного печатного массива, как это сделано в рукописи Ф. Сологуба.

ХУДОЖНИК-ЛЕГЕНДА



«Дрейер вне и выше всяких теорий», — сказал Жан Ренуар. Действительно, Карл Дрейер стоит особняком в истории мирового кино и в то же время является одной из ее ключевых фигур. «Угрюмый датчанин», «упрямый индивидуалист», «одинокий скандинав», как именовали его критики, стал режиссером-легендой, режиссером-загадкой, символом «онтологического одиночества» художника.

На протяжении всей своей творческой деятельности Дрейер неизменно сталкивался с проблемой создания в рамках киноиндустрии произведения искусства в противовес тому, что он презрительно называл «конвейерными кинопродуктами». Он исповедовал веру в художника, который делает фильм от начала и до конца, контролируя каждую фазу этого сложнейшего процесса. Поэтому считал, что «фильмы нельзя производить, если хочешь, чтобы они обладали хоть какой-то художественной ценностью». Однако статус «вольнорабочего» был крайне ненадежным. Он не способствовал экономической стабильности и уверенности в возможности очередной постановки. Из-за своей бескомпромиссности и несговорчи-

вости Дрейер был постоянным скитальцем, снимая картины то в Норвегии и Швеции, то в Германии и Франции. И лишь время от времени ему удавалось ставить у себя на родине в Дании. Это объясняет, почему за пятьдесят с лишним лет работы в кино Дрейеру удалось снять лишь четырнадцать художественных фильмов.

Творчество Дрейера в немой период как бы сфокусировало в себе характерные особенности истории кино. «Вдова пастора», «Михаэль», «Страсти Жанны д'Арк», поставленные соответственно в Швеции в 1920-м, в Германии в 1924-м и во Франции в 1927-м, своеобразно отразили развитие европейского кинопроцесса в 20-е годы. И это понятно, свои наиболее значительные немые фильмы Дрейер снял именно в тех странах и именно тогда, когда там наблюдался подъем национального киноискусства.

«Одной из прекраснейших картин на протяжении истории фильма» назвал Эйзенштейн «Страсти Жанны д'Арк». «Симфония лиц», «изумительная фреска, скомпонованная из людских голов», «документальный фильм о человеческих лицах» — так писала критика об этом шедевре Дрейера, вошедшем в число 12 лучших фильмов всех времен и народов. Режиссер отказался от всех лишней деталей, чтобы сосредоточиться на предельно одухотворенных портретах страдающей Жанны. Ко времени работы над «Страстями» Дрейер уже в совершенстве овладел кинематографической формой, и каждый кадр, каждый ракурс, каждое движение получают в фильме глубокое значение. Человеческая трагедия, а не овеянные легендами подвиги Орлеанской девы, была в центре его внимания. Поэтому он отверг принципы костюмого фильма и выбрал такие одежды XV века, которые не бросались в глаза в XX.

Основой дрейеровской эстетики стал психологический реализм. Лучшие его фильмы — это образцы тончайшего психологического анализа. Он высоко ценил систему Станиславского и считал, что, только «растворившись в актере», можно добиться наиболее глубокого раскрытия внутреннего мира человека. Специфике работы актера в кино, вынужденного играть перед глазом кинокамеры роль, построенную из маленьких фрагментов, Дрейер стремился противопоставить театральную

концепцию актерского творчества. Вся знаменитая дрейеровская тактика — он жил вместе с группой во время съемок «Вампира», снимал «Страсти Жанны д'Арк» в хронологическом порядке, отказывался от использования мегафона, всегда удалял посторонних с площадки — была подчинена тому, чтобы создать в процессе съемок атмосферу интимности и сосредоточенности. Дрейер верил, что благодаря почти «мистической» связи с исполнителями режиссер может противостоять фабричным методам массового кинопроизводства.

Одной из важнейших творческих задач были для Дрейера вопросы пластического решения образа. Придавая первостепенное значение изобразительной стороне фильма, Дрейер создавал особую киноживопись, где фигуры всегда подчинены целостной композиции кадра.

У Дрейера осталось много неосуществленных проектов. Начиная с 30-х годов, он снимал лишь по одному фильму в десятилетие. В своих звуковых картинах — «День гнева» (1943), «Слово» (1954). (Большой приз венецианского кинофестиваля) и «Гертруда» (1964), ставших значительными явлениями в киноискусстве, Дрейер продолжал развивать типичные для него темы, идеи и образы. Но главным для него остается исследование человеческой души, скрупулезный анализ нюансов психики персонажей века. Поэтому через все его фильмы сквозной линией проходит противопоставление веры и догмы, свободы и запрета, природы и закона, любви и долга, женщины и мужчины.

Страдающая женщина, воплощающая лучшие нравственные идеалы, — централь-

ная фигура, присутствующая практически во всех фильмах Дрейера. Пожалуй, лишь Гертруда, героиня последнего фильма режиссера, выпадает из этого ряда. Это интеллектуальная, волевая женщина с сильным характером. Мужчины, которых она встречает, не соответствуют ее высокому идеалу. Они тщеславны и самовлюбленны, а их чувства неглубоки. Но и Гертруда не согласна на компромисс. Осознав невозможность найти абсолютную, всепоглощающую любовь, она выбирает одиночество.

Дрейеровские герои, и особенно героини, в одиночку несут на себе всю тяжесть борьбы с мировым злом. Они ощущают свою изолированность, но не видят возможностей выхода из этой трагической ситуации. Главное для Дрейера не то, как победить мировое зло, поскольку оно непобедимо, а то, как человеку сохранять достоинство и цельность перед лицом зла. Именно в этой внутренней борьбе, а не во внешнем развитии сюжета, заключается действенное начало его фильмов, причем эта борьба всегда заканчивается духовной победой личности.

Один из самых ярких и самобытных художников в истории кино — Дрейер создал свой собственный киномир. Отличаясь своеобразными тематическими пристрастиями, нестандартным способом видения, неповторимым стилем, Дрейер оставил нам произведения в высшей степени оригинальные и в то же время проникнутые тем особым скандинавским мироощущением, которое оставило заметный след в истории литературы, театра, философии середины XIX — начала XX века.

О. Рязанова

...Однажды я зашел к ней, и мы проговорили час или два. Я видел ее в театре. В маленьком бульварном театре, названия которого я не помню. Она играла там легкую комедию и была очень элегантной, немного поверхностной, но очаровательной. Она не сразу меня завоевала, я не сразу испытал к ней доверие. Я просто спросил у нее, могу ли я еще раз зайти завтра. И на следующий день мы говорили. И именно тогда я понял, что в ней есть что-то такое, на что можно опереться. Что-то, что она могла дать, а следовательно, я мог взять.

Дело в том, что за гримом, за ее манерами, за этим очаровательным и современным обликом что-то было. Чтобы добраться до этого, достаточно было убрать фасад. И тогда я сказал ей, что я хотел бы завтра же сделать ее пробы. «Но без грима,— добавил я,— с обнаженным лицом».

Назавтра она пришла, совершенно готовая, открытая. Она смыла грим, мы сделали пробы, и я обнаружил в ее лице именно то, чего искал для Жанны д'Арк: деревенскую женщину, очень искреннюю, женщину, способную на страдания. Но это открытие не было для меня полной неожиданностью, так как с самого начала эта женщина была очень искренней и очень необычной.



Актриса
М. Фальконетти
в фильме
«Страсти
Жанны д'Арк»
(1927)

И я взял ее на роль, мы всегда прекрасно понимали друг друга и на протяжении всех съемок очень хорошо работали. Потом говорили, что я выжал ее как лимон.

Я никогда не выжимал ее. Я вообще никогда никого и ничего не выжимал. Она всегда выражала себя свободно, от всего сердца. Так как ее сердце всегда участвовало в том, что она делала. (К. Дрейер о М. Фальконетти).

Карл Дрейер

ФАНТАЗИЯ И ЦВЕТ (1955)

Думаю, все согласятся с тем, что кино в том виде, в каком оно существует сегодня, несовершенно. И за это мы должны быть ему только благодарны, ибо в несовершенном заложена возможность развития. Несовершенное живо. Совершенное мертво, оттеснено, мы его не замечаем. Но в несовершенном таятся тысячи возможностей.

Кино как искусство переживает сейчас переломный период, и мы вглядываемся в горизонт, чтобы понять, откуда придут новые импульсы. Вы сейчас, конечно, ждете длинной и обстоятельной лекции с научным анализом и вещами подобного рода, но я должен разочаровать вас. Я не кинотеоретик, для этого у меня не хватает

мозгов. Я всего лишь кинорежиссер, который гордится своим ремеслом. Но даже у ремесленника во время работы возникают свои мысли, и именно этими простыми размышлениями я хочу сейчас с вами поделиться. В том, что это я вам хочу сказать, нет ничего революционного. Я не верю в революции. Они, как правило, обладают печальной особенностью отбрасывать развитие назад. Я больше верю в эволюцию, в маленькие шажки. Я хочу только указать на те возможности, которые имеет кино для художественного обновления **изнутри**.

Люди подчиняются закону инерции и сопротивляются, когда их пытаются столкнуть с проторенных путей. Они привыкли к точному, фотографическому воспроизведению реальности и, несомненно, испытывают определенную радость при встрече с тем, что они заранее знают. Когда в свое время появилась камера, она одержала быструю победу благодаря своей способности механическим способом объективно регистрировать зрительные

впечатления человеческого глаза. Эта способность до сих пор была силой фильма, но что касается фильмов высокохудожественных, то она может обернуться слабостью, с которой мы должны бороться. Мы привязаны к фотографии и стоим перед необходимостью освободиться от нее. Мы должны использовать камеру, чтобы вытеснить камеру. Мы должны все делать для того, чтобы перестать быть рабами фотографии, но стать ее хозяевами. Фотография из чисто информационной должна быть превращена в орудие творческого вдохновения, а непосредственные наблюдения следует предоставить видовым киножурналам. Информационная фотография заземляла фильм, принуждала его к натурализму. Только тогда, когда фильм оторвется от земли, он получит возможность вознестись в сферу воображения. Поэтому мы должны вырвать фильм из объятий натурализма. Мы должны вбить себе в голову, что копирование реальности это пустая трата времени. Мы должны с помощью камеры придать фильму новую художественную форму и создать новую стилистику. Но сначала мы должны уяснить для себя, что мы имеем в виду под понятиями «искусство» и «стиль». Датский писатель Йоханнес В. Йенсен определяет «искусство» как «духовно понятую форму». Это определение очень простое и попадающее в самую точку. Это же относится и к определению понятия «стиль», которое дает английский философ Честерфилд. Он говорит: «Стиль — это одежда мыслей». Это верно при условии, что «одежда» не слишком бросается в глаза, ибо отличительной чертой хорошего стиля должно быть то, что он входит в такую интимную связь с темой, что сливается с ней в единое целое более высокого порядка. Если же он выпирает и бросается в глаза, то это уже не «стиль», а «манера». Сам я определил бы «стиль» как «форму, в которой находит выражение творческое вдохновение», ибо мы узнаем стиль художника по определенным своим особенностям, которые отражают в произведении его сознание и его личность.

Стиль в художественном фильме — это результат многих разнообразных компонентов, как, например, игра ритмов и линий, взаимообусловленное сочетание цветовых плоскостей, взаимовлияние света и тени, скользящий ритм камеры — все то, что вместе с режиссерской интерпретацией материала, как порождающего образы фактора, является решающим для его художественной формы выражения — его стиля. Если же режиссер ограничивается

бездушной, безличной копией того, что видят его глаза, то у него нет стиля. Но если он перерабатывает в своем сознании то, что он видит, и строит образы фильма, соизмеряя со своим воображением, независимо от реальности, которая вдохновила его, то его произведение будет нести на себе святую печать вдохновения — и значит, у фильма есть стиль, ибо стиль — это отпечаток личности на произведении. Я допускаю, что это звучит очень нескромно, но от своего имени и имени других режиссеров я рискну утверждать, что личность именно режиссера должна отпечатываться в фильме. Этим я не хочу принизить роль автора, но будь автор хоть самим Шекспиром, литературная идея сама по себе не сделает фильм произведением искусства. Это происходит лишь тогда, когда режиссер, вдохновленный материалом писателя, даст ему убедительную жизнь в художественных образах. Я также не отрицаю и коллективную работу, которую выполняют операторы, техники по цвету, художники и т. д., но внутри этой творческой группы режиссер есть, будет и должен быть движущей и вдохновляющей силой. Именно он является создателем произведения. Именно он заставляет слова автора звучать так, как мы их слышим, именно он заставляет чувства и страсти пылать так, чтобы они нас захватывали и трогали. Именно он наделяет фильм чем-то тем необъяснимым, что зовется стилем. Да, именно в этом, по моему мнению, значение — и ответственность — режиссера. Во всяком случае, теперь мы понимаем, что такое стиль фильма. Но нам бы также хотелось знать, что представляет из себя фильм, являющийся произведением искусства. Давайте сформулируем вопрос так: какой другой вид искусства ближе всего к кино? По моему мнению, им должна стать архитектура. Характерной чертой выдающейся архитектуры является то, что все детали так тонко подчинены целому, что ни одна даже мельчайшая часть не может быть изменена, чтобы это не отразилось как изъян на целом, в отличие от «неархитектурного» сооружения, где все размеры и пропорции случайны. Нечто подобное можно сказать и о фильме. Только когда все художественные элементы, из которых состоит фильм, спаяны в прочную композицию, так что ни одна из составляющих не может быть выброшена или изменена без того, чтобы не пострадало целое, — только тогда фильм можно сравнить с архитектурным произведением искусства, а все те filmy, которые не удовлетворяют этим стро-

гим требованиям,— это всего лишь скучные стандартные здания, которые мы равнодушно проходим мимо. В архитектурном фильме роль архитектора берет на себя режиссер. Именно он в соответствии со своим творческим мировоззрением координирует многочисленные ритмы и компоненты фильма с драматургическими линиями литературной основы и психологическими нюансами актерской мимики и диалога — и тем самым наделяет фильм своим стилем.

А теперь мы подходим к сути, а именно: где кроются возможности для художественного обновления кино? Что касается меня, то я вижу только единственный путь — абстракцию, но для того, чтобы не быть неправильно понятым, я спешу определить слово «абстракция» как такое понимание искусства, которое требует от художника абстрагирования от реальности ради усиления духовного содержания, будь оно психологического или чисто эстетического свойства. Или еще короче: искусство должно показывать внутреннюю, а не внешнюю жизнь. Поэтому мы должны отойти от натурализма и найти возможности для того, чтобы привести в наши образы абстракцию. Способность абстрагироваться — это необходимое условие всякого творчества. Абстракция дает режиссеру возможность вырваться за ограждение, которым натурализм окружил кинематограф. Кино должно стремиться прочь от того, чтобы быть чисто имитаторским искусством. Режиссер с творческими амбициями должен тяготеть к более высокой реальности, чем та, которую он достигает, просто поставив камеру и фотографируя действительность. Его образы должны быть не просто визуальным, но и духовным опытом. Речь идет о том, что режиссер заставляет зрителя разделять его собственные творческие и духовные переживания, а возможность для этого дает ему абстракция, так как режиссер возмещает объективную реальность своим собственным субъективным восприятием.

Но коли в кино следует ввести абстракцию, мы должны начать с выявления новых творческих принципов. Я хочу подчеркнуть, что имею в виду только образ. Это совершенно естественно, поскольку люди мыслят образами, а в фильме образ первостепенен. Теперь я хочу указать на некоторые возможности, открытые для режиссера, который хочет ввести элементы абстракции в свои картины. Лежащая на самой поверхности — называется упрощением. Задача любого художника — вдохновиться реальностью, после чего устранить

от нее, чтобы придать произведению ту форму, идею которой подсказало ему вдохновение. Поэтому режиссер должен уметь свободно трансформировать реальность, так, чтобы она соответствовала образу, возникшему в его сознании, ибо не эстетическое чувство режиссера должно уступать реальности, а наоборот, реальность должна подчиняться его эстетическому чувству. Искусство — не подражание, а субъективный отбор, и поэтому режиссер включает только то, что необходимо для ясного и спонтанного целостного эффекта.

Упрощение также должно иметь своей целью сделать идею образа более четкой и понятной. Так, упрощение должно очищать мотив от всего, что не работает на идею. Но с помощью этого упрощения мотив превращается в символ, а символизм уже поднимает нас на уровень абстракции, ибо сама идея символизма заключается в воздействии намеком. Кинематографическое воспроизведение реальности должно быть правдивым, но освобожденным от необязательных деталей. Оно также должно быть реалистичным, но трансформированным в сознании режиссера таким образом, что оно становится поэзией. Режиссера должны интересовать не сами вещи, а скорее дух вещей и их окружения. Ведь сам по себе реализм — не искусство. Реалии должны быть втиснуты в форму упрощения и сокращения и в очищенном виде предстать в некоем вневременном психологическом реализме.

Для начала режиссер может опробовать эту абстракцию, достигаемую через упрощение и одухотворение вещей, в интерьерах фильма. Как много неодушевленных комнат видели мы в фильмах? Через упрощение режиссер может наделить эти комнаты душой. Он устраняет все ненужные вещи ради нескольких предметов, которые тем или иным образом говорят о психологических особенностях личности обитателя или характеризуют его отношение к идее фильма. Гораздо более важным средством абстракции является, конечно же, цвет. Ему подвластно все, однако лишь после того, как будет порвана цепь, все еще связывающая цветной фильм с фотографическим натурализмом фильма черно-белого. Так же как классические японские гравюры по дереву вдохновляли импрессионистов, так и у западных режиссеров есть все основания обратиться у японского фильма «Врата ада», где цвета действительно служат своей цели. Я думаю, что японцы считают этот фильм натуралистическим, хотя и костюмно-историческим, но все же натуралистическим. Если же смот-

реть нашими глазами, то он выглядит стилизованным фильмом с тенденцией к абстрактному. Только в одной-единственной сцене прорывается чистый натурализм, а именно в сцене турнира на открытой зеленой лужайке. На несколько минут стиль рушится, но этот неприятный момент быстро забывается во имя той красоты, которую готовит нам оставшаяся часть фильма. Нет абсолютно никакого сомнения в том, что цвета были тщательно и хорошо продуманно выбраны. Во всяком случае, этот фильм очень много говорит нам не только о цветовой композиции и знаменитом ритме классической японской гравюры по дереву, но и о сочетании теплых и холодных цветов, и об использовании значительного упрощения, которое здесь имеет особенно сильный эффект, поскольку оно подкрепляется цветом.

«Врата ада»¹ должны вызвать у западных режиссеров желание использовать цвет более осмысленно, а также с большей смелостью и фантазией. До сих пор цвет в большинстве западных фильмов использовался достаточно случайно и в соответствии с натуралистическим рецептом. В настоящее время мы крадемся, как кошки. Когда же мы хотим показать себя, мы набрасываемся на пастельные тона затем только, чтобы продемонстрировать, что у нас есть вкус. Но когда речь идет об абстрактном цветном фильме, то обладать одним только вкусом недостаточно, нужно иметь художественную интуицию и смелость выбирать именно те цвета, которые подкрепляют драматическое и психологическое содержание фильма. В цвете заключается большая, я бы сказал, величайшая возможность обновления творческих ресурсов кинематографа, и поэтому давайте просто учиться у японцев. Некоторые уже сделали это до нас, среди них знаменитый американский художник Джеймс Уистлер².

В то время, как я говорю о цвете, который сам по себе содержит безграничные возможности для абстракции, есть и другое явление, достойное упоминания, ибо оно могло бы породить абстракцию совершенно особого вида. Как известно, фотография передает воздушную перспективу, которая уменьшает контраст между светом и тенью на заднем плане. Возможно, интересная абстракция могла бы быть достигнута путем сознательного исключения воздушной перспективы или — другими словами — благодаря отказу от страстно желаемой иллюзии глубины и расстояния. Вместо этого можно

стремиться к совершенно новому образу построению цветовой поверхности, которые все лежат в одной и той же плоскости, так что образуют большую объединенную многоцветную поверхность, и таким образом понятия переднего, среднего и заднего плана полностью устраняются. Необходимо, иными словами, отойти от перспективной картины и перейти к эффекту чистой поверхности. Возможно, что на этом пути можно достичь очень своеобразного эстетического результата, пригодного, быть может, именно для кино.

Надеюсь, я не слишком утомил вас своими пространными рассуждениями об «абстракции». Для кинематографического уха это может звучать чуть ли не ругательством. Все то, что я сегодня здесь говорил, имеет целью лишь привлечь внимание к тому факту, что существует мир вне серого и скучного натурализма, а именно мир фантазии. Конечно, эта перестройка не должна означать потери под ногами режиссера и его сотрудников почвы реального мира. Хотя режиссер должен делать реальность объектом художественного преобразования, эта преобразованная реальность все же должна подаваться так, чтобы зритель узнавал ее и верил в нее. Вообще очень важно, чтобы первые попытки ввести в кино абстракцию были сделаны тактично и сдержанно, не шокируя. Было бы разумным медленно выводить зрителей на новые тропы. Но если эти эксперименты будут удачными, то для кинематографа откроются новые широкие горизонты. Ни одна задача не покажется непосильной. Возможно, кино никогда не станет истинно трехмерным, но зато с помощью абстракции в фильм можно будет ввести и четвертое, и пятое измерение.

И наконец, последнее: я много говорил об образности и форме и не сказал ни одного слова об актерах, но всякий, кто видел мои фильмы, — хорошие фильмы, — знает, какое большое значение я придаю работе актера. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с человеческим лицом. Это — территория, которую никогда не успеешь исследовать, пейзаж своей неповторимой красоты, суровой или нежной. Нет большего потрясения, чем быть в студии свидетелем того, как выражение лица, повинувшись загадочной силе вдохновения, одухотворяется изнутри, превращаясь в поэзию.

Перевод О. Рязановой
(Дрейер Карл. О кино. — Копенгаген, 1964)

¹ «Врата ада», 1954, реж. Т. Кинугаса. Главный приз МКФ в Канне, приз «Оскар» и др. (прим. переводчика).

² Джеймс Уистлер (1834—1903) — американский живописец, близкий к французским импрессионистам (прим. переводчика)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нина Юлина,
доктор философских наук
(Институт философии АН СССР)

ЖЕНЩИНА И ПАТРИАРХАТ

Сегодня общество взглянуло по-новому и на то, о чем думает и что волнует молодежь, какие недуги угнетают и какая сшибка ценностей происходит у старшего поколения. Печать и средства массовой информации заставили миллионы людей усомниться в догме «жалость унижает человека», и идеи милосердия, чувства сопереживания обратились и на детей-сирот, инвалидов, душевнобольных.

Но есть одна социальная группа, которая еще на получила того общественного внимания и резонанса, которые она заслуживает. Это — женщины.

Проблемам и недугам этой группы населения — ее и группой-то назвать язык не поворачивается, поскольку она составляет больше половины населения, — посвящены буквально несколько статей в прессе (Л. Кузнецова, О. Воронина, Т. Александрова, З. Богуславская и др.), а также небольшое число документальных фильмов, показывающих, к нашему стыду, не сильный и унизительный труд наших женщин. То, что наши «прорабы перестройки» как-то обходят эту огромную и щекотливую тему, еще понятно. В большинстве своем они — мужчины. Вызывает недоумение другое; почему в период, когда общество «разговсрилось», женщина продолжает оставаться «великой немой», а женский вопрос не стал в ряд самых жгучих вопросов, волнующих общественное сознание и пишущую братию?

Почему, например, на Западе женская проблематика уже 20 лет не сходит со страниц печати, ей посвящено огромное количество академических исследований, в которых обсуждаются не только специфические для капитализма проблемы дискриминации, но и глобальные, общие проблемы положения женщины в системе власти, культуры и технической цивилизации?

Мне представляется, что одной из причин, почему у нас даже в период гласности женская проблематика продолжает оставаться на периферии, является глубоко укоренившийся во всех нас, включая жен-

щин, предрассудок: что эмансипация у нас зашла слишком далеко и надлежит не форсировать, а, скорее, попридержать этот процесс. В обывательском сознании, и не только в нем, уже рожден рецепт лечения женских бед — вернуть женщину на прежнее ее место — в семью, сделать главным смыслом ее жизни рождение и воспитание детей, заботу о муже.

При этом у нас мало кто задумывается о том, имеют ли отношение к положению женщин характер и традиции господствующей у нас культуры? Большинство исходят из посылки, часто неосознанной, что культура является нейтральной по отношению к женщине. Но так ли это?

Совсем недавно мы довольно бездумно пользовались термином «культура», представляя ее как что-то единое и монолитное («социалистическая культура» как антипод буржуазной, допуская некоторую диверсификацию по отношению к национальным культурам). Появившееся в последнее время внимание к многообразию нашей социально-духовной жизни породило термины «молодежная культура», «деревенская культура», «ретро-культура комсомольцев 30-х годов» и т. д. Возникает вопрос, а можно ли вводить еще половое измерение культуры и говорить о мужской (патриархатной) и женской культуре. На наш взгляд, об этом говорить можно и нужно.

Различие между мужчиной и женщиной огромно. Все характеристики человека пронизаны признаками пола, имеют мужскую и женскую окраску. Сфера чувств, эмоциональные реакции, поведенческие стереотипы, типы взаимодействия с миром существуют в мужском и женском вариантах. Эти признаки сформировались в процессе биологической и социальной эволюции, природная специфика пола подвергалась социализации в зависимости от выполняемых каждым полом ролей в конкретно-исторических условиях. А если все, что человек делает и творит, он делает и творит как мужчина или как женщина, это значит, что все человеческие деяния —

будь то социальные отношения, институты власти, система морали, философия, искусство, литература — не являются нейтральными с точки зрения пола.

Хорошо известно, что наша культура возникла не на пустом месте. И по структуре и во многом по содержанию она является наследием, продолжением прошлой культуры. Известно также и то, что человеческая история сложилась таким образом, что женщина была отодвинута с арены, где развертывалось основное действие исторических сил и происходили новации в культуре. Здесь царили мужчины. Последнее не могло не сказаться на характере культуры. Создававшаяся тысячелетиями европейская культура (а тем более, российская культура с большим влиянием азиатской) оказалась односторонне патриархатной («маскулянистской»). Конечно, было бы не совсем верным утверждать, что мужчины были единственными творцами цивилизации. Когда они занимались государственными делами, уходили на войну, кто-то должен был рожать и воспитывать детей. То есть важнейшие роли, которые во все века выполняли женщины, — репродуктивные, воспитательные, ведение домашнего хозяйства, забота о престарелых, без чего не может существовать никакое общество, — говорят о том, что женщина вносила существенную лепту в культуру. Другое дело, что этот важнейший вклад недооценивался, он был как бы подводной частью айсберга патриархатной культуры.

В XX веке, и в особенности в последние десятилетия, положение женщин резко изменилось. Как уже говорилось, женщина в нашей стране составляет больше половины рабочей силы. Но повлекло ли это за собой исправление патриархатного крена культуры? Конечно, определенные тенденции к этому есть. Но в основном она остается культурой с мужской доминантой. Конечно, предоставление женщинам политических и юридических прав, ликвидация неравенства в семейном праве, доступ к образованию и профессиям, помощь общества в воспитании детей явились важными этапами на пути эмансипации и равноправия женщин и ее личностного самоутверждения. Однако эти права во многом не реализуются, поскольку патриархатные традиции видимым и невидимым образом ставят палки в колеса в реализации ее равноправия, определяя женщине «вторичное» положение. Например, в науке и научном обслуживании у нас работает 40 % женщин. Мы очень гордимся этими цифрами и любим щеголять ими на всех международных форумах. Но рост числа докторов в последние два десятилетия

мизерный. Среди 910 академиков и членов-корреспондентов у нас только 9 женщин. А ведь принципиальные решения в академии принимают только члены академии.

Если мы обратимся к другим сторонам культуры — морали и религии, то и здесь найдем в избытке патриархатные традиции. Например, со времен Канта в морали приоритетное место отдавалось таким ценностям, как индивидуальная свобода, суверенитет личности, равенство, автономия «Я» и т. п., которыми, строго говоря, в полной мере могут пользоваться только мужчины. Для женщины, имеющей семью, приоритетны другие ценности — забота о близких, ответственность за детей, самопожертвование во имя благополучия и сохранения семьи. Различие моральных установок действует и в семейной сфере. Многие женщины, являясь на работе равными партнерами мужчин, экономически и профессионально самостоятельными, в семье принимают свое «вторичное» положение, двойное бремя, подчинение мужской сексуальности за «естественное», «обусловленное природой». Не говоря уже о том, что у нас по-прежнему действуют двойные стандарты в морали и различия — более мягкие для мужчин и более строгие для женщин — требования к поведению.

Сейчас мы стали терпимее относиться к религии, признали, наконец, что религия была важнейшим ферментирующим фактором в культуре. Однако при этом забываем, что религия, в частности христианская, насквозь проникнута мужской ориентацией. Бог здесь — Бог-отец, всевластие, господство. Папой, патриархом, священником, теологом могут быть только мужчины. (На Западе, правда, под влиянием феминистской критики происходит определенная ревизия этих патриархатных догм. Теологами, священниками становятся женщины, бога предлагают трактовать в среднем роде и т. п.) Представление, что обожествление Богоматери означает признание высокого статуса женщины, — иллюзия. Вне репродуктивной, то есть биологической, функции у нее нет никаких других социальных ролей. Поэтому если произойдет оживление религии в нашей стране, это будет одновременно оживлением патриархатных традиций.

Казалось бы, в художественной литературе, давшей миру множество образов женщин, у нас больше шансов узнать о внутреннем мире женщины, о ее сокровенном женском «Я». Однако большинство этих образов — это видение женщин через призму мужских представлений о том, как должна чувствовать, страдать и действовать женщина.

Конечно, мировая литература знает множество имен поэтесс, романисток, наделенных даром выражения внутреннего видения женщин. В русской словесности это — Анна Ахматова и Марина Цветаева. В английской литературе таких имен множество — М. Уилсон, В. Вулф, А. Мэрдок, Э. Боуэн и др. Сейчас во многих странах на волне феминизма родился целый пласт специфически женской литературы. Однако «серьезная критика» по-прежнему с некоторым снисхождением относится к ней, высоко оценивая те места, где писательницы поднимаются до «мужского взгляда» на мир.

Влияние патриархатных традиций дает о себе знать и в содержании передач наших телевидения и радио. Телеэкран и радио заполнены репортажами о футболе и хоккее, мало интересующих женщин, постоянно звучит рок-музыка, с ее ритмами, уходящими в танцы африканских мужчин, празднующих удачно проведенную охоту. Что касается «дамских передач», то они, конечно, о доме, саде, воспитании детей и т. п.

Наконец, чем, как ни живучестью патриархатных традиций в культуре и общественном сознании, можно объяснить такое, еще совсем недавно немислимое явление, когда под эгидой комсомольских и иных серьезных организаций у нас стали проводиться «конкурсы красоты». И это в то время, когда на Западе серьезная пресса пишет о них не иначе как с иронией, а женские организации устраивают им бойкоты, справедливо усматривая в таких конкурсах унижение человеческого достоинства женщины. Действительно, «первые красавицы» выбираются не за их подлинно человеческие качества — личные, интеллектуальные, нравственные, а за тело, только тело, по существу за биологию, подобно тому, как это происходит на конкурсах декоративных собак. Но самое скверное в наших конкурсах красоты состоит в том, что миллион юных телезрительниц с неокрепшим сознанием и жизненными установками, впереди у которых нелегкая жизнь с бременем рабочих и домашних ролей, внушается «имидж» женщины-тела, женщины-секса, женщины-обольстительницы. И они будут из кожи лезть вон, чтобы уподобиться этому «имиджу». И можно с уверенностью сказать, что несоответствие идеала и реальности с неизбежностью породят у них недовольство судьбой, дезинтеграцию личности, стрессы.

У нас действуют какие-то странные дихотомии социально-экономических реалий и сознания. С одной стороны, обществу требуется, чтобы 60 миллионов тружениц работали на производстве, с другой стороны, сознание общества ориентирует женщин на устаревший идеал женственности, о котором мечтают мужчины. Или другое: обще-

ство везде и всюду провозглашает равенство женщин, но одновременно приучает к тому, что ее ценность ниже, чем мужчины.

Надо что-то делать, чтобы пробудить женское сознание от умственной и гражданской спячки, внушить ей другой образ, сделать так, чтобы она поняла, что она является равным мужчине партнером, способным на творческое и индивидуальное самовыражение, на принятие рациональных, ответственных решений, что ее жизнь может быть наполнена глубоким смыслом.

Ясно одно — необходимо освободить общество от патриархатных отношений, форм поведения, предрассудков, традиций. А для этого требуется выработка социально и философски обоснованной политики в отношении полов. Выработка такой политики, а тем более ее реализация — дело не простое. Много еще неясного и непредсказуемого в отношении полов, и науке еще предстоит выяснить, как стыкуется биологическое и социальное, какие формы социокультурных отношений оптимальны для того, чтобы оба пола обрели самоидентичность, не ущемляя и не подавляя друг друга, каким образом сохранить семью и одновременно демократизировать положение женщины в семье и обществе, ликвидировать ее вторичное положение.

Нам представляется, что политика унификации, то есть сглаживания различия полов (а тенденции к этому есть), политика резкой д и ф е р е н ц и а ц и и полов (культуривирование для мужчин и женщин различных стилей жизни и поведения, различного отношения к семье) неприемлемы. Обе они чреватые последствиями, которые сказываются на суверенитете личности, на ее сексуальном и гражданском самосознании, на свободе. На наш взгляд, наиболее приемлемой может стать политика, которую можно выразить лозунгом «равенство в разл и ч и и». Этот лозунг возник в международном женском движении 70-х годов, получил самые различные толкования, многие из которых нам не годятся. В нашем понимании содержание этого лозунга следует толковать следующим образом. Во-первых, равенство мужчин и женщин во всех сферах социальной жизни, включая институты власти, науку, культуру, быт и семью. Во-вторых, свободное от отношений патриархатности проявление как мужского, так и женского бытия, их творческого потенциала как в семье, так и в культуре. Это значит, что культура должна стать сбалансированной; в литературе, искусстве, морали, философии и т. д. должно быть освобождено место для специфически женского видения и ощущения мира, для женского самосознания.

И зарубежные и наши ученые, занимающиеся проблемами пола и культуры и их

эволюцией, сейчас заговорили о том, что современная эпоха — это проходящий в глобальных масштабах процесс перехода от матриархата к биархату (или бисексуальной культуре), то есть равному главенству обоих полов¹. В различных регионах мира он происходит неравномерно, но в равной мере болезненно. Человечество сталкивается с невиданными ранее противоречиями между его половыми стереотипами и новыми

Анатолий Антонов,
доктор философских наук
(Институт социологии АН СССР)

ПРЕДЕЛ ОТЧУЖДЕНИЯ

Первоначальная стадия феминизма? Иллюстрацией, пожалуй, может служить рисунок в одном американском журнале. Феминистском. Женщина-скульптор ваяет мужчину — такого, какой он ей нужен. Вторая стадия — это попытка избавиться от мужчины вообще, избавиться от «глетворного» мужского начала. Эти крайности современного феминизма приводят к абсурду. Ведь лозунг «Долой мужчину!» — это одновременно и «Долой рождаемость!» Современные феминистки пропагандируют все формы секса и сексуальных отношений людей одного пола, которые не ведут к рождению детей. Кстати, некоторые из этих видов сексуальных отношений преследовались во все времена именно потому, что они противоречили рождаемости.

Что привело к такому положению? Почему для многих женщин стало обузой, какой-то принудительной работой — рожать и воспитывать детей, вести домашнее хозяйство, словом, быть женщиной, матерью? Почему современная женщина начинает утрачивать свое самое прекрасное качество — самость?

С первых лет Советской власти в нашей стране возникла необходимость в массовой и дешевой рабочей силе. Не удивительно, что именно женщин стали привлекать для тяжелых и низкооплачиваемых работ практически во все сферы производства. В итоге мы сегодня с гордостью отмечаем, что «Советская власть создала все условия для активного участия женщин в трудовой деятельности. В настоящее время женщины работают во всех отраслях народного хозяйства» («Женщины в СССР», М., «Финансы и статистика», 1988). Да, об-

социальными ролями, которые ему навязывает технократическая цивилизация и урбанизация. Но ясно одно — возврата к старым отношениям патриархата нет. Основная суть этого процесса состоит в том, что женское начало, которое в прошлой культуре было невидимым, заявляет о себе и требует полноправной представленности в современной культуре.

щее число женщин, занятых в народном хозяйстве, превышает 50 % от численности работающего населения. (До 1917 г. — всего 17 %.) Почти все трудоспособные женщины (95 %) работают на производстве, и только очень незначительная часть посвящает свою жизнь исключительно воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Кстати, у нас и за рубежом есть социологи, которые пытаются определить критический процент вовлечения женщин в общественное производство, после которого полностью разрушается семья. Считается, что каждое общество должно контролировать этот процесс. Но в нашей стране такого контроля никогда не осуществлялось. Правда, отрыв женщины от семьи всегда прикрывался высокими словами о духовном развитии женщины. На самом деле она просто использовалась как дешевая рабочая сила.

Трудовой героизм 20—30-х годов захлестнул все слои общества. Фигура женщины с ребенком безнадежно устарела. На передний план выдвинулась женщина на тракторе. Хотя, замечу попутно, вибрация, которая возникает при работе на этой машине, крайне отрицательно действует на женский организм, убивает все материнское. Женщина может стать бесплодной.

Но была поставлена задача — «выполнить и перевыполнить!» Малопродуктивный труд заключенных не мог спасти положение. Вот когда выручал героический энтузиазм советских женщин, которые жертвовали личным благополучием, семьей, детьми ради высокой цели, ради обещанного коммунизма. Впрочем, само понятие семьи в нашем обществе существенно пересматривалось...

Планомерно разрушалось мелкое хозяйство. В деревнях проводились массовые раскулачивания. Крестьянский дом, крестьянское домовладение оказались под огнем переселенческой политики. Все мелкое считалось непролетарским. Не удивительно, что женщина, которая занималась только «мелким», домашним трудом, вызывала общественное порицание. Выращивание на ферме поросят, например, считалось вполне государственным, почетным делом.

¹ В нашей литературе см. об этом: Рюриков Ю. По закону Тезея. — «Новый мир», 1986, № 6. 180

А вот воспитание, «выращивание» детей, приготовление пищи, стирка, в общем, вся домашняя работа не принималась всерьез, считалась исключительно частным, личным делом.

Сложился стереотип «неработающей» женщины. Объект осуждения и насмешек. Такое отношение сохранилось и дошло до наших дней. Если нет трудового стажа в общественном производстве, пенсию выплачивать не будут. При этом совершенно не учитывается количество детей в семье. То есть получается, что нашему обществу нужны не хорошие матери, а хорошие работницы. Ситуация с каждым годом все больше обостряется, и отдельные льготы многодетным женщинам, к сожалению, изменить положения не могут. Отношение государства к таким семьям: вложить минимум, дать копейку, а требовать по максимуму. Ежегодно двадцатилетнего возраста достигает 4 миллиона юношей и девушек. Содержание этих молодых людей семье обходится в 85 миллиардов рублей. Государство же вкладывает только 15 миллиардов, тем самым углубляя процесс отчуждения внутри отдельных семей. Ведь вынуждая женщину работать на производстве, госбюрократизм обрекает детей на воспитание в яслях, детских садах, которые конечно, не могут заменить отчий дом. Это — одна из причин многих семейных конфликтов. Происходит взаимное отчуждение детей и родителей.

Ощутимый удар по семейным отношениям, по женщине как хранительнице интимных, доверительных отношений был нанесен в годы массовых репрессий 1937 г. О гибели миллионов советских людей сейчас много пишут, но, на мой взгляд, мало заостряется внимание на том, что в эти годы разрушались семьи. Женам приходилось отказываться от своих мужей («врагов народа»), детям от своих отцов. Ситуация была такова, что женщина вынуждена была предавать мужа ради своих детей. Мать не могла бросить своего ребенка на произвол судьбы, не могла рисковать. Приходилось постоянно выбирать, жертвуя при этом дорогим и близким человеком.

Кроме того, появился страх. Самые близкие и родные люди не могли довериться друг другу. Семья деградировала, и женщина перестала олицетворять покой, доброту, милосердие. Доверительные и человеческие отношения были искажены, перевернуты. И это, я считаю, самое страшное наследие сталинизма.

Менялась роль женщины. Если раньше она могла поддерживать в доме атмосферу психологического убежища, то потом семья стала скорее напоминать проходной двор, где люди встречаются случайно и

ненадолго. Семья превратилась в сосуществование, как правило, одиноких людей.

Больше всего от этого страдали, конечно, дети.

Парадоксально, но во время Великой Отечественной войны, когда чисто физические погибли много семей, как раз духовное, нравственное соединение близких людей было очень прочным. Неслучайно, что именно женщина, мать стала символом родины, которую надо было защитить от врага, символом всего самого святого и чистого.

После войны, однако, отношение к женщине резко изменилось. Чудовищный дисбаланс между мужским и женским населением привел к тому, что около 20 миллионов женщин были, по существу, лишены возможности создавать семью, рожать и воспитывать детей. (Кстати, проблема «лишних» женщин по-прежнему актуальна — по данным статистики на 1 января 1988 года женщины составляют 53 % от общего числа жителей нашей страны.) Этот явный избыток женщин привел к изменению нравственной атмосферы общества.

Не удивительно, что у женщины появилось стремление как-то компенсировать неудачи в личной жизни. Фигура деловой, всеми уважаемой, но одинокой женщины замелькала на страницах книг, в кинолентах. Да и сама женщина постепенно стала приходить к мысли, что семья, дети — это не самое главное для нее в жизни, что максимальную пользу обществу она может принести только «завинчиванием гаек» на каком-нибудь заводе. Впрочем, дело, конечно, не ограничивалось одинокими женщинами. Принципы равноправия требовали внедрения женщин (вне зависимости от их семейного положения) во все без исключения сферы производственной жизни. Она теперь в одинаковой мере с мужчиной желает достичь высот служебной лестницы. Но эта гонка ни к чему хорошему привести не может.

Нет, бросаться из одной крайности в другую я бы не хотел. Я не за домострой. Но надо дать женщине реальную возможность выбора, создать ей такие условия, чтобы она могла выбрать ту форму поведения, какая ей больше по душе. Кто-то будет заниматься только домом и семьей. И за это будет потом начисляться пенсия. Кто-то найдет в себе силы совместить два вида деятельности. Пока же такого выбора у женщины нет. Она должна работать на производстве. На зарплату мужа прожить очень трудно, практически невозможно. Но слишком дорогой ценой приходится платить за возможность жить по-человечески.

Надо быть демократичными. Трудно посчитать в рублях, какой это даст доход.

Хотя, на мой взгляд, женщина-ученый, к примеру, если она решила полностью посвятить себе науке, все-таки перестает уже быть женщиной в высшем значении этого слова. Когда женщина начинает функционировать как ученый, она должна поставить крест на семье и личной жизни. И она это делает. Перешагивая через семью, женщина, конечно, ужасно страдает. Но наука и семья — несовместимые понятия. Приходится чем-то жертвовать. Иначе трудно успеть. Просто физически невозможно овладеть всеми теми знаниями, которые необходимы любому классному специалисту. Вообще в науке 95 процентов — всегда балласт. Только 5 процентов работают, остальные «удобряют почву». Кому как повезет. Но среди этих 95 процентов преобладают женщины. И это страшно.

Что же делать? Единственный выход — создать советской женщине такие условия, чтобы домашний труд не казался ей унижительным. Я вот видел, как живут американки. На кухне полная автоматизация. Хозяйка включает кнопку — посуда сама моется. Экономия сил, времени, нервов. Конечно, до такого нам еще далеко...

Чтобы как-то изменилось положение женщины, надо многое менять. Именно поэтому мы выступаем за специальную семейную программу. Перестройка сейчас идет «бесполом» образом. А нам нужна отдельная, специальная программа, направленная на укрепление семьи и изменение положения женщины в семье и обществе, специально и целиком нацеленная только на семейные формы жизнедеятельности. К сожалению, пока общественное мнение глухо к этой проблеме. И административный, и партийный аппарат не понимают — или не хотят понять — всей трагедии: к чему мы пришли и к чему можем прийти. Ведь не исключена вероятность такой ситуации, когда государство начнет прибегать к искусственному сколачиванию семей. Нас ждут милиционеры возле супружеской постели. И если мы ничего не будем делать, то рано или поздно придем к этому.

Сергей Митюшов

ЗАПОЛОШНЫЕ МЫСЛИ

Почему заполошные? Наверное, потому, что сказать что-то о современной женщине и не поторопиться, а поторопившись, тут же не раскаяться в этом, просто невозможно.

В самом деле, ну, что значит говорить о женщине? О какой? Как? А главное —

Женщина, поставленная перед необходимостью работать на производстве, по существу, должна жить без мужа и без детей. Хотя формально, по внешним признакам малодетная семья может быть весьма благополучной. Как это ни страшно звучит, но мать отвыкает от своего ребенка, который все чаще начинает вызывать у нее раздражение, а не любовь. Она приходит с работы усталая, ей уже не до детей, не до мужа, не до кого. Не случайно, что многие женщины предпочитают проводить свой отпуск вне семьи. Не удивительно, что детей с такой охотой отправляют в пионерские лагеря. Мать имеет возможность «отдохнуть» от самого близкого ей человека.

Такое отчуждение от родного ребенка достигает более страшных форм, когда молодая мать отказывается от него, сдает в детский дом. Но страшно само по себе и скрытое отчуждение, которое выражается, например, в том, что супруги не спешат обзаводиться ребенком, хотят пожить «свободной жизнью». Или ограничиваются одним ребенком...

Конечно, я не призываю к полному возвращению прежних форм семьи. Но, на мой взгляд, до революции родители и дети были все-таки более едины. После же 1917 года старая семья была основательно разрушена. Она якобы противостояла новым ценностям. Да, направленность всего строя объективно приводила к тому, что дом терял свой уют, родители теряли взаимопонимание с детьми. Но история давно научила нас, что ни одна даже самая высокая цель не оправдывает средства, если в результате мы остаемся без самых главных и вечных ценностей, нужных нам именно теперь, а не через энное число лет.

Времена меняются. Если в 30-е годы мы заглядывали далеко вперед, то сейчас живем исключительно сегодняшним днем. Но по-прежнему как-то неуютно жить. По-прежнему не хватает тепла, ласки, любви. И женщина, как носительница всех этих качеств, не должна отказываться от них. Она должна оставаться женщиной!

зачем? Вот на днях мне пришлось выслушать исповедь одного сурового таксиста. Пройдясь по всем «начальникам», «кооператорам», «интеллигентам-умникам», он, как и водится, закончил «женщинами». Я поинтересовался — чем же они-то ему так насолили? «А много воли взяли. — Был ответ. — Распустились слишком... А их вот где нужно держать!» И он с хрустом сжал свой кулак.

В «рассерженных» у нас никогда недостатка не было. Да и сейчас речь не о

них. Тут интересен сам строй мыслей человека, через который при желании можно многое увидеть. Понять, например, что стоит за нашей страстью к отвлеченным суждениям.

Предположим, вы проповедуете «жесткую» позицию в отношении женщины. При этом исходите из устоявшихся представлений и норм патриархальной культуры. Но, как известно, в ней уже давно все вывихнулось и вышло из своего векового русла. А это значит, что ваша «жесткость», хотите вы того или нет, в конечном итоге обернется грубостью вполне конкретного мужчины, в голове которого давно перемешались понятия о физической силе, гражданском праве и духовной власти. Он будет говорить о женщине вообще, но иметь в виду при этом будет какую-то вполне определенную. Но кто она? Какая? Он этого не знает. И для того, чтобы заполнить этот пробел в своем воображении, в лучшем случае, придумает себе какую-нибудь ведьму, с которой хорошо пуститься в разгул, а потом, устыдившись своего падения, спалить на костре.

Примерно так же обстоит дело и с «либеральным» направлением нашей общественной мысли, пафос которого всегда можно свести к одному слову — «свобода!». Но в чем она выражается, когда это касается женщины? Каковы ее границы и господствующая идея? Разобраться в этом совершенно невозможно. Поэтому, когда речь заходит о «равенстве полов», «переходе от патриархата к биархату», «бисексуальной культуре» и прочих мудреных вещах, я всякий раз вспоминаю слова одного угрюмого философа, который не уставал повторять: «человек, сбрасывающий хомут, иногда вместе с ним теряет и последнюю свободу».

Получается, что ни в том, ни в другом случае создать какой-то завершенный образ женщины мы не сможем. Ей постоянно будет либо слишком тесно среди наших путаных мыслей, либо слишком свободно. Поэтому остается последнее — пойти от обратного: предоставить слово самой женщине. Пусть она выскажется о мужчинах. Кто знает, а вдруг, что-то и прояснится. Правда, я не совсем уверен, что бумага выдержит эту пылкую исповедь. Но ведь все в конечном итоге зависит от выбора собеседницы. Главное, чтобы это была умная, тонкая, интеллигентная, обаятельная, слегка ироничная, но при этом доброжелательная женщина. Случай, как вы понимаете, достаточно редкий. Но нам, кажется, повезло. Журнал «Искусство кино» (1988, № 12) опубликовал заметки сценаристки Н. Рязанцевой «Я не феминистка, но...».

Сразу отметим, что написаны они вдохновенно и элегантно. Написаны женщиной, обладающей всеми перечисленными выше достоинствами. Читая их, не только испытываешь истинное наслаждение, но лишний раз убеждаешься, что слова даны женщине не для того, чтобы она выражала свои чувства, а для того, чтобы она могла их искусно скрывать. Впрочем, есть в заметках два момента, когда автору это не очень удается. Я имею в виду союз «но» в названии и местоимение «он» в самом тексте. Зеркально отражаясь друг в друге, они, как две булавки, удерживают на плоскости страницы эту экзотическую бабочку, крылья которой сотканы из тончайшей паутины женских мыслей и чувств.

Итак, «он»... Самое замечательное заключается в том, что слово «мужчина» в заметках почти не встречается. А если и встречается, то лишь там, где нужно обозначить пустоту, которая образовалась на этом месте в языке и в жизни. Вот эту неопределенность и призвано выразить местоимение «он». Хотя и это тоже относительно. Что значит выразить? «Я больше навру, чем скажу правду», — признается сценаристка, — если стану о нем писать в рамках дозволенного. Он нецензурен. Мало того, что он занимается непонятным и иногда сам не понимает, чем он занимается, а послушайте, как он говорит — на профессиональном жаргоне, газетными штампами и еще сквернословит... Нет, в реалистической манере он не описуем, он сам наложил на себя запрет».

Обратите внимание, какое замечательное совпадение! Только что мы говорили о том, что не в состоянии представить себе более или менее законченный образ женщины. То же самое, оказывается, происходит и с женщиной. Так может, дело не в том, что мужчина «нецензурен», а в том, что наши мысли плавают в какой-то взвеси чувств и представлений, которые либо уже давно распались, либо еще не сложились во что-то определенное, законное. Поэтому-то мы так и цепляемся за слово, играем им, но существо вопроса от нас постоянно ускользает.

Один простой и очень наглядный пример. Вспомните название известных классических произведений: «Бедная Лиза», «Анна Каренина», «Госпожа Бовари». А теперь сравните с тем, что имеем мы: «Сладкая женщина», «Странная женщина», «Женщина механика Гаврилова». Улавливаете разницу? В одном случае нам рассказывают о судьбе конкретной женщины. В другом — предлагают образ женщины, которая является собой сумму каких-то свойств и качеств. Вот тут и возникает капитальный

вопрос: откуда у нас эта страсть к «прилагательным», при полном неуважении к «имени собственному»? Или, если уже совсем прямо, откуда у нас это презрительное отношение к личности человека?

Автор заметок в поисках причины справедливо обращается к нашему прошлому. «Мои сверстники,— читаем мы,— оказались связующим звеном, детьми войны и мира, и оба пола одинаково, до всякого знания пола, уже знали песню: «Первым делом, первым делом самолеты, ну, а девушки? — а девушки потом». И никогда не выьем из подсознания такой порядок вещей».

Ну, а почему же не выьем? Уже выбили. Парадокс этой ситуации состоит в том, что в период глобальной тридцатилетней «Гражданской войны», о которой пишет Рязанцева, в общественном сознании существовало достаточно устойчивое представление о различиях мужчины и женщины. Это нетрудно объяснить, если принять во внимание, что жизнь в целом определялась системой патриархальных отношений. Это, кстати, очень хорошо видно на приведенном в заметках примере. Весь пафос фильма «Небесный тихоход» как раз и сводился к тому, чтобы убедить зрителя в том, что самолеты — это, конечно, очень важно. Но уж без девушек этим «бравым парням» решительно делать нечего.

Сам тип этих отношений оказался настолько прочным и живучим, что его не смогли уничтожить ни коллективизация, ни голод, ни репрессии, ни война, за победу в которой мы заплатили страшную цену. А распались они — и тут мне нужно сделать самый отчаянный шаг — меньше, чем за одно десятилетие. Сразу после того, как рухнула система тоталитарной власти. Культ личности — вот что в течение этого времени удерживало эти отношения в устойчивом состоянии. Соответственно человек, который был в них включен, питал культ своей кровью, потом и слезами. Они были неотъемлемой частью друг друга. Культ и человек. Образ вождя, «отца нации», одинокого мужчины, аскета оказывал глубочайшее воздействие на массовое сознание и в особенности на сознание женщины. И она поклонялась ему кротко и вдохновенно. И эти отношения проецировались на всю социальную структуру, определяли жизнь семьи и общества в целом. В самом стремлении властвовать и подчиняться, суть которого достаточно точно передана в известном афоризме Ницше: «Идешь к женщине? Не забудь плетку!», сфокусировался целый мир представлений, часть из которых и по сей день продолжает оказывать глубокое воздействие на умы и сердца наших соотечественников.

Именно отсюда берет свое начало комплекс «сильного мужчины», о котором неустанно твердит современная женщина. (Причем, как правило, интеллигентная). Отсюда же хруст сжимающихся в бессильной злобе кулаков мужчин, в которых не хотят видеть уже ни отца, ни мужа, ни любовника. Отсюда и эта унижительная вражда полов, которая периодически выплескивается на страницы газет и журналов.

А в реальности все куда проще. Изменение государственной структуры, отход от ритуально-мифологических форм правления не привели к перераспределению власти на всю глубину социальной структуры — вплоть до семьи. А это значит, что не произошло и перераспределения ответственности, которая всегда есть обратная сторона власти. Сегодня в дом к женщине приходит не мужчина с «плеткой»: зарплатой, общественным положением и минимально необходимым запасом социальной прочности, который всегда, кстати, обеспечивался той или иной формой собственности. Приходит «гражданин» в лучшем случае с «чемоданчиком» и со своим «неподдельным чувством» — все, что он имеет. Мало? Много?..

В результате мы имеем то, что имеем. Мужчину, который разучился «властвовать», т. е. отвечать хоть за что-то, но еще не научился примиряться с положением вещей. И женщину, которая в совершенстве овладела и тем и другим искусством, но при этом перестала быть женщиной. Отсюда эта призрачность, неуловимость, «неописуемость» образа современного человека. Растерянный, окончательно потерявший духовную ориентацию, он точно завис над грешной землей. В его голове перепутались «верх» и «низ», сила и слабость, свет и тень.

Можно, конечно, говорить о «необходимости женской логики в обсуждении различных противоречивых предметов». Но, если уж до конца честно, я лично не знаю более «противоречивого предмета», чем сама женщина. Поэтому, лучшее, что она может сделать с помощью этой логики, так это попытаться объяснить самую себя. Но именно это-то ей и не удается.

Так может просто нет никакой особой «женской логики», а есть лишь логика женщины, которая страстно желает поставить себя на место мужчины? В самом деле, если он «неописуем», «занимается непонятным и иногда сам не понимает, чем он занимается», может быть, его нужно кем-то заменить. Но кем? О, выбор тут очень богатый! «Редакторы, критики, киноведы, журналисты, работники радио и телевидения, проката и пропаганды кино — несть им числа. Все это женщины с гу-

манитарным образованием, у каждой есть своя атмосфера — подруги, работающие в просвещении, науке, культуре», Объединившись, считает автор заметок, они будут способствовать «гуманизации общества», будут «иметь больше возможностей помогать друг другу, просвещаться и совершенствоваться, чтобы обрести уверенность в своем праве просвещать и совершенствовать, очеловечивать этот мир».

Замечательные слова! В них есть, пожалуй, лишь один недостаток. Их придумали и уже сотни раз повторили до этого мужчины. Причем в той же последовательности и с той же убежденностью. Вот я и спрашиваю себя: где же тут специфическое «женское видение»? Где «женская логика»? Где, наконец, сама женщина? Снова на ее месте нечто отвлеченное, «организованное», обладающее массой разнообразных качеств и свойств. Снова собирательный образ, обобщенные выводы коллективного сознания. Снова это проклятое «но», через которое каким-то загадочным образом связываются «страх бессилия, страх истерики», «неуклюжей немоты» до предела униженной женщины и энтузиазм участниц и организаторов различных собраний, конференций, ассоциаций — всей этой армии готовых до последнего защищать свои права женщин.

И вот тут я спохватываюсь: разве впервой тебе наблюдать эти дикийные превращения, когда на глазах неузнаваемо преобразуется лицо женщины, и образ неземной кроткости и доброты наливается свинцовой тяжестью, обнаруживает вдруг в себе такой запас властной, пробивной силы!..

Вот и пришли к тому, с чего начали — к «философии таксиста», к вражде, основанной уже не только на изначальном противостоянии мужского и женского начал, но и на полной неспособности определить их в человеческом слове, закрепить как-то в сознании. О какой тут личности можно говорить? О каком уважении к «имени собственному»? У нас у всех — женщин и мужчин — в крови эта стух к «организации», коллективному мнению, силовым решениям. Нам обязательно нужно сбиться в кучу, чтобы почувствовать свои границы. Мы обязательно должны сперва построить «город солнца», чтобы в нем потом жили и мучались наши дети. Нам непременно нужно знать законы жизни, истории, счастья, чтобы потом счастливо жить и творить свою историю. Но города разрушаются, законы пересматриваются и неизбежно приходит отрезвление. Тогда мы выбираемся из-под обломков мертвых идей и начинаем их осатанело втаптывать в грязь, не понимая, что идеи эти и есть мы сами.

И эта нетерпимость, ощущение постоянной униженности и непреодолимое желание освободиться от сознания своей ничтожности передается нашим детям.

Месяц назад меня сводили на концерт одной популярной американской «рок-звезды». Вот где нужно изучать нашу действительность, а заодно и пытаться представить себе образ женщины, с которой мы столкнемся завтра.

...В проходе, справа от меня, сидела группа девушек-подростков. Они весело размахивали фонариками и истощными криками выражали восторг певице. Подошел человек в штатском и строго предупредил. Девушки продолжали ликовать. Тогда появился бравый милиционер и стал выволакивать их из зала. Одна из девушек вырвалась и как побитый котенок стала пятиться между рядов. Потом застыла, притихла. Вдрагивали только плечи. Прикрыв ладошкой фонарик, откуда-то из-под спинки кресла, с заплаканными глазами, затравленно она посыпала в этот кричащий, вертящийся, совершенно обезумевший зал огоньки своих позывных: «Смотрите... я здесь... я живая... я есть!». И во всей ее позе, в этих мерцающих лучиках фонарика было столько горя одинокой, бесконечно униженной женщины, что казалось от жалости разорвется сердце. Но уже в следующую секунду все сказочно преобразилось. «Несчастливая» вспрыгнула на чье-то освобожденное кресло и с тысячью других, незнакомых ей, но бесконечно близких подруг, принялась танцевать. И куда испарилась ее боль и обида? Нет, она уже не пришла, а радостно мстила за свое унижение. Ее тело ликовало, дышало свободой и страстью. Ей не нужно было прятаться от посторонних глаз. Настал, наконец, и ее момент, когда она могла прокричать свое: «Свободна и невидима!».

Эта девочка еще не знает, что такое феминизм. Но в ее «преодолении женской немоты», и «обретении равноправия», в ее ощущении безграничной свободы есть что-то уже от психологии взрослых интеллигентных женщин, которые объединяются, чтобы «просвещать и совершенствовать, очеловечивать этот мир». Но чтобы мы сейчас ни говорили, «очеловечить» его никому не удастся, если из нашего языка, из жизни уйдут такие понятия, как женщина-мать, -любимая и -жена. Поэтому закончить свои заметки я хочу фильмом А. Сокурова «Мария», где художнику удалось увидеть и запечатлеть на экране трагический, ясный, молитвенный образ русской женщины. К ней уже не приложимы никакие эпитеты, определяющие характер человека и его судьбу суммой качеств и свойств. Это «имя собственное» в его не-

посредственным выражении. Это молитва за упокой души той, которая всегда была жизненным центром этого мира. Но сама героиня фильма, Мария Войнова ни о чем таком никогда не задумывалась. Она просто пахала, стирала, растила детей, любила мужа, а потом устала от этой жизни и тихо умерла. И вдруг выяснилось, что без нее эта жизнь обесмыслилась, омертвела, одичала. Поблекли краски, ушло человеческое тепло, в природе воцарилась слякоть...

Режиссер вышел за околицу села, поставил камеру и на все 360 градусов обозрел это пустое, черно-белое пространство, оставленное Женщиной и Богом.

И это был конец. Точнее, начало конца. Все остальное — уже за пределами филь-

ма. Как, впрочем, и все мы — за пределами собственной реальности. Мы можем теперь входить к женщине с плетью, цветами — что это изменит? Там, где мы ее ищем — найдем ли ее? Она выпряглась из своей женской доли и ничто не заставит ее снова одеть на себя это ярмо. Она теперь видит свою миссию в «гуманизации» мира. Но может так случиться, что вскоре и «гуманизировать» будет нечего. Вот тогда мы и вспомним о существовании простых истин. Суть одной из них очень точно выразил Л. Н. Толстой: «Разум не мог придумать любовь. Он мог придумать борьбу». Нужно сделать выбор и понять, что мы поставим в основу отношений мужчины и женщины — любовь или борьбу...

Ирина Шилова,
кандидат искусствоведения

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ЛЮБВИ



К. Муратова
в фильме «Короткие встречи»

Начну с парадокса. Мир Киры Муратовой исходно прост, несмотря на кажущуюся сложность ее фильмов. Прост он потому, что в основе его лежат ясные, хорошо нам всем знакомые, но порой забываемые жизненные ценности. Прост он потому, что исходный смысл ее искусства — защита человека и человеческого предназначения.

Вслушайтесь в названия ее картин — «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Познавая белый свет», «Перемена участи» — и вы ощутите драматические изломы времени, прожитого вами и художником. Вспомните сюжеты этих картин, и вы обнаружите зарубки на нашей общей судьбе, которые не следует забывать. И тогда сложное станет понятным, а чужое близким и своим.

...В первом фильме трое живут короткими встречами. Каждый мнит себя свободным, но все они при этом связаны неодолимой потребностью друг в друге. Валентина Ивановна (ее роль исполнила Кира Муратова) навсегда избрала жизнь городскую, номенклатурную, руководящую. Уехала из родной деревни Надя (Н. Русланова) — поработала в придорожной закусочной, и не за благами, за любимым человеком отправилась в город. А между ними — Максим (В. Высоцкий) — образ убегающего, ускользающего мужчины, геолога, выбравшего вольность, приключения, неоседлость.

В воссозданном треугольнике еще живет память о норме, память о доме, память о любви. В реальности — напротив, все уже

расслоилось, стало зыбким и неопределенным. Распавшиеся одиночные судьбы собраны художником воедино, чтобы в частной драме обнаружить первые симптомы общей беды.

Странное переселение правит миром. Измученные люди из тесноты многолюдия коммуналок и общежитий желают немедленно вселиться в новый дом, в котором нет (а если сейчас вселяться, то и не будет) воды. Фабричная девушка, прибывшая к дому Валентины Ивановны, признается, что от своего берега уплыла, к другуому так и не приплыла. Все бегут от безнадёжности знакомого. В незнакомое. Но только тому, кто «на новенького», это «незнакомое» может показаться лучшим, ибо оно неопределенно, взвешено и не обеспечено знанием критериев правды и подлинности чувств.

Мелодраматическое (не в жанровом значении, а в обращенности к чувствам) еще присутствует в фильме, но уже потеснено социальным, а зачастую и поглощено им. Человечность трудно сохранить, когда долг перед другими и долг перед собой разошлись по разным направлениям, когда чувству оппонирует инстинкт самосохранения, заставляющий героев освободиться от становящегося для них непосильным груза близких, родственных отношений.

Встречи будут короткими, и Надя, ощутившая призрачность своих девичьих грез, накроет стол для двоих и, собрав вещи, взяв со стола апельсин, уйдет, чтобы те, кто ненадолго сойдутся здесь, смогли бы вырваться из колеи самообмана и самообольщений и стать просто людьми — мужчиной и женщиной, почувствовать радость от благородной красоты ею выстроенного натюрморта. Но этот уютный мир так и останется незаселенным. Таперская музыка, сопровождающая эту сцену, прозвучит иронично по отношению к жертвенному жесту Нади. Встреч больше не будет. Но даже если они будут, это ничего не изменит. Наступило время расставания, время проводов, время освобождения от объятий близких, время обращенности к дальним...

Кира Муратова очень точно схватывает это качественно новое состояние жизни. Но для нее важен сам момент перехода, важны процесс иссякания человечности и та предельная точка, в которой ее герои еще способны удержать мир в зыбком, неустойчивом равновесии.

И снова в фильме «Долгие проводы» Муратова рассказывает нам очень простую и скромную историю о судьбе женщины, об отношениях матери и сына-подростка. И заметьте, мужчины уже нет. Он ушел, уехал, бросил и живет где-то на другом конце света. Муж и отец — остался за

кадром фильма. Но присутствие его очень ощутимо. Подрастает сын, который тоже начинает маяться своей привязанностью к дому, к близкому человеку. Ему становится скучно, тесно, одиноко в этом южном городе, где бесконечно долго длится осень, а потом вдруг сразу переходит в весну. Он хочет освобождения, его воображение волнует неизвестное, он жаждет самостоятельности и уже готов последовать за отцом.

Ушел муж. Уходит сын. Женщина остается одна. Мир рассыпается на фрагменты. В нем невозможно уже целое, потому что чувства людей обращены только на себя. Бесконечно долгий, изматывающий поединок матери и сына, последние ее надежды и первые его разочарования и составляют основные перипетии сюжета этого фильма. Но главное здесь — смена душевных состояний героини, ее внутреннее перерождение, тот поединок, который она ведет сама с собой. Художник очень чутко распознал и открыл для нас самую логику движения материнского чувства, которое в этой отчаянной и неразрешимой ситуации заставляет героиню делать нелегкий выбор: удержать сына, заставить его жить ее душевной болью или отпустить, отказаться от себя и принять одиночество как пожизненный крест.

Но дело даже не в том, как разрешится в конце концов эта дилемма, а в том, что выбор этот неосилен для женщины. Он способен окончательно ее сломить, рассеять, выжечь в ее душе естественные человеческие чувства. Истеричность героини Шарко, нелепость и претенциозность ее поступков — лишь первые и достаточно невинные проявления того отчаянного срыва, который вызревает в ее сердце. Тут еще чувствуются некое равновесие, игра, самообольщение. Но понятно, что они уже не спасут.

И вот «долгие проводы» заканчиваются. Мать и сын в последний раз вместе идут на концерт. Звучит лермонтовский «Парус», инструментованный и спетый как-то чересчур легко и оптимистично по отношению к состоянию героини. Отсюда такое замечательное смещение смыслов. Акцентируется не вопрос «Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?» Прочитывается прежде всего сказуемое «ищет» и еще — «кинул».

То же происходит в душе матери. Она не способна к вопросу, даже самому элементарному. Ей сейчас важно удержаться между двумя сказуемыми. Для нее важен ее «ответ», ее «вызов». Она устраивает сцену, пытается отстоять свое право на место в ряду, занятое каким-то нахалом. И в эту борьбу она вкладывает все.

Поведение женщины вызывает улыбку и раздражение сидящих в зале. Она мешает им насладиться выступлением мима, который изо всех сил старается изобразить муки и напряжение атлета, проглатывающего мнимую шпагу. И никому из них не приходит в голову, что в эту минуту на их глазах разворачивается отчаянный поединок героини с «мужчиной» вообще, за право занимать «место», которого ее лишили навсегда. Оба они — «мужчина» и «кресло» — срослись, свинтились болтами намертво в бетонный пол зала, словно для того, чтобы продемонстрировать этой несчастной, что слова «спина» и «спинка» имеют один корень. В этой непробиваемой скульптурной фигуре персонифицировался, материализовался, наконец, этот удушасящий, неуловимый туман повседневности, который разъедает жизнь человека чредой невзгод, разочарований, страхов и обид.

Конечно, женщина и на этот раз ошиблась адресом. Но как понятен ее протест: ведь она уже и не жена, а скоро и не мать. Кто же она?..

Развязка фильма проста и в чем-то даже мелодраматична. В тот момент, когда мать готова отпустить сына к отцу, он решает остаться. Мне нравится этот финал, потому что герои обретают себя и друг друга. Но важнее для меня тут другое — открытое утверждение художником простых истин, вне которых наша жизнь превращается в кошмар «коротких встреч» и «долгих проводов». Это как бы доказательство от обратного, в котором только и возможно чудо повторного открытия для себя известного смысла таких слов, как любовь, жалость, сострадание.

Возвращаясь к мысли, с которой я начала эти заметки, скажу, что и этот фильм Киры Муратовой изначально ясен и прост. Ибо рассказывает он о том, как мать поняла сына, а сын понял свою мать. И понимание это родило надежду. Но ее не услышали.

Фильм был запрещен. Для режиссера наступили восемь лет молчания.

«Познавая белый свет» — картина пестрая, маскарадная, почти фантазмагоричная. Когда ее смотришь, кажется, что ее снял другой режиссер. Но это не так. Художник не изменился — Кира Муратова осталась верной себе. Переменился мир. Его цвета стали ярче, крикливее (это первый цветной фильм режиссера), антураж агрессивнее. В нем человек оказался упакованным в спецодежду слов, привычек, чувств, представлений. Его научили ходить по указанным дорожкам, говорить заученные речи, участвовать в мероприятиях, которые, к слову сказать, заняли большую часть его жизни. Да и сама эта жизнь превратилась в своеобразный театр. Ин-

дивидуальное оказалось стертым. Все подчинилось режиссуре массовых гуляний, праздников, комсомольских свадеб. Спектакль поглотил жизнь. Потому вокруг фольга, зеркала, блеск отражений и свет прожекторов, направленных прямо в лицо. Реальность превратилась в систему кулис, пробиться через которые нельзя.

Их снова будет трое: шофер Коля — он точно скроен для такого театра, весь вписан, впечатан в сценическое действие жизни. Миша — не от мира сего, его полная противоположность, человек, живущий по законам забытой, нормальной реальности, кажущейся окружающим не просто нелепой, но и марсиански непонятной. А между ними — маляр Люба, женщина неординарная, воспринимающая этот спектакль жизни очень непосредственно и поверхностно. Чтобы разбудить ее, Кире Муратовой и понадобился Миша — персонаж почти фантастический, идеал, о котором в глубине души мечтает каждая женщина. С ним хорошо молчать, его можно любить и жалеть, потому что он возвращает тебе тебя, своим присутствием создает то удивительное равновесие между мнимым и подлинным, внешним и сокровенным, в котором просыпается женская душа.

И на этот раз Кира Муратова рискнула рассказать нам сказку, воспользовавшись театральной декорацией реальности, в которую она, почти насильственно, почти искусственно вдохнула живое, трепетное чувство. Коля уйдет. Люба и Миша, вопреки всему, останутся вдвоем.

А если не сказка? Если предчувствие нового, еще более жестокого и трагичного взгляда на жизнь? Если идиллический финал есть лишь спасительный глоток воздуха перед тем, как шагнуть в бездну вырывающейся мысли о конце света?

Фильм «Среди серых камней», поставленный, как явствует из титров, вообще не Кирой Муратовой, а каким-то мифическим Сидоровым, вводит нас в мир утраченной цельности, в мир окончательно заблудившегося, потерявшего себя человечества, в мир без женщин.

Она умерла — в прямом и переносном смысле. Мы видим лишь ее портрет, засохшие цветы с похорон, воспоминания о которых сводят с ума героя картины — местного судью. Слышим ее надрывный, чахоточный кашель, заполняющий собой дом, в котором она была хозяйкой, любящей женой, нежной и заботливой матерью.

В обширной — вселенской — географии фильма возникает классический образ законченного мира, в котором есть Небо, Земля, Подземелье. Есть Дворец, Дом и

Кладбище. Есть, наконец, Природа, которая объемлет собой все. Но в мире этом все перепуталось, сломалось, поменялось местами. В полуразрушенном дворце обретаются сумасшедшие, подземелье дает приют обездоленным, кладбище стало местом для прогулок, а запустелая церковь — местом игр, где дети-сироты сами ищут свое спасение. Взрослые же здесь живут заговорами, мнимыми надеждами, мертвыми идеями. Строго говоря, в своем безумии они прячутся от обреченности этого мира. Ибо безумие это есть всего лишь память о той нормальной жизни, где каждый из них был по-своему счастлив, благополучен, любим. Поэтому так больно отдается в сердце шепот гувернантки, собирающей осколки разбитой вазы: «Это можно еще склеить... Это можно склеить...» Но склеить уже ничего нельзя. Женское, материнское начало ушло. И словно для того, чтобы мы это остро почувствовали, Кира Муратова предлагает нам последнюю возможность, когда мир как бы собирается вокруг маленькой Мани, странного, большого ребенка, тоже обреченного на смерть.

В финале этот страшный город покинут лишь двое — женщина и подросток. Они будут идти вдоль кирпичной стены, в кладке которой, словно в тетрадке в линейку, будут вписываться голосом умершей девочки простые слова: «Маня любит цветочки... Маня любит...»

Спасет ли нас эта детская пропись? Боюсь, что уже нет. И словно подтверждение этой пугающей мысли — к нам приходит новый фильм Киры Муратовой «Перемена участи».

И снова треугольник: Мария, ее муж Филипп и любовник Александр. Мария убьет изменившего ей любовника, а ее муж, узнавший об измене жены, повесится.

В холодной, искусственной атмосфере картины нет и подобия живых чувств. Есть только то, что остается от остывших, выгоревших страстей: необходимость соблюдать этикет и правила общепринятой морали. Конечно, жаль, что муж узнает правду и теперь может лишиться ее положения в обществе, достатка, денег. Ужасно, что любовник пренебрег ею и предпочел ей — белой женщине — какую-то туземку. Но главное все же не в этом, а в том, что в сознании Марии смешались ад и рай, сон и явь, инкуб и ангел; что все для нее стало неразличимым, фантастичным, безумным и неузнаваемым, но в то же время логичным, отвечающим какой-то чудовищной, абсурдной логике самой этой реальности. Следуя ей, она разрушает все вокруг, выворачивает смысл привычных слов и представлений. Сам выстрел ее, почти нечаянный,

бессознательный — есть прямое воплощение этой логики. Повторяя его в воображении, она пытается задним числом осмыслить происшедшее, но находит лишь мотивы, оправдывающие ее преступление.

Свободная и высокомерная, оскорбленная и униженная женщина наконец-то выигрывает в этом глобальном поединке с мужчиной и обществом. Но победа эта оплачена слишком дорогой ценой. Омут жесткого, непрерывного сопротивления поглотил предназначение той, которая должна быть хранительницей очага, любимой, женой, матерью. Она еще не манекен. В ней есть еще магия красоты и нечаянного женского обаяния, которыми она удачно торгует по принятым в обществе ценам. И где-то рядом, за стенами тюрем, офисов, салонов, словно голос из мира отверженных (а может, от автора) — младенец в люльке, женщина гладит белье...

Пять фильмов Киры Муратовой — пять актов драмы частного человека. Но это еще и пять актов глобальной драмы тотального покушения цивилизации на человечность.

Вот короткое либретто этого эпоса женщины-художника.

1968 г. «Короткие встречи». Еще есть иллюзии, еще можно бежать из кафкианского наворота социальных проблем в живое дело, свято веря, что служишь людям. Но уже есть опасность в этих бегах потерять себя. Ведь частное и общественное расслоились, разошлись окончательно.

1972 г. «Долгие проводы». Иллюзии сохранились, но изменился масштаб претензий к реальности, до предела формализовавшейся и омертвевшей. Государственное стало антиномией человеческому. И уже отдельный человек отчаянно защищается, ищет опору в ближнем перед натиском непонятных, неуловимых, но агрессивных сил, направленных не на тебя лично, но и тебя перемалывающих.

1980 г. «Познавая белый свет». Здесь художник пытается понять природу этих анонимных сил, которые правят миром. И перед нами возникает образ театрализованной жизни, маскарадного представления, где каждому уготовлена предписанная, своя роль.

1985 г. «Среди серых камней». Послесловие к катастрофе. Жизнь на руинах дворцов, семей, чувств и верований. Здесь грань конца или возможного спасения.

1987 г. «Перемена участи». Это, может быть, самая пророческая картина. Она объемлет жизнь во всех ее координатах: общество и человек, культура и цивилизация, восток и запад, правосудие и беззаконие, мужчина и женщина, дети и их учителя.

Мир, пожелавший воскреснуть, получает от вчерашнего тяжкое наследство. Трудно сделать человека рабом, но еще труднее раба сделать свободным человеком. Ибо сознание при перемене участи в одночасье не меняется.

Пять актов драмы, пять свидетельств прожитой нами жизни. Они восстанавливают картину тектонических сдвигов в недрах общества, истории, в судьбах и душах людей. Не одна Кира Муратова вела летопись происходящего. Но она одна, пожалуй, ни разу не сбилась с тона, не отреклась от призвания, своего таланта. В жестоком и оскудевающем мире она удерживала до последнего свое высокое, риску сказать, женское верование в человека.

Крестный путь прошла Кира Муратова в отечественном киноискусстве. В кинословаре ей отдано 10,5 строк, названы только две картины — «Короткие встречи» и «Познавая белый свет» — и отмечен ее интерес «к современной нравственной проблематике, неоднозначным человеческим характеристам»... И все! (Так официально оценивалось

творчество Киры Муратовой совсем недавно, в 1986 году.)

За пределами этих сухих, общеупотребимых слов осталась судьба художника, жизнь человека. С каждой ее картиной были сложности, каждую «исправляли» или запрещали. Как выжила она в те восемь лет, когда после «Долгих проводов» ее лишили права на постановку, как выстояла, когда вынуждена была отречься от изуродованного фильма «Среди серых камней», — не знаю. Может быть, поэтому, оказавшись случайно рядом с ней на Пятом съезде кинематографистов, не нашла слов, способных выразить мои чувства. Теперь, кажется, я их нашла: фильмы Киры Муратовой — это и моя исповедь, мое признание, моя боль и надежда.

Она выстояла, как выстояли немногие. Поэтому может сказать вслед за Анной Андреевной Ахматовой: «Я всегда была с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

**ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
СЦЕНАРИИ:**

М. ВОЛОЦКИЙ, Ю. ШВЫРЕВ
«ДУМУ СВОЮ ДОНЕСТИ ЛЮДЯМ...»

В. ЗАЛОТУХА
«ПОСЛЕ ВОЙНЫ — МИР»

А. КОВАЧ
«ХОЗЯИН КОНЕЗАВОДА»

А. КРИНИЦЫНА
«ОСКОЛОК «ЧЕЛЕНДЖЕРА»

Е. ЛОБАЧЕВСКАЯ
«ИНТЕРНЫ»

Ю. АРАБОВ
«АНГЕЛ ИСТРЕБЛЕНИЯ»

Ю. ТЫНЯНОВ
«ОБЕЗЬЯНА И КОЛОКОЛ»

НАШИ АВТОРЫ

АДАМАЦКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1937 г.). Закончил филологический факультет Ленинградского Государственного университета в 1968 г. Совместно с Е. Шмидтом им написаны сценарии «Правила скрипичной игры» (1986 г.), «Штабс-капитан Михайлов» (1986 г.), «Арабеск» (1987 г.), «Филипп Траум» (1986 г.), по которому снимает фильм реж. И. Масленников.

АНТОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1936 г.). Закончил факультет философии Московского Государственного университета в 1969 г. Доктор философских наук. Заведующий сектором социальных проблем семьи Института социологии АН СССР. Специализируется по проблемам семьи и демографии. Автор книг: «Основные понятия социологии труда», «Социология рождаемости», «Семья и дети», «Второй ребенок» и др.

БОДРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1948 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1974 г. (мастерская К. Парамоновой и Н. Фокиной). Автор сценариев фильмов «Баламут» (1979 г., реж. В. Роговой), «Моя Анфиса» (1980 г., реж. Э. Гаврилов), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981 г., реж. П. Тодоровский), «Очень важная персона» (1984 г., реж. Е. Герасимов) и др. Как режиссер снял по своим сценариям фильмы «Сладкий сок внутри травы» (1985 г., совместно с А. Алопиевым), «Непрофессионалы» (1986 г.), «Я тебя ненавижу» (1986 г.) и заканчивает на киностудии «Мосфильм» съемки фильма по своему сценарию «СЭР». В альманахе «Киносценарии» были опубликованы сценарии «Очень важная персона» (№ 1, 1983 г.) и «На зеленых холмах» (№ 1, 1986 г., совместно с А. Сулеевой). Фильм «Прекрасные времена» снимает режиссер А. Васильев.

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА БОРИСОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1979 г. (мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Автор сценария художественного фильма «Рябиновые ночи» (1985 г., реж. В. Кобзев), а также сценариев «Чужак» (1984 г.), «В поисках любви и ответа» (1985 г., опубликован в альманахе «Киносценарии» № 4, 1986 г.), «Мост» (1986 г., совместно с Г. Каковкиным). Фильм «Прекрасные времена» снимает реж. А. Васильев.

ДОБРОДЕЕВ БОРИС ТИХОНОВИЧ (род. в 1927 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 г. (мастерская Л. Арнштама и А. Сафонова). Автор сценариев документальных фильмов «Время, которое всегда с нами» (1964 г., реж. С. Аранович), «Друг Горького — Андреева» (1966 г., реж. С. Аранович), «Горький. Последние годы» (1967 г., реж. С. Аранович), опубликован в альманахе «Киносценарии» № 1, 1988 г.), «Илья Эренбург» (1977 г., реж. Л. Станукинас), «Альтовая соната» (1981 г., реж. С. Аранович и А. Сокуров), «Мы не сдаемся, мы идем» (1982 г., реж. М. Литвяков), «Тревожное небо Испании» (1984 г., реж. А. Фернандес), «Тогда, в 45-ом» (1984 г., реж. Ю. За-

нин). Автор и соавтор сценариев художественных фильмов «Первый учитель» (1965 г., совместно с Ч. Айтматовым, реж. А. Кончаловский), «Материнское поле» (1967 г., совместно с И. Таланкиным, реж. Г. Базаров), «Особое важное задание» (1980 г., совместно с П. Попогребским, реж. Е. Матвеев), а также телефильмов «Красный дипломат» (1971 г., реж. С. Аранович), «Жизнь Бетховена» (1979 г., реж. Б. Галантер), «Карл Маркс. Молодые годы» (1979 г., совместно с А. Гребневым, реж. Л. Кулиджанов), «Софья Ковалевская» (1985 г., совместно с Д. Василиу, реж. А. Шахмалиева). Фильм «Воспоминание о Павловске» снят реж. И. Калининой в 1983 г.

ЗВЕРЕВА МАРИЯ ИЗОЛЬДОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1973 г. (мастерская И. Маневича). Автор сценариев фильмов «Где это выдано, где это слыхано» (1974 г., по рассказам В. Драгунского, реж. А. Шахмалиева, В. Горюв), «Странные взрослые» (1975 г., совместно с С. Мичковским, реж. А. Шахмалиева), «Победитель» (1976 г., совместно с С. Пептпаловым, реж. А. Балтрушайтис), «Свет в окне» (1979 г., реж. А. Шахмалиева), «Лялька — Руслан» (1980 г., по рассказам В. Голявкина, реж. Е. Татарский), «Скорость» (1981 г., по одноименной повести В. Мухоманова, реж. Д. Светозаров), «Запомните меня такой» (1987 г., по пьесе Р. Солнцева «Мать и сын», реж. П. Чухрай), «Это было прошлым летом» (1988 г., реж. Н. Збандут) и др. Фильм «Украденное свидание» снимает реж. Л. Лайус.

КОСТИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1982 г. (мастерская Е. Григорьева, В. Туляковой). Автор сценариев «Пересменка» (1980 г.), «Мария» (1981 г.) и др.

МЕРЕЖКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (род. в 1937 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 г. (мастерская А. Спешнева и И. Вайсфельда). Автор сценариев фильмов «Здравствуй и прощай» (1972 г., реж. В. Мельников), «Одиножды один» (1974 г., реж. Г. Полока), «Трын — трава» (1975 г., реж. С. Никоненко), «Журавль в небе» (1977 г., реж. С. Самсонов), «Трясина» (1978 г., совместно с реж. Г. Чухраем), «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1979 г., реж. Л. Марягин), «Уходи — уходи» (1979 г., совместно с реж. В. Трегубовичем), «Отставной козы барабанщик» (1981 г., реж. Г. Мильников), «Родня» (1981 г., реж. Н. Михалков, опубликован в альманахе «Киносценарии» № 1, 1980 г.), «Полеты во сне и наяву» (1982 г., реж. Р. Балаян, опубликован в альманахе «Киносценарии», № 1, 1982 г.), «Если можешь, прости» (1983 г., реж. А. Итыгилов), «Аплодисменты, аплодисменты» (1984 г., реж. В. Бутурлин), «Прости» (1985 г., реж. Э. Ясан, опубликован в альманахе «Киносценарии» № 1, 1984 г.), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986 г., реж. В. Криштофович),

«Забавы молодых» (1987 г., реж. Е. Герасимов), «Повестка в суд» и «Шаг» (1988 г., оба совместно с реж. В. Дудиным) и др. В альманахе «Киносценарии» также были опубликованы сценарии «Кукушкино крещение» (№ 2, 1979 г.) и «Автопортрет неизвестного» (№ 1, 1987 г.).

МИТЮШОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1951 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1979 г. Автор статей по проблемам современного советского кино.

НУСИНОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА. Закончила филологический факультет Московского Государственного университета в 1977 г. Кандидат искусствоведения. Младший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор статей по истории русского дореволюционного и французского кино.

РЯЗАНОВА ОЛЬГА ЭЛЬДАРОВНА. Закончила филологический факультет Московского Государственного университета в 1974 г. Кандидат искусствоведения. Младший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор статей по проблемам скандинавского кино.

СОЛОГУБ (Тетерников) ФЕДОР КУЗЬМИЧ (1863—1927). Русский писатель. Закончил Петербургский учительский институт в 1882 г. Первые стихи напечатал в 1884 г. Принадлежал к символистам «старшего» поколения. В 1905 г. активно участвовал в революционно-сатирических журналах. Автор поэтических сборников, а также романов «Тяжелые сны» (1896 г.), «Мелкий бес» (1907 г.), «Слаще яда» (1912 г.), «Творимая легенда» (1914 г.), «Заклинательница змей» (1921 г.) и др.

ТОРОПЦЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.). Закончил Институт восточных языков в 1963 г. Кандидат филологических наук. Специализируется по истории китайского кино. Автор книг «Трудные годы китайского кино», «Кино и культурная революция в Китае», «Очерк истории китайского кино», «Свеча на закатном окне. Заметки о китайском кино» и др.

ХУАН ШУЦИНЬ. Закончила Пекинский институт кинематографии в 1964 г. Режиссер-поста-

новщик художественных фильмов «Современники» (1981 г.), «Да здравствует юность» (1983 г.), «Друзья детства» (1985 г.), «Надгосударственная акция» (1986 г.), «Человек. Демон. Страсть» (1987 г.).

ЦИВЬЯН ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. в 1950 г.). Закончил факультет иностранных языков Латвийского Государственного Университета в 1973 г. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник Института языка и литературы АН Латвийской ССР. Автор статей по истории немого кино.

ШЕПТУНОВА МАРИНА ИГОРЕВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1976 г. (мастерская В. Соловьева и Л. Кожинной). Автор сценариев художественных фильмов «Открытое сердце» (1981 г., реж. А. Поляков), «Залив счастья» (1985 г., реж. В. Лаптев), «Игры для детей школьного возраста» (1986 г., реж. Л. Лайус и А. Ихю), «Наблюдатель» (1988 г., реж. А. Ихю). Фильм «Только для сумасшедших» снимает реж. А. Ихю.

ШИЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА. Закончила киноведческий факультет ВГИКа в 1962 г. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор книги «Фильм и его музыка» и статей по проблемам современного советского кино.

ШМИДТ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1944 г.). Закончил Литературный институт им. Горького в 1971 г. Совместно с И. Адамацким им написаны сценарии «Правила скрипичной игры» (1986 г.), «Штабс-капитан Михайлов» (1986 г.), «Арабеск» (1987 г.), «Филипп Траум» (1986 г.), по которому снимает фильм реж. И. Масленников.

ЮЛИНА НИНА СТЕПАНОВНА. Закончила философский факультет Московского Государственного университета в 1950 г. Доктор философских наук. Ведущий научный сотрудник Института философии АН СССР. Автор книг «Современные идеологические течения США», «Проблемы метафизики в философии США XX века», «Отношения теологии и философии в религиозной мысли США XX века» и др.

1р.20к.
70434

2

КИНОСЦЕНАРИИ

1989